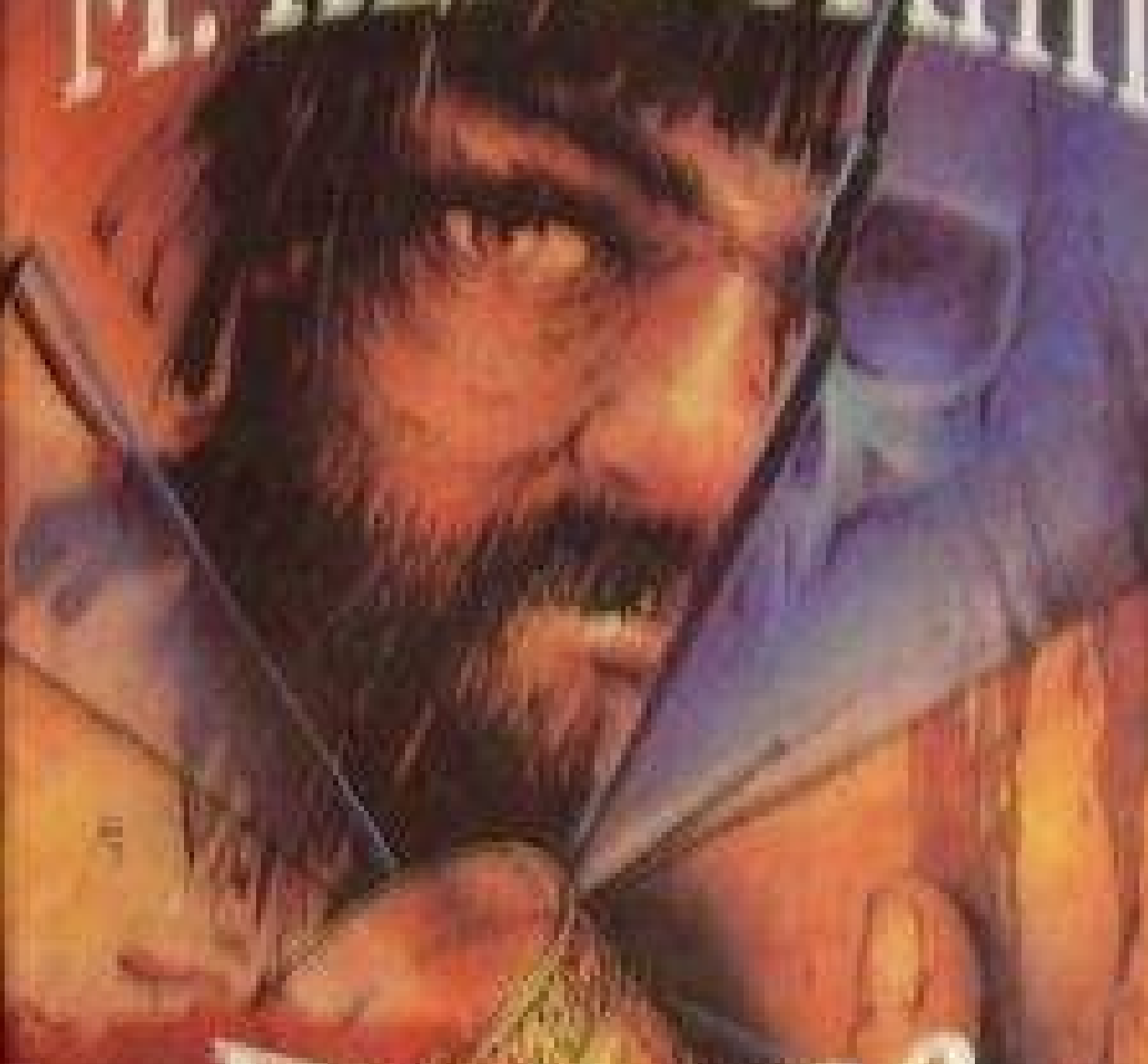


М. ПЕРВУХИН



ИВТАНГЕВ  
ПОТОК ИВТАНГЕВ

Пугачев-победитель.

## ПРЕДИСЛОВИЕ к первому изданию 1924 года

Обычно авторы фантастических романов помещают их действие в будущих временах, где ничто не ограничивает полета их фантазии. Более редки фантастические романы из прошлого. В этих случаях авторы или уходят в темную глубь веков, или избирают местом действия условные, вымышленные страны, чья жизнь лишь отдельными чертами напоминает ту или другую эпоху в той или другой стране.

Автор «Пугачева-победителя», назвавший свой труд «историко-фантастическим романом», выполнил смелый и совершенно неиспользованный замысел. Местом действия своего романа он выбрал вполне определенную страну во вполне определенную историческую эпоху, — Россию во время пугачевщины.

Стоя первоначально, лишь с легкими отступлениями, на почве исторической действительности и широко развернув перед глазами читателя яркую картину разбушевавшегося народного моря с самим самозванным «анпиратором... Пугачевым и множеством мелких «анпираторов», работавших под его руку в глухих углах, автор, дойдя до осады Пугачевым Казани, внезапно и круто сворачивает с исторических рельсов в область воображения.

По всей России, как гром, проносится весть о гибели императрицы Екатерины и наследника престола Павла Петровича во время морского смотра от бури. Пугачев побеждает, и самозванный «анпиратор Петра Федорович», вознесенный народным шквалом, возглавитель того русского бунта, который Пушкин назвал «бессмысленным и беспощадным», вступает в Москву и садится на древнем троне царей московских и императоров всероссийских.

Что было бы, если бы в свое время Пугачев победил?

Этот вопрос не однажды приходил в голову нам, русским, судьбой обреченным увидеть нашу Россию побежденной Вторым «университетским Пугачевым», который, кроме «свободы... и «власти бедных», этих старых испытанных средств затуманивать разум народный, принес с собой яд много сильней, — учение Карла Маркса, то зелье, каким, по счастью для тогдашней России, еще не располагал Емельян Пугачев.

На этот вопрос, возникший вдруг из глубины прошлого и ставший таким неожиданно острым для нас и в наши дни, дает нам ответ автор предлагаемого романа.

В его исторической фантазии мы переживем снова, хотя и в иной обстановке, развал, муки и судороги России. Мы увидим неведомо откуда пришедшего самозванного повелителя России с его каторжными сподвижниками, пирующего в кремлевских палатах. Мы увидим и их «Государственное строительство».

Перед нами пройдут, как в зеркале, все те силы, — и разрушительная, и целебная, — которые таились и таятся спокон века в глубине русской души.

И зрелище их, сплетенность в смертельной борьбе на страницах этой книги, зажжет нас особым и острым трепетом, ибо не снова ли в наше время силы Света и силы Тьмы боролись и борются перед нами за Россию!

Но не дано Тьме победить Свет навсегда, как не победила Тьма и в этом романе, который дает нам увидеть бесславный конец злых и спасение Российского государства.

Мы знаем заранее, что эта книга останется мертвой для тех, для кого «Родина... и «Россия... — пустой звук. Но тебе, русский читатель, в ком течет русская кровь и бьется русское сердце, она скажет многое.

Если в тот час, когда ты будешь читать эти страницы, не пошлет еще Бог совершиться нашей русской надежде, храни в себе упорно ее пламень и, закрывая оконченную книгу, повтори с верой ее последние слова!

Россия будет!

Сергей КРЕЧЕТОВ.

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

Левшин долил темным, густым вином свой только что наполовину опорожненный серебряный дорожный стакан в виде невысокой стопки, выпил глоток, с наслаждением прополоскал ноздри табачным дымом из любимой фарфоровой трубки, вывезенной им еще во дни императрицы Елизаветы из Саксонии, побарабанил пальцами по краю стола и потом сказал стоявшему перед ним в почтительной позе старику-управляющему:

— Высыпай свою торбу!

— Што прикажете, батюшка-барин? — осведомился управляющий.

— Выкладывай, говорю, все!

— Насчет чево, то есть, батюшка-барин?

— Все, что знаешь. Только, смотри у меня! Чтобы начистоту! Вилять хвостом нечего! Ты меня знаешь. Я шуток не люблю...

— Какие тут шутки?! — возразил управляющий — Да разве я посмел бы дозволить себе с вашей милостью. Слава тебе, господи, хоша сам я и не знатнова роду, а всего только вольноотпущенный крестьянин их сиятельства, князя Ивана Александровича Курганова, однако обращение понимаю, што и как. А вашу милость, батюшка-барин, кто ж не знает? Левшины-господа по всему уезду известные. Опять же, ваша милость у наших князей своим человеком были. Я вашей милости услужал еще при покойной государыне.

— Ладно! Ты мою милость оставь в покое. Зубы у моей милости не ноют: заговаривать не требуется. Докладывай, говорю. Только начистоту, без утайки!

— Да мне што, батюшка-барин? Я — как на духу...

Я для вашей милости хоть разопнусь Я за своих господ-благодетелей сейчас на мученье пойду, хоша мне вольная и дадена милостью еще покойного князя Александра Петровича... А только надо бы мне раньше-то знать, чего вашей милости угодно. А я вашей милости...

— Не пой. По пунктам тебя допрашивать, что ли?

— И точно, по пунктам, — обрадованно закивал головой управляющий.

— Тебя Анемподистом кличут?

— Анемподистом, ваша милость. При выходе на волю получил и хвамилию: Анемподист Васильев, сын Кургановский. Как мы спокон веков — кургановские...

— Господа куда уехали? И когда?

— Сказано было нам, што по делам в Казань-город, будто к сродственникам, то есть, к господам Лихачевым...

— Юрочка! Слышишь? — кивнул Левшин лежавшему на диване и рассеянно перелистывающему какую-то книгу в тисненном золотом сафьяновом переплете молодому человеку. — Разве твои в Казани сейчас?

— Дядя Никита там должен быть! — откликнулся молодой человек. — А я тут прелюбопытную вещь сыскал. Объяснение в любовных чувствованиях кавалера де Граммона к одной прелестной даме, каковая, будучи весьма знатной персоной и придворной дамой королевы французской, переделалась простой пастушкой...

— Ну тебя к черту, со всеми твоими кавалерами и прелестницами! — сердито выругался Левшин. — Тут каша такая заваривается, что, может быть, всему государству расхлебывать придется, а ты...

Анемподист переступил с ноги на ногу, вздохнул и потупился.

— Когда, говоришь, уехали господа? — повторил вопрос Левшин, прихлебывая вино.

— На той неделе в пятницу! — встрепенулся управляющий. — Живо так уложились, только самое нужное и забрали. Сами налегке тронулись, дормез да три подводы всего с вещами, а следом я обоз снарядил: одиннадцать подвод всего. Сынишка мой, Лукашка, повел. Надо бы ему вернуться, да нету што-то... А князек молодой, Петр Иванович, очень уж упирался. Не хотелось ему, видно, уезжать-то...

— С девкой какой спутался, что ли? — усмехнувшись, осведомился Левшин, снова набивая трубку.

— Есть тот грешок, ваша милость. Грунькой зовут девчоночку. Птичницы дочка богоданная, а кто в отцах ходил, того, поди, и сама птичница не ведает...

— Ну, ладно. Дальше!

— А што дальше-то, батюшка-барин?

— Мужики как?

По изрезанному морщинами лицу управляющего пробежала зыбь. Серые глаза спрятались в узкие щелки припухших красных век.

— Насчет чего, то есть? Ежели касательно Груньки...

— Дурака валяешь! — окрикнул Левшин. — Брось, Анемподист. Я спрашиваю, как держится мужичье?

— Да так... Одно слово — держатся.

— Волнуются?

— Шушукуются — это верно. А волнение, слава богу, не было. Вот, насчет барщины, ну, правду нужно сказать — большая-таки заминка выходит... Отлынивают, черти. Уж я их и так, уж я их и сяк...

Левшин вскинул испытующий взор на морщинистое лицо старика. Ему показалось, что перед ним стоит безглазый. И есть глаза, и словно нету их.

— Ой, придется мне тебя, анафему, арапниками поподчевать, — глухо вымолвил Левшин. — Ой, не шути, говорю!

— Гос-поди! — ахнул управляющий. — Да за што, ваша милость? Да рази я... Да разрази меня молонья...

— Не виляй хвостом. Говори все! Смутьяны водятся?

— Это вы, ваша милость, насчет новоявленного анпиратора?

— Догадался-таки, наконец? Насчет Емельки Пугачева!

— Так што, осмелюсь доложить вашей милости, — слушок есть. Народ наш — сами знаете, какой народ. Ему скажешь чистую правду — в ем веры-то и нету. А какая-нибудь бабка-шептуха с пьяных глаз нашепчет, — он и верит...

— Ждут Емельку, что ли?

— Есть тот слушок: будто анпира... то есть, этот самый Емелька — с агромаднейшим войском всенародным — намеревается вскорости город Казань взять под свою руку. И так это объясняют, што, мол, наскучило ему по Заволжью разгуливать, хоша простор и большой, но, между прочим, толку из этого не выходит. Так, вот, понадобилась ему Казань-город. А с Казани, мол, прямым трахтом — на Москву.

— Ежели еще его туда, пса смердящего, пустят! — скрипнув зубами, глухо вымолвил Левшин.

— Истинное ваше слово, батюшка-барин! — зачастил староста. — Воистину, — пес смердящий и шелудивый. Одно слово — каторжная душа. Ево бы, подлеца, на четыре части... А только у царских енералов с ним што-то неуправка выходит. Послала матушка-анпиратрица против ево бригадира, а он, Емелька, степным волком обернулся да этова самова бригадира изловил и весь московский гренадерский полк с им.

— Какой там «весь полк...?!» — фыркнул презрительно Левшин. — Триста человек всего было. В ловушку попали. Сонными Емелька захватил подлецов...

— Но, промежду прочим, с енерала-то кожу содрал! — с чуть заметным ехидством вставил Анемподист. — А которые солдаты — так те сейчас же под ево руку... А офицерам

перевешали.

— Не тяни волынку! Придет и его черед. За все расплатится!

— Ну, а еще слушок такой есть, што, мол, ежели анпиратор... то бишь, Емелька, скажем, да будет идти Казань-город брать, то ему наших мест никак не миновать. Большая-то дорога верст двенадцать от Кургановки всего. Ну, вот и пошел сполох по всему уезду. Народ-то черный только шушукается да глазами мигает, а которые господа благородные да по купечеству, так те, известно, в испуг большой приходят. Вот, ваша милость, вы про наших господ спрашивали... А разве они одни выехали? Ляпины-господа еще три месяца тому назад всполошились да напрямик и махнули в Москву. Даром што барыня Анна Семенна при последнем, можно сказать, издыхании была, — и ту поволокли. Опять же, Щенятины-господа. А еще Горбатовы... Да теперь, ваша милость, во всем уезде, почитай, никого из настоящих господ не осталось. Так, мелкота какая, ну, та сидит. У ково, скажем, десятка полтора дворов, и сотни душ не набезит, — и те выезжают.

Все лицо Анемподиста покрылось сетью мелких морщинок. Серые глаза лукаво засветились

— Чего ты? — воззрился Левшин.

— Да больно уж чудно, ваша милость! — хихикнул старик.

— Чего тебя разбирает-то?

— Княгиня Суровская, ваша милость, — сама уехамши, и всех своих шпитонок увезла, а заместо себя в имении птицу заморскую управлять оставила...

— Чего плетешь-то?

— Побей бог, если плету! Попкою птицу-то звать. Птичка невеличка, но, промежду прочим, от господа дар дан: то есть, так-то ругается, што ай-аяй! Даже матерными словами. Я-т-теб-бя, орет, запор-рю!

— Ну?

— Ну, вот, говорю, замест себя и оставила. А старосте наказ дала: приходите в господский дом кажинный день да о всех делах попугаю и докладывать. Он, мол, все запомнит, а потом мне доложит... Ха-ха-ха... А мужики взяли да привели знахаря одного, а тот попке этой самой язык-то и отрезал. Ну, попка-то и онемел. Ха-ха-ха.

— Дикари! — буркнул Левшин, потом деловито осведомился: — Пугачики не показываются?

— Бог миловал пока что. На хуторе у Сенегурова купца были на прошлой неделе. Верст до ста будет отседова. Приказчика забили, приказнице из брюха кишки выпустили, так, для смеху... Девочек и баб всех перепортили. Ну, работники, конечно, с ними, то есть, с пугачиками, под одну руку. Им што? Скот перерезали, хутор спалили, а потом — айда, ребята!

— Мерзавцы! Ну, Михельсон их проучит.

— Енарал Михельсон? — оживился управляющий. — Здорово, говорят, чосу им задает!

Юрий Николаевич Лихачев спустил ноги с дивана и со смехом крикнул:

— Нет, это прелестно! Ты только послушай, Костя! Понимаешь, какая штука? Эта самая Дорина пообещала влюбленному в нее кавалеру де Граммону осчастливить его своей любовью и назначила ему тайное свидание в темном гроте, в парке, а ее кузина Коринна, которая давно вздыхала по кавалеру, воспользовалась этой оказией...

— Ну их всех к чорту! Не до них! — отозвался Левшин. — У них, во Франции, поди, пугачиков не водилось и не водится... А мы тут, как на крыше горящего дома, сидим...

— Рассказывай дальше! — обратился он после минутного молчания к управляющему. — К духовенству народ как относится? С почтением?

— В церковь ходят.

— Батьку-попа слушают?

— Ништо...

— Ну, а насчет властей? Насчет самой государыни? Да нечего тебе мяться! Не отвертись от меня!

— А я и не думаю! — обиженно ответил управляющий. — Но што сказать — того не ведаю. Конешно, разговаривают много. Всево не переслушаешь...

— О чем говорят? Начистоту!

— Да вот, насчет неправильности... Насчет нравов, то есть. По-ихнему так выходит, что настоящей правильности, мол, нету. Первое дело — почему, мол, на царском престоле — баба сидит? Ежели, мол, царь — так царь. Чтобы настоящий анпиратор...

— Так! Дальше!

— А еще — почему, мол, немка? Ну, и еще всякое...

— Развязывай язык. Все говори!

— Да я — што же? Приказываете, так я могу... Насчет крепостного права больше... Што это, мол, за порядок? В других странах все мужики вольные, а у нас сколько там мельенов в крепостных сидят... А анпиратор... Емелька, то есть, всем волю обещает. И землю. И штобы насчет веры... То есть, штобы по-старинному было. Как до Никона...

Лихачев, рассеянно прислушивавшийся к беседе, пожал плечами, поправил лежавшую в углу дивана расшитую подушку с кистями, улегся и опять углубился в захватившее его чтение. Его мысль унеслась в далекую и такую прекрасную Францию с ее великолепными замками, парками с фонтанами живой воды и беломраморными статуями, где по аллеям и лужайкам разгуливают изящно одетые кавалеры и прелестные дамы. Лукавая Коринна, обманом отнявшая кавалера де Граммона у своей кузины, легкой птичкой мчится по лужайке от гонящегося за ней маркиза де Сент-Губэр. А из окон замка льются нежные звуки флейты, на которой играет граф де Монтолон...

— Подметные письма были? — снова приступил к допросу управляющего Левшин.

— Не... то есть, были! Еще при господах! — отозвался Анемподист. — Ночевал один какой-то, да и оставил Петру Лысыковых: раздашь, мол, ребятам. А Петр возьми, да и понеси к причетнику. Так оно наружу и вышло... А как дошло до князя Ивана Александровича, господина нашего, то тут тебе и начался сполох... А листки они отобрали и с собой увезли.

Левшин встал и прошелся по комнатам, заложив руки за спину. Гулко отдавался стук окованных медными подковками каблуков по доскам пола. Звенели шпоры.

Он подошел к большому окну, сквозь мелкие и мутные стекла которого виднелся старый, запущенный фруктовый сад, и, задумавшись, вполголоса пропел:

— Гром победы раздавайся...

Остановился. Нагнул голову: увидел на стекле глубокую царапину. Кто-то, когда-то — пробовал об стекло алмаз. Выписаны две буквы «Ан..».

Пожал плечами и, еще понизив голос, пропел вторую строку.

— Веселися, храбрый росс!

Громко рассмеялся злым смехом.

— Чего ты? — окликнул его с дивана Юрий Лихачев.

— Разве не слышишь? Пою: веселися, мол, храбрый росс!

— А-а... — протянул лениво молодой человек и опять углубился в чтение французской книжки.

Левшин круто повернулся к стоявшему с выжидательным видом управляющему:

— Грамотные есть?

Анемподист, подумав, начал загибать корявые пальцы:

— Карла Иванович, который садовник, дюже грамотный. На всяческих языках говорит. Раз... Потом, конечно, Жданов господин, который в приживальщиках. Даже по-французскому чешет, хоша у него и не все дома... Какой-то, скажем, клепки не хватает... Два... Окромя того, причетник Семен по печатному разбирается... Три. Опять же из Москвы студент, Тихон Бабушкин. Отцу Сергию дальним родственником приходится. Так, нестоящий человек...

— Через час чтобы все они здесь были. Кто упираться будет, скажи приказал, мол, именем государыни Ахтырского гусарского полка ротмистр Константин Павлович Левшин, а кто его приказу не послушает, тому придется попробовать арапников. Потому что, скажи, ротмистр шутить не станет! Понял?

— Как не понять, — усмехнулся управляющий. — Прикажете идти?

— Иди. Впрочем, стой: люди накормлены?

— Помилуйте!

— Водки много не давать. К утру чтобы на каждого было по полпуда сухарей. Отобрать из барских рабочих лошадей десяток под верх, четырех — в упряжку. Две телеги. Сговорись с моим вахмистром: он скажет, сколько нужно полотна на портянки. Девоч засадить — каждому гусару по рубашке, по подштанникам. Стой! Сала пудов пять отпустишь. Ну, сговорись, говорю, с Сорокиным: он скажет, что еще там. Все запишешь в реестрик, мне принесешь.

— Лекри... рекли...

— Реквизиция. Казна потом заплатит.

— Да я не к тому, ваша милость! Мы тоже дело понимаем: на казенные, мол, надобности. Я только для отчету... Вот, насчет денег — уж и не знаю, как быть... Отъезжая, князь все забрали. Но, между прочим, ежели рублев, скажем, сто, то мог бы понатужиться...

— Хорошо. Тащи и деньги! А теперь иди!

Управляющий ушел. Левшин, проводив его взглядом, снова подошел к окну.



— Веселися, храбрый росс!

И потом пробормотал:

— Только что из этого твоего веселья, болван, выйдет?

Час спустя в столовой флигеля для приезжающих дома князя Ивана Александровича Курганова собрались все приглашенные грамотные обитатели Кургановки. Их было всего четыре человека. Кургановский священник отец Сергей, средних лет человек, русоволосый, сероглазый, чуточку курносый, по наружности мало чем отличавшийся от любого кургановского мужика; его дальний родственник Тихон Бабушкин, недоучившийся студент московского университета, малый лет двадцати пяти, долговязый, узкогрудый, тонконогий и темнолицый, надевший на себя для торжественного случая чей-то чужой казинетовый камзол. Следом за ними вошли, робко кланяясь, низенький пузатый причетник, человек с выражением застывшего испуга на плоском лице, и Карл Иванович Штейнер, пожилой благообразный немец с крупной головою и задумчивыми голубыми глазами.

Юрочки Лихачева в столовой не было: он отправился побродить по саду. Недочитанная им книга в сафьяновом переплете валялась на продавленном диване.

По приказанию Левшина Анемподист прислал в столовую казачка Петьку, который притащил большой корявый поднос с деревенскими закусками и графином, отливающим зеленую водки. Только повинувшись приказанию Левшина, приглашенные решились устроиться вокруг стола, выпить и закусить, но делали это с видимой робостью, подталкивая друг друга. Испуганно смотрели на ротмистра. Оставив на столе поднос, казачок ушел. Левшин собственноручно запер за ним дверь и обратился к приглашенным с требованием сказать откровенно, что они думают о положении дела и что полагают предпринять на случай осложнений.

Те беспомощно переглядывались. Потом студент, потряхнув головой, вымолвил басом:

— Я полагаю, что...

Поперхнулся, мучительно покраснел и, опустив глаза, закончил почему-то шепотом:

— Как честный человек... Так что при этих обстоятельствах, напоминающих дни гражданской распри Древнего Рима...

И смолк.

— Ну что же? — нетерпеливо сказал Левшин — Только ваш Древний Рим вы бы оставили, государь мой!

Студент сконфуженно улыбнулся и толкнул угловатым локтем сидевшего рядом с ним отца Сергия:

— Говори ты!

Священник развел беспомощно руками.

— А что же я могу сказать при сих обстоятельствах? — пропел он жидким тенорком. — Смущен дух мой, и преисполнена скорби душа. К тому же, я посылал в губернию цидулку, испрашивая у его преосвященства наказа и пастырского наставления, но, к моему вящему прискорбию, до сего дня ответа не удостоился.

— А ты что скажешь? — обратился ротмистр к причетнику.

Тот напыжился, несколько раз раскрыл рот, как вытасченная рыбаком на берег рыба, выдавил из себя какие-то странные звуки, походившие на бульканье или шипение самовара, и спрятался за спиною студента.

— Благородный господин офицер, может быть, дозволит мне иметь честь сказать несколько слов? — четко выговаривая вычурно построенную фразу, сказал Штейнер.

— Прошу!

— Я полагаю, что правительству ее императорского величества, всемилостивейшей государыни Екатерины Алексеевны, надлежало бы немедленно прислать в сии провинции побольше зольдат... Но только настоящих, хороших зольдат. Без хороших зольдат, которые будут во всем послушные против своих офицеров...

— Правительство об этом уже позаботилось. Из действующей армии уже вызваны некоторые части. Но армия далеко...

— Здесь был голос... То есть, некоторые молодые помещики говорили, что сюда придет сам генерал Суворов.

— Возможно. Очень даже вероятно. Как только представится малейшая возможность, Суворов примчится сюда.

— Тогда все будет в полный порядок! — облегченно вздыхая, заявил немец. — Иначе все будет приходить в полный беспорядок. Этот глупый мужик Иван совсем сходил с ума из-за своего сумасшедшего Емельяна... Если бы такой пьяный разбойник осмелился показать свой нос у нас в Германии...

— Да, все это хорошо! Но я хотел бы знать, что делается тут?

— Их сиятельство князь изволили уехать в Казань! — выдавил из себя тенорком священник.  
— Мы же без их сиятельства — как овцы без пастыря. Истинно, как овцы без пастыря... Что мы можем?

— Позвольте, батюшка! Да разве вы не понимаете, что речь идет и о ваших головах?

Причетник, прятаясь за спиною студента, забулькал и зашипел.

— Я полагаю... Я пришел к тому убеждению, что сие касается исключительно дворянства! — выпалил студент. — Оно — причина, так, значит, оно должно и подумать...

Левшин нахмурился.

— Вы говорите, государь мой...

Этот долговязый узкогрудый парень ему не понравился с первого взгляда. Все, начиная с темного лица и кончая голосом, возбуждало в Левшине чувство, близкое к злобе.

— Я говорю, что крестьян надо освободить и наделить землю. А кроме того, плачевное положение духовенства...

— Вы думаете о том, что говорите? — понизив голос, осведомился ротмистр.

— Тиша! — робко предостерег студента поп.

— Вы, господин ротмистр, спрашиваете нас, что мы думаем. Ну, вот, по чести и совести... То есть, как образованный человек... Хотя мне и пришлось уйти по недостатку средств и слабости здоровья из храма науки...

Левшин нетерпеливо махнул рукой.

— Да поймите же, государь мой, ежели вы, в самом деле, образованный человек, что столь огромной важности государственные вопросы не могут решаться так скоропалительно. Ежели даже предположить, что реформа сия потребна и возможна, то ведь она означает ломку всего существующего строя. А у нас на шее затянувшаяся война с Турцией!

— Зачем нам Турция! — проворчал Тихон. — Будто у нас самих земли мало.

— Столица государства вовсе не обеспечена от нападения воинственных шведов! — продолжал, не слушая его, Левшин. — На западе положение крайне запутанное. Прусский король...

— Скоро сто лет, как мы только и знаем, что воюем да воюем! — твердил студент. — Петр все жилы из народа вымотал войнами. Анна воевала. Елизавета воевала. Теперь Екатерина... Давно ли была Семилетняя война? На кой прок нам понадобилось в Пруссию лезть? Что, у нас самих земли мало, что ли? Лучше бы занялись собственным домоустройством, нежели лезть в чужие страны... На что нам Крым? Для чего нам Черное море? Все богатства страны уходят на эти мордобои... Ну, вот, и довели до того, что народ поднялся!

— Значит вы, государь мой, дерзаете открыто заявить, что одобряете действия беглого казака Пугачева, поднявшего бунт против законной своей государыни?

Студент замялся. Потом, приободрившись, заявил:

— Нет, так нельзя... То есть, зачем так говорить? Что сие значит — «одобряю». или «не одобряю»? Но нам приходится рассуждать о том, что происходит. А происходит подобная древнеримским, гражданская распря. С одной стороны выступают плебеи, сиречь популус, то есть, народ. А с другой — оптиматы. И со стороны плебеев имеется выдвинутый народною толпою вождь, как бы новый Мариус...

— Это вы Емельке-то Пугачеву отводите роль Мариуса, победителя кимвров и тевтонов? — засмеялся! Левшин. — Ну, знаете, государь мой... Каких же кимвров и тевтонов победил сей новый ваш Мариус из беглых казаков?

— Позвольте. Так нельзя! Ежели начинать правильную дискуссию...

— О, господи! До дискуссий ли теперь?! — вскипел! Левшин.

— Тишенька! — умоляющим голосом прошептал отец Сергей.

— Позвольте мне иметь честь сказать несколько слов, — скромно вступился Штейнер. — Я позволял себе иметь такую мысль: так как мятеж принимал опасный размер и это задевает интересы всех честных граждан, то правительство должно немедленно принять экстренные меры. То есть, я размышляю так: за неимением возможности прислать сюда немедленно регулярный армия, — надо командировать сюда хотя бы только отборные офицеры. Тогда все честные бюргеры, которые молоды, должны составлять милицию. Да, да, бюргерскую милицию.

— Мысль правильная! — одобрил Левшин. — Но правительственная машина работает медленно. Местное население должно, не дожидаясь указки от правительства, само стать на защиту государства. Я имею полномочия приступить к устройству партизанских отрядов. В других провинциях партизанские отряды уже действуют...

— У нас тоже есть отряд помещика Ченцова, — вставил Штейнер. — Но он вел себя довольно странно...

Левшин поморщился.

— Я имею полномочия! — сказал он. — Действую по поручению полковника Михельсона. У меня имеется важная задача, с которой я справиться мог бы, если бы в моем отряде было лишних пятьдесят, шестьдесят человек. Человек пять ко мне уже присоединились. Оружие найдется: я заберу то, что найду здесь, по дороге.

— Весьма преотлично! — одобрил Штейнер.

— Но мне нужны люди. Дайте мне людей!

— То есть, как понимать? — испуганно осведомился Штейнер.

— Вот вы! — обратился Левшин к студенту. — Вам лет двадцать пять. Из вас мог бы выйти отменный солдат...

— Я? — удивился Бабушкин. — С какой стати? Я по убеждениям отрицаю войну.

— Вы отрицаете войну?

— Отрицаю. Даже в Священном Писании сказано: поднявший меч от меча и погибнет. А я не желаю... Да, я совсем не желаю погибать.

— Ну, а ты что думаешь, парень? — обратился Левшин к высунувшемуся из-за спины студента причетнику.

Тот забулькал и опять спрятался за студента.

— Как иерей Бога Вышняго... — начал тенорком отец Сергей.

Левшин нетерпеливо махнул рукой.

— Ну, с тебя, отче, взятки гладки! — засмеялся он с горечью. — Вон, пузо-то ты отрастил, иерей Бога Вышняго...

Причетник взвизгнул и оборвался.

— Сегодня суббота. Всенощная будет? — осведомился Левшин у священника.

— Полагается...

— Предлагаю тебе, батюшка, сказать проповедь!

— После всенощной? Не в обычай! Обыкновенно произносим поучение после обедни...

— Не до соблюдения обычаев теперь! Слушай, отец святой! Произнесешь проповедь...

— По тетрабочке — могу.

— Можешь и без тетрабочки. Обратишься к прихожанам. Скажешь им о затруднительных временах... Призовешь к исполнению обязанностей перед государством...

— У меня сего в тетрабочке нет! — всполошился отец Сергей. — Как же так — от себя? Я без тетрабочки не осилю.

— Да неужели же у тебя простого живого слова не найдется? Разве трудно сказать, что вот, мол, опасность грозит всем, что с опасностью надо бороться. Ну, скажешь насчет присяги, что ли... Взовешь к совести. Ну, придумай же что-нибудь...

— Без тетрадошки?

— Без тетрадошки!

— Предписаний на сей предмет от властей духовных не имею...

— Обойдешься и без предписаний. В селе сколько жителей?

— Человек до тысячи! — отозвался студент.

— Все крепостные.

— В заречной части человек триста вольных.

— Обратишься к ним: пускай хоть пяток парней дадут. Вбей им в головы, что это для их же блага. Ежели Емелька, не приведи господи, одержит верх, вашему Курганскому тоже не сдобровать. Пугачевцы не шутят... Уже огромный край разорен, словно мор прошел...

Кто-то задергал снаружи ручку двери.

— Кто там? — крикнул Левшин.

— Это я. Наговорились? — прозвучал голос Лихачева. — Отвори!

— Ну, я вас, люди добрые, больше не задерживаю!

Гости встали, как по команде.

— Имею честь кланяться, господин ротмистр! — вымолвил учтиво садовник. Остальные торопливо кланялись.

Когда они ушли, в комнату влетел красивый белый с рыжими подпалинами борзой Угоняй — любимый пес молодого Лихачева, а следом вошел и сам Юрий Николаевич.

— Ну что?

— Ерунда! — ответил угрюмо ротмистр. — Тут студент этот... В философские размышления пустился...

— Штафирка! — презрительно засмеялся Лихачев. — А я, брат, маленькую разведочку по женской части произвел. У князя дворни — видимо-невидимо. В одной швейной мастерской штук двадцать девчонок. Есть хорошенькие, шельмочки. Я с одной перемигнулся. Ксюшей кличут. Шустрая...

Взял опять книжку в сафьяновом переплете, принялся перелистывать, улегшись на диван. Угоняй лег на пол у дивана, положил умную голову на вытянутые передние лапы и смотрел лучистыми карими глазами на хозяина.

В комнату вошел старик Анемподист. Он привел с собою такого же старого повара Тита. Тит стал дребезжащим голосом докладывать, что он может приготовить на обед господам.

Тем временем отец Сергей, немец, садовник, причетник и студент шли, разговаривая, по пыльной дороге от обширного барского двора к стоявшему в четверти версты селу Курганскому.

— Ему хорошо говорить — «прочитай проповедь»! — ворчал священник. — Легкое ли дело — без тетрадошки, как, от себя? Что я, староверческий начетчик, что ли? Как же это можно? Разве я вития?

— Хорош гусь, нечего сказать! — в тон ему отзывался Тихон Бабушкин. — Становитесь, говорит, государь мой, под ружье! Это мне-то?! Да я, может, испытываю непреодолимое отвращение к крови. Да я даже с турками воевать не соглашусь: разве турки не такие же люди? Разве они меня чем обидели? А тут, на поди: войой со своими же! Опять же, кричат много: пугачевцы такие, пугачевцы сякие. А я этому не верю!

— Не веришь? — изумился причетник. И забулькал.

— Конечно, не верю! Разве они — не такие же люди? Ну, с помещиками, действительно, может, расправляются круто. Да я разве помещик? Да у меня только той и земли, что под ногтями! Чего им со мною схватываться?

— Но, молодой человек...

— Оставьте, Карл Иваныч! — запальчиво выкрикнул студент. — Вы — иностранный житель. Разве вы что-нибудь понимаете?

— Я очень мало понимал! — поспешил согласиться немец. — Я только видель, что среди русский народ нет любви к порядку. Для русский народ нужен такой государь, как прусский Фридрих!

Они подходили уже к околице, когда мимо них прокатила запряженная сытою пузатою кобылкой телега. В телеге сидела молодая краснолицая баба в ярко-желтом с красными разводами платке, а кобылкой правил светловолосый парень лет двадцати. Поравнявшись с ними, парень придержал кобылку.

— Чего тебе? — обратился к нему причетник.

Парень сдвинул набок шапку и вдруг звонко заржал. Баба в ответ рассыпалась серебристым смехом.

— Чего ржешь? — допытывался причетник, давась смехом.

— А я тоже жеребьячьей породы! — откликнулся парень. И опять заржал.

— Дур-рак! — крикнул причетник. — Вот я тебя!

Парень притворился испуганным и погнал кобылку.

Телега влетела в околицу, оставляя за собою медленно рассеивавшееся облачко рыжей пыли.

— Дразнится! — вымолвил причетник.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Жидкие, дребезжащие звуки небольшого колокола срывались с деревянной покосившейся колоколенки, растекались тонкими струйками по земле и гасли на просторе необозримых полей, замирая в камышах степной речки. За звонаря был уже знакомый нам мордатый причетник Дорофеич, с остервенением раскачивавший язык главного колокола. Подзванивал ему его сынишка, тринадцатилетний Кирюшка.

— Бей, не жалей! — время от времени взвизгивал Дорофеич, дергая измызганную веревку.

И Кирюшка, подпрыгивая, рвал тонкие веревочки малых колоколов.

Спугнутые колокольным звоном сизые голуби, для которых колоколья служила пристанищем, носились над широко раскинутым селом, вычерчивая в голубом небе круги.

— Передохнем малость, Кирька! — предложил сыну Дорофеич. — Уф-фа! Упарился дюже!

О забулькал, словно давясь смехом.

— Тятка! — крикнул глядевший в пролет Кирюшка. — Чего это?

— Ну?

— Птица, говорю, чево летит?

Дорофеич воззрился по тому направлению, которое указывала коричневая и покрытая корою струпьев от бесчисленных царапин рука Кирюшки.

— Воронье степное летит! — вымолвил Дорофеич.

— Тятка! А сколько их, воронья того? Будет сто?

— Сто?! Эв-ва, хватил! Тут, брат, тыщею пахнет. Одно слово — видимо-невидимо!

— А куда они, тятка, летят?

— Дурак? Аль не видишь? От восхода на закат.

— Из Сибири, тятка?

— Сибирь — далеко. Из степей... А, может, оно и впрямь из Сибири. Она, ворона, такая... Одно слово, каторжная душа...

— А зачем она летит?

— А кто ж ее знает. Поди, спроси ее!

— А как я ее спрошу? — допрашивал Кирюшка.

Плоское лицо Дорофеича засияло лукавою улыбкою.

— Самое простое дело. Возьми у мамки жменю соли, изловчившись, да и насыпь ей, вороне, на хвост. Она и сядет. А ты тут ей и производи допрос с пристрастием... Ха-ха-ха!

— И все-то ты врешь, тятка! — обиделся Кирюшка.

— Люди ложь, и я тож! Но, промежду протчим, давай-ка опять вдарим. Штой-то народ неоченно собирается до церкви! А што касаемо воронья, то пушай себе летит. Небось, здесь на жительство не останется. Налетит и пролетит, куда следует. У него, у воронья, говорю, свое дело. Ишь, словно рать какая идет. Валом валит...

— А с чево бы это тятка? — продолжал допытываться неугомонный Кирюшка.

— Может, свадьбу воронью празднуют...

— А рази бывает воронья свадьба, — усомнился мальчик.

— Ого. Та-кой тебе пир на весь мир задают! Одно слово — каторжные души! Но ты того, говорю... Не зевай! Вдарь-ка в малые колокола, покедова я язык раскачаю.

Задребезжали опять нестройно малые колокола. Потом раскачавшийся железный язык большого колокола коснулся его края. Колокол слабо и печально охнул.

— Не любишь? — засмеялся Дорофеич. — Прямо, боярин! Спокойное житье ему требуется. А, вот, я тебя как хлопну...

Сильнее раскачавшийся железный язык звонко ударил в край колокола, и с колокольни полились гулкие дребезжащие звуки.

— Бам-бам-бам...

— Тятка! От барской усадьбы солдаты на конях бегут, — весело вскрикнул Кирюшка.

— Вот и обнаружился дурак! — засмеялся причетник. — Это не солдаты: солдаты всегда пехтурою прут. А это гусары царские...

— Анпиратора Петра Федорыча?

— Опять дурак обнаружился! У Петра Федорыча никаких гусаров нету. Он гусаров страсть как не любит. Он все с казаками. Уральские казаки с им, опять же которые с Дону, а то, говорят, еще с Запорожья. Шапки на них — в аршин росту, верх алый, мешочком висит, а там еще кисточка. У кого золотая, у кого серебряная, у кого шелковая...

— Тятка! А для чего кисточка?

Дорофеича поразил этот детский вопрос. В самом деле, для чего кисточка?

Не находя ответа и не желая подорвать свою отцовскую важность признанием в своем невежестве, он сделал строгое лицо и важно сказал:

— Государственное, брат, дело. А ты лутче своим делом займись. Дерни-ка по всем по трем. Отзвоним да и с колокольни долой. Наше дело таковское. А отец Сергей се дни поучение будет говорить...

— Про што, тятка?

Что-то забулькало в горле причетника. Потом он, давась от смеха, вымолвил:

— Наподобие ослицы валаамовой.

— Я про ослицу валаамову знаю, тятка! — похвастался Кирюшка. — Ехал на ней там кто-то, а ослица вдруг как заговорит человеческим голосом... Ну, он испужался...

— Испужаешься! Ну вдарь-ка, вдарь!

— Блям-блям-блям! — залились колокола.

— Бамм... бамм... бамм! — загудел, дребезжа, разбитый старый колокол.

— Бросай, Кирька! — скомандовал причетник.

Мальчик коlobком скатился с лестницы колокольни, чтобы увидеть, как к паперти подходит отряд гусар под командою ротмистра Левшина.

Всех гусар с Левшиным было человек около сорока. Почти половину своего маленького отряда ротмистр оставил для охраны барской усадьбы. Юрий Николаевич Лихачев, загоревшийся желанием поволочиться в саду за хорошенькой золотошвейкой Ксюшей, тоже предпочел не покидать усадьбы.



Отряд производил не слишком внушительное впечатление: люди сидели на разномастных лошадях, среди которых попадались и высокие, горбоносые степняки-киргизы, и приземистые лохматые донские маштачки, и тяжелые ширококостные вислоухие кони саксонской породы, вывезенные из недр Германии пришедшими в Россию при Елизавете Петровне колонистами-немцами. Сам Левшин сидел на тонконогой стройной и красивой, почти снежно-белой кобыле, в жилах которой имелась хорошая доля арабской крови.

Обмундирование гусар было тоже не из важных: пообносились в походе. Зато оружие у всех было в образцовом порядке. Об этом заботился старый седоусый вахмистр Сорокин, попавший в гусары еще белогубым мальчишкой и до того сжившийся с солдатской жизнью, что добровольно остался на службе и тогда, когда по возрасту получил право снять с себя мундир. Сорокину было за пятьдесят, и он «сломал» несколько кампаний, так что с правом говорил о себе:

— Я, можно сказать, наскрозь всю землю прошел. Одно слово, видел и огни, и воды, и медные трубы, и чертовы зубы, а все же цел остался. Только что нутро у меня водкою попорчено. Баба-колдовка одна отравила, полячка ехидная...

Среди рядовых гусар Сорокин пользовался непререкаемым уважением, и Левшин, знавший старика еще со дней Семилетней войны, питал к нему полное доверие.

Маленький отряд на рысях прошел по два в ряд широкой и пыльной улицей села и задержался в нескольких шагах у паперти.

— Стой! Слезай! — скомандовал Левшин.

Как один человек, гусары очутились на земле.

— Четверо у коней! — распорядился вахмистр.

Левшин первым прошел в церковь. Солдаты последовали за ним. Стали в три ряда в правом притвора. Двое отправились к ктитору храма, тучному белобрысому мещанину, купили две дюжины тоненьких восковых свечечек и принялись расставлять их у икон. Храм быстро наполнился прихожанами, привлеченными не столько желанием помолиться, сколько любопытством — поглядеть на гусар. Лупоглазые бабы и девки, не обращая внимания на воркотню мужчин, тесным кольцом окружили гусар. Некоторые соблазнились и осторожно прикасались корявыми пальцами к мундирам солдат. Придурковатая Дуня, дочь деревенского общественного пастуха, так и застыла перед каким-то румяным черноусым молодым гусариком и бормотала:

— Андел пресветлый. Андельская душенька! Пуговки ясненькие, глазки андельские...

Кирюшка, засунув палец в рот, не спускал глаз с лица Левшина.

Облачившийся в лучшую, праздничную ризу, отец Сергей приступил к служению. Запел, вернее, заголосил находившийся под управлением одноногого старого солдата хор из десятка мальчишек и девчонок. В церкви стало душно.

По мере того, как подвигалась к концу торопливая, «на почтовых», служба, смутное чувство овладевало Левшиным.

Неверующим он не был и всегда неукоснительно посещал храм, выполнял все обряды, в положенное время постился, исповедовался и причащался. Но теперь не было сил заставить себя отрешиться от всего и отдаться молитве.

В душе была какая-то смутная тревога, словно предчувствие надвигающейся беды. Он позабыл о том что стоит в церкви и здесь идет богослужение. Думая о переживаемом

Россией тяжелом времени, в сотый раз доискивался причин и без труда находил эти причины: десятки, сотни...

Разве не ясно, что сейчас Россия только строится заново. Возведено несколько этажей, но настоящей крыши нет. Поставлены стены, но поставлены-то они наспех, а настоящего фундамента еще нет. И они, стены, все оседают и оседают, и чтобы они не свалились, их приходится подпирать грубо отесанными бревнами. В воздвигающемся здании уже имеются подвалы и каморки, темные углы, и там ютятся набившиеся с бору да с сосенки жильцы, среди которых много и таких которые влезли нахрапом. В наспех воздвигнуты стенах нет достаточного количества окон, а станешь их прорубать — соседи крик поднимают. А дверей много, и все нараспашку. И стоит только зазеваться, в эти двери прет зверье степное и лесное. Врываются в сумерки лихие люди. А станешь заставляя обитателей сторожить двери, бунтуют эти обитатели, жалуясь на тяжелую службу, ссылаясь на недосуг, спихивают с себя службу.

— Васкородие! — прервал подобострастный голос подошедшего причетника печальные размышления Левшина.

— Чего тебе?

— Батюшка спрашивают: начинать им?

— Поучение мирянам...

Мелькнула мысль сказать, что нет, не нужно поучения. Все равно, ведь...

Но голос Левшина сухо вымолвил помимо его воли

— Пускай начинает.

— Братие! — прозвучал с амвона жиденский, дребезжащий голос отца Сергия. — Какая польза человеку, аще и весь мир приобретает, душу же свою ошетит? Сказано бо есть — да обесится жернов осельский навые его, и да потонет в пучине морстей... И еще сказано: шедше, убо научите все языци... Будучи на острове Патмосе, святой Иоанн Златоуст им видение... Сиречь Зверя Багряного, имя же ему Антихрист, который... Гиенна огненная... Но зверь сей блуждает по миру, аки лев рыкающий, иский кого поглотити, дондеже не будет сокрушена глава его...

Голос отца Сергия оборвался. Левшин досадливо поморщился.

— Зачем он это? Ах, господи! Сказал бы прямо, что...

И тут же мелькнула мысль:

— Да! А что, собственно сказать-то? И кому? И где найдешь слова, понятные этому... стаду.

А из уст отца Сергия продолжали струиться миллионы раз повторявшиеся другими чужие слова:

— Сказано есть в Священном Писании: да повинуется, мол, всякая душа властем предержащим, поелику несть власть, еще не от бога, сущия же власти от бога учинены суть. Злоумышляющие же против власти будут звержены в гиенну огненную. Да...

Отец Сергий приостановился: потерял нить. Мучительно покраснел. На лбу появились капли пота, визгливо крикнул:

— Братие! Законная наша государыня императрица Екатерина Алексеевна...

Смолк. И вдруг из какого-то угла донесся чей-то четкий шепот.

— А которые говорят, што, мол, самый законный анпиратор будет Петра Федорыч...

Левшин рванулся в ту сторону, откуда прозвучал этот шепот. Сорокин предупредил его и нырнул в толпу. Испуганно взвизгнула придурковатая Дуня, бросилась бежать, упала и забилась в припадке, неистово крича:

— Андельские глазки. Андельские глазки!

В дверях храма произошла давка. Несколько десятков человек столпились там, сбившись в кучу. Потом образовавшаяся пробка выскочила на паперть и рассыпалась разбежавшимися во все стороны людьми.

— Сорокин! Отставить! — крикнул Левшин.

Когда Левшин вернулся из церкви в усадьбу и уселся за столом, ожидая ужина, Лихачев, валявшийся все с той же французской книжкой, сладко зевая, осведомился:

— Ну, что нового?

— Ничего! — ответил угрюмо ротмистр.

— А я тут без тебя провел время не без приятности... Моя Ксюша оказалась прелюбопытной персоной...

— Твоя Ксюша?

— Почему нет? — чуть покраснев, ответил молодой человек — Не скрою, что она еще не совсем моя. Еще чуточку дичится, упирается. Но, ах, какие у нее перси! Я думаю, и у описанной в этом поэтическом произведении господина Жюстэна прелестной Дорины или у ее очаровательной, хотя и ветреной, кузины Коринны юные перси не были нежнее...

— Невинная что ли?

— Из-за этого и упирается... Но она дала слово прийти ко мне ночью... А относительно тебя я тоже похлопотал у моей Ксюши есть закадычный друг — Нютка. Ксюша говорит, что ежели ты подаришь ее рублем, то она с превеликим удовольствием...

— Посмотрим! — рассеянно отозвался Левшин. — Но раньше поужинаем да послушаем, что нам скажет Сорокин. Я поручил ему произвести разведку среди местных жителей. Золотая голова. По-настоящему давным бы давно пора старику получить офицерский чин.

— Из подлого звания...

— Это вздор. Царь Петр Александра Меншикова из пирожников не токмо что генералом сделал, но и светлейшим князем. Да и матушка Екатерина мало ли кого в люди вывела? Беда, что Сорокин грамоте не обучен...

После ужина Сорокин в самом деле явился с подробным толковым докладом.

Живущие в селе Курганском крестьяне и мещане в общем держались спокойно. Особого недовольства против князя Курганова не было: он считался одним из наиболее добрых и снисходительных помещиков во всей округе. Крепостные барщиной не были обременены, князь входил в их нужды. Желаящие легко уходили на оброк, и оброк назначается незатруднительный. Дворовым жилось хорошо. Ну, конечно, провинившихся секли на конюшне, но больше для острастки. В селе было немало богатеющих на отхожих промыслах

людей. Разбогатевшие обыкновенно откупались. Нужды крестьяне не знали, но, разумеется, были бы не прочь выйти на волю. В заречной части села, где жили вольные крестьяне и мещане, много кабаков. Пьют здорово. Многие пропиваются до нитки и тогда уходят в бурлаки, благо Волга близко. Вот этот-то люд и является опасным. Многие уже бежали к Пугачеву. Некоторые возвращаются, конечно, тайком, скрываясь по укромным местам. Это — ярые сторонники «Петра Федорыча». Они-то и мутят всю округу. В последнее время, когда стали ходить слухи о предстоящем нападении Пугачева на Казань, молодежь волнуется. Кое у кого припрятано оружие: по большей части только самодельное, больше из вилок, насаженных на длинные топоры, топоров, кистеней, ослопов, но, кажется, имеются и старинные пищали и пистолеты. Какой-то кузнец на одном из близких хуторов, где живут «столоверы», делает плохонькие сабли наподобие казацких. Целая семья зажиточного старообрядца из беспоповцев занимается выделкой пороха. Зажиточные крестьяне побаиваются прихода «Петра Федорыча», опасаясь подвергнуться ограблению. Высказывается недовольство идущими один за другим рекрутскими наборами. К войне с турками относятся недоброжелательно, заявляя, что их губернии это дело вовсе не касается. Ежели нужно хохлам воевать с турками, пускай хохлы и дерутся. Сюда, на Волгу, никакие турки или татары и сунуться не посмеют. А ежели бы и вздумали сунуться, то мы, мол, им морду набьем...

— Одно и то же, одно и то же везде! — пробормотал, сердито кусая губы, Левшин. «До нас турок не дойдет». «К нам поляк не доберется». Дубовые головы!

— По хуторам у старообрядцев прячется много беглых солдат. Присылавшиеся из города военные команды для ловли беглых уходят с пустыми руками, так как у беглых везде много «дружков». Расставляют по дорогам дозорных. Движение военных команд известно заранее. К тому же, случайно арестованные беглые обыкновенно откупаются. Земские ярыжки за полтину заведомых душегубов выпускают на волю.

— Одно и то же, одно и то же везде!

— Торговые люди сильно-таки побаиваются беспорядков и потому зарывают самое ценное имущество в землю. Многие на всякий случай перебрались уже в Казань, полагают, что до Казани Пугачеву не добраться...

— Одно и то же, одно и то же везде! Вместо того, чтобы тушить пожар, расползаются, как тараканы. О, господи!

— Да неужто верят, что Пугачев — не Пугачев, не беглый казак Емельян, а воскресший Петр Федорович?

— Больше дурака валяют. Да им что?! Сами же говорят; что ни поп, то и батька. Кто гривенником пожалует, тому и к ручке.

— Вот, он их «пожалует»! — потягиваясь, вымолвил с дивана Лихачев.

— Ну, а наши люди как? — осведомился Левшин.

— Наши — в полном порядке, вашбродь... Вымуштрованы... Там и держатся. Да им что?! От дому давно отбились, батек с матками, поди, и перезабыть успели. Мудрость военную вбили им в башки крепко. Опять же, разве работа им тяжела? На постое только и заботы, что девок портить. Побаловался с одной, на другую лезет...

— Не шепчутся?

— Этого не слышать. Да я зорко слежу...

Левшин выдвинул из стола ящик. Там лежали сто рублей, взятые им под расписку из конторы Курганова.

— Вот тебе, Сорокин, пять рублевиков! — сунул он пять больших серебряных монет елизаветинской чеканки.

— Покорно благодарим, васкородь... Премного довольны! — весело отозвался вахмистр.

— Твоим трем подручным — раздашь по три рубля.

— Слушаюсь!

— Остальным по рублю. Да скажи: будут себя вести молодцами — в обиде не будут...

Сорокин сгреб деньги в появившийся откуда-то холстяной мешок и вышел, позвякивая шпорами.

— Юрочка...

Но Лихачева уже не было. Покуда Левшин выдавал деньги своему вахмистру, молодой человек, услышавший легкое постукивание в уголок окна из сада, тихонько покинул столовую.

— Эх! А ну его к черту! — вырвалось почти стоном в Левшина. — От судьбы не уйдешь!

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В этот час, далеко от Кургановки, где, запершись в угрюмой столовой флигеля, метался, как раненый зверь, ротмистр Левшин, теплая летняя ночь проплывала над сонным Финским заливом, над выросшим по воле могучего императора на плоском берегу моря крошечным городком, состоявшим тогда из дворца, облепивших дворец служб, казарм и нескольких десятков летних дворцов петербургской знати.

Сюда государыня-императрица Екатерина Алексеевна переехала с началом лета, чтобы подышать свежим морским воздухом, вдали и вместе так близко от шумной столицы, с которой городок связывался прекрасно устроенным и отлично содержимым трактиром.

Почти целый день царица проводила в пышно разросшихся за шестьдесят лет садах, созданных самим Петром, возле прославленных фонтанов, устроенных наподобие знаменитых версальских.

К вечеру, когда смеркалось и с моря начинало тянуть сыростью, императрица удалялась в любимый ею «правый флигель», выстроенный и обставленный по планам гениального Растрелли.

Любимый полк царицы — старый и славный гвардейский Преображенский полк — нес бессменно караульную службу, охраняя безопасность и покой повелительницы величайшей в мире империи. Гарнизон летней резиденции императрицы состоял, не считал Преображенского полка, из двух эскадронов рослых кирасир, полка егерей, нескольких батарей, двух батальонов морской пехоты и двух рот саперов. На море, поблизости от берега, и днем, и ночью крейсировала небольшая, но отлично вооруженная эскадра из двух ста двадцати пушечных фрегатов, двух быстроходных корветов, нескольких люгеров, шлюпов и, наконец, недавно пришедшей из Англии роскошной яхты «Славянка».

По ночам с террасы летнего дворца видно было, как медленно проплывающие перед плоским песчаным берегом суда обмениваются друг с другом таинственными световыми сигналами, словно напоминая друг другу о необходимости неусыпно смотреть, наблюдать за всем, происходящим в море и на берегу. Иной раз и с берега, с плоской крыши, выстроенной еще при Анне Иоанновне, приземистой, грузной круглой башни, тоже подавались в море световые сигналы.

И днем, и ночью по тракту скакали верховые курьеры, приносившие из столицы вести и уносившие в столицу отданные императрицей или от ее имени новым канцлером графом Загорянским распоряжения по делам обширной империи.

Императрица пользовалась летним отдыхом, но этот отдых выражался только в прекращении дворцовых балов, всяческих торжеств и приемов. Работа по управлению огромным государством не прекращалась. Все нити управления сходились здесь, в этом жившем, казалось, такой спокойной, такой размеренной жизнью поселке, точнее сказать в комнатах императрицы, в этих пышно убранных покоях, переполненных предметами искусства и книгами на всех европейских языках.

Граф Алексей Петрович Загорянский, только в апреле получивший место канцлера, почти безвыездно пребывал в летней резиденции императрицы. В его распоряжение были отведены апартаменты в левом флигеле дворца. Там же располагалось отделение его канцелярии.

Внезапное назначение Загорянского многими было истолковано, как то, что Загорянскому, человеку уже пожилому и вовсе не отличавшемуся красотой лица и изящными манерами, почему-то удалось добиться особой благосклонности со стороны императрицы.

Но это было простой сплетней. Благосклонность императрицы к нему покоилась на совершенно иных основаниях. Еще в первые дни пугачевского восстания, когда в Петербурге все были убеждены, что для подавления восстания беглого казака будет совершенно достаточно командировать в соответствующую провинцию какого-нибудь расторопного полкового командира со сборной командой, да дать ему право распоряжаться и местными гарнизонами, Алексей Петрович Загорянский, тогда еще не граф, а просто Загорянский, прошедший хорошую школу дипломатической службы, подал государыне обстоятельную записку по делу Пугачева. В этой записке Загорянский, ссылаясь на свои знания приуральской области, откуда сам он был родом, и на знание быта яицких казаков и старообрядцев, а также и на собранные им сведения в дни его пребывания в роли советника при посольствах в Стокгольме, Берлине и Вене, указывал на крайне важное значение пугачевщины, на почти недоказуемую, но не подлежащую сомнению связь этого движения с вечно плетущимися за границею интригами против России и настаивал на необходимости принятия сперва беспощадно крутых, но проводимых по строго выработанному плану мер для подавления самого движения, а позже — мер для умиротворения всполошенного пугачевцами населения путем больших реформ. В заключение Загорянский писал:

— Сие движение грозит страшной опасностью не токмо спокойствию и благосостоянию, но и самому существованию империи. Оно неизмеримо более опасно, нежели подавленный при Петре Великом булавинский бунт, и даже более опасно, чем бунт Стеньки Разина, который едва не погубил московское царство.

Докладная записка заканчивалась воззванием к императрице:

— Внемлите, Ваше Императорское Величество, моему предостерегающему гласу. Да не будет сей глас мой гласом вопиющего в пустыне. Вспомните в сей роковой час слова великого императора Петра Алексеевича, что бывают в жизни правителей такие обстоятельства, когда промедление времени смерти подобно.

Поданная Загорянским государыне докладная записка тогда не имела ни малейшего успеха. Кто-то из близких к государыне людей посмеялся над сочинителем записки, обозвав его «мокрой курицей» и «пуганой вороной». Самой государыне записка показалась почти дерзкой и, во всяком случае, совершенно неуместной. Загорянский получил в скрытом виде выговор «за вмешательство в дела, которые его не касаются», и уехал в свою подмосковную усадьбу с именем человека, карьера которого погибла. И вот его предсказания оправдались. Пугачевское движение, считавшееся таким ничтожным, приняло грозные для безопасности государства размеры. Мало того, обнаружилось документально, что этим движением пользуются некоторые враждебные России иностранные государства. Императрица, обладавшая хорошей памятью, снова обратилась к лежавшей в архиве записке старого дипломата и перечитала ее несколько раз. Фельдъегерь примчал Загорянского в столицу. Ему был оказан самый милостивый прием.

— Кто старое помянет, тому глаз вон! — сказала с обворожительной улыбкой государыня, протягивая руку для поцелуя Загорянскому. — Я надеюсь, граф Алексей Петрович, что вы не откажете вашей государыне в совете и содействии!

— Я не имею права на графский титул, ваше величество! — рискнул поправить ошибку императрицы Загорянский.

— Вы имеете право на этот титул, Алексей Петрович! — ответила она.

Через несколько дней новый граф сделался российским канцлером.

— Для организации борьбы с «Петром Федорычем» люди у меня уже подобраны, — сказала ему государыня, — но заведывание иностранными делами имеет особое значение в сие тревожное время. Вы будете канцлером, а в то же время будете и моим ближайшим советником по делу об этом дерзком бунтовщике.

Загорянский принялся за работу. По его указаниям государыня отправила на Волгу, предоставив чрезвычайные полномочия, генерала-аншефа Кобчикова — одного из своих прежних фаворитов, человека высоко образованного, обладавшего государственным умом. Из надежных провинциальных гарнизонов были выделены части войск и произведено стягивание их к приволжским губерниям. В помощь Кобчикову отправлены знакомые государыне своей храбростью и опытом гвардейские офицеры. На дворянство и купечество произведен нажим: государыня потребовала для борьбы с «Емелькой» людей и денежных средств. Многие опустившиеся, обленившиеся или просто неспособные губернаторы были смещены и заменены свежими людьми.

К несчастью, генерал-аншеф Кобчиков, едва принявшись за работу, сгорел от какого-то таинственного недуга в несколько дней. Было отнюдь не лишнее оснований предположение, что какому-то подосланному Пугачевым эмиссару удалось подкупить слугу Кобчикова, и генерал был отравлен, едва успев осуществить первую, чисто подготовительную часть своей работы.

Смерть Кобчикова была тяжким ударом. Заменить его было нечем, по крайней мере на первых порах, ибо не хватало людей и для доведения до конца блестяще начатой, но потребовавшей тяжких жертв войны с Турцией. А на Западе собирались тучи, и государыня ясно видела, что уже близок день, когда и там разразится давно готовившаяся гроза.

Об этом говорилось теплой и мгливой летней ночью в «венцианской столовой» дворца на берегу Финского залива за ужином, на котором присутствовало всего несколько близких к императрице лиц: любимец Екатерины Нарышкин, которого государыня звала «шпынем», недавно приехавший из Перми граф Строганов, владелец колоссальных пространств земли и ста тысяч душ крепостных, считавшийся тогда одним из самых богатых людей не только в России, но и в Европе, бывшая раньше близкой подругой императрицы, но и после

охлаждения дружбы все же сохранившая свое влияние на государыню графиня Воронцова-Дашкова, тогда президент Академии наук. Присутствовал и новый канцлер, граф Алексей Петрович Загорянский, человек лет пятидесяти, уже начинавший тучнеть, с некрасивым, но умным лицом и зоркими, черными, совсем молодыми глазами.

После ужина перешли в «китайскую гостиную» — большую комнату, стены которой были затянуты золотистым китайским шелком с неподражаемыми, шитыми шелками разных красок изображениями сказочных зверей, птиц и цветов.

Усаживаясь за ломберным столом, императрица вымолвила задумчиво:

— Мои французские друзья бомбардируют меня письмами с советом объявить немедленно освобождение крестьян. По их мнению, это является единственным верным способом умиротворения страны...

— Вздор! — сухо сказал граф Строганов.

— Это разорит всех нас! — откликнулся капризным тоном Левушка Нарышкин.

— Ежели бы только дело ограничилось разорением помещиков, — медленно и веско промолвил Загорянский, — это было бы еще полбеды. Но внезапная отмена крепостного права означает мгновенную ломку и развал всего строя. Сие было бы разрушением всего государства. Столь глубокие преобразования могут быть производимы только в мирное время, когда всему зданию власти не грозит ни малейшая опасность. Да и то требуется для сего большая подготовка.

— У дворянства немало грехов, — отозвалась Воронцова-Дашкова, — но ведь это единственное сколько-нибудь просвещенное и сколько-нибудь государственно мыслящее сословие!

— Единственный, покуда, источник, из которого можно черпать потребный состав для офицерства и высших чиновных рангов! — подтвердил Загорянский. — От дворянства можно и должно требовать жертв на пользу отечества, но уничтожать дворянство нельзя. Освобождение крестьян без выкупа есть уничтожение всего сословия. Уплатить же дворянству вознаграждение за освобождение крестьян нечем. Не забывайте, что и наша промышленность в значительной степени находится в руках того же дворянства. Бюргерского сословия у нас, собственно говоря, имеются только зачатки...

— Нам надо считаться с возможностью осложнений со стороны иностранных держав, — задумчиво сказала императрица. — Последние депеши из Лондона, Берлина и Вены говорят, что между правительствами сих держав деятельно идут таинственные переговоры. Старая лиса, Фридрих прусский, подбивает других. Чесноков пишет из Лондона, что там открыто говорят о большом европейском союзе для войны с Россией.

Помолчав, она задумчиво вымолвила:

— Ненавидят они нас. Вся Европа ненавидит!

Улыбаясь кончиками губ, Загорянский тихо откликнулся:

— Ненависти настоящей нет. Но желание раздавить нас — оно имеется. Еще Генрих IV накануне своей смерти от ножа сумасшедшего Равальяка вел переговоры об образовании европейской коалиции, целью которой было выгнать русских или, как говорили, «московитов», из Европы в Азию. Сто пятьдесят лет тому назад шведский король поздравлял сейм с тем, что «Московия перестала существовать». Полтава произвела ошеломляющее впечатление на всю Европу.



Друзей у нас не было, нету и не будет. Да и вообще, разве могут быть «друзья» у государства. У него могут быть союзники, когда это представляется им почему-либо выгодным, но о дружбе смешно и говорить...

— У нас и союзников нет! — скорбно вымолвила государыня.

— И никогда не было! — подтвердил Загорянский. — Дабы союз был прочен, надо, чтобы он покоился на общности интересов. Какая же общность интересов может быть между Россией и другими государствами? Торговые интересы очень слабы: мы почти ничего не покупаем у соседей, да и вывозим за границу сущую малость. Все могут отлично обойтись и без нас. А что касается общности политической, то и ее трудно найти. Вон, при покойной государыне Елизавете — мы это на опыте узнали — наши союзницы Австрия и Франция боялись нас чуть ли не больше, чем Фридриха. Нам они отводили роль того кота, лапками коего хитрая обезьяна каштаны из огня вытаскивать любит...

Кто-то засмеялся.

— Надо, однако, признаться, — продолжал Загорянский, — любить-то нас есть ли за что? Для всего католического мира мы — «схизматики», злые еретики, та же ненавистная им еретическая Византия, только перебравшаяся с берегов Босфора в брянские леса да в московские болота. Для некатоликов мы — «азиаты», степные варвары, орда, нахрапом влезшая в Европу и раскинувшая свой стан на тех местах, которыми многие соблазняются. Ну, да и то сказать: за нынешний век напугали мы старушку Европу немало. У нее, дамы сублильной и тонкого воспитания, сложение деликатное. Ей частенько и невесть что мерещится, когда она в расстройстве обретается. А тут под боком сидит в частом ельничке, подберезничке этакий медведь лохматый да косолапый и нет-нет да и рявкнет. А ей, Европе, сейчас же казаться начинает, будто медведю надоело в своей труппе обретаться и вот-вот вылезет он оттуда да и начнет европейских коров, а может и самих пастухов, драть...

В этом смысле еще батюшка грозный царь Иван Васильевич своей борьбой с Ливонским орденом всей Европе надолго настроение испортил. А батюшка Петр Алексеич — и того хуже. Вишь, пришла ему такая причуда окно в Европу прорубить. А Россия-матушка, которую швед от прорубленного Петром окошечка отогнать норовил, высунула в окошечко не лик свой прекрасный девичий, а ручку, хоть и белую, да очень уж увесистую, а в ручке — петровского мастера Винуса игрушечки: штыки кованые, сабельки острые да пушки горластые. Кому же приятно сие зрелище?

— Кругом враги, крутом враги! — с горечью шептала императрица, задумчиво раздавая игральные карты.

— У всех это так! — продолжал Загорянский. — Не мы одни. Ежели в древности некоторый мудрый философ понял истину, что, мол, «человек человеку — волк», то пора бы и нам додуматься до сей простой истины, что «государство государству — тигр лютый». Ну, и сделать из сего соответствующий вывод...

— То есть? — заинтересовалась императрица.

— Каждый народ должен надеяться на себя и только на одного себя. В черный час никто ему из соседей помогать не станет, никто его не вздумает спасать, а, напротив, как только увидят, что он ослабел, накинутся на него как шакалы и гиены. Значит, надо уметь себя самого защищать. Надо иметь зубы острые, когти крепкие, стальные лапы могучие, голову светлую. Тут уж церемониться не приходится. В политике нет права. Есть одно только право: то, кое дается силой. Ежели уж на то пошло, это и есть настоящее право, законнейшее право на существование. Красных слов можно наговорить сколько угодно. Философскими рацеями можно хоть пруд прудить, хоть гать гатить, но суть от этого не изменится. Выбора нет: или быть в рабстве у других или не стесняться быть господином. Вот у нас, взять для примера,

были рядышком Москва и Казань. Ну, и додумалась Москва: или Москве быть, или Казани. И поперли наши под Казань...

Легкая тень промелькнула по красивому молодежавому лицу императрицы. Тень тревоги: последние донесения с Волги говорили, что орды Пугачева снова тронулись по направлению к Казани.

— Как-нибудь, бог даст, справимся! — поторопилась она утешить сама себя.

— Наше горе в чем? — продолжал Загорянский, — Это еще при нашествии монголов сказалось. Да и раньше, при первых же князьях, сказывалось. Взять хотя бы Мономаха... Растеклась Русь по огромному пространству. Ну, и распозллась на множество почти отдельных, так сказать, племен. Кто-то, скажем, бьет курян. А не столь близкие киевляне радуются: «Накладывай ему по загорбку!» — «Чего радоваться-то?» — «А куряне у киян клочок земли оттягали!» А какие-нибудь, скажем, смоляне, так те так рассуждают: «Пуцдай он курян хоть выпотрошит. Нас это не касается. Мы в своей берлоге сидим. Он до нас не доползет. А ежели доползет, то мы его на рогатину». Ну и бьют порознь. Знают русскую слабость...

— Вы хотите сказать, граф, что в нашем населении нет еще сознания общности отечества?

— Нет, ваше величество! Вот, совсем недавно я был по делам в Харькове. Белгородской провинции городишко. Ничего, живут себе люди... Родственники у меня: с Квитками породнились мы еще при Анне Иоанновне. Вот, заговорил, что, мол, на Волге не ладно. Даже не слушают. «Далеко очень. До нас и не дойдет... Нам какое дело». Оказывается, впрочем, что и до хода дел на войне с турками им тоже дела нет: далеко. Все равно, ежели турки наших и побили, то ведь до Харькова им не дойти. Заговорил я о том, что вот, мол, за Пруссию ручаться не приходится. Опять сонное чавканье: «Немчура к нам не долезет»... Позабыли, болваны, что ведь долез же Карл XII из своей Швеции до близкой к ним Полтавы. Позабыли, что уж совсем недавно татарские «загоны» под самым Харьковым смазливых хохлушек, как куропаток, ловили да на продажу в Феодосию, сиречь Кафу, генуэзцам волокли...

— Печально...

— Воистину печально, ваше величество. Но со всем этим надлежит считаться.

— То есть?

— То есть люди, которые сознают себя не курянами, киянами, туляками, пермяками или сибиряками, а прежде всего — русскими; люди, которые понимают, что выбора нет: или стать чьими-нибудь рабами, или защищаться, ни перед чем не останавливаясь, пускать в ход и руки, и зубы, и когти; люди, которые понимают, что защищая Россию, как государство, не только от врагов внешних, от иностранцев, но и от врагов внутренних, от своих же, они защищают прежде всего тот же самый русский народ, — эти люди не только имеют право, но и обязаны вести борьбу, ни с чем не считаясь, ни перед чем не останавливаясь.

— Мысль, конечно, верная...

— Ни с чем не считаясь, ни перед чем не останавливаясь! — подчеркнул снова Загорянский. — Полумеры ни к чему не ведут. Пример — Петр: ежели бы он ограничивался полумерами в борьбе с буйными стрельцами, он сломал бы себе голову и не спас бы Россию.

— Но ведь мы же...

— Мы теперь тоже ведем решительную борьбу с Пугачевым, ваше величество, — хотите вы

сказать? Отчасти. Но не совсем... Мы еще не раскачались. Ежели мы с вами, ваше величество, уже понимаем, что речь идет о том, быть ли России или нет, то многие ли, кроме нас, понимают это? Много ли людей из дворян записалось в войска, чтобы защищать Россию? Много ли людей дало купечество? Что сделало духовенство? Что сделали монастыри, в которых собрались огромные богатства?

— Я знаю уже, в общих чертах, ваш план действий, Алексей Петрович! — сказала императрица. — Во многом я согласна. Завтра мы устроим маленькое совещание. Я графа Орлова жду утром. Он — верный и преданный друг и слуга. Его советы мне всегда приносили профит... А, кстати, завтра придет и донесение о положении дел в Малороссии...

— На Малороссию надо обратить сугубое внимание, ваше величество...

— И на казачество.

— Вена пострашнее буйных запорожцев. Гнездо запорожцев, в конце концов, можно без особого труда и уничтожить. Но Вена, Вена...

— Что-нибудь новое?

— Все то же. Еще при Анне Иоанновне обнаружена была пропаганда в пользу отделения сего края от России.

— Дело о заговоре Мельоранского!

— Да. Так называемое «дело Мельоранского». На самом же деле речь идет о «деле Венского Двора», советники коего вот скоро сто лет носятся с планом отторжения Малороссии от России, с тем, дабы образовать из отторженной части новое Великое Герцогство и посадить на малороссийский престол с титулом Великого Гетмана какого-нибудь эрцгерцога...

— Идея, подсунутая Габсбургам нашими дорогими друзьями, отцами иезуитами. Но ведь Пруссия не допустит такого усиления Австрии Фридрих...

— Ваше величество! Австрия и Пруссия помирятся, поделив между собой Польшу. Дни Польши сочтены. Соглашение не будет ни долговременным, ни прочным, и пруссаки передерутся с австрийцами. Но это будет позже. А сейчас Фридрих удовольствуется получением северной части Польши, Курляндии, Лифляндии и Литвы, а за эту взятку предоставит австрийцам право распоряжаться остальной частью Польши и любой частью Малороссии. Австрийцы зарятся даже на Крым...

— Ну, это уже слишком далеко... Но, действительно, у наших добрых друзей, пруссаков, и, особенно, у австрийцев аппетиты великоньки...

Левушка Нарышкин, которому наскучили столь важные разговоры, с величайшим трудом подавил зевету, но судорожное движение его челюстей не ускользнуло от взора императрицы.

Она засмеялась добродушно и, шутливо грозя пальцем, сказала:

— Левушка! Я отправлю тебя в детскую... Бай-баиньки хочешь?

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В ту же ночь, но не на берегах Финского залива, а в далекой от моря Заволжской степи, в местности, называвшейся тогда «Чернятинскими хуторами», в недавно и словно волшебством из недр земных выпертом на поверхность огромном стане «армии» его пресветлого величества, государя «анпиратора» Петра Федорыча, несмотря на довольно поздний час, жизнь была еще ключом.

По степи, по дорогам и по бездорожью, к стану пугачевцев со всех сторон тянулись толпы по большей части оборванных и босоногих, но вооруженных косами, дубинами, рогатинами и даже старыми пищалями людей, ползли обозы, охранявшиеся конниками, неслись маленькие отряды дикого вида всадников. И шли сгонявшиеся для прокормления «анпираторской» армии табуны отобранного у населения крупного и мелкого скота. Слышалось тревожное мычание коров, блеяние овец, ржание коней, то звонкие, то хриплые голоса перекликавшихся людей.

В самом стане, раскинувшемся по обоим берегам речки Чернятинки, горело бесчисленное множество костров. И от этих огней, насыщавших сухой степной воздух едким дымом горящего кизяка, над станом Пугачева стояло отливавшее багровым светом зарево.

«Армия» воскресшего «анпиратора» состояла приблизительно из пятнадцати тысяч человек. Почти весь этот люд пребывал под открытым небом, расположившись у костров. Здесь и там стояли распряженные крестьянские телеги, купеческие «брички», «гитары», но попадались и старинные тяжелые рыдваны и такие же тяжелые, хотя и не столь старые, дормезы — добро, захваченное восставшими в дворянских усадьбах и купеческих хуторах. Экипажи, начиная от телег и кончая дормезами и бог весть как попавшими сюда двухколесными арбами, служили приютом для сопровождавших «армию» женщин разных народностей: кроме русских баб и девок, кроме казачек с Яика и с Дона, здесь были косоглазые киргизки с плоскими лицами, башкирки, похожие на странных зверушек калмычки, казанские татарки, чувашки, черемиски, мордвинки. Единственно общим для всей этой массы женщин была их молодость, старух среди них почти не было, если не считать нескольких десятков ведьмообразных цыганок. И не было или почти не было и девочек моложе десяти лет.

Здесь и там виднелись самого странного вида шатры из рогож и тряпья, войлочные кибитки, походные палатки. На правом берегу Чернятинки на небольшом, пологом пригорке виднелось около двух десятков убогих, приземистых, крытых камышом мазанок. Здесь помещался сам Пугачев со своей свитой.

В одной из таких мазанок, охранявшейся отрядом отлично вооруженных казаков, была «ставка его пресветлого величества».

В этой ставке еще не легли.

«Граф Путятин», он же в недавнем прошлом каторжник Зацепа, по прозвищу «Резаны Уши», прославившийся долгими разбойничьими похождениями на южном Урале и в Сибири, а теперь считавшийся правой рукой «анпиратора», главным стратегом и начальником личного конвоя Пугачева, вел допрос новоприбывшим в стан людям. Пугачев был тут же, но только изредка вмешивался в дело. Он только что поужинал, уничтожив огромное количество поджаренных на костре кусочков сочной баранины, выпил две баклаги крепкого сладкого вина, отяжелел, осоловел, и ему захотелось поскорее уйти в клетушку, в которой его ждала сегодня только что привезенная ему в дар одним из присоседившихся к «армии» «вольных» казачьих полков молодая, пригожая, русоволосая и голубоглазая «полоняночка», то ли попавшая в руки «пугачиков» поповна, то ли не успевшая бежать в Казань дворянка.

О ней Пугачев знал только, что звали ее Груней и что у нее был шестилетний братишка. Но захватившие ее в перелеске люди, вполне справедливо рассудив, что «на кой ляд еще и щенка дворянского к батюшке-царю ташшить?!», попросту перехватили ребенку горло

засапозным ножом и бросили еще трепетавший трупик в овраг.

Рассеянно вслушиваясь в ход допроса, Пугачев все вспоминал о полоняночке.

«Беленькая! — думал он, — Тельце-то холеное, сладенькое... Одно не ладно: визжит она больно... Ты ее по-доброму, по-хорошему, за грудку щипнешь, а она вся трепыхается, будто ты ее ножом ткнул»...

Он улыбнулся пьяной и похотливой улыбкой, вспомнив другую такую «полоняночку», с которой провел прошлую ночь

«Ничего себе была девчоночка. Гладкая. Спина пухлая, коса до пояса... Попищала, попищала сначала, а потом ничего... Только и молила, чтоб не убивал».

Зачем убивать? Успеется...

Утром он подарил полоняночку одному из своих ближайших соратников, шестидесятилетнему, но еще крепкому старику, кряжистому Анфиму Гундосову, потерявшему свой нос то ли от руки палача, то ли от «хранцузской» болезни.

— Жалую тебя, князь Трубецкой, за твои перед моим величеством важные заслуги... Бери, бери: пятки тебе будет чесать. А то киргизу какому, либо персюку продать можешь...

И Анфим увел из «ставки» помертвевшую от страха «полоняночку». Легонько подталкивал ее сзади, а она трусливо сгибалась и шла, шатаясь, как пьяная.

— Так ты как говоришь, пан? В артиллерийском деле, гришь, понимаешь? — прозвучал голос «графа Путятина».

Средних лет смуглый усатый человек, старательно выговаривая русские слова, сказал:

— Артиллерийскому и инженерному делу я, пан, обучался в военном училище в городе Турине, в Италии. Аттестацию имел, на латинском языке, за печатями, равно как и аттестацию о моем, пан, служении в войсках его королевского величества, наихристианнейшего короля Франции Людовика, Пятнадцатым именуемого.

— Та-ак. Значит, и на разных языках обучен? По-немецкому маракуешь?

— Говорю... Но по-французски — лучше. Кроме того, морское дело изучал. Будучи в Америке два года сим делом занимался...

— Город такой, что ли? Большой?

— Континент целый. Новый Свет называется...

— Ну, ладно. Ну его к ляду, не касаемо... Насчет морского дела тоже, поди, без надобности. Нам по морям плавать не приходится... А вот насчет артиллерийского дела, это надо обмозговать... А как ты в Казань попал?

— За участие в конфедерации. Был незаконным образом арестован и выслан, несмотря на протестацию...

— Из конфедератов, Значит?

— Конфедерат.

— Слышь, ты, величество? — обратился Зацепа к осовевшему Пугачеву. — Еще один конфедерат!

Пугачев зевнул и перекрестил по привычке рот.

— Полячишка...

— Пушкарное дело, грит, дюже понимает... Опять же, энто-то самое, как его... анжинерное, мол, искусство...

— Бахвалится, поди? — усомнился Пугачев. — У них, у полячишек, гонору много. Набивал, скажем, капитану трубку да девок приводил на ночь, ну и сам себя сейчас в капитаны производит...

Поляк, скрипнув зубами, вмешался:

— Я от казанского коменданта аттестацию имею... В аттестации сказано: Чеслав Курч, бывший капитан польских королевских войск...

— Написать все можно, — протянул, потягиваясь, Пугачев. — Но, промежду прочим, чего тебе от нашего величества понадобилось? По каким таким делам?

— Хочу быть полезным... вашему царскому величеству! — выдавил из себя, Курч.

— Пользы-то с вашего брата, как с шелудивого козла, ни шерсти, ни молока...

— Ежели ваше царское величество решит идти на Казань, то могу оказать большую помощь.

— Каку таку? — вяло вымолвил Пугачев.

— Живучи возле кремлевской стены, имел я случай подземный ход под стену...

— Ну?

— И заложил я там пороховую мину. Истративши разновременно до пятидесяти рублей серебром, устроил я, говорю, большую пороховую мину.

— А толку-то что? Рази весь кремль на воздух взорвать собираешься?

— Весь не весь, конечно, но за взрыв значительной части стены беру на себя полное ручательство. Образуется пролом. Доблестные войска твоего царского величества, вовремя подведенные к надлежащему месту, смогут легко проникнуть в кремль...

— Коли не врешь, так правда... Да из-за чего вы, поляки, хлопчете. Ай моя Катька вам в печонку так въелась?

Пан Чеслав опять скрипнул зубами.

Пугачев услышал этот звук и засмеялся во все горло.

— Допекла-таки вас супружница моя? Хо-хо-хо!

— Как честный человек, положи руку на сердце, скажу, против Московского царства мы, поляки, сердца не имеем...

— Болтай, болтай!..

— Но любя свою родину и видя ее унижение и страшные бедствия, стремимся к обеспечению ее вольностей!

— Промотали вы, паны-горлопаны, свое королевство! — смеясь, сказал Пугачев. —

Пробенкетували... Народ вы какой-то больно уж драчливый... Бывал я у вас, в Польше...

— Если бы ваше царское величество только пожелали, то Москва и Польша могли бы сделаться союзниками на жизнь и смерть.

— Союзниками, гришь? Варшава да с Москвою? Чудное дело. Право слово, чудное!

— Польшу теснят и с запада! — продолжал Курч. — Круль прусский.

— Заливает вам горячего сала за шкуру? — обрадовался Пугачев. — Его взять на то! Он немец, перец старый, всем сала за шкуру заливать любит. Австрияков вот как расчесывал. Опять же французов... Ну, да и нашим попадало по загорбку. Помню, под этим, как его... Под Куннерсдорфом...

Зацепа предостерегающе кашлянул. Пугачев поморщился, но потом продолжал в ином уже духе:

— Одначе, тетки моей покойной, Лизаветы, армия этого немчуру тоже не одна причесывала разлюбезнейшим манером. Кабы не я, то быть бы ему карачун... Но ты, пан, между прочим, полегче бы выражался-то! Нашему царскому величеству король прущкой хоша и дальний, а все же сродственник. Опять же никто из государей на наше правое дело внимания не обратил, а он, прущкой, цидулку-таки прислал. Любезным братцем величает!

Поляк потупился. Тогда снова вступил в разговор Зацепа, сказав:

— По артиллерийскому делу, двистительно, нам польза может оказаться. Пушкарей у нас немало, да больно зря палят часто. По чему попало шпарят, а насчет дистанциев мало смотрят. Ежели ты, пан, в сам деле послужить хочешь, то так и быть, его царское величество может тебя своей милостью подарить...

— А что ты думал?.. — откликнулся Пугачев, потягиваясь. — Пуццай старается!

— Послать его к Тимош... к князю Барятинскому, что ли ча? — осведомился Зацепа.

— Валяй. Пуццай сговариваются, как и что... Может, и впрямь, насчет казанкова кремля что сварганят...

Сделав свирепое лицо, опять обратился к поляку;

— А ты, пан, того... Смотри, говорю! Я, брат, сам с усам. Чуть что — с живого кожу сдеру, а мясо псам скормлю:

— Ну, иди!

Позванные Зацепою-Путятиным часовые вывели поляка. Он был бледен, на лбу виднелись капли пота, но под лихо закрученными усамы играла довольная улыбка.

— Пора бы и кончать! — вымолвил ворчливо Пугачев. — Спать чтой-то хотца...

— Надо раньше энтого... сокола залетного допросить «Дружки» пишут, что, мол, внимания заслуживат...

Начался допрос стоявшего до тех пор в стороне молодого белокурого человека. У него было плоское, чисто славянского типа лицо с мелкими, по-своему приятными для глаза чертами, ровно подстриженная борода, отливавшая красниною, жиденькие усики, нос луковкой и серо-голубые глаза, смотревшие на окружающее с наивным любопытством.

— Ну, парень, докладывай! По какому такому государственной важности делу решился ты

потревожить его царское величество? — начал Зацепа.

— Желая принести посильную пользу народам, населяющим российскую империю, — зачастил явно заученную речь белокурый, — решился я, преодолевая многие трудности и пренебрегая опасностью для живота моего, обратиться к его царскому величеству с меморией, сиречь, докладной по государственным делам запиской...

— Из подьячих, что ли? — небрежно осведомился Пугачев. И покосился в ту сторону, где за не доходившей до потолка тесовой перегородкой находилась новая «полоняночка». Ему показалось, что кто-то там, за переборкой, всхлипнул... Наморщил брови.

— А ни боже мой! — запротестовал белокурый. — Мы по купечеству...

— Из шкуродралов, значит? Так! Ну, докладывай!

— С малых лет задумываясь о том, как бы полутче устроить все в российском государстве...

— Эвона, куда махнул?! — добродушно изумился Пугачев. — С малых лет хорошо в бабки, а то в городки играть... Ну, послушаем...

— Возлюбя всяческие науки...

— Поди, драли?

— Стремился я к расширению моего умозрения.

— А ты покороче! Что мне с твоего умозрения?

— Размышляя о причинах нестроения в российском государстве, нашел я оные причины в несоответствии государственного строя с законными вожделениями самого населения, которое, будучи от природы награждено острым умом, издревле стремится к прекращению тиранских поступков своих правителей...

— От Катьки да от ейных полубовников, дистительно, многие тиранства идут! — качнул головой Пугачев. — Она, немка, нашего первородного, можно сказать, сыночка и наследника свят-отеческого престола правов лишить замышляет. Собирается, говорю, на престол-то святой какого-то своего полубовника посадить... Но мы ей бока огладим, рога пообломаем. Мне цесаревич и то пишет: «Долго ли, мол, тятя, буду я терпеть злое тиранство маменькино и ейных полубовников»...

Опять Зацепа предостерегающе крякнул.

— Располагая неким достатком, сиречь денежными средствами, с согласия родительницы моей отправился я три года тому назад в заграничные земли, дабы изучить тамошние порядки.

— Ничего хорошего там нет! — вымолвил Пугачев. — У нас лутче. Люди сытнее едят... Ну, договаривай, парень. Только поторапливай! А то мы должны еще важным делом заняться.

Он покосился на перегородку.

— Изъездивши многие страны, нашел я, что наибольший порядок имеется у короля шведского в его королевстве. А почему сие? А потому, что права королевские там ограничены.

— То есть, как это? — любопытствовал Пугачев.

— Имеется у них, шведов, наподобие нашего Сената — рыксдаг, то есть представительная



палата. Само население выбирает в оный рыксдаг депутатов. Коих выбирает благородное сословие, коих духовенство, а коих градское сословие, сиречь бюргеры...

— Ты это к чему, парень? — воззрился Пугачев.

— И король шведский не имеет права без согласия рыксдага новые подати да налоги вводить, армию уменьшать или увеличивать, а буде ежели пожелает с кем войну вести, то должен предварительно о том советоваться...

— Это нам плевое дело! Без совета с министрами и Катька ничего не делает...

— И будучи в Штокгольме-городе, того королевства столице, узнал я от верных людей, что такое у них намерение имеется, чтобы королевской власти совсем не было...

— Корольку своему, значит, перо вставить хотят? — обрадовался Пугачев. — Здорово! Пущай их!

— А намерены они, шведы, чтобы заместо короля наследственного да был у них государству начальник по народному выбору и был бы его правам срок, скажем, в три или четыре года...

— А потом как?

— А потом население нового начальника государству выбирает...

— Народишко-то? — изумился Пугачев. — Ой, парень, брешешь ты что-то! Как же это можно, чтобы народ нам кого в правители выбирал? Да где же это видано? Царь, так царь, чтобы божьею милостью... Опять же, помазанный на царство... А как почнут выбирать, то будут только булгачить...

— История нас учит, что в древности многие государства по целым столетиям без царей обходились. Это республика называется...

— Как это?

— К примеру сказать у эллинов, сиречь древних греков, так было.

— У пиндосов? Нашел кого в пример ставить?! То-то их турка и прищемил. И пицать не смеют...

— Было сие также у древних римлян до кесарей!

— А нам-то что от того? Мало кто с ума сходил?! — засмеялся Пугачев. — Ну их, твоих пиндосов, к ляду. Ты лутче вот что... С которого, гришь, городу?

— Из города Серпухова.

— Есть такой! Знаем! Бог поможет, приведем и Серпухов под нашу высокую руку... А пока что брось ты, парень...

— Что бросить?

— Языком молоть. Ни к чему это! А ежели ты нашему царскому величеству служить желаешь, то бери-ка, скажем, ружье, а то хоть пику. Конька какого там дадут станишники...

— Я верхом не могу! — смутился белокурый.

— Свалиться боишься, что ли? Как мерзлые штаны на заборе, так ты на лошади? Ну, валяй к пехтуру!

— В солдаты?

— А чего нет? Вымуштруют, небось! Дело не мудрое. Не в енаралы же тебя сажать?

— Я на то призвание не имею!

— Какое такое призвание? В дьячки что ли мостишься? Так дьячки нашему величеству сейчас без надобности...

— Я полагал, для разрешения важных государственных вопросов... Будучи знаком с иностранными порядками...

— Брось! Рылом не вышел!

Пугачев поднялся и решительно сказал:

— Ну, будет языки чесать, а то волдырь вскочит. Убери ты его, граф. Наш канцлер вчера мне все уши протурчал, что, мол, в походной канцелярии писарей не хватает. Приткни его туды.

— Ваше вели...

— Нишкни. Законы писать вздумал? Царь выборный да еще на срок тебе нужен? Городишь ты чушь, парень: ну тебя...

— Да я...

— Уходи, пока цел! — нахмурился Пугачев. — Царя ему выборного захотелось?!

— Прирезать его что ль? — осведомился равнодушно Зацепа.

Белокурый помертвел.

— А хоть и веревкою удави! — ответил Пугачев, зевая и торопливо крестя рот. — Ему, сукиному сыну, царя выборного понадобилось...

Остановился. Вспомнил, что серпуховец пробрался в Чернятинский стан с письмами от разных далеких «друзжков».

— С Рогожского кладбища кого знаешь? — осведомился он у начавшего от смертельного испуга икать серпуховца.

— Отца... отца... отца...

— И сына, и святого духа! — смеясь, вымолвил Зацепа.

— Отца Варнаву...

— Варнаву знаешь? — удивился Пугачев.

— Он... грамотку... дал!

— По ошибке должно! Не думал, что ты дурак такой. Ну, черт с тобой! Ради Варнавы, душевного человека... Гостил одна у него. Живи... Сдай его, граф, господину нашему канцлеру, пуцай подметные грамотки пишет...

Выждав, когда Зацепа увел серпуховца, еле передвигавшего ногами и все еще икавшего, Пугачев направился за перегородку. Оттуда донесся его голос:

— Ну, ты, гладкая! Чего в угол забила? У-уй, горячая какая... А сними-ка ты с меня сапоги.

Так. Теперь ложись. Да не вздумай реветь, дуреха... Съем я тебя что ли. Да рубашку сними с себя!

Громоздкая деревянная кровать закрипела под тяжестью двух тел...

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Поздней ночью, перед самым рассветом, когда уже меркли звезды, настойчивый стук в дверь разбудил Левшина. Первым делом его было схватиться за лежавшие у изголовья пистолет и саблю.

— Ваша милость! Ваша милость! — взывал из-за двери взволнованный голос Анемподиста.

— Вставайте, вашскородь... — поддержал управляющего вахмистр Сорокин. — Кульер прибег...

— Входи! — крикнул Левшин, спуская ноги с широкой тахты на пол. Проведшая с ним эту ночь дворовая девка, имени которой он не знал, тревожно завозилась, словно стараясь забиться вглубь тахты.

В комнату вошли Анемподист с сальной свечой в руке и совершенно уже одетый вахмистр. У Анемподиста было бледное лицо, вытаращенные глаза, и руки его так сильно тряслись, что он чуть не уронил подсвечник, ставя его на стол. Сорокин был совершенно спокоен с виду, только его седые усы топорщились, это было признаком того, что старый солдат чувствует запах пороха в воздухе.

— Мать пресвятая Богородица... Иисусе сладчайший... Помяни, господи, царя Давида...

— Не лотошить! — оборвал Анемподиста Левшин. — Говори ты, Сорокин, в чем дело? Лихачева разбудили?

— Одеваются... Сейчас придут. Да вы, вашскородь, не извольте тревожиться... Время еще есть. Это он, Анемподист, зубами дробь барабанную выколачивает так, зря! — с усмешкой заметил вахмистр. — Но как пришедши разные новости, то я счел за лутчее потревожить вашескородие...

Девка, кутавшаяся в покрывало, как мышь, сползла с тахты и беззвучно скользнула в дверь. Под окном звонко крикнула какая-то пичуга. Со двора донеслось негромкое ржание коня. Залаяла и оборвалась дворовая собака.

— Людей поднял?

— Готовы. Лошади в порядке... Да время, говорю, еще есть...

Доклад Сорокина и Анемподиста не занял и полчаса. Во-первых, от полковника Михельсона, непосредственного начальника Левшина, прискакал гусар-гонец со словесным поручением Левшину бросить все и попытаться разогнать огромную шайку пугачевцев, которая, по-видимому, собирается перекинуться на правый берег Волги, а покуда занимает село Питиримово, и справившись с этой шайкой или хотя бы только напутав ее, идти на соединение с главным отрядом Михельсона. Относительно шайки, занявшей Питиримово, сообщалось, что в ней есть до тысячи человек, из которых до двух сотен конников, больше башкир, вооруженных копьями и луками. «Головку... шайки составляло человек сто, вооруженных старыми пищалями и охотничьими ружьями и собранных беглым каторжником,

бывшим сержантом Васькой Лбовым, который теперь именовал себя «его царского величества» енарал-аншефом графом Досекиным, а при случае выдавал себя и за «анпиратора».

— Старый знакомый! — усмехнулся Левшин. — Живуч, канальон этакий! Ну, да ладно! Повадился кувшин по воду ходить...

— Одначе, вашескородие, при Ваське артилерия имеется! — продолжал Сорокин. — Две пушчонки с собой таскают. Одна — мортирка махонька, так, больше ворон пугать, а другая — полевое орудие. Из мортирки они больше камнями да гвоздями шпарят при надобности, вреды большой не бывает. А что касасемо полевого орудия, то снарядов у них штук пятьдесят, больше не наберется... А пушками командует киргиз один, Сафетом зовут. Кривой на один глаз...

— Окривеет и на другой! — пробормотал Левшин, соображая, как надлежит действовать.

— Ежели, вашескородие, да не удастся нам их расчесать теперь же, то дней через пять наберется там и все три тысячи. Сброд всякий идет. Дезертиры, что по кустам да буеракам хоронятся, тоже соблазняются...

— Посмотрим. Ну, дальше!

Теперь настала очередь Анемподиста. Его новость была того же рода: стоящее всего в пятидесяти верстах от Кургановки большое торговое село Покровское занято другой шайкой пугачевцев, насчитывающей до двух тысяч человек. Эта шайка только что перебросилась в Покровское из Безводного, где пробыла три или четыре дня. Сами же безводновцы, присоединившись к пугачевцам после того, как их село было пугачевцами почти дочиста разграблено, подбили мятежников идти на Покровское, соблазняя возможностью здорово поживиться. Теперь Покровское уже ограблено, барская усадьба сожжена, скот или угнан в Чернятинские хутора для прокормления «царской» армии, или перерезан и съеден. Шайка еще не решила, куда податься, но покровцы и безводновцы подбивают ее идти на Кургановку: и усадьба, и село пошарпать можно.

— Беспременно придут сюды! — твердил растерянно старик управляющий. — Наш же крепостной, сучий сын, бывший буфетчик Назарка, треклятая его душа, постарается... Его за пьянство да воровство приказано было без очереди сдать в солдаты, да он разломал клеть, в которую был посажен до отправки в город, и сбежал пять месяцев тому назад. А теперь объявился в Покровском и бахвалится: я, дескать, сам скоро князем стану, а Кургановку по ветру пущу!

— У него здесь дружков много! — продолжал Анемподист. — Род их большой. Зятя да кумовья, да шурины, да двоюродные братья. Иные уже бахвалились: придет, мол Назарка, господ изведет, добро их поделит, а будет Курганское вольным селом. Ни тебе барщины, ни тебе оброка, ни податей. Живи, как хочца...

Несмотря на то, что Анемподистом каждую ночь выставлялись по дорогам караулы из хозяйственных мужиков, за эту ночь уже сбежали к Назарке три парня и одна девка.

— Отец Сергей тоже сбежал! — вставил Сорокин.

— Куда? В пугачевцы?

— Нет, — заторопился Анемподист, — куда ему — в пугачевцы! Он робкий. С робости и побег... У него в Старопавловске братан в дьяконах... К братану...

— Бегут крысы с тонущего корабля! — пробормотал Левшин. — Ну, черт с ними. Не до них!

Вошел уже успевший одеться, но еще полусонный Лихачев. Спросил, потягиваясь:

— В поход?

— Посмотрим! — ответил рассеянно Левшин, покусывая кончик черного уса и морща лоб.

— Подзакусить бы не мешало! Успеем что ли, Костя?

— Успеем. Распорядись...

Покуда слуги накрывали стол для завтрака, Левшин еще раз прошел по всему старому дому князей Кургановых. Дом был полон жизни, но почему-то казался огромным гробом. Дворовые шмыгали по покинутым господами покоем с испуганными и озабоченными лицами. Какая-то однорукая старуха отбивала поклоны перед большой, старинного письма иконой Казанской Божьей матери, стоявшей в опочивальне господ. Теплилась «неугасимая... лампадка. Блуждали по потемневшей живописи лучи трепетного света лампы. А в окна уже глядела разгоравшаяся заря.

Левшин прошел в библиотеку. Это была средней величины комната, по стенам которой стояли тяжелые, неуклюжие, работы домашнего столяра, дубовые шкафы, набитые книгами, почти сплошь французскими. «Кому это теперь нужно? — мелькнула мысль. — Здорово гореть будет»...

В горнице молодого Курганова Левшин увидел висевшую над мягким диваном на стене кривую турецкую саблю с эфесом, убранным сплошь бирюзой. В полувыдвинутом ящике стола виднелась ручка двухствольного пистолета.

— Трусы! — пробормотал Левшин. — Даже оружие позабыли!

Снял со стены саблю, забрал пистолет: не оставлять же оружие сволочи.

Он вышел на балкон, присел и задумался, представив себе карту всей округи. Стал чертить пальцем по пыльной поверхности тяжелого стола: здесь Кургановка, рядом село Курганское, слева Волга-матушка, широкая река. На берегу Волги — Питиримово, и там — пугачевцы. Так. Справа Покровское, еще правее Безводное, за Безводным почти безлюдная степь: только разбросанные там и сям хутора и далеко в степи Чернятины хутора — старое раскольничье гнездо. И там — «армия» его пресветлого величества, нелепое чудовище с крошечной, почти без мозга головой, с уродливым, раздувшимся непомерно телом, которое все состоит из одного прожорливого брюха да десятков, может быть, сотен способных бесконечно вытягиваться щупалец.

Мелькнуло в воображении виденное где-то, когда-то, должно быть еще в Шляхетском Корпусе, старинное изображение спрута или осьминога, морского чудовища. Выплывшее из недр морских отвратительное чудовище своими щупальцами охватило стройное двухмачтовое судно, из люков которого беспомощно глядят пушки, на мачтах еще держатся реи с распущенными парусами, на флагштоке весело развевается пестрый вымпел. И спрут втягивает осужденное на гибель судно в морскую бездну...

Упрямо тряхнул головой, отгоняя от себя это видение, и опять принялся соображать, что делать.

— Эх, далеко уже вытянулись щупальцы пугачевского осьминога. Одно дотянулось своим концом до Питиримова, пытается переползти за Волгу. Другое тянется сюда, к Кургановке.

Ума в крошечной голове у спрута мало. Звериной хитрости хоть отбавляй. Пугачевцы, пользуясь тем, что правительство, слишком долго не обращавшее внимания на движение на Яике, прозевало и не успело произвести сосредоточения войск, раскидывают щупальцы по

всем направлениям. С их помощью они нащупывают удобное место, чтобы перетащить брюхатое тело на ту сторону Волги. Последнее время чудовище явно тревожится: почти весь левый берег Волги уже ими обглодан. А брюхо требует еды. Если до зимы не удастся перебраться на правый берег, оно само собой развалится от бескормицы. Зимы ему не пережить...

Михельсон требует разгромить или хотя бы пугнуть шайку, добравшуюся до Питиримова. Ой, надо! В первую голову надо. Место деликатное... Но как же быть с Кургановским? Если бы не Питиримово, то можно бы сразу броситься на Покровское: шайка, конечно, большая, но рыхлая. Налетев на нее, можно расколотить. Не в первый раз... Назарки в роли «енаралов» немного стоят.

Однако, если заняться Покровским, то есть спасением Кургановского, то за это время в Питиримове и впрямь соберется тысячи две. С ними тогда уже не справишься.

Эх, хоть бы две-три сотни людей, на которых можно положиться! Вот таких, как Сорокин! Но где их взять? Одни ползут в стан Пугачева, другие расползаются, как тараканы из горячей избы, даже не помышляя о сопротивлении. Что за народ такой треклятый?!

Думы Левшина были прерваны Анемподистом, лично пришедшим доложить, что завтрак подан.

Войдя в столовую, Левшин увидел, что Лихачев с юношеским аппетитом уплетает какую-то горячую снедь. На столе стояла пузатая темная скляница.

— Токайское! — сказал Лихачев, прожевывая кусок сочного гусяного мяса. — Налить, что ли?

Час спустя маленький отряд Левшина собирался покинуть кургановскую усадьбу. Почти все население усадьбы высыпало на двор. Мальчишки лихо гарцевали верхом на палочках, изображая то ли гусар, то ли казаков. Девчонки шныряли стайками. Дворовые толпились кучками, тупо глядя на коней. Дворовые девки теснились к гусарам и всучивали им подарки, по большей части из съестного.

Анемподист, бледный, еле волочивший ноги, растерянно покрикивал на дворовых, отдавая ненужные распоряжения, а потом бормотал:

— Помяни, гос-споди, царя Давида и все кротость его! Пресвятая Богородица, спаси и защити!

Подошел к собиравшемуся уже вскочить на свою белую полукровку ротмистру.

— Ва-ша милость...

— Ну?

— А мы как же?

Левшин угрюмо пожал плечами.

— Ведь сожгут, окаянные!

Левшин молчал. По морщинистому лицу старика покатались слезы.

— Жили-жили и, вот, на поди... Что ж это такое?

Помолчав несколько секунд, вопросительно шепнул:

— Ай убечь и мне? Ведь отбиваться нечем! А они не посмотрят. Им что? Уж и теперь которые побойчее зубы показывают, господ, мол, больше не будет, а господских псов и удавить можно! Это я-то в псы попал на старости лет!

— Прикажи арапниками драть!

— Да кто драть-то станет, батюшка?! Да и к чему? Только пуще того злобиться будут...

— Поступай, как знаешь, старик! — смягчился Левшин. — А я и рад бы помочь, да... Молись богу, старик!

— Бог-то далеко, ваша милость! А Пугач близехонек. А, главное, господ нету. Были бы господа — знали бы, что делать. А мы как овцы без пастуха... Ну, дела!

Левшин вдел ногу в стремя. Белая кобыла плясала на тонких, изящных ногах, распустив пушистый хвост, и когда ротмистр уселся в седло, прынула и поскакала к распахнутым настежь воротам.

Гусары потянулись следом за командиром, по двое в ряд. Какая-то шустрая босоногая бабенка подлетела стрелой к рябому гусару Митрохину и, сверкнув белыми зубами, сунула ему сверточек.

— Пирожка на дорожку, Ванюшенька! Не поминайте лихом!

И, застыдившись, юркнула куда-то.

Выехав со двора, Левшин придержал свою кобылу и стал пропускать гусар мимо себя, оглядывая их зорким взглядом умеющего держать людей в руках командира.

В хвосте ехали вместе: Юрий Николаевич Лихачев на горбоносом киргизе, оседланном по-казацки, за ним его дядька Игнат, худенький старичок, сидевший на лошади, как кот на заборе, казачок Петька, пятнадцатилетний парнишка, привязанный к своему барину, как собачонка, и еще какой-то незнакомый Левшину новый казачок — белокурый, румяный и голубоглазый, испуганно хватавшийся белыми руками за луку и пресмешно болтавшийся в седле.

— Откуда этот мальчонка у тебя появился? — спросил Левшин у приятеля.

Легкая краска проступила на щеках Лихачева.

— Тут, друг ты мой, вышла такая странная история...

— Да это не мальчонка, а девка! — изумился Левшин.

— Ксюша... привязалась... По совести, я ее отговаривал. Но она говорит: «Тогда я удавлюсь...»

Левшин пожал плечами.

— Глупо, братец ты мой! Сами на волоске висим...

— Знаю, что глупо. Но, ах, ежели бы ты знал, какие тонкие чувствования у сей девицы! Никто не сказал бы, не подумал бы, что она из подлого звания, простая дворовая... Она даже по-французски кое-что говорит!

— Очень ей это нужно?! — фыркнул ротмистр. — Но ведь ты, дружище, похищаешь чужую собственность. По закону...

— Какие теперь еще законы?! — улыбнулся молодой человек. — Кроме того, крепостные Кургановых разбегаются и сами. Одной девкой больше, одной меньше — не все ли равно? Ну, а я, конечно, при первой возможности выкуплю Ксюшу. С Кургановыми мы в приятельских отношениях...

Левшин пожал плечами.

— Твое дело, коли так... Ты ведь волонтер. Добровольно присоединился к моему отряду. Волен поступать, как хочется. Я же со своей стороны могу сказать одно: взял обузу!

— Вовсе нет! — возразил Лихачев. — Что за обуза, подумаешь?! Вожу же я с собой Игната и Петьку! Разве они мешают? А Ксюша через два-три дня будет не хуже Петьки на коне держаться... Я ей обещал показать, как саблей рубиться надо и как стрелять из пистолета. Она такая понятливая... Может, даже пользу принесет.

— Единственное пополнение моего отряда! — с горечью вымолвил ротмистр. — Прибавилось! Переряженная девка!

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Екатерине не спалось в теплую летнюю ночь. Только что задремала в своей опочивальне, и вдруг словно что-то взметнулось в груди и оборвалось, и упало.

Открыла глаза. Приподнялась на постели. Огляделась. Опочивальня императрицы была слабо освещена горевшей в углу, под розовой крышкой, лампадкой венецианской работы из цветного, в три слоя, с насечкой золотом, стекла. Отблески — алые, фиолетовые, синеватые, золотистые — ложились на старые гобелены стен, на лепной потолок, на паркетный пол. Из соседней комнатки чуть слышно доносился легкий храп повсюду сопровождавшей императрицу ее доверенной наперсницы Мавры Саввишны Перекусихиной, спавшей легким и чутким сном сторожащей свою госпожу собаки.

— Как все это... странно! — прошептала Екатерина — И чего я так волнуюсь сегодня?! Надо взять себя в руки и... и заставить себя заснуть: завтра много работы с самого утра.

Мелькнула смешливая мысль: «Маркиз де Пугачевф...» Любезный кузен его величества короля прусского. А, может быть, и других королей. Например, шведского. А то, чего доброго, и моего благородного друга, императора Иосифа...

Бурбон, тот, конечно не унижится до того, чтобы титуловать беглого казака, схваченного за воровство, своим кузеном. Но при случае будет очень не прочь оказать Емельке посильную помощь. Как им не стыдно? Неужели они не понимают, что значит все это? Они хотят утопить Россию в ложке воды... Но ведь Россию уже не вычеркнешь из жизни. Русский народ уже не загонишь в заволжские степи, как мечтал Генрих IV, как пытался сделать Карл XII. Русское племя уже пустило глубокие корни в Европе. Если эти господа вздумают выкорчевать эти русские корни из европейской почвы, то со всей Европой может случиться то, что недавно случилось с Лиссабоном: землетрясение, от которого обвалятся и самые старые каменные гнезда...

Стало душно. Императрица нетерпеливо откинула легкое атласное одеяло, опустила ноги, нащупала стоявшие у кровати легкие меховые туфли, набросила на плечи шелковый шушун и принялась ходить по комнате из угла, где стояла кровать, к большому, закрытому тяжелыми штофными занавесями окну, оттуда — к углу, где на малахитовом столике стояла старая,



строгановского письма родовая икона Романовых — богоматерь с младенцем Иисусом в золотой, осыпанной жемчугом, бирюзой, рубинами и алмазами, ризе. Оттуда — опять к кровати, и опять к окну. «Что делать? Как поступать? — думала она. — Как бороться с этой язвой, расползающейся по телу России?»

Вспомнила, как недавно ей пришла в голову мысль самой стать во главе отборных частей гвардии, двинуться на восток, увлекая всех своим примером, и раздавить переползающую с места на место ядовитую гадину. Так поступил бы Петр Первый, тот, который, не задумываясь, собственноручно рубил упрямые головы мятежным стрельцам.

Но этот план не был осуществлен. Граф Панин, тогдашний канцлер, и Левушка Нарышкин, и Григорий Александрович Потемкин — все высказались против него. Прежде всего, выступление самой императрицы в поход против поднявшего голытьбу беглого острожника могло быть истолковано в том смысле, что движение сделалось слишком опасным. Во-вторых, нельзя покидать столицу, уводя из нее лучшие части гарнизона. И в-третьих...

О, господи, сколько доводов нашлось против этого проекта!

А вот теперь тот же Загорянский говорит, что скрывать от себя опасность не приходится. Зараза уже переползает с левого берега Волги на правый, змеиный яд начинает действовать и на другие части великой империи. На Дону и на Хопре не благополучно. В Астрахани был, правда, сейчас же подавленный, погром. Возле Киева появились две шайки разбойников, действующие от имени все того же «анпиратора».

В Иностранной Коллегии и в Военной плохие сведения из-за границы: Турция, так недавно подписавшая мирный договор в Кучук-Кайнарджи, лихорадочно готовится к новой войне. Румянцев пишет, что находящуюся за Дунаем армию надо не ослаблять отзывом частей для борьбы с Пугачевым, а усиливать на случай возобновления военных действий. Польша вот-вот загорится.

Остановилась у окна, откинула занавеси, глянула. Увидела на море разноцветные огни судовых фонарей. Подумала: «Ну, на моряков, кажется, можно положиться. Эти не выдадут»...

И тотчас же нахмурилась: вспомнила секретный доклад адмирала Черемисова о том, что «подметные» письма пугачевских посланцев проникают и во флот. А в этих подметных письмах «анпиратор» обещает матросам «ослобонить» от «чижолой» службы на судах и распустить всех по домам. У какого-то полуграмотного канонира с фрегата «Гашут» при обыске обнаружили листок, на котором канонир записал, что «одна надежда на его царское величество, потому нам, российским людям, морское дело не любо, держать военный флот ни к чему, только людей муштровкой, да на смерть запарывают линьками, а кормят червивой солониной, да такими сухарями, в которых песку больше, чем муки».

...Зараза. Зараза ползет и туда.

А ведь такие «подметные» письма и такие записи о ненужности военного флота, это только проявление мнения народного. Действительно, кто же у нас любит море и морское дело? Еще когда Петр заводил свой крошечный флот, везде и всюду ворчали, что это одно баловство. Пустая затея!

Тихо отошла от окна, уселась на край ложа и опять задумалась.

...То, что происходит сейчас, родилось из прошлого. Корни надо искать в прошлом. Где же эти корни?

Крепостное право. Огромные расходы на армию и флот. Тяжесть военной службы. Плохой

состав властей. Отвратительный суд. Общее невежество. Дикие нравы. И еще, и еще, и еще.

Все это унаследовано от прошлого. Все это в свое время родилось из той же русской почвы. Рождено самой историей. Старые язвы, с которыми сразу не справишься. Словно в часовом механизме, одно колесико цепляется за другое, один рычажок толкает другой. Власть плоха, потому что людей нет. Прежде всего в огромной стране с десятками миллионов населения не хватает образованных людей. Не из кого выбирать. Чтобы улучшить состав власти, есть единственный путь: создать учебные заведения и через них провести тысячи и тысячи детей. Но на это нужны огромные средства. Крепостное право — великое зло. Но ведь по существу помещики заменяют отчасти правительственную власть. Это те же чиновники, отвечающие перед государством за крестьян. Освободишь крестьян — надо заменить помещиков чиновниками, и трудно сказать, будет ли это лучше. Вон казенные крестьяне стонут. По их словам, быть за помещиками лучше, чем быть за казною.

Непомерно тяжела военная служба. Берут в армию смолоду, а держат чуть не до старости. Так! Но ведь в стране, раскинувшейся на такое огромное пространство и имеющей такое пестрое население, солдатская служба поневоле должна быть долга. Каждый год в армию вливаются тысячи и десятки тысяч рекрутов, которых надо обломать. Тысячи и тысячи рекрутов русского языка даже не понимают. А где же набрать офицеров, которые понимали бы их язык? И что это была бы за армия, если бы для командования приходилось применять сто различных языков. Срок службы непомерно долг? Да. Но чтобы сократить этот срок, надо отпустить старых служивых, надо лишиться армию самой лучшей ее части, и это в такое тревожное время, когда на карту поставлена, быть может, самая жизнь России!

От страны требуется большое, может даже крайнее напряжение сил, чтобы завоевать себе право на лучшее будущее. Но как заставить население пойти на это напряжение? Возможно ли убедить всех, что необходимы жертвы? Как убедить такое пестрое разноплеменное, разноязычное, разноверное население в необходимости, в неизбежности жертв? А не заставишь это население повиноваться силой, империи развалится на составные части. И то же самое население будет обречено на ужасающие бедствия.

Императрица подняла голову «Ну, нет! Покуда жива, до этого не допущу. Буду бороться! — Посмотрела на стоящие рядом, на малахитовом с бронзой столике малахитовые же часы. — Однако, как поздно! Скоро и утро. А я еще и глаз не сомкнула. Спать, спать, спать!»

Улеглась, не снимая шушуна. Лежала на спине и старалась ни о чем не думать, чтобы поскорее заснуть. Но это не удавалось.

... Сверженный и убитый Петр III возродился в образе пьяного конокрада, острожного жителя, Емельки. Ну, хорошо. А что было бы, если бы не было трагедии в Ропше?

Что было бы? А вот что...

Если бы дело ограничилось простым отречением Петра от прав на престол, возник бы вопрос, что с ним делать: держать ли в заключении или отпустить в его излюбленную Голштинию. Предположим, что он отпущен. Само собой разумеется, там за него сейчас бы ухватился лукавец Фридрих. Они заявили бы, что отречение является вынужденным, а потому и не действительно: Фридрих дал бы средства, дал бы людей. И вот через год, через два Петр III, настоящий Петр III пошел бы на Россию. Междоусобная война из-за права на престол. Разруха России. Торжество ее смертельных врагов. Страдания для всего русского народа...

Нет, выпустить Петра было нельзя.

Но если нельзя выпустить, значит, надо держать в заключении. Император в заключении. Император в тюрьме, император — страдалец. Сколько Мировичей, сколько отважных

честолюбцев, готовых рискнуть головой, нашлось бы тогда, чтобы спасти заключенного и вернуть ему корону!

Ну и вот Петр III умер. А теперь — воскрес. Бродит по заволжским степям. Как вампир, пьет человеческую кровь. Это — рок...

Но Петр — это не больше, как простой предлог. Не было бы Петра, был бы Иоанн Антонович. А то нашлось бы и еще другое. Выплыл бы какой-нибудь таинственный сын от брака Елизаветы с Разумовским или от связи с Шуваловым. Нашелся бы какой-нибудь сказочный внук Алексея Петровича. Словом, предлог был бы изобретен.

Емелька — раскольник. За его спиной стоят раскольники. Что такое раскол? Легко рассуждать женецу Руссо, что государство не должно вмешиваться в вопросы, касающиеся религии. Легко проповедовать полную и безграничную свободу совести. Но ведь и в основу Великого Раскола легли стремления не только духовные, но и политические. За Аввакумом, фанатиком и галлюцином, стоят буйные и своевольные стрельцы, а сбоку воровские казаки, и вся голытьба кабацкая, и вся вольница, и весь люд темный. И был тогда тот же нынешний Емелька, только именовался он Стенькой...

Теперь горько жалуются на тягости, вызванные войной с турками. Многие говорят, что и самой войны не надо было. Зачем, дескать, воевать? Разве у нас самих земли мало? «О, глупые люди! Да чего стоит эта русская земля, пока не в наших руках берег моря? Россия не будет в безопасности до тех пор, пока ей не будет принадлежать Крым, это злобное осиное гнездо, и пока не станет нашим Кавказ». Но где же глупцам понять, что, расширяя наши владения, мы этим самым отнюдь не расширяем нашу оборонительную линию, а наоборот, сокращаем ее? Если бы нам удалось завладеть Константинополем и Дарданеллами, то не пришлось бы уже приносить столько жертв для нашей защиты.

Мысли императрицы унеслись далеко на юг. Она замечталась.

...Емелька разбит под Казанью, бежит. Михельсон гонит его от сильно пострадавшего, но все же уцелевшего города. Емелька пытается проскользнуть на Дон, но дорога ему преграждена. Злое чудовище бунта загнано снова на то самое место, которое оно разорило. Пожар возвращается туда, где все, что только могло гореть, им уже выжжено. Таким образом, Пугачев уже не может прокормить свои орды. Голодая, мятежники начинают разбегаться. Армия «анпиратора» расползается. Все уже и уже делается занятый пугачевцами край, все труднее положение главарей, все меньше могут они полагаться на примкнувшую к ним буйную чернь. И вот наступает время, когда сами же выдвинувшие Емельку казаки-раскольники, видя, что игра проиграна и что наступает страшный час расплаты, ищут спасения в выдаче самозванца. Сами они вяжут «Петра Федоровича» и его главных помощников и сдают их властям. Пугачев посажен в железную клетку и под сильным конвоем доставлен в Москву, в ту самую Москву, куда он собирался, чтобы «воссесть на престол». Там он предан суду, и суд приговаривает его к смертной казни.

На красивом лице императрицы появилось жесткое выражение. Пушистые брови угрюмо сдвинулись.

Пугачев казнен. Преданы казни или бежали, кто куда, — важнейшие из мятежников. А что дальше?

На устах дремлющей императрицы появилась легкая лукавая улыбка.

...Объявит ли любезный Фридрих, король прусский, придворный траур по случаю неожиданной смерти своего дорогого «кузена»?

Мелькнула улыбка и исчезла.

... Мятеж подавлен. Порядок восстановлен. Гнезда мятежников по Яику уничтожены. Провинившиеся казаки выселены на Терек и Кубань: пусть там воюют с горскими татарами, если не хотели жить мирно...

Затем — стране нужен отдых. Пусть Русь набирается сил. Силы эти скоро опять понадобятся: с Турцией надо справиться. Надо заселить Крым русскими, на месте древнего Херсонеса Таврического воздвигнуть новый город, новый Херсонес. Или нет, не Херсонес, пусть воздвигнется оплот державы Российской на Черном море и имя ему будет Севастополь, град славы.

Дальше и дальше летят мечты императрицы.

... Отдохнувшая, пополненная, вновь обученная и всем необходимым снабженная русская армия снова переходит через Дунай. Выстроенная в Севастополе и в устье Буга российская флотилия доминирует над Черным морем и препятствует подвозу съестных припасов с Кавказа и из Малой Азии морским путем в Константинополь. Сербия и Болгария поднимаются против своих поработителей, турок. Балтийский флот, проплыв вокруг Европы, появляется у входа в Дарданеллы. Турецкие крепости падают одна за другой. И вот, наступает вожделенный момент, когда русская армия подходит к самому Константинополю. Царь-град достается России.

Дальше и дальше летит мечта императрицы.

...В Константинополе стоит царский трон. На этом троне русский император Византии.

...Да, но кто же будет этим императором?

Цесаревич Павел Петрович только что женился. Его молодая жена прелестна как ангел. У них будут дети. Первенец, разумеется, станет со временем императором Всероссийским. Мы назовем его Александром. Император Александр Первый... Второму дадим имя Константина. Он будет первым русским императором Византии. В состав новой империи можно будет включить Болгарию, Сербию, Грецию...

Две империи будут соединены теснейшими узами и по существу будут образовывать одно целое...

Мечты принесли императрице то, чего не давало напряжение воли: успокоение. С ним вместе пришел и желанный сон.

Она заснула и во сне улыбалась светлой улыбкой...

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Над Волгой проплывала ночь.

За день значительная часть большого села Питиримово, расположенного на левом берегу Волги и заселенного казенными крестьянами, была уничтожена пожаром. Пожар начался в избе, в которой бражничали пугачевцы, празднуя свадьбу своего «енарала» — беглого сержанта Васьки Лбова с какою-то приглянувшейся ему питиримовской молодкой. У молодки, правда, был муж, а Васька Лбов таскал с собой целый десяток жен, с которыми он венчался за предшествующие недели. Но мужа молодки сам Васька заколол, и с ее стороны препятствий к браку не было. Что же касается многоженства Васьки, то до смерти напуганный попик, отец Симеон, не осмелился и заикнуться. Было приказано перевенчать, и он торопился

отправить обряд. И был счастлив и доволен, когда Васька в награду швырнул ему медную полтину.

Было это утром, а около полудня та изба, в клети которой спали молодые, занялась. Мертвецки пьяные «друзки» прозевали начало пожара. Стали выползать из избы, когда загорелась уже ветхая тесовая крыша. Еле удалось вытащить «молодых». Тушить пожар было некому, ибо половина обитателей была не меньше пьяна, чем сами «друзки» перевенчавшегося двадцатым или тридцатым браком «енарала-аншефа» графа Доскина. И огонь пошел по селу. Пламя разгулялось. Словно корова языком слизнула добрую треть села. Оставшиеся без крова обитатели разместились по избам шабров да дружков и расположились временным станом на большой площади, перед пощаженной огнем церквушкой. Там же, на площади, был и стан занявшей село шайки пугачевцев, которая теперь смешалась с погорельцами и с прибывшими в село со всех сторон новыми охотниками послужить «его светлому царскому величеству».

Ваське Лбову, которому пожаром порядочно опалило один бок, было не до забот о сохранении порядка в стане. Его правая рука, Сенька по прозвищу Сопля, тоже беглый солдат, бывший барабанщик, теперь именовавший себя «полковником Зарубаевым», надорвал себе голос, пытаясь убедить «христолюбивое воинство» держать ухо востро, памятуя возможность появления страшного для пугачевцев Михельсона или даже самого генерала Фреймана, но его уговоры в одно ухо впускались, в другое выпускались, ибо добрые люди отлично знали, что до «немчуры» Михельсона по меньшей мере верст двести, а Фрейман и того дальше. «Каткино солдатъе» из-за Волги их не страшило, ибо переплывавшие с той стороны на левый берег Волги «друзки» в один голос твердили, что на правом берегу, не считая «нехвалидных» команд, вооруженных почти сплошь одними тесаками, солдат еще нет. А, главное, на чем им переправиться? Ведь «друзки» увели с того берега почти все лодки.

Побившись с предававшимися буйному веселью сотоварищами, Сенька Сопля махнул на все рукой и решил, что ему не мешает последовать примеру «енарала Доскина», то есть обзавестись новой подругой жизни, благо из двух баб, которых он таскал с собой, одна сбежала, а другая так обгорела на пожаре, что отдала богу свою бабью душу и теперь валялась уже распухшим и почерневшим трупом за селом в овражке, куда питиримовцы стащили уже десятка два покойников. Хоронить некогда. Потом...

Васька Лбов был любителем слышать «Исайя, ликуй», а Сенька Сопля находил, что это чистые пустяки.

Одна возня... Поэтому он просто выглядел среди питиримовских девок какую-то Гашку или Анютку, сгреб ее и, хотя она ревела белугой и упиралась, уволок в первую попавшуюся избу. Перепуганных хозяев он выгнал и заперся со своей продолжавшей реветь Гашкой или Анюткой. Правда, на всякий случай он выставил у дверей своего брачного чертога оборванных парней, вооруженных заржавелыми драгунскими палашами. Пообещал им по два штофа водки и намекнул, что может быть Гашка или Анютка перейдет в их собственность после того, как он, их полковник, побалуется с ней.

Все-таки пугачевцы выставили на дорогах к селу ночные дозоры или заставы. Для этого были назначены вооруженные кольями мужики. Им был отдан приказ: «Не спать, не дремать, за порядком доглядать. Прохожего и проезжего задерживать и под крепким караулом доставлять для опроса по начальству. А в случае чего — подымать тревогу».

Одна такая застава из десятка вооруженных кольями и сильно подпивших оборванцев держалась на расстоянии версты от села, где на небольшом пригорке стояло пять или шесть «ветряков», то есть мельниц.

Разумеется, сидеть на заставе было скучно, и потому дозорные или разбрелись или, нахлебавшись водки, уснули сном праведных. В конце концов, бодрствующими оказались только какой-то сероглазый паренек, на лице которого раз и навсегда застыло выражение растерянности, да пожилой мужик, обмотавший разбитую в драке с питиримовцами голову грязной тряпкой. Оба сидели у медленно дотлевавшего костра, и пожилой мужик, которого была лихорадка, поучал паренька, ведя с ним беседу.

— Так ты, дядя, гришь, не привелось видать государя-то? — допытывался паренек.

— Не положу греха на душу: не довелось! Не сподобил господь по пьяному делу.

— Разе бог-то пьет водку? — усомнился парень.

— Ну и дурак же ты, Федька! — засмеялся оборванец. — Бог-то, конечно, не пьет. Ему не полагается. А я-то зашибаю здорово. По моему пьяному делу все и вышло.

— Проходила три месяца тому назад армия царская сквозь нашу деревню. И сам батюшка Петр Федорыч, анпиратор. Все честь честью, как полагается... Ну, а мы, дуrolомы, на радостях разбили кабаk откупщицкий, да и нахлестались. Братан мой — так даже до смерти. Одно слово: от водки у него середка выгорела. А я около того. Да свалился, значит, головой в канаву да двое суток и пролежал колодой. Проснись, этта, чувствую — горит в животе. Водка, значит, загорелась... Ну, а пожар водой заливать надо. Оно, конечно, лутче, ежели квасом плеснуть на его-то... Ну, где его, квас-то, в канаве сыщешь. А вода — тут: лужица. Вот, доползу до канавы да и тяну воду губами... А потом отползу да опять распластаюсь... Да так-то двое суток. А за то время его царское величество с енаралами да адмиралами и побывал у нас. Церкву удостоил посещением. Вот вошел да прямо в алтарь. А там престол, конечно. Как полагается. А он, батюшка, и говорит: «Эх, давно чтой-то не сидел я на престоле моих предков! Ну, сел на престоле, посидел. Потом, поpa рублевиком наградил. Запиши, грит, в книгах, что, мол, в сем деревенском храме благоверный анпиратор сидел на престоле и все такое. Честь честью»...

— А которые говорят, и вовсе он не анпиратор, а будто беглый казак, Емелька Пугач.

— Говорить все можно! Не воспришшаецца. А только ты бы, Федька, поосторожнее. По младости лет, не следовало бы...

— Да я что же, дяденька? — смутился паренек. — Люди ложь, и я тож... А мне разве не все одно? Я никому не противный...

В это время что-то с быстротой молнии мелькнуло в воздухе, раздался шипящий свист прорезывающего воздух клинка, потом странный хруст. Сидевший перед костром оборванец дернулся и тихо свалился лицом в огонь.

-Дя...

Чьи-то железные пальцы словно клещами впились в горло белокурого мальчугана, и перехватили дыхание. Выпучившимися и налившимися кровью глазами он смутно увидел словно из-под земли выросшие фигуры солдат в расшитых шнурами гусарских мундирах. Что-то взвивалось в воздухе и падало на шеи лежавших около костра дозорных. И больше Федька ничего не видел, сжимавшие тонкую шею железные пальцы задавили его, как курчонка.

Застава была уничтожена. Путь к Питиримову оказался свободным. Отряд гусар Левшина, незаметно подкравшийся к холму, пошел на село. У догоравшего костра осталось шесть медленно остывавших трупов.

Перед рассветом словно гром грянул над площадью Питиримова. «Бей, руби!» — громкий крик пронесся над толпой. Послышался словно волчий вой, топот лошадиных копыт, треск пистолетных выстрелов.

Раньше, чем несшийся курц-галопом на площадь отряд успел врезаться в толпу, вся эта толпа пришла в движение. Люди с воплем срывались со своих мест и слепо неслись, куда глаза глядят, сбивая друг друга, заваливая своими телами огни костров, затаптывая упавших. Погорельцы, державшиеся ближе к церкви, ринулись на ту часть площади, где ночевали пугачевцы и где стояли их два орудия — мортира и легкая полевая пушка. Державшиеся около орудий канониры были сбиты с ног и унесены куда-то людским потоком.

Со звериным воем уцепившийся за свою любимую пушку одноглазый киргиз Сафет удержался на месте. Он даже зажег фитиль, но не успел поднести его к затравке: пуля из двухствольного пистолета Левитана ударила ему в переносицу, и он упал. Горящий фитиль попал под грузное тело киргиза. Несколько минут спустя засаленный шерстяной халат Сафета запылал, но Сафет уже не чувствовал боли...

Грохот рвущихся гранат, крик гусар «бей, руби!», вопли убегающих погорельцев и повстанцев, топот и ржанье лошадей — все это разлилось по всему селу. Люди выскакивали из изб, вопя, падали, вскакивали, мчались куда-то, нарывались на метавшийся на площади конный отряд, разбегались и исчезали в полумгле, близкой к концу ночи. Выбежавшего из своего брачного покоя Соплю сбила с ног чья-то обезумевшая от ужаса лошадь, волочившая тяжелую телегу. Все четыре колеса прокатились по телу Сопли, дробя ему ребра. Васька Лбов был удачливей: выскочив из избы без штанов, он поймал метавшуюся по площади неоседланную лошадь и, ухватившись за ее гриву, принялся подгонять, колотя ее кулаком по голове и пятками по бокам. Лошадь вынесла, было, его с площади, потом заартачилась, сделала вольт и принесла «графа Доскина» на ту же площадь. Там он увидел рядом с собой скакавшего на красивой белой тонконогой кобыле гусарского офицера с кривой турецкой саблей в правой руке. И Васька понял, что это — смерть.

Сабля ударила его по шее почти у плеча, и начисто срубленная голова покатила на землю, под ноги белой кобылы Левшина. Но обезглавленное тело Васьки Лбова продолжало еще некоторое время носиться на спине беснующейся лошади по площади, пока не свалилось кулем.

Испуганный налетом гусар Левшина люд Питиримова разбился на несколько отдельных потоков. Один из этих потоков продрался сквозь толчею на площади и, продавившись в уходившую к полю улочку, понесся прочь от села, в котором уже вспыхнуло зловещее зарево пожара. Другая часть слепо ринулась к деревянной пристани. Добежавшие до края пристани люди сталкивались напиравшими на них сзади в воду, барахтались, тонули. На них сваливались другие. Течение уносило упавших. Волга-матушка, широкая река, принимала их в свое владение.

Село, всего полчаса тому назад полное народа, пустело с поразительной быстротой. Люди уходили из него, как вода из решета. Только те, которых вовсе обезножил страх, расплзались по огородам, забивались в погреба и канавы, залезали в стога сена или трухлявой соломы.

Оставшись с несколькими людьми охранять захваченные пушки, Левшин отправил Сорокина с остальными гусарами преследовать уходившую по дороге в поля толпу, чтобы добить остатки шайки Васьки Лбова.

— Расправься с конниками, Сорокин! — крикнул он вслед вахмистру, когда тот пустил свой отряд в галоп.

— Понимаем, вашескорodie! — отозвался Сорокин.

— А мне что прикажешь делать? — осведомился Лихачев.

— А что хочешь! Можешь остаться тут, со мной...

— Но если я тебе не нужен?

— Тогда поезжай с Сорокиным. Лишний человек не мешает-

Лихачев, оставив Ксюшу под охраной вооруженного Игната и запасшегося саблей Петьки, поднял своего киргиза вскачь.

Выходящая в поля улица была загромождена всяким хламом. В одном месте валялась перевернувшаяся телега, придавившая какого-то мужика. Возле стояла пузатая деревенская лошадка с переломленной ногой. А там — какие-то брошенные мешки, ящики, бочонки, тряпье. Здесь и там попадались тела убитых в свалке. У порога избы ползал, как паучок, крошечный полуголый ребенок, который время от времени визгливо кричал:

— Мамка-а-а. Мамка-а-а!

Светало...

За селом Лихачев нагнал отряд Сорокина.

— Куда ты? — изумился вахмистр деловито. — Они с перепугу все по дороге переть будут, а дорога коленом идет. А тут, я узнал, перелесочком хватить можно. Нам мужичье ни к чему. А вершники — они вперед проскочат. А мы им во фланок из перелесочка...

Не прошло и получаса, как гусары вскочили в перелесок, ударили с налету на толпу всадников, состоявшую по меньшей мере из полутораста человек.

Лихачев увидел перед собой широкую спину какого-то скакавшего без шапки дюжего оборванца. Почти не соображая, что делает, он привстал на стременах и ткнул убежавшего концом сабли в спину между лопаток. Тот свернулся на сторону, упал. Освободившаяся лошадь метнулась и унеслась в поля.

— Поймать бы! — подумал Лихачев.

В это время мимо него вихрем пролетел пригнувшийся к седлу башкир. Лихачев выстрелил в него из пистолета. Башкир взвизгнул, упал, пополз в хлеба, ерзая по земле, как большая ящерица, и застыл на месте. Его лошадь остановилась над ним.

Караковый конь Лихачева заартачился, заплясал на месте, потом, получив удар плеткой, вынес Юрия Николаевича на верхушку холма, с которой видны были поля на порядочное пространство.

— Молодец Сорокин! — невольно вырвалось у Лихачева.

Рассыпавшиеся под ударом отряда гусар пугачевские конники бестолково сновали по полю. Гусары гонялись за ними и, нагнав, меткими ударами сабель снимали с коней. Ни у кого из поддавшихся панике пугачевцев не было даже мысли о возможности оказывать сопротивление. Они обезумели от страха, и гусары убивали их, словно забавляясь.

Через час отряд Сорокина вернулся в Питиримово, ведя или, вернее, гоня перед собой толпу захваченных в плен беглецов. Среди них было несколько питиримовцев, но большинство составляли пришлые и, главным образом, члены шайки Лбова, подвергшейся такому неожиданному и страшному разгрому.



— А многие ушли! — сказал Сорокину Лихачев. — Я сам видел человек пятнадцать вершников. Так кучей и держались.

— Невозможно было догнать, вашбродь! — небрежно ответил вахмистр. — За всеми не угонишься... У них кони-то посвежее наших. Мы перед налетом во какой конец отмахали. И то удивительно, как коняшки наши выдержали. А их кони, поди, дня три перед тем отдыхали.

Помолчав немного, он добавил:

— Да, окоромя того, самое главное сделано. Головку мы начисто срезали...

Очистив Питиримово от пугачевцев, Левшин творил там суд и расправу, и было странно видеть, как безропотно подчинялись его приговорам питиримовцы и пугачевцы. Толпа в несколько сот человек трепетала перед каким-нибудь десятком гусар...

Сами питиримовцы, всего за несколько часов до этого братавшиеся с пугачевцами и вместе с ними собиравшиеся перемахнуть на ту сторону Волги, чтобы «пошарпать» тамошние богатые поселки, теперь помогали Левшину и его людям ловить забившихся в разные щели пугачевцев. Выказывали в этом деле даже особое усердие. Таща изловленных пугачевцев, беспощадно били их, вспоминая только что пережитый и еще не изжитый страх. Откуда-то выползли и немногие уцелевшие чудом от расправы пугачевцев видные граждане. Между ними был сизоносый старичок Берсенев, оказавшийся одним из знаменитых «лейб-кампанцев Елизаветы Петровны», участник государственного переворота, приведшего на трон «дщерь» Петра и в казематы Шлиссельбурга младенца-императора Иоанна Антоновича.

— Вот я-то уцелел, — хныкал Берсенев, — а мою Аннушку злодеи, как псицу, удавили. А мы с нею тридцать пять лет прожили, как голубки...

За спиной гудел трубой бас растрепанного питиримовского дьякона:

— Аки филистимляне нечестивые творили здесь всяческое беззаконие! Златотканную ризу священническую похитили нечестивые идолопоклонники и на моих же глазах порезали на кисеты. Храма не тронули, убоясь гнева господня, но в жилище иереевом с икон ризы позолоченные содрали. Крест наперсный у отца Симеона отняли и тем же крестом ему, отцу Симеону, три зуба вышибли! Сущие злодеи!

Какая-то старушонка жаловалась, что у нее украли кусок только что ею сотканного полотна, поросенка почти годовалого закололи и сожрали, петушка тоже...

— И ейную девку испортили! — вставила какая-то сердобольная соседка.

Появился тощий подьячий из земского суда. Этот жаловался на то, что ему «сокрушили» все ребра, хотя на самом деле он отделался только несколькими синяками. Горько плакали две старые девы, мелкопоместные помещицы из окрестностей Питиримова. Заявляли, что они непременно доберутся до государыни и все, ну, все решительно ей расскажут...

Принесли валявшийся уже два дня в овраге труп зарезанного то ли пугачевцами, то ли самими питиримовцами старенького капитан-исправника. Дрожащий отец Симеон слезливо служил панихиды по невинно убиенным.

Все это смертельно надоело Левшину, которому хотелось как можно скорее идти на условленное место соединения с Михельсоном.

Сами же питиримовцы доложили Левшину, что под селом, в укромном месте, в удобной заводи собрано до двух сотен лодок и несколько больших плотов: приготовленные пугачевцами средства переправы на правый берег Волги.

— Ага! И плоты имеются? — обрадовался Левшин — Сорокин! Плоты имеются! Распорядись...

Питиримовские же плотники быстро изготовили несколько виселиц. Другие питиримовцы вздернули на эти виселицы до пятидесяти человек пугачевцев, и страшные плоты поплыли вниз по матушке Волге, унося с собой весть о разгроме царицыными верными слугами разбойничьего гнезда. Для того же послужило и до десятка лодок: их нагрузили трупами павших в схватке пугачевцев, поставили шесты с соответствующими надписями и пустили по течению. Голый труп Васьки Лбова был привязан к шесту, а на груди Васьки болталась на веревочке его оскалившая гнилые зубы голова.

К вечеру отряд Левшина, дав лошадям отдохнуть, ушел на соединение с Михельсоном и увел с собой для нужд михельсоновой кавалерии целый табун захваченных гусарами коней.

Выехав из села, Левшин обернулся и сказал, словно про себя:

— Одно щупальце у проклятого спрута отрублено!

— Какая щупальца? — лениво осведомился Лихачев, ехавший рядом с ротмистром.

Левшин не ответил на вопрос, а пробормотал глухо:

— Но разве в этом суть? У чудовища, как у гидры или сказочного Змея Горыныча, на место отрубленной главы сейчас же вырастает новая.

— Ты вот о чем, Костя!

— Ему, чудовищу, надо было бы распороть брюхо, потому что вся его сила в брюхе...

Носившийся со звонким молодым лаем вокруг отряда борзой пес Лихачева забежал вперед, подпрыгнул, извившись стройным телом, и лизнул шершавым языком горбоносого каракового киргиза. Конь сердито захрапел.

— Да, кстати... Какие у нас потери, Костя? — спросил Лихачев.

— Потери? — рассмеялся Левшин. — Представь, только полуха потеряно...

— Что такое? Шутишь?

— Ничуть. Митрохину шальная пуля отшибла половину правого уха. Только и всего.

— Чудно...

— Это, друг мой, гражданская война, не армия с армией схватываются, а правильно построенная военная сила с почти невооруженной толпой. Ну, кроме того, неожиданность полная, ночное нападение, паника. А ты знаешь, что такое паника? Загляни-ка в историю. У нас же был такой случай: сошлись где-то давно две рати, одна — московское ополчение, другая — татарская орда. Боялись сцепиться, подстерегали друг друга. И вдруг в московском стане поднялась паника, так, ни с того, ни с сего. И кинулись головотяпы бежать, вопя во все горло, а татары... Можешь себе представить, что случилось с татарами? Они услышали неистовые вопли москвичей, увидели поднявшуюся над московским станом облаком пыль, и сами кинулись в бегство. Рассыпались обе рати... Ну, и, разумеется, обе стороны потом приписывали себе честь победы.

Жуткая мысль слабой искрой загорелась в мозгу Лихачева, но сейчас же погасла. Несколько мгновений он тщетно старался вспомнить, что это была за мысль

Сам не зная, почему, сказал:

— Будем надеяться, что...

— Да, будем надеяться! — глухо откликнулся Левшин.

Кто-то из гусар в одном из передних рядов затынул вынесенную из Семилетней войны солдатскую песенку:

Пишет, пишет король прущкой

Государыне французской

Мекленбургское письмо!

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Анемподист после ухода отряда Левшина из Кургановки пришел к решению бежать. За долгую службу в качестве управляющего обширными имениями князей Кургановых он успел-таки приобрести некоторый достаток. Как человек оборотливый и привязанный к земле он завел себе порядочный клочок земли в заречной части села Кургановского и выстроил там маленькую усадьбу. Смотреть за хозяйством он посадил одного из своих родственников, выкупленных им на волю. Усадьба была, что называется, «мал золотник, да дорог». Кроме усадьбы, Анемподист имел и деньжата.

Теперь, задумав бежать, он решил оставить все свое имущество на волю божью: много не увезешь, да и куда везти-то? Разве до Москвы доберешься с большим грузом? Еще ограбят где-нибудь по дороге. Поэтому он решил взять с собой только деньги, да и то не больше трех десятков червонцев. Серебро же он ночью сволок в усадьбу и там, заставив управляющего усадьбой родственника поклясться страшной клятвой и съесть в подтверждение оной клятвы пригоршню земли, зарыл три сотни рублевиков в огороде. Вернувшись в барскую усадьбу, Анемподист при помощи доверенного старого конюха запряг в легкую бричку пару господских сытых коньков и около полуночи съехал со двора. У него был план — пробраться в Казань и там присоединиться к семье князя Курганова. Казань — город крепкий, пугачевцы, ежели вздумают осаждать Казань, зубы поломают. Можно будет отсидеться в Кремле, а то и махнуть из Казани в Первопрестольную. Уж туда-то начальство треклятого Емельку не допустит! И то срам, что допустили его, собачья его печонка, столько времени куролесить за Волгой. Ишь, чего натворил, поганец! Сколько народу взбаламутил да перепортил, глотка его ненасытная! В царях захотелось побывать сучьему сыну. Эх, нету батюшки Петра Алексеича! Тот бы давно показал черни взбаламученной кузькину мать! А то сидит на престоле хоть и царь-девица, но, между прочим, все-таки баба. А баба так она баба и есть.

Размышляя об этом, Анемподист проехал несколько верст. Как человек благоразумный и осторожный, он из усадьбы направился не на село, а по дороге на Безводное. Потом с большака свернул в поля, объехал село и выбрался опять на большак, уходящий на северо-запад. К рассвету Анемподист рассчитывал отхватить, по меньшей мере, верст пятнадцать, а то и все двадцать, потом дать лошадям передохнуть и опять пуститься в путь. Если не встретится препятствий, дней через пять он доберется до Казани. А там видно будет...

— Стой! Кто идет? — раздался зычный оклик. Словно из-под земли вынырнувшие темные фигуры окружили бричку, загородили дорогу, схватили под уздцы коренника.

— Давай огня, ребята. Надоть посмотреть, кого пымали...

Кто-то принес маленький фонарь с огарком сальной свечки.

— Га-га-га! — раздался злорадный смех. — Еще один лещ жирный попался. Анемподисту свет Василичу, княжескому слуге верному, холопу примерному, почет и уваженьице...

Дюжие руки выволокли готового потерять сознание Анемподиста из брочки на дорогу, обшарили его, извлекли из-за пазухи мешочек с червонцами.

— Лещ-то с икрой, ребята. Га-га-га...

— Братцы! — молил задержавших его мужиков Анемподист. — Что вы делаете?!

— Государево дело делаем! — отозвался какой-то паренек. — Супротив царских ослушников стоим!

— На ярмарку, Анемподист Васильч, изволили собраться? — задал ехидный вопрос другой мужичонка.

— Бра-атцы!

— Червончики-то ваши собственные али господские за пазушкой изволили прятать?

— Как перед истинным... Последнее достояние... Потом и кровью за сорок лет работы... Братцы...

— Не визжи, сука господская!

Кто-то крепко ткнул старика по загривку.

— Братцы. Берите все, только душу на покаяние отпустите! — молил Анемподист.

Пожилый бородатый мужик с горевшими зловещим огнем черными глазами отозвался глухо:

— Ай за душегубов нас считаешь, Немподиска? Так мы вовсе не душегубы. Мы государевы слуги, только и всего...

— Да за что же вы меня схватили? — несколько приободрился Анемподист, узнав в бородатом мужике деревенского богача Левонтия Краснова.

— Приказ такой от его царского величества пришел, чтобы до прихода христолюбивого воинства из села не выпускать.

— А что же со мной теперь будет, братцы?

— А ничего особенного. Ну, представим тебя его царскому величеству, осударю анпиратору. Как он решит... Да ты не трясись так. Ну, выдерет он тебя батагами, как ты нашего брата драл. Будь ты из дворянов, ну, конечно, твое дело было бы — одно слово — крышка... А то ты кровей-то холопских... Ну, а с денежками тебе, знамо, придется расстаться. Не крестьянским трудом нажил, а угождением господам. С угнетенного народушки...

Анемподист был отведен в соседнюю липовую рощицу. Там он оказался в компании хорошо знакомых ему лиц: в руках выставленной сторонниками Пугачева заставы были бежавший прошлой ночью отец Сергей, какой-то проезжий краснорядец, рыжий купчик в сапогах бутылками и с немецким картузом на голове, все твердивший «Ну и дела! Ну и дела! Прямо-таки светопреставление!», и кургановский приживальщик из прогоревших помещиков.

Едва рассвело, застава отправила пойманных в село, и там они были посажены связанными в «холодную», но часа два спустя гурьба мужиков пришла и выволокла их из заключения. Тот же Левонтий, по-видимому, бывший за старшего, отдал им приказание.

— Ты, поп, отправляйся-ка в церкву. Сичас его анпираторское величество прибудет, так надо, первое дело, встретить его честь честью, как по правилу положено, то есть, чтобы с крестом и евангелием. И чтобы красный звон был. Ну, да это уж Дорофеича дело. А ты, Немподиска, должен от всего нашего обчества хлеб-соль поднести. А Карлушке я уже приказал: пукет цветов нарежет... А ты, прихвостень, сиди с холодной, пока что...

Час спустя в Кургановское прискакало несколько вершников из молодых крестьянских парней того же села: они стояли заставой по той дороге, по которой должен был проехать «анпиратор».

— Едет! Едет! — орали они, сваливаясь с неоседланных коней. У них были красные, потные лица и выпученные глаза.

— Валяй во все колокола! — крикнул Левонтий уже заранее забравшемуся на колокольню с Кирюшкой причетнику.

— Дык он еще далеко! — заспорил Дорофеич.

— А ты не рассуждай. Твое дело — жарь во все и больше никаких!

Дорофеич, почему-то давясь от смеха, принялся раскачивать язык большого колокола, а Кирюшка задергал веревки малых колоколец. Колокольца залились трелью. Загудел надтреснутым голосом и большой колокол.

В околицу на рысях вошла толпа конников с пиками. На одних были казачьи шапки, на других — бог весть откуда добытые старые треуголки петровских гренадеров, на третьих — уланские каски, на четвертых — киргизские треухи.

Толпа бросилась с визгом встречать их, крича «виват» и «ура», многие падали на колени и били земные поклоны. Но среди прибывших вершников самого «анпиратора» еще не было и не было даже сделавшегося не то полковником, не то генералом Назарки-буфетчика.

Вершники проскакали по селу, заглянули в барскую усадьбу, обшарили весь кургановский дом, доискиваясь, не прячется ли в нем кто из супротивников его пресветлого величества, заглянули в барские погреба и амбары, потом рассыпались по селу, напугали баб и девок своими свирепыми рожами и гиканьем, набили разным барским и крестьянским добром карманы и пазухи и опять собрались на площади против церкви. Здесь под звон колоколов в околицу вихрем влетела тройка вороных лошадей. Рослый коренник словно холст мерял, выбрасывая вперед могучие ноги и задирая вверх красивую голову. Пристяжные извивались в клубок. На козлах сидел истуканом красномордый кучер в плисовой безрукавке и барашковой шапке с потрепанным павлиньим пером. В таратайке помещались «анпиратор Петр Федорыч» — средних лет мужчина, высокий, светловолосый, бородатый и усатый, с оловянными глазами навывкате и распухшим, похожим на спелую сливу носом. Одной ноздри у «анпиратора» недоставало, и потому он здорово гундосил. Рядом с ним восседал хорошо знакомый всем кургановцам Назарка, бывший княжеский буфетчик и родственник Левонтия.

На «анпираторе» была высокая казацкая шапка с алым верхом, чей-то атласный голубой шлафрок с беличьей оторочкой и высокие кавалерийские сапоги с раструбами и огромными серебряными шпорами. Шлафрок был перетянут алым шелковым шарфом, за которым помещался целый арсенал оружия: два пистолета, два больших черкесских кинжала и кривой охотничий нож. Сбоку висел огромный драгунский палаш.

На спутнике «анпиратора», недавнем буфетчике Назарке, была треуголка, шитый золотом морской офицерский мундир, лосины и маленькие гусарские сапожки с кисточками. Его вооружение состояло из большой морской подзорной трубы без чехла и кривой гусарской сабли, висевшей справа. В руках он держал подобие жезла с позолоченным шаром вместо ручки.

Таратайка, влекомая тройкой вороных, была окружена гарцевавшими на разнокалиберных конях вершниками в самых разнообразных костюмах, вооруженными кавалерийскими карабинами и тесаками.

Кучер сдержал разгоряченных вороных у паперти. Первым выскочил из таратайки Назарка и помог сойти «анпиратору».

Дрожащий словно в лихорадке отец Сергей встретил его пресветлое величество с крестом и евангелием на паперти. Выдавил из себя несколько слов, которые должны были означать приветствие Бородач с оловянными глазами перекрестился двуперстным знаменем, но поцеловал крест и евангелие. Тогда Назарка бесцеремонно повернул отца Сергея за плечи и сказал ему:

— Иди, батька, барабань обедню, что ль.

Место шмыгнувшего в храм священника заняли другие представители кургановцев. Черноглазый Левонтий выступил с медным блюдом, на котором лежало сотни две медных монет, штук тридцать серебряных рублевиков и сверху несколько червонцев.

— На твои, осударь, нужды! — сказал Левонтий, слащаво улыбаясь. — Как ты нам отец, так мы, значит, твои верные сыны отечества и твои верные слуги... То есть, до последней, значитца, капли крови... И все такое...

«Анпиратор» корявыми пальцами с неопрятными ногтями выгреб из блюда все золото и несколько рублевиков, а потом кинул Назарке:

— Енарал. Приймай в нашу осудареву казну!

За Левонтием выступили садовник Карл Иваныч с большим букетом цветов из барских оранжерей и кратким приветствием и Тихон Бабушкин, бывший студент. Последний, приняв театральную позу, промолвил напыщенным тоном:

— Ваше императорское величество, великий государь! Вонми, Белый царь, гласу твоих верных сынов. Еще древние римляне говорили, что воке попули — воке деи, то есть глас народа — глас бога. Вот, моими устами сей воке попули и приветствует тебя, законный государь, на пути твоего шествия к бессмертной славе, в храме величия росской империи...

Назарка зашипел на бывшего студента:

— Чего болтаешь-то?

Немного смутившись, Бабушкин протянул тупо смотревшему на него «анпиратору» свернутый в трубочку и завязанный голубой ленточкой листок бумаги.

— Энто что же? — осведомился «анпиратор».

— Латинские вирши моего сочинения в честь вашего пресветлого величества, с переводом оных на российский язык. Слагая сии вирши, пользовался я образцами, данными россиянам знаменитым пиитом Михайлою Васильевичем Ломоносовым.

«Анпиратор» нерешительно взял листок, повертел его в корявых лапах, боязливо заглядывая

внутри трубочки.

— Пиита, гришь... Энто что жа такое? Прошение от обчества что ли ча? Так ефто надоть по принадлежности. Нашему, сказать бы, канчлеру...

Бабушкин откашлялся, но прежде, чем он успел вымолвить слово, Назарка бесцеремонно столкнул его в сторону и, показывая на двери храма, сказал «анпиратору»:

— С этим опосля. Пожалте во храм, ваше величество.

И добавил:

— Сильвупля.

«Анпиратор», сопя, боком пролез в дверь. За ним прошел Назарка, за Назаркой несколько спешившихся вершников. Анемподиста, стоявшего на паперти с хлебом-солью, оттерли в сторону.

\* \* \*

«Анпиратор» стоял как раз против Царских Врат и время от времени нерешительно оглядывался по сторонам, забывая креститься и класть поклоны. В «анпираторах» он был всего несколько дней и потому еще не успел привыкнуть. Зачастую путался, не знал, как следует себя держать, или вдруг ни с того, ни с сего пугался и думал, что «здря все это затеяно, ну его к шуту!»

Тогда мотал большой, словно распухшей головой, как баран, и бормотал:

— Ну и дела, можно сказать!

И думал, что хорошо-то хорошо, а то как бы себе и шею не свернуть. За такие дела не похвалят. Очень просто!

Он вспоминал поучительный пример его хорошего знакомого, бывшего «фалетура» Моськи, то есть Моисея, с которым они вместе много лет прожили в тесной дружбе, когда были крепостными у небогатой помещицы Лядовой. Моська сначала «ходил в казачках», потом сделался «фалетуром». А он, нынешний «анпиратор Петр Федорыч», звался тогда не Петром, а Акимом и «ходил в кучерах».

— Н-ну и дела, можно сказать!

Барыню Лядову, Марьсеменну, помещицу, «порешил» ударом дубины по темени повар Гришка, давно точивший на хозяйку зубы за рябую Ньюшку, которую она, Марьсеменна, отдала замуж за пастуха Егорку. С Моськой оборудовали дело-то. Ну, и началось это самое... Одно слово — заварилась каша. А что и к чему, трудно понять. Уложивши госпожу, хуторок ее растащили, и собралась ватага, порешили все идти к гулявшему где-то поблизости и присылавшему «подметные письма» с обещанием воли, земли, бороды и прочего «Петру Федорычу». И пошли. А он, Аким, ходивший в кучерах, увязался за ними, рассчитывал, что ему, как хорошему кучеру, опять же умеющему при случае и лошадей подковать, удастся попасть к «Петру Федорычу» на его царскую конюшню.

— Вот дела, можно сказать! — тоскливо бормочет «анпиратор».

... Ну и поперли «степом», а там к ним стали присоединяться другие такие же, и образовалась порядочная шайка. Стал Вертлявый Моська из «фалетуров» атаманом, а Гришка-поваренок — есаулом, а он, Аким, так-таки тогда ничем и не сделался. И было это очень обидно: Моська, пашенок, который и в «фалетуры»-то зря попал, в атаманы вылез, а ему, Аким, который и тройкой править во как мог, и подковать коней, и все прочее, ходу не было... А каки таки заслуги у Моськи? Только и всего, что придерживал Марьсеменну, покедова Гришка ее по черепу дубиной колотил.

... Опять же, разве это по совести? Зачем Моська, пашенок, экономке Маремьяне, попользовавшись ею три ночи, горлянку засапожным ножичком перехватил? Мог бы, собачий сын, отдать Маремьяну ему, Аким. Баба гладкая... И никакой супротивности не оказывала... Только охала, когда кто на нее лез... Совсем зря зарезал бабенку-то, пашенок.

...В степу Моська оказался уже в «енаралах», а Гришка стал в полковниках ходить. Аким же так и оставался при пиковом интересе, а заикнулся, что, мол, давно ли вместе овес барский воровали да сенных девушек в конюшню аль на сеновал жамками приманивали, так Моська, подлая душа, ему ответил, что рылом, мол, не вышел.

«Анпиратор» недоверчиво покосился на продравшегося сквозь толпу молящихся и впившегося в него любопытным взглядом мальчонку. Мальчонка — это был причетников сынишка Кирька, — чувствовавший себя в «своей» церкви, как дома, пялил свои буркалы на «его пресветлое царское величество» и усиленно сосал коричневый палец правой руки.

... А поперли степом, и пошла работа... Сколько хуторов разграбили! Сколько барских усадеб пожгли! Сколько народу переколошматили! Так, зря все... Больше с тоски, потому и самим было видно, что зря!

До самого «Петра Федорыча» так и не добрались: Моська схитрил. Понравилось ему в «енаралах» быть, никому отчета не давать. Вздумалось ему, пашенку, один городишко ледащий пошарпать, понесла его нелегкая, а в городишке том сидел какой-то «нехвалидный капитан» из минихонских выучеников. Хоть и одноногий, старый черт, а здоровый перец. И так вышло, что в то время, как шайка принялась уже в городишке недавно выстроенные лавки возле церкви грабить, откуда ни возьмись этот самый «нехвалидный капитан» с сотней набранных с борку да и сосенки «царицыных прихвостней». Да так-то здорово расчесал всю шайку, что любо-дорого. Одно слово — нарвались ребята.

И опять мотает, как баран, распухшей головой «анпиратор», невнимательно слушая, как поп вытягивает что-то несуразное козелком.

... Ну, и попали Моська-енарал, да Гришка-полковник, да которые протчие в лапы «нехвалидного капитана». И он, Аким-кучер, тоже попался. Надо было утукать, да обмишурился, не успел. Налетел на него парнюга какой-то с пистолетом да ткнул его, Акима, в самую переносицу, ловко так ткнул, что Аким света не взвидел, кровью захлебнулся и наземь свалился чурбаном.

А потом по приказанию «нехвалидного капитана» какие-то барские псары в чекменях тут же у городских лавок растянули на лежавших там бревнах и били арапниками по обнаженным спинам и Моську-енарала, и Гришку-полковника и Фильку, который при шайке в полковых писарях ходил. И его, Акима, били. И прочих. Так били, что Моська, Гришка, Филька и многие прочие уже и не встали, а трупы их после того были повешены остратки ради на старых ветлах у речного брода, откуда шайка пришла в город. А он, Аким, ничего, отлежался, хоть и спустил с него «нехвалидный капитан» три шкуры. Кость оказалась крепкая. И угодил он, Аким, кучер Марьсеменны госпожи Лядовой, упокой господи ее душеньку, в острог, и сидел там в кандалах, и кормил своим телом белым вшу тюремную, и думал, что никак не миновать ему каторги. Но, на его счастье, другие сидевшие в том же остроге дюжие молодцы,



заручившись содействием какого-то сторожа осторожного, прорыли ход под стеной. Ну, и сбежали, и увели с собой его, Акима. И опять пошел он гулять по степу, и мало-помалу, следуя примеру Моськи и Гришки, сам пролез и в полковники, и в енаралы. А несколько дней тому назад, добравшись со своей разросшейся шайкой до Безводного, встретился там со старым знакомым, Назаркой, бывшим кургановским буфетчиком. Две шайки слились. И по совету того же Назарки стал он, Аким, в «анпираторах» ходить. Соблазнялся, правду сказать, и Назарка, да ему, Назарке, не с руки было: кто же его в кургановской округе не знал? Никак не выдашь за самого «анпиратора». Акима никто не знал, значит, препятствий никаких.

Теперь вот и кургановский поп горло дерет, поминает на ектевии «благочестивейшего самодержавного государя нашего, Петра Федоровича, и весь царствующий дом». «Это меня-то поминает! — сообщает Аким. — Ловко! Думал ли покойный батька, что его сын Акимка в анпираторы продерется?» Довольно ухмыльнулся, и тут же по покрытой рубцами от недавних еще арапников широкой спине пробежала холодная волна: вспомнился изуродованный труп Моськи, засеченного на площади псарями по приказанию грозного одноногого «нехвалидного капитана»...

Засопел тревожно, замотал головой, сердито шикнул на выпучившего буркалы Кирьку. Кирька юркнул в толпу.

В это время у входа в храм слышались громкие голоса. Набившаяся в небольшой храм толпа заколыхалась. Кто-то проложил себе дорогу к месту, где стоял «анпиратор». Державшийся поблизости Назарка испуганно затормошился.

— Чего там? Михельсонов, что ль? — испуганно осведомился «анпиратор» у побледневшего Назарки.

— Не! — шепотком откликнулся тот. — Какая-то другая шайка подходит. Дозорные докладывают, что, мол, видимо-невидимо... Так и прут, так и прут...

— Кака така беда? Того же поля ягода!

— Кто их знает, может, и у них свой анпиратор имеется.

— Н-да, дела! — засопел Аким. — Все может быть. Как бы не передрасться.

Подумав, буркнул:

— Валяй к попу. Буде ему глотку драть зря. Кончай базар, не до него теперь. А мы — айда на площадь, посмотрим, как и что. Может, добром сговоримся!

Храм быстро опустел. Весть о том, что к селу подходит другая часть «армии его пресветлого царского величества» всколыхнула всех молящихся. Потянуло под открытое небо. Многие разбегались по домам.

Кирюшка нашел среди толпившихся на паперти своего отца, причетника, и, дернув его за рукав, сказал:

— Ен-то белай!

— Ну?

— Белай, говорю.

— Ну, белый так белый!

— А баяли — чернявый...

Причетник забулькал.

— Да тебе-то что? Разве не все одно?

Подумав, Кирюшка, спросил:

— А отчего, тятка, у него нос такой?

— Какой такой?

— Будто слива!

И опять причетник забулькал, щуря глаза

— Слива, гришь? Н-ну, так полагается. Одно слово — царский нос. Орлиный.

— А рази у орла нос-то сливою? У него — крючком.

— Да отвяжись ты! — рассердился причетник. — У одного крючком, у другого — ящичком...

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Пока отец Сергей служил обедню, по дороге из Безводного в Курганское втягивались отдельными довольно многочисленными группами сторонники Акима и Назарки. Многие ехали в телегах, другие шли пешком, были и такие, что тащили с собой всякую рухлядь, награбленную в Безводном, или гнали собственный или чужой скот. Втянувшись в Курганское, пришедшие разбрелись по избам, часть же принялась устраиваться табором на обширной пыльной, поросшей тощей травой площади. На улицах и особенно на площади шла суетня, стоял многоголосый гул, слышалась перебранка, бабий визг, что-то пьяное пение. Посреди площади стоял, поднимаясь над окружившей его толпой, приведенный из далеких степей облезлый верблюд, презрительно озиравший галдящую толпу своими черными глазами.

К концу обедни на той же площади стали появляться люди, пришедшие в Курганское с другого конца — по дороге, связывающей Курганское с деревушкой Анниндар, принадлежавшей помещику Арапову. Это и были передовые второй шайки пугачевцев, весть о приближении которой всполошила Назарку и Акима.

Прошло некоторое время. Наконец, когда анпиратор Аким и его енарал Назарка уже выбрались из церкви на площадь и криком собрали вокруг себя человек до ста вооруженных сторонников, по дороге из деревеньки Арапова прошел на площадь отряд вооруженных неуклюжими пиками конников, среди которых был напоминавший длинноногого паука огненно-рыжий горбун лет тридцати в ямщицкой шапке с павлиньим пером. Одет он был в старый зеленого сукна гренадерский мундир с серыми отворотами, плисовые шаровары и красные сафьяновые сапоги восточного образца с загнутыми вверх носками.

— Что за шум, а драки нету? — поинтересовался горбун. — По какой причине скопление? Что за люди?

Попавшийся ему по дороге парень из Безводного, вертевший в руках усаженную гвоздями дубину, ответил, глупо ухмыляясь:

— По случаю пребывания царского величества осударя Петра Федоровича с енаралами и адмиралами.

— Это откедова же такая знатная персона сюды пожаловала? — злобно вопрошал горбун.

— Из Безводнова, А ты кто будешь?

— Вот я тебе покажу, кто я! — визгливо крикнул горбун, наезжая на безводновца и норовя достать того нагайкой.

Безводновец увернулся и угрожающе взмахнул своей страшной дубиной.

— Не замай. Ребята-а! Наших бьют!

Горбун, не обращая на него внимания, подъехал к вышедшим из церкви Акиму и Назарке.

— Кто такие будете?

Назарка, не без тревоги поглядывая вокруг, ответил:

— Находисся перед светлыми очами его царского величества, осударя Петра Федорыча всея Руси!

Горбатый обратился к тупо глядевшему на него Акиму.

— Это ты-то и есть царское величество?

— Мы! — ответил нерешительно Аким.

— Тэк-с, — прошипел горбатый. — А я-то кто же тогда буду?

— А ты кто?

— А я тоже царское величество. Хошь кого спреси!

Вертевшийся тут же Кирюшка радостно взвизгнул:

— Тятка! Еще анпиратор! Рыжий!

Два анпиратора злобно меряли друг друга глазами, словно два волка. Вокруг того и другого собрались их сторонники. Количественный перевес был у акимовцев, но сторонники рыжего горбуна все были на конях, тогда как с Акимом было всего человек десять вершников.

— Будем биться или будем мириться? — спросил вполголоса Аким.

— А этот как придется! — ответил горбун. — Ежели ты отсюда убересся, то будем мириться.

— Вона! Почему я должен убираться? Разе не я первый сюда пришедши? — заспорил Аким.

— Нас больше, мы тебе бока-то обломаем...

— Бабушка надвое сказала! — огрызнулся горбатый, однако убедившись, что акимовцев действительно много и что его собственные сторонники не очень-то охочи драться, переменил обхождение.

— Когда так, пусть будет так! Для чего драться, когда можно мириться. Ну, ты будь анпиратор, а я буду цесаревич.

— То есть, как это? — удивился Аким.

— Очень просто. Ходи ты в Петрах Федорычах, а я буду в Павлах Петровичах. Ты, мол, отец и все такое, а я твой, скажем, перворожденный сын и твоего пристоль отечества законный наследник. По рукам?

Аким почесал пятернею затылок, потом потрогал побаливавший нос и ухмыльнулся.

— Ловко придумал, парень. Ну, давай целоваться, что ли!

Горбатый сошел с коня, и они обнялись.

Назарка закричал:

— Виват!

Успевший забраться на колокольню причетник затрезвонил в малые колокола.

В господском доме Кургановых растаскивание дворовыми барского имущества за эти дни привело к тому, что усадьба казалась полуразрушенной. Все, что только можно было утащить, уже было утащено. По комнатам валялись книги дорогой библиотеки, ими занимались ребяташки, выдиравшие из переплетенных томов «картинки». Обивка стульев, кресел, диванов была уже содрана. Кто-то ободрал и штофную материю, которой были прикрыты стены гостиной. Успели вывинтить и унести дверные ручки, печные вьюшки, а пытаясь вынуть стекла из оконных переплетов и не справившись с этим, перебили с полсотни стекол. В большом зале висевшие по стенам портреты трех поколений князей Кургановых, начиная с князя Никиты, вместе с Петром воевавшего со шведами, и кончая князем Иваном, уехавшим в Казань, были перепорчены самым варварским образом. Везде и всюду валялись какие-то тряпки, грязная бумага, осколки неведомо зачем разбитой посуды.

На дворе шла кутерьма: свои, кургановские, и пришлые доканчивали опустошение барских погребов и амбаров. Даже в саду шел треск и гул: десятки баб и сотни ребят были заняты обиранием фруктовых деревьев, хотя брать приходилось еще твердые, как камень, совершенно зеленые яблоки и груши.

— Пропала усадьба! Совсем пропала! — бормотал бродивший бесцельно по дому и по службам Анемподист. — Строили, строили, дорожили, берегли и вот, на поди... И хошь бы попользовались, собачьи души. А то словно псу под шелудивый хвост...

Он поднял с грязного пола тяжелый том в кожаном переплете, повертел, заглянул внутрь.

— То ли французское, то ли аглицкое...

Помотал головой и пустил книгой в ближайшее окно. Посыпались осколки разбитого стекла.

— Пропади все пропадом! — пробормотал Анемподист и побрел в другие комнаты, не зная, куда деваться. Его единственной мыслью было дожидаться ночи и снова попытаться бежать. Лишь бы до ночи не удавили или не прирезали... Вон, уж кого-то ухлопали. Митька, что ли?

В бывшей уютной спальне княжны Варвары Ивановны лежал ничком труп босоногого парня, уткнувшегося головой в окровавленную тряпку — чехол диванной подушки. Все заставляло думать, что именно из-за нее и отдал богу свою темную душу Митька, должно быть пытавшийся уволочь чехол, чтобы употребить на портянки или онучи.

Вскоре группа вооруженных людей с Левонтием во главе уже очищала усадьбу от грабителей, так как «анпиратор» и «цесаревич Пал Петрович» с генералитетом решили расположиться в господском доме. Опытные в расправе с чернью пугачевцы без стеснений колотили всех, кто им подвертывался под руку, палками и плетьюми. Некоторых, главным образом девок и молодых баб, хватали и загоняли в один из полуразграбленных амбаров. Девки и бабы визжали и выли. Левонтий, достаточно смущенный, уговаривал задержанных девок и баб:

— Ну, чего вы, дуры стоеросовые? И ничего-таки вам не будет! И всего только и будет, что

придется вам приборкой заняться! А то, вишь, запакостили как дом-от! Надобно же его царскому величеству расположиться.

Пришлые пугачевцы плотоядно поглядывали на задержанных женщин и при случае лапали их. Женщины, не смея отбиваться, выли истошными голосами.

Какой-то пучеглазый мужик средних лет, молодая жена которого попала в число задержанных, беспомощно бегал по двору и обращался к пугачевцам:

— Дяинька, а дяинька! Отпусти ты Марфутку, пра, отпусти! Ну, что такое, пра! Дяинька Левонтий! Будь отцом родным! Насчет Марфутки... Что такое, пра! Она у меня пужливая, а он ей титьку чуть не оторвал, сукин сын. Разе так можно?

— Уйди ты! — с сердцем откликнулся Левонтий. — Велика штука, подумаешь, титька... Другим головы срывают и то ничего...

Привалила новая ватага пугачевцев, увешанных оружием молодых парней под начальством двух бородатых урядников. Закипела работа: задержанные девки и бабы, разбившись на несколько артелей, наскоро прибирали покои господского дома, ставили на дворе общие столы, стряпали на кухне и прямо на дворе на разведенных из обломков барской мебели кострах.

Потом в усадьбу пожаловали и сам анпиратор, и его «перворожденный». Горбач сейчас же принялся знакомиться с девками. Углядев какую-нибудь, тыкал в ее сторону пальцем, и сопровождавшие его вооруженные оборванцы хватали облюбованную и волокли в погреб. Аким, увидев, как сторонники горбуна расправляются с девками, заспорил было, но горбун ответил ему:

— Папашка, а тебе кто мешает? Я — себе, ты — себе. Ай грех позабавиться?

Тогда и Аким отрядил несколько своих сторонников заняться отбором девок для него и его генералитета.

Из-за румяной Марфутки вышел спор: ее тянули к себе и акимовцы, и горбуновцы. Она кричала истошным голосом, рядом вопил ее пучеглазый муж. Кто-то огрел мужа Марфутки по голове стягом, и мужик, обливаясь кровью, уполз отлеживаться в сад. Марфутка досталась, не без борьбы, Акиму.

К полудню обед был готов, и тогда во дворе разоренной усадьбы собралось несколько сот пришлых. Из села приперла толпа стариков и старух с жалобой «его царскому величеству» на безводновцев и «арапов-ских»:

— Очень уж обижают девок и молодок.

Седобородый мельник Анкудим урезонивал «батюшку белаво царя»: Ты, твое величество, так рассуди. Ну, скажем так, бывало, что наехамши гости дворянского сословия делали, значитца, побаловаться... Ну, на то у господов были, скажем, приспособлены дворовые девки, которые уже порченые. Все одно, порченые, говорю, потому что дворовые. Нас это не касается. А наших девок трогать не полагается...

Мысль понравилась: в самом деле, почему не побаловаться с дворовыми? Баре же с ними баловались? Был отыскан Анемподист, и анпиратор грозно приказал ему немедленно «представить» всех дворовых девок. Анемподист сослался на то, что девки разбежались, разбрелись по избам того же села. Анпиратор отправил на село вооруженный отряд отыскивать и сгонять в усадьбу беглянок и вменил в обязанность сельчанам помогать в этом деле, а кто будет девок прятать и укрывать, тому не миновать плетей.

Мало-помалу дворовых девок выловили, приволокли и заставили прислуживать пирующим.

Из барских погребов давно уже были выкачены на двор бочонки с домашним пивом, с медом, с водкой, наливками и настойками. Пугачевцы пили и заставляли пить других, особенно баб. В одном углу обширного барского двора задорно тренькала балалайка, гудела и визжала сопелка. Столы были завалены всякой снедью. Насытившиеся и опьяневшие плясали или орали песни, пьяных баб и девок тащили в орешник, на сеновалы, на берег пруда. В тинистой и сильно припахивающей гнилью воде барахтались голые мужики и бабы, слышался гогот и визг. Вспыхивали драки, люди схватывались врукопашную, валили друг друга наземь, волочили за волосы, топтали, душили, кусали.

В одной из комнат барского дома расположились «анпиратор» и горбатый «наследник престола». Между ними шел дружеский разговор.

— Ну и жох же ты, парень! — лениво скребя спину, выговаривал «анпиратор».

— Ты тоже хорош! — отвечал горбатый. — Из дворовых малярей да в царские, скажем, сыны...

— Так что! Ты вон из кучерей да в анпираторы! — возражал горбатый. — А сам-то наш главный заводчик — из острожных жителей...

— Попал в струю. Может, в сам-деле до Москвы доберется. Ежели только Михельсонов ему печонки не отшибет. Здоров Михельсонов-то?

— Это тот, который тебе спину батогами расписал? — с ехидцей спросил горбатый.

— И вовсе не тот, и не батогами, а арапниками! — поправил его Аким добродушно. — Драли, можно сказать, на совесть... Да и у тебя, сыночек богоданный, ежели спинку суконочкой потереть, кой-чего проявится. Драли, поди, и тебя не одна?

— Раньше нас драли, теперь мы дерем, — злобно ответил горбатый. — Я так смотрю: хошь час да мой. Два века не жить. Попользуюсь, чем бог послал...

— Ай не боишься? — подмигнул Аким.

— А чего мне бояться? Двум смертям не бывать.

— Так-то так, а я, паря, дюже побаиваюсь: первое дело, на сем свете может здорово влететь, а второе — на том, скажем, свете черту в лапы попадешь. Не миновать... Мне и сны все такие снятся. Попал, мол, я в теплое место, а там черти, а там черти. Да страшные. Да все с рогами.

Горбатый поежился, потом дерзко ответил:

— А мне плевать! Может, ничего и нету!

— Как так? — изумился Аким.

— А очень просто. Подох ты — лопух из тебя вырастет, только и всего.

— Да душа-то у тебя есть?

Горбатый задумался, потом тряхнул уродливой головой.

— Все говорят: душа и все такое прочее. А кто эту самую душу видал?

— Бог-то имеется?

— А я почему знаю? Может, имеется, а может и нет... Одно скажу: ежели бы бог был, рази он позволил бы нам с тобой такие дела делать?

— Нет, ты того не говори! — строго заметил Аким. — Как это так, чтобы бога да вдруг не было? Ежели домовый имеется, водяной, то как же без бога?

Горбатый усомнился в существовании не только бога, но и домовых, и водяных. Тогда Аким, пугливо озираясь по сторонам, шепотком выговорил:

— Да я домового сам, своими глазами сколько разов видал!

— Врешь, поди? — переспросил горбатый.

— Побей бог, сколько разов видал! На нашем «Соколе» одного видал, серенький такой старичок, будто мышь, нос крючком, а глаза злющие...

Раздался отчетливый звук треснувшего сухого дерева. За старыми вылинявшими и покрытыми рыжими пятнами штофными обоями что-то зашуршало. Собеседники побледнели.

— Свят, свят, свят, — пробормотал испуганно Аким, — да разразятся врази его... Яко дым...

Горбатый принужденно засмеялся. Потом спросил:

— А что ты делать собираешься?

— Ох, паря, сам не знаю! — сокрушенно признался Аким. — Боязно уж очень. Как задремаю, так мне виселицы мерещатся. Стоят, будто, рядышком, и сколько их — не перечесть. А на каждой по человеку болтается. Я будто бы мимо иду, и так страшно, так-то страшно...

— А, ну тебя! — рассердился горбатый. — Чего ж ты в анпираторы лезешь?

— Да куда же мне было деваться? — оскорбленно ответил Аким. — Марьсеменну-то, госпожу Лядову, все одно, по темечку Моська с Гришкой тюкнули... А мы как сироты. Одно слово, как неприкаянные сделались, ну, и полезли, как тараканы. Теперь и рад бы выскочить, да как?

— А я так думаю. Набрать бы мне червончиков-лобанчиков да сигануть, скажем, к полякам, а то хошь и к туркам. С деньгами везде можно!

— К туркам? К нехристям? Которые конину жрут?

— Везде люди живут, а что касемо конины, это они сами жрут, а других не принуждают. Он конину трескает, а ты, скажем, баранину. Кому что...

— Далеко, страшно.

Горбатый маляр продолжал:

— Сам-то, Емелька, бывалый человек. Он только о том и думает, как бы ему в Турцию проскочить.

— Да ну?! — изумился Аким. — Чего ему там понадобилось, у турков-то?

— Для безопасности. Думаешь, не боится? Ого! От верного человека знаю: страсть как задумывается. На других накидывается: вы, мол, сукины дети, меня в такое дело втравили. Беспременно быть мне на плахе!

— А они что?

— А они вот что: кто, мол, кого затягивал, про то трудно сказать. Друг другу тянули. А теперь каша запарилась, не расхлебать. Ну, и нужно до конца держаться тесненько. Авань, дело-то наше и выгорит!

— Трудно, чтобы выгорело. Михельсонов-то наших вот как расчесывает! А тут еще, говорят, сам Суворов-енарал катит.

Аким тревожно заскреб покрытую рубцами спину.

— Пропадем, как пить дать, пропадем!

— А ты не хнычь! Что такое? — вскинулся на него маляр. — Снявши голову, по волосью не тужат. Я, брат ты мой, так думаю: все трын-трава нашему брату! По крайности хоть попользоваться чем... Вот я до девок лютый.

— Все вы, горбачи, до девок люты!

— Может, от горба! — согласился маляр. — А только мне без бабьятины тошнехонько.

— А мне так без особой надобности. Еще зимой — так-сяк, чтобы теплее спать было, а летом я не охочий...

— А Марфутку от меня-таки оттягал! — попрекнул маляр.

— А ты моего добра не трожь! Мало тебе других девок?

— Левонтий твой — сволочь. Свою-то Грушку припрятал. Все говорят — красавица, белолица, круглолица...

— А ты раздобудь. Я тому не противный!

— К ночи раздобуду. Мои парни уж вытащат кралю из той щели, куда забились. Посмотрим, какова кургановска первая красавица.

— Пойдем на двор, поглядим, как наши пляшут, — предложил Аким.

Они вышли. Двор уже гудел сотнями пьяных голосов.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Бежать ночью, как рассчитывал Анемподист, ему не удалось: кто-то, должно быть Назарка, давно имевший на старого управляющего зуб, нашептал «анпиратору», и тот отдал приказание «заарештовать» снова и Анемподиста, и Карла Иваныча, и ходившего в старостах Антона Добрых. Арестованные были связаны веревками и посажены на пожарную вышку, стоявшую на краю барского двора. К ним были приставлены сторожами добровольцы мальчишки и девчонки. Мелюзгу забавляло иметь в своем распоряжении старших, еще недавно казавшихся такими всемогущими, можно было покуражиться. Какая-то сопливая девчонка несколько раз пребольно щипнула Карла Иваныча, другая все норовила ткнуть в глаз старосте сучочком. Десятилетний Никешка, сын Левонтия, предводивший этой ватагой, не рисковал истязать арестованных, но изводил их тут же выдуманными рассказами о планах расправы с ними «анпиратора». Сидя на полу вышки на корточках рядом со своей кривоногой сестренкой Машкой, он живописал, как завтра «верные царские слуги» из кургановцев и безводновцев сначала будут стегать «виновных» плетьюми, потом выдерут у них все волосы, а



уж потом примутся разнимать их на части.

— Немчу зивот распороть надо! — высказывала соображение Машка. — Мозет, в его зивоте маленький есть!

Никишка залился смехом:

— Вот дура так дура! Разе у мужиков маленькие бывают?

Машка смутилась, но потом нашла возражение.

— У наших мужиков, точно, маленьких не бывает, а у немчей бывают.

Это было сказано таким уверенным голосом, что Никешка оказался сбитым с толку и стал коситься на действительно большой живот злосчастливого немца.

— Немчи — они хитрые! — продолжала Машка. — Тятка говорит, немец облизьяну выдумал. Немчи лягушек жрут...

Никешка, изменив голос, обратился к Карлу Иванычу:

— Дяинька! Можешь облизьяну выдумать?

Карл Иваныч подумал, потом ответил;

— Связали по рукам да по ногам и еще хотите, чтобы вам что-то выдумывали!

Посоветовавшись с товарищами, Никешка предложил такой способ; развязать «рештантам» руки, конечно, нельзя, потому что тогда они смогут всех побить и утечь, но развязать ноги — пущай выдумывают облизьяну.

Ноги немца оказались развязанными, но тогда он вспомнил, что обезьяну можно сделать только из живого межвежонка. Медвежонка под рукой не было, и от мысли сделать немедленно обезьяну пришлось, к общему сожалению, временно отказаться. Тогда Карл Иваныч предложил мелюзге заняться предсказанием будущего по рукам, и ребятишки, забыв о своем намерении снова связать пленникам ноги, стали показывать немцу свои покрытые лишаями и бородавками лапки.

Глядя на грязную ручонку той девочки, которая только что упорно пыталась воткнуть ему в глаз щепочку, Карл Иваныч жалобно заохал.

— Ой, плохо! Ой, жаль мне тебя! — участливо сказал он. — Ой, какой плохой твой участь! Ой, как тебе будет плохо! Скоро очень тебе будет плохо. Твоя мать будет много плакать, потому что тебе в пузо заберется гадюка ядовитая и будет сосать твое сердце.

Девчонка побелела от страха и принялась реветь, а потом и совсем сбежала с вышки.

Левонтьевой Машке Карл Иваныч, наоборот, предсказал самую счастливую участь: приедет из-за моря не то какой-то королевич, не то богатый купеческий сын и женится на ней, и будет она сладко есть и сладко пить, и будет в золоте ходить.

Восьмилетней Машке это предсказание очень понравилось, и она, жеманясь, стала упрашивать Карла Иваныча «нагадать» и Никешке. Карл Иваныч согласился на это и после внимательного исследования покрытой коростой руки Никешки многозначительно предупредил Никешку, что только чудом ему удастся спастись от злой участи: злобится на него не то домовой, не то водяной. Ежели не поостережется, то отступится от него, Никешки, его светлый ангел, который только и спасает его от гибели, и тогда — пиши пропало. И

Никешка присмирел.

— И с твоей родней плохо дело! — продолжал запугивать его Карл Иванович. — Твоя сестра Грушка?

— Моя! — признался испуганно Никешка.

— Ай, плохо! Ай как плохо! — завздыхал Карл Иванович. — Есть у нее вороги лютые. Бедная ее душенька.

Никешка кубарем скатился с вышки и побежал галопом на село. Машка последовала за ним. Сторожить «рештантов» остались другие ребяташки, которые уже не смели подвергать никого истязаниям.

Теперь пленные могли, по крайней мере, свободно ходить в пределах вышки. Их добровольная стража не позволяла им только сойти с вышки.

— Плохи наши дела! — шептал Анемподист. — Такая завируха поднялась...

— Совсем народ с ума спятил! — откликнулся Антон. — Жили себе, жили, много не тужили, а тут на, вон, поди, какое затеяли! А с чего завелось, никак не поймешь! — тоскливо отозвался Анемподист. — Господа бают, беспременно езовиты да поляки затеяли. Они ядовитые...

— Ну, и наши тоже хороши. Воров да душегубов, да конокрадов хоть пруд пруди, хоть гать гати. Опять же, солдатья белого видимо-невидимо набралось. Их, анафем, вешать бы надоть. А приказные за взятки да за посулы поблажки делают.

— Был бы на царстве царь крепкий, он бы им показал, где раки, скажем, зимуют...

— Царем земля держится, отцом — семья. Без хозяина весь дом прахом рассыпается.

Карл Иванович, грустно вздыхая, вымолвил;

— Странные люди вы, русские. Нигде таких, как вы, нет.

— Неужто нет? — удивился Анемподист.

— Нет, — подтвердил немец. — Когда вам кто-либо правду говорит, вы не вериль. А почему? Потому что сами вы никогда правды не говорите, и во всем обман видите. Ну, а как вы правде истинной не верили, то поневоле верили сказкам всяким. И сами вы себя обманывал.

Антон и Анемподист переглянулись и засмеялись.

— Хитер, немчура! В самую точку попал!

В одном углу обширного барского двора, хорошо просматриваемом с вышки, поднялась суматоха, послышались пронзительные вопли. Анемподист сказал тревожно:

— Дерутся! Аж пыль столбом идет!

— Левонтий орет, — подтвердил Антон. — С чего бы это? Ай не поладил с Назаркой?

— Горбуна цесаревича Пал Петровича люди девку Левонтьеву, Грушку, на двор предоставили! — сообщил Анемподист. — А родня Левонтия не дает девку, отбивает. Ишь, горло как дерут!

В самом деле посланным на село сторонникам «Пал Петровича» удалось-таки дознаться, где Левонтий на всякий случай запрятал свою шестнадцатилетнюю дочку, румяную и ясноглазую

Грушу. Грушка была из своего убежища вытащена и приведена «пред ясные очи его высочества». Это похищение всполошило всю родню Левонтия и Назарки. За похитителями во двор ввалилась делая толпа неистово голосивших баб и крепко ругавшихся мужиков. Безводновцы явно сочувствовали недовольным, Горбуновы люди огрызались. Мелькали кулаки.

Кто-то вдруг зычным голосом закричал:

— Ребята! Наших обижают!

Это послужило сигналом к общей свалке, в которой все перемешалось. Метавшегося по двору с воплями черноволосого Левонтия кто-то огрел дубиной по руке, и перебитая рука бессильно повисла. Один из шабров Левонтия раскроил топором череп тому из горбуновых людей, который ударил Левонтия. Выскочивший со злобным визгом на крыльцо горбун выпалил в толпу из двух пистолетов, и тогда почти все, пребывавшие на дворе, кинулись в бегство. Толпа повалила по дороге в село. В усадьбе остались только вооруженные сторонники «анпиратора» и спутники «цесаревича». Они заняли два противоположных угла двора и обменивались угрозами. Совершенно пьяный «анпиратор» стоял на крыльце, тупо глядел на опрокинутые столы и скамьи, разбитые горшки, разбросанные куски хлеба и пирогов, разбитые бочонки и бормотал:

— Н-ну и д-дела!

В нескольких шагах от крыльца три безводновца дрались с двумя араповцами. Все были пьяны, больше махали кулаками в воздухе, чем дрались по-настоящему.

— Голуби! Что это вы? — скорбно изумился «анпиратор». — Все было по-хорошему, по-благородному и вдруг...

Завздохал:

— Ах, нехорошо! Право слово, совсем нехорошо! Праздник себе устроили, по-христианскому, по-православному, водочки выпили... А потом — на поди!

Один из безводновцев, получив случайный удар коленом в брюхо, свалился, как сноп, и завыл истощенным голосом. Свой же, другой безводновец, не разбирая с пьяных глаз, насел на поверженного и принялся рвать ему бороду.

— Чтой-то, голуби! — ахал «анпиратор» — Ну, дал ему по морде, ну, саданул под микитки. А волосье драть уж не полагается...

Рассердился и прикрикнул:

— Голуби! Кому я говорю?! Брось! Что ты с него волосье сдираешь? Голуби! Вам я говорю ай не вам?

Но «голуби» продолжали таскать друг друга. И тогда распухшее лицо «анпиратора» вдруг налилось кровью, нос почернел, правая губа вздернулась вверх, нижняя скривилась, обнажая волчьи зубы. Аким с диким ревом свалился с крыльца и врезался в дерущихся. Из разных углов дома, амбаров, из близкого сада сбегались люди и влипали в ту же кучу. Слышался топот ног по твердому грунту, глухие звуки ударов, хриплое дыхание. Куча дерущихся росла и росла. Огромный клубок катался по двору. Скрывавшийся в течение нескольких минут со своей добычей, ясноглазой Грушкой, горбатый «Пал Петрович» выскочил на двор и, нелепо взмахивая драгунским палашем, свалил двух или трех безводновцев, но напоролся на кургановского парня, который сзади ударил горбуна цепом по тонким ногам. Горбун свалился, выронил из рук палаш, передернулся несколько раз и попытался откатиться от дерущихся. Но

тогда к нему подбежал Никешка и принялся, прыгая, тыкать старым источенным кухонным ножом в безобразное тело «Пал Петровича», приговаривая:

— Вот тебе за Грушку! Вот тебе! Вот тебе!

Толпа дерущихся надвинулась на них, покрыла и покатила дальше. На месте, где только что были Никешка и горбач, остались словно две растоптанные ящерицы — одна побольше, другая поменьше. Спасайся, кто может! Утекай! Утекай! — кричали сторонники погибшего «великого князя».

Иные, выскакивая из кучи дерущихся, где в самой середине топтался, как медведь, «анпиратор» Аким, бежали к воротам, к амбарам, прыгали через невысокую загородку в сад. За ними гнались, били их ножами, кистенями, дубинами, а то и просто подобранными тут же обломками разрушенных столов и скамей.

Безводновцы и кургановские одержали полную победу. Пришедшие в Кургановское с рыжим маляром араповские, разбитые наголову, спасались бегством, уже не помышляя о сопротивлении. На барском дворе, в саду, на огороде, по дороге на село валялись жестоко избитые, изуродованные в свирепой драке люди. Какой-то араповский сидел у забора, перхая, как овца, и из его искривленного судорогой рта выскакивали плевки алой крови, а покрытые холодным потом руки бессильно хватались за обильно политую его кровью землю. Время от времени он чуть слышно бормотал;

— Смертушка... смертушка...

Порядком пострадавший в драке Аким, пошатываясь, забрался на крыльцо, постоял, мотая по-бараньи распухшей головой и вздыхая.

— Здря. все это! — вымолвил он.

А вечером на барском дворе опять стоял дым коромыслом: снова были выставлены столы и скамьи, наварена и напечена всякая снедь, поставлены корчаги с пивом и водкой. Горели костры и налитые бараньим салом плошки, визжала сопелка, гудела «коза» гнусавым голосом своей деревянной дудки, пиликала самодельная скрипчонка какого-то доморощенного музыканта из дворовых, бабы и девки вели хоровод, ребята играли в горелки. В саду, особенно в густом орешнике, шушукались случайные пары.

Выспавшийся с Марфуткой «анпиратор» с трещающей от выпитой водки головой восседал на большом потерявшем обивку кресле на террасе, где недавно Левшин вычерчивал пальцем по пыльному столу карту местности, и с помощью Назарки решал дела государственной важности. Тут присутствовали выборные от крестьян села Курганского, а также приведенные с вышки Карл Иваныч, Анемподист, бывший староста Антон, отец Сергей с крестом и евангелием и Тихон Бабушкин. Обобранный до нитки краснорядца не было: ему накостыляли шею, чтобы зря не шатался, и выгнали из села.

— Господов больше никаких не будете иметь до скончания века, покуда будет стоять моя держава! — медленно цедил слова «анпиратор».

— Покорнейше благодарим! — кланялись выборные.

— Значит, всякую там барщину, альбо, скажем, оброк — к шуту!

— Покорнейше благодарим.

— Некрутов с вас брать не буду. Будя! Кто хочет, тот путь и идет по доброй, то есть воле, и все такое, а принуждений не будет.

Опять выборные благодарили.

— Откупов тоже никаких. Одно слово — крышка! — продолжал Аким. — Кто хочет, скажем, солью торговать, торгуй. А кто хочет водку гнать, гони. Мне что? Оно и лутче...

Подумав, продолжал:

— Податей тоже никаких. Крышка податям-то!

— Покорнейше благодарим, твое царское величество.

— Насчет старой веры — никаких стеснений. Мне что?

— А как насчет землицы? — осведомился один из выборных.

— Жалую вас землей! — объявил Аким. — Мне что? У меня земли много. Прямо сказать, сам не знаю, куда и девать. Берите, владайте. Сколько кому надобно, столько каждый пушай и берет. Одно слово, сколько осилить может...

— А с лесом как?

— Берите и лес. Рубите!

Тут робко вступил Карл Иваныч. Заговорил, что кургановский лес непростой. Триста десятин посажены еще князем Никитой по личному приказанию императора Петра I да двести десятин молодняка насажено нынешним князем Иваном. То есть, конечно, не сам князь Иван сажал, а он, Карл Иваныч, как ученый-лесовод.

— Ну, и что ж с того? — недоверчиво спросил Аким.

— Против песков насадка сделана. В защиту от песков, которые грозят занести всю округу. Лес никак нельзя трогать. Лес беречь нужно!

Мужики загалдели:

— А кто его разводи л-то? Ты, немчура, только показывал, как и что, а саженцы сажали мы же! Значит, и лес наш, что хотим, то и делаем!

— Лес можно рубить только делянками! Разбить весь лес на сто участков и каждый год вырубать только одну делянку. Так лес будет сбережен.

— Хитришь, Карла! Хочешь лес для господ сберечь! Сам из господ, так господскую руку и тянешь!

Аким, хватаясь за налившуюся болью голову, заявил:

— Руби, ребята, и никаких. Дерево, оно чье? Оно божье. Там и растет, где бог укажет. Захочет бог — вырастет, не захочет — так хоть тресни, ничего не выйдет. Руби, и никаких! На всех хватит!

Кто-то из мужиков пожаловался, что кургановцам приходилось наряжать рабочих для содержания в порядке огромного барского сада, а пользовались садом одни господа.

— Руби и сад! — решил «анпиратор». — Барская выдумка! Настоящему мужику разве с садом возиться?

Карл Иваныч застонал. Тогда «анпиратор» погрозил ему корявым пальцем.

— Ты у меня, немец, помалкивай. Ты уж и тому радуйся, что я тебя, скажем, повесить аль запороть не приказываю... А ежели рассудить, на что ты? Только и есть, что для барской прихоти.

Карл Иваныч, заикаясь, заявил, что он приносил пользу не одним барам. Уж не говоря о заботах о лесе и саде, он, Карл Иваныч, как физикус, химикус и ботаникус, занимался разведением лекарственных трав. Лечил и бар, и мужиков. Многих, можно сказать, от смерти спас...

— Что верно, то верно! — подтвердили мужики. — Глисту выводить мастер!

Аким повеселел.

— А ты, немчура, вывел бы из меня червячка пьяного? Завелся, анафема, лет десять назад, сидит под самым сердцем и сосет, сосет сердце... Опять же, вот и сейчас. Бог знает с чего, чердак трещит. Как выпьешь малость, так и начинает чердак трещать...

Карл Иваныч заявил, что от головной боли он может избавить «его царское величество» отменно просто. А вот с «пьяным червячком» повозиться надо. За десять лет этот червячок здорово разросся. Корни длинные пустил.

— А нос мне не поправишь, немчура? Болит дюже!

Карл Иваныч пообещал попробовать исправить и нос его царского величества. Надо поискать корешков подходящих.

Анпиратор посветлел.

— Да ты, оказывается, немец ничего себе, не вредный немец. Ну, живи! А вы, ребята, смотрите в оба: не обижать немца. Вишь, даже нос мне поправить берется!

Карл Иваныч был отпущен готовить какое-нибудь снадобье от головной боли и в награждение ему был дан целый рублевик.

Староста Антон был жестоко обруган за то, что хоть и поневоле, но «тянул барскую руку». Анемподист получил несколько затрещин, поплатился одним выбитым царской ручкой зубом, но, в общем, отделался дешево. Отцу Сергию «анпиратор» приказал завтра похоронить честь честью всех убиенных сегодня и впредь не обременять кургановцев поборами. Покончив с этими «рештантами», анпиратор взялся за Тихона Бабушкина.

— А ты что за человек?

Тихон заявил, что он учился, но не доучился в московском университете — по слабости здоровья. Теперь живет в Курганском. Может быть весьма полезным его царскому величеству, как образованный человек.

— Ох, и не люблю же я вас, образованных! — признался Аким. — С вас как с козла — ни шерсти, ни молока. А нос вы задирать умеете!

— Я могу ребят обучать! — заикнулся Тихон.

— Ну, это ни к чему. Ребята землю пахать да сено косить и так выучатся от отцов да матерей!

— Грамота...

— А грамота к чему? Которые грамотные, так они и норовят своему же брату, мужику, на шею

усесться. В приказные пролезают и так-то сосут мужика.

Совсем уж смущенный Тихон заикнулся, что он изучал всяческие законы, не токмо что государства Российского, но и иностранных государств.

«Анпиратор» рассердился:

— Каки таки законы? Для чего законы? Законы только баре придумали, чтоб бедного человека в страхе держать, а по-настоящему никаких законов не надобно. Где что нужно — скажем, царь прикажет, а его верные слуги распорядятся. И все будет по-доброму, по-хорошему.

— Для правильного суда...

— А кто тебе сказал, что в моем государстве правильный суд будет? — насупился «анпиратор». — Ничего этого нашему величеству не надобно. Выберут мужики пяток аль десяток стариков, те и будут судить. Как по совести, то есть. Кого нужно, того и постегают. Сами и стегать будут. А суд — на что он?

Тихон совершенно увял. Мучительно напрягал мозг, стараясь придумать, чем бы снискать если не милость, то хоть снисхождение грозного «анпиратора». Напоминать о виршах и о латинском языке он считал уже опасным. Но его выручил сам «анпиратор».

— Писать обучен, гриш? И по-иностранному?

— И по-иностранному, — торопливо отозвался Бабушкин.

— Так что можешь накатать грамотки иностранным, скажем, королям да прынцам разным?

— М-могу! — ответил, поеживаясь, Бабушкин — На языке Цицерона...

— По-немецки, что ли? Ну, ладно! Жалую тебя в наши иностранные министры. Будешь состоять при моей персоне.

Подумав, осведомился:

— Женат?

— Еще нет.

— А этого не люблю. Почему не женат? А знаешь что? Сбегай-ка ты к попу: пушай он тебя сейчас и повенчает.

— С кем? — испугался Тихон.

— Жалую тебя из моих царских рук невестой. Награждаю тебя любезной нашему сердцу стаст-дамой... Марфуткой кличут. Ничего, вальяжная девка. Муж-то ейный уж окочурился. Что ей во вдовах ходить?

Тихон не осмелился спорить, но решил как-нибудь увернуться от венчания.

\* \* \*

Четыре дня шайка Акима и Назарки валандалась в Курганском. Сначала между кургановцами

и безводновцами царило относительно согласие, но уже на второй день оно было нарушено. Безводновцы очень уж обижали девок и баб да еще и требовали от кургановцев поделиться добычей из барской усадьбы. Из-за этого весь второй день вспыхивали драки, и к ночи второго дня оказалось, что в драках убито человек до десяти. Ночью драка завязалась возле двора лежавшего с переломленной рукой Левонтия: несколько безводновцев подломили клеть и потащили оттуда накопленное Левонтием добро, а двое парней забрались в светелку, где пряталась чудом спасшаяся от горбуна Грушка, и стали ее насиловать. В завязавшейся драке кто-то прошиб кистенем голову Левонтьевой старухе. Вступившиеся за Левонтия родственники перебили ребра, одному безводновцу, в ответ был подожжен левонтьевский овин, а от овина загорелся хлев. Изба Левонтия уцелела, но все хозяйственные постройки словно корова языком слизнула, в огне погибла дорогая холмогорская корова и несколько овец. Пламя перекинулось на соседние усадьбы, и выгорел целый «порядок» — изб до тридцати. Озлобленные этим кургановские живьем сожгли несколько попавших им в руки безводновцев. На следующий день произошло уже целое побоище, и опять было два пожара. Чуть не сгорела и единственная церковь. Теперь драки происходили главным образом из-за съестных припасов: нахлынувшая на Курганское толпа пугачевцев ловила птицу, загоняла овец, выбирала все содержимое погребов. Добро не столько потреблялось, сколько портилось, развевалось по ветру. Благосостояние большого, жившего до сих пор сытой жизнью села таяло с поразительной быстротой. Уже образовалась целая толпа еще вчера зажиточных людей, у которых теперь не было ни кола, ни двора, ни краюхи хлеба. Не решаясь грабить своих же односельчан, они стали поговаривать, что не мешало бы собраться да и отправиться всем гуртом в близкое Петровское, а то в Богородское. Там еще не побывала ни одна шайка, а мужики там во какие богатые!

На пятый день «армия его царского величества» тронулась в новый поход: на Петровское, с тем, чтобы оттуда двинуться на Богородское.

Вперед были посланы конники, за ними повалила пехота, с которой вместе тянулись и сотни подвод с приставшими к «армии» погорельцами из Безводного и Курганского. Пугачевцы тащили с собой награбленную рухлядь и везли живую добычу в виде многих десятков молодых и девок.

Сам «его царское величество» Аким с енаралом Назаркой и «министром иностранных дел» Тихоном Бабушкиным, а также другими «енаралами» и «министрами» укатил за своей армией после полудня.

Село и усадьба опустели, но порядок в них восстановиться уже не мог: за время пребывания в селе пугачевцев между обитателями накопилось много новых счетов. Вспыхивали ссоры и драки из-за барского добра, из-за обид, причиненных «по пьяному делу». Выли бабы, мужья и братья которых были убиты в драках. Как ошалелые, бродили, «попорченные» девки. Время от времени обнаруживался уцелевший бочонок браги или водки, и начиналась попойка. Люди расплзались из подвергшегося нашествию села по всем направлениям. Отец Сергей опять сбежал неведомо куда. Успел тайком выбраться и Карл Иваныч. Причетник Дорофеич, булькая, бродил по опустевшему храму и от скуки по несколько раз в день забирался на колокольню.

Анемподиста пугачевцы увезли с собой, но, пользуясь царившим в их рядах беспорядком, он благополучно увильнул в сторону и через несколько дней добрался до Казани, где оповестил князей Кургановских об участи, постигшей их лучшее имение.



### ГЛАВА ПЕРВАЯ

На Чернятинских хуторах был один уголок, куда не было ходу рядовым пугачевцам. Днем и ночью этот уголок тщательно охранялся «бекетами», то есть пикетами из старых приверженцев «Петра Федорыча», по большей части казаков-старообрядцев и сибирских варнаков, людей, на которых «анпиратор» мог положиться.

Ложбинка, заросшая липами. Возле нее небольшое поле с гречихой. Посреди липового леса — полянка с густой и сочной травой, а на этой полянке штук до полутора пчелиных ульев. В сторонке — омшенник, чтобы убирать ульи на зиму, прятать пчелку, божью работницу, от степных морозов. Рядом с омшенником приземистый навес с верстаком для плотничьих работ, и дальше — три мазанки с крошечными оконцами, в переплетах которых стекла заменялись пластинками мутной, испещренной жилками горной слюды. При мазанках были и кое-какие служебные постройки.

Весь этот тихий уголок принадлежал богатому хуторянину, раскольнику «Пафнутиева согласия», выходцу с Дона Филиппу Голобородько, поселившемуся здесь еще во дни императора Петра Великого молодым человеком, а теперь подбиравшемуся к девяноста годам. Сам Филипп, впрочем, жил не на пчельнике несмотря на весьма преклонный возраст, он был одним из верховных заправил «Пафнутиева согласия» и почти постоянно пребывал в таинственных разъездах. Хозяйством, которое у Голобородько было огромное, управляли уже и не сыновья, а внуки Филиппа, люди оборотистые, кряжистые. На пчельнике орудовал белый, как лунь, тоже почти девяностолетний двоюродный брат Филиппа глухой, как пень, Варнава. В свое время и он, Варнава, играл роль в «Пафнутиевом согласии». Побывал и в Австрии, и в Турции, и на Соловецких островах, и в сибирской глухой и страшной тайге, пожил и в обеих столицах. А потом как-то охладел ко всему в мире, может быть, из-за одолевшей его глухоты и скрючившей его крепко сбитое тело подагры. Он ушел от мира и грехов вот сюда, на пчельник, разводить пчел и думал какую-то думу.

Примыкавшие к «Пафнутиеву согласию» добрые люди были разбросаны по многим местам. Были у них единоверцы и в Москве, и в Питере, и в Нижнем, и в Астрахани. Обладали они и простыми общинами с тайными моленными и тайными скитами как мужскими, так и женскими. От общин, моленных, скитов, даже запрятавшихся в сибирскую тайгу, тянулись невидимые, но крепкие нити сюда, через Чернятины хутора, в липовую рощу на пчельник.

Три мазанки служили для особой цели: в них иногда по месяцам проживали сновавшие между раскинутыми на огромном пространстве общинами и скитами свои, «пафнутьевские» странники, вестники, учителя и наставники, твердые в истинной вере и готовые, ежели понадобится, потерпеть хотя бы и лютую смерть от слуг антихристовых, то есть от представителей царской власти. Многих странных гостей видели убогие мазанки, но таких, какие нашли себе приют здесь теперь, ни разу видеть не приходилось. Сам Варнава поглядывал на них не без робости. Не нравилось ему, вот как не нравилось, что эти таинственные гости без зазрения совести курили свои трубки в жилищах, в которых до них пребывали многие истинно угодные богу люди святой жизни и строжайших правил. Не нравилось ему и то, что пришельцы и в жилище свое зачастую входили, не снимая шапок, и лопотали между собой на непонятном для окружающих языке. Но Варнава знал, что «так

надо», и терпел все, не споря. Не выдерживала его душа только тогда, когда кто-нибудь из «нехристей» забирался с трубкой в зубах на самый пчельник. Тогда Варнава бежал к прищельцу и, низко кланяясь, бормотал:

— Уйди ты, ваша милость, Иисуса ради, отсюда! Пчела — тварь божья, она табашного дыму не переносит!

Обыкновенно пришелец, посмотрев на взволнованного старика, скоро понимал, в чем дело, и, смеясь, уходил с пчельника.

Тут, же в нескольких десятках саженой от пчельника, было совсем укромное место: под развесистой столетней липой был ветхий дубовый сруб, из-под которого вытекала тонкая струйка кристально чистой и холодной воды, рядом — весь поросший сочной, ярко-зеленой травкой бережок. В этом уголке царила торжественная и вместе ласковая тишина. К толстому стволу липы был прибит старого, поди, новгородского литья медный восьмиконечный крест с угловатым телом распятого.

Около полудня знойного июньского дня в этом уголке, на старой, врытой в землю скамье сидело несколько человек таинственных гостей хутора Голобородько. Первое место занимал толстый смугляк с бритым лицом, пухлыми фиолетовыми губами, горбатым носом, живыми черными глазами, обличавшими южанина, и певучим, хотя и тронутым легкой хрипотой, голосом. Он был одет в простой казинетовый камзол и короткие штаны, на ногах были грубой работы крепкие башмаки с пряжками. Справа от него помещался почти такой же толстый, похожий на откормленного и избалованного старого кота сероглазый мужчина лет сорока, одетый по-казацки, стриженный «в кружок», с бритым подбородком, но с длинными свисающими усами. Сбоку у него висела шашка с серебряным чеканным эфесом. Слева от толстого смугляка помещался уже знакомый нам пан Чеслав Курч, польский конфедерат, бежавший к Пугачеву из Казани. В двух шагах, расположившись на срубе колодца, сидели светлоусый молодец с лицом, черты которого чем-то неуловимым напоминали шведского короля Густава Адольфа, великого воителя, и молодой худощавый человек с темными волосами, орлиным носом и дерзкими карими глазами. На его правой щеке от носа до уха проходил большой старый рубец, который, впрочем, не портил это красивое странной и беспокойной красотой лицо. Двойник Густава Адольфа и его сосед со шрамом курили свои трубки, и сизый табачный дымок тянулся расплывающимися прядями мимо ствола липы, окутывая чуть видные очертания распятия. Смуглый толстяк держал в руках маленькую пузатую книжку в сильно потертом сафьяновом переплете — молитвенник на латинском языке и изящную красного дерева с хитро заплетенным золотым узором тавлинку.

— Они опять совещаются! — играя косматыми бровями, сказал смугляк. В его голосе сквозила насмешка, близкая к презрению.

— Они только и знают, что совещаться! — откликнулся молодец со шрамом. Оба говорили по-французски, но было ясно, что для толстяка французский отнюдь не является его родным языком.

— Мне кажется и все-то русские не умеют ничего другого делать, как только болтать и болтать без конца! — с раздражением сказал светлоусый, сидевший рядом с толстяком. И этот говорил по-французски с акцентом.

— Москали, действительно, страдают болезнью, которую я назвал бы «недержанием речи»!

Сидевший на срубе двойник Густава Адольфа внимательно посмотрел на других, потом потупился и принялся рассматривать кончик своего ботфорта желтой буйволовой кожи.

— Московитов можно понять, вообще говоря, только когда привыкнешь относиться к ним, как к азиатам, страшно лукавым и вместе с тем далеко не умным варварам, лишь совершенно

случайно схожим, и то лишь в известной степени, с людьми европейской расы! — наставительно вымолвил смуглый толстяк, делая плавный жест вооруженной тавлинкой пухлой рукой. — Вся их душа есть душа азиатских дикарей. Их царь Петр сам, собственно говоря, был такой же лукавый дикарь, как и они, только поумнее, то есть даже не поумнее, а похитрее их. Он заставил их рядиться по-европейски, приучил бояр к европейской роскоши и французской речи. Но дальше не пошел! Поскребите любого москвитя, рядящегося в камзол французского покроя, носящего парик, таскающего шпагу, болтающего по-французски, и вы увидите настоящего степняка-татарина... И это — счастье для остальной Европы!

— Почему же счастье, синьор Бардзини? — осведомился пан Чеслав.

— Потому, сын мой, что при удивительной способности москвитов размножаться, плодиться, как плодятся степные мыши, было бы горе Европе, если бы они оказались способными воспринять благородное европейское просвещение и построить свою жизнь на более или менее разумных основаниях. Покуда они, москвиты, могли выставять в поле только орды вооруженных людей, Европа могла их не бояться; сравнительно ничтожные по численности, но хорошо выученные армии их соседей могли бить эти орды, где только их встречали.

— Нарва! — произнес сидевший на срубке двойник Густава Адольфа.

— Да, Нарва... Но вот, их царю удалось с грехом пополам и, увы, с помощью предавших Европу европейцев, особенно безголовых шотландцев, отчасти немцев, придать этим ордам нечто такое, что может быть названо европейским, и — и с ними уже стало трудно справляться.

— Полтава! — вставил пан Чеслав.

По лицу человека, похожего на Густава Адольфа, пробежала тень. Он сердито сжал губы и наморщил лоб.

— Москва теперь бьет Турцию! — сердито завозился человек со шрамом. — Мой всемилостивейший король не может оставаться равнодушным к поражениям турок. Русский флот, правда, очень плохой, разгуливает по Средиземному морю, которое...

— Которое вы, мосье Балафре, считаете вашей, французской собственностью! — засмеялся, подмигивая, Бардзини.

— Во всяком случае, — пылко ответил француз, — Средиземное море по праву принадлежит народам латинской крови. Москвитам там нечего делать!

— Как Балтийское море принадлежит народам германского происхождения, — медленно, явно подбирая слова, заявил его сероглазый сосед. — Мы, шведы, давно уже твердим, что необходим общеевропейский союз, который должен положить конец этому поистине позорному положению дел.

— Адажио! Адажио! — пропел Бардзини. — Полковник, вы слишком торопитесь! Наш друг, шевалье Балафре, скажет вам, что христианнейший король Людовик XVI, к которому мы относимся с уважением и симпатиями, едва ли решится связать Франции руки каким-нибудь определенным договором в целях совместных действий против Московии. И Францию, и нас очень заботит опасность, грозящая родине нашего друга, пана Курча. Присутствие с превеликими трудностями добравшегося сюда из Англии пана Полуботка свидетельствует о том, что и Англия не остается безразличной к поднятым сейчас вопросам...

Сивоусый Полуботок, потомок раздавленного Петром малороссийского гетмана Полуботка, зашевелился, дернул правый ус и кивнул головой.

— Имею заверения разных высоких персон англиских, что вся Англия сочувствует делу освобождения от ига москалей свободолюбивого малороссийского народа! — вымолвил он.  
— А с Польшей мы сговоримся. Лишь бы свалить московского медведя!

— Весь вопрос сводится к тому, — снова вступился Бардзини, — как этого медведя свалить? По общему мнению, поднятое нашим благородным другом, которого одни называют просто Емелькой Пугачевым, а другие императором Петром Федоровичем, движение имеет серьезнейшие виды на успех.

Сероглазый швед пожал плечами и глухо сказал:

— Имело бы, если бы... Если бы оно не было, таким диким, таким... безмозглым!

— Как все решительно, что делали, делают и будут делать москали, — поддержал его Курч.

— Не всегда, не всегда, дорогой мой, — дружески предостерег его итальянец. — У московитов все зависит от того, кто стоит у власти. Им нужна власть сильная, крепкая, способная действовать во имя нации безоглядно и беспощадно. Они способны повиноваться только именно такой власти. И кто правит ими железной рукой, как Иван III, как Иван IV, как Петр I, тот может с ними делать, что хочет.

— Но только не может сделать их европейцами! — высокомерно откликнулся шевалье. — Азиата можно заставить надеть вместо халата камзол и вместо малахая — шляпу со страусовым пером, но он все же останется азиатом!

— И московиты, и их родные братья, турки, давно были бы изгнаны из Европы, если бы в церкви христианской не произошел прискорбный раскол, нарушивший духовное единство европейских народов! — вздохнул Бардзини. — Для изгнания московитов в Азию необходим крестовый поход!

— Или союз если не католических, то хоть просто заинтересованных в деле государств! — вмешался швед — Времена крестовых походов прошли и не вернуться, но наступает время великих политических союзов. Мы должны смотреть не назад а вперед. Именно теперь самое благоприятное время, чтобы покончить с Москвой. Хотя Москва и вышла победительницей в долгой и кровопролитной войне с турками, война эта произвела страшные разрушения внутри страны. Нынешнее народное движение есть сему доказательство. Спор между Екатериной и Петром или Лже-Петром из-за права на корону — это, разумеется, только простой предлог. Нам следует всеми силами поддерживать сего претендента на престол российский, совершенно не заботясь о том, действительно ли он имеет какие-либо права.

— Само собой разумеется! — одобрил Бардзини. — Какое нам, посторонним, дело до прав того или другого!

— Для нас, — продолжал горячо швед, — важно одно: разрушение этой столь внезапно разросшейся империи.

— Правильно! — откликнулся и Курч.

— Когда я отправлялся из Стокгольма, — продолжал швед, — один мой знакомый, муж большого государственного ума и острого языка, сказал мне так: когда вы, Анкастром, увидите, что две ядовитые змеи яростно кусают одна другую, что вы будете делать? Я ему ответил: моею первой заботой будет помочь им обеим продолжать их дело, доколе они не издохнут обе...

Бардзини отложил в сторону молитвенник и тихонько захлопал в ладоши, приговаривая:

— Браво, браво! У нас, в Неаполе, в таких случаях говорят еще так: не мешай сколопендре

загрызть тарантула, но позаботься о том, дабы тарантул тоже влил свой яд в тело сколопендры! В данном случае «тарантул» у нас под рукой.

— А сколопендра сидит в Петербурге! — откликнулся Курч.

«А гадюка — в Варшаве», — усмеялся про себя Полуботок.

После минутного молчания Бардзини продолжал:

— Народное движение идет на убыль. Было бы неразумно скрывать от себя сию печальную истину!

— Позвольте, падре! — запротестовал шевалье — Разве это так? Когда я пробирался сюда через Персию и астраханские степи, у наших, друзей в распоряжении была гораздо меньшая территория, чем теперь!

— Совершенно верно, но в России территория отнюдь не играет такой роли, как в странах европейских. За этот год территория, которая, скажем, вышла из-под власти императрицы, значительно увеличилась, но зато теперь успехи движения заставили-таки расшевелиться государственную власть. Дикие, безобразные, поистине азиатские виды, которые движение приняло с самых первых шагов, начинают пугать даже самое население. Ведь не все же русское крестьянство состоит из бесправных крепостных и из голышей. В распоряжении власти, наконец, имеется и регулярная армия, которая со времен Петра обладает известными воинскими традициями.

Да, территория, захваченная нашими друзьями, пожалуй, обширнее территории всего французского королевства, но ведь речь идет о крае, который и до движения был почти незаселенным. Движение разорило этот край, он уже не в силах прокормить существующее население. На всем его пространстве чувствуется недостаток съестных припасов...

— Нам же на руку: голод будет гнать холопов в повстанье, — заметил Курч.

— До поры до времени! — вмешался шевалье. — До поры, до времени, а потом тот же голод начнет разгонять повстанцев.

— Это уже и происходит! — подхватил Бардзини. — Вместо одного «Петра Федоровича» уже появилось их несколько десятков. Именно они-то и губят самое движение, разоряя до конца тот край, где пока что приходится действовать.

— Этого осатанелого казака надо заставить идти на Казань! — почти крикнул Курч. — Иначе, действительно, все пропало.

— Об этом и идет сейчас речь на их идиотском совещании! — промолвил итальянец. — Нам уже удалось убедить многих его самодельных генералов и министров, что все погибнет, если они не решатся уйти отсюда. Взятие Казани откроет дорогу на Москву.

— А что же Пугачев?

Бардзини пожевал фиолетовыми губами, потом, оглянувшись по сторонам, шепотом выговорил;

— Дикий осел упирается. Н-ну, посмотрим. Ведь у него петля на шее. Ему придется или исполнить то, что мы от него требуем, или... Или уступить место другому, более смелому...

— Расстаться... с титулом императора? — слабо удивился швед.

— Расстаться... с жизнью! — сухо ответил иезуит.

— Ну, это не так-то легко и просто!

— Почему?

— Его оберегают... Хлопуша и Зацепа, как два цербера стерегут его и днем, и ночью. Шаповал пытался отравить его полгода назад, чтобы самому занять его место, но...

— Шаповал такой же дикарь, как и Пугачев! И притом дикарь очень уж глупый! — засмеялся Бардзини презрительно. — Ну, что же это, в самом деле, за отравитель? Добыл мышьяку, испек пирог и поднес...

— Но ведь говорят, попытка не удалась только по случайности; кто-то соблазнился пирогом и сожрал ломоть...

— Не совсем так! Кто-то подслушал перешептывание Шаповала с его стряпухой и предупредил Емельяна. А тот, приняв от Шаповала в дар отравленный пирог, заставил трех сыновей Шаповала съесть его. Мальчишки, разумеется, ничего не подозревая, накинулись на снедь и... И отравились *ad patres*... А Шаповал, как уличенный отравитель, был подвергнут пыткам, оговорил многих, а потом был казнен... Все это было отменно глупо! Если бы понадобилось устранить сего «императора» путем отравления, это дело можно было бы проделать, так сказать, научно.

— Да, но где же в этой дикой стране вы найдете таких артистов, как Рене-флорентинец, синьор? — спросил не без ехидства шевалье.

— О, мой бог! Я бы удовольствовался и такими, как ваши милые соотечественницы Бреннвилье и Вуазен! — не моргнув глазом, отпарировал итальянец. — Наука отправления лишних людей на тот свет применяется во Франции с неменьшим усердием, чем в Италии...

— Позвольте, господа! — вмешался швед. — Об устранении Пугачева у нас будет еще время позаботиться, если он откажется идти на Москву! Покуда же наш долг — охранять его драгоценную жизнь!

— Пожалуй! — вымолвил патер. — Посмотрим, к чему приведет нынешнее совещание...

## ГЛАВА ВТОРАЯ

В той большой избе, где была «царская ставка», уже несколько часов подряд шло заседание «Верховного Совета»: решался вопрос, что делать.

Почти все время участники бешено орали друг на друга, сверкая глазами, замахиваясь и готовясь друг в друга вцепиться. Они разбились на несколько партий. Была партия Хлопуши Рваные Ноздри и партия его вечного противника Зацепы Резаны Уши, ставших врагами еще в дни пребывания на каторге. Была еще державшаяся отдельно и сравнительно спокойнее других партия Степы Рябова, донского казака, к которой примыкала и державшаяся совсем уже степенно партия Юшки Голобородьки — одного из сыновей чернятинского богача и главы «Пыфнутьевского согласия». Голобородьковцы больше слушали, переговаривались друг с другом шепотком, а потом Юшка от их имени говорил всего несколько веских многозначительных слов. Предметом общего внимания была совсем маленькая кучка близких к Пугачеву людей. Юрка Жлоба, Терешка Хмара да Борька Выходцев — все трое из яицких казаков. Они первыми примкнули к «анпиратору» почти полтора года назад, да так и держались, словно уцепившись за него.

Сам Пугачев, бледный, с трясущимися руками и блуждающим взором, страдая от тяжелой головной боли из-за вчерашней попойки, сидел в почетном углу под иконами на лавке, покрытой дорогим персидским ковром. Несмотря на то, что никто не курил, в избе дышалось тяжело, и воздух казался насыщенным какой-то кислотой. Окна и двери были плотно притворены, чтобы никто не мог подслушать разговор «анпиратора» с его ближайшими советниками. Перед дверью и под окнами маячили вооруженные до зубов часовые.

— Нет, ты говори напрямки: что думаешь таперя делать? — приставал Хлопуша к Пугачеву.

— Да чего ты на меня пырскаешь? — сердито отвечал Пугачев — Надо-ть сообразить, как и что. Нельзя же, не спросясь броду, да лезть прямо в воду! Ты раньше посмотри в святцы, а тогда и бухай в колокол!

— Да ты не отлынивай! Каки таки еще «святцы»?! Ты прямо говори: обещал Москву вверх тормашками поставить?

— Ну, обещал! А дальше что?

— Обещал Катьке шею свернуть? Обещал еще весной Казань единым махом взять?

— Да чего ты ерепенишься?

— Почему засел в Чернятине, как паук в норке аль суслик лысый, да ничего и не делаешь?

— Время удобное выжидаю!

— Струсил ты, вот что! Никакого там время удобного тебе не надобно. Прищемил тебе Михельсонов хвост, так ты и не оглядываешься!

— А ты бы того... Полегше бы! Как смеешь в моем присутствии так выражаться? — огрызнулся Пугачев. — Я тебе кто? Разе я не твой анпиратор?

Хлопуша, неистово гундося, прошипел:

— Ой, убил! Ой, зарезал! Анпиратор, скажи пожалуйста! Чего ты передо мной ломаешься, как писанный пряник? Кто тебя и в анпираторы-то произвел, как не я с Мотькой покойным, которого михельсоновы гусары зарубили?

Зацепа, раздувая ноздри и сердясь, вмешался:

— Одначе, это все не порядок! Ты бы, Хлопуша, того... в сам деле, поосторожнее!

— А ты помалкивай! — прогундосил Хлопуша. — Я не с тобой разговариваю. Я тебя наскрозь вижу и понимаю. Залез в министры, а сам по сторонам глядишь, как бы стрекануть куда подальше. Думаешь, я того не знаю, что вы с анпиратором уж третьего гонца с цветными камнями да с земчугом в Турцию переправили на всякий, мол, на случай?

— А хотя бы и переправили, твое какое дело? — возразил, покраснев, Зацепа. — У его царского величества и секретные дела бывают. Может, отправили мы гонцов к великому визирю, чтобы нам помочь от султана была!

— Байки! — засмеялся Хлопуша. — Ты, миляга, иди, морочь голову кому другому. А для кого две корчаги с червонцами в Бугровском бору зарыл? Может, к сатане скрозь землю червончики отправил, чтоб он, дьявол, тоже помочь прислал?

— Твои, что ль, червонцы были? — озлился Зацепа.

— Твои, твои. Да зачем ты их зарывал?

— А тебе-то что?

— А то, что лататы вы задать собираетесь! Врете, не удерете! Не выпустим!

Пугачев застучал кулаком по столу.

— Берегись, Хлопуша! — вымолвил он с угрозой. — Я, брат, не посмотрю на тебя. Ты меня знаешь!

— Тебя-то? Как облупленного! — засмеялся Хлопуша. — Все рубцы на твоей спинке, царское твое величество, и те знаю.

Голобородько, перешептывавшийся в это время со своими «пафнутьевцами», счел свои долгом вмешаться

— А кричать не полагается! — сказал он. — Первое дело, глотку порвать можно, а второе, криком печи не нагреешь. От крику-то только воздух портится, а вы бы, цари, да министры, да енаралы, да адмиралы, лучше бы толком говорили. Дело наше серьезное. Тут криком ничего не поделаешь.

На некоторое время в избе воцарился относительный покой. Потом Зацепа заговорил, подбирая слова:

— Оно, конечно, насчет, скажем, Казани... Ну, мол, надо-ть взять Казань, а потом того — шархануть и на Москву... Так было сговорено! — вставил Хлопуша.

— Что верно, то верно. Так и было сговорено! — согласился Зацепа. — Опять же полячишки оченно того добиваются. Можно, мол, Казань, как воробья, шапкой накрыть и все такое. Езовит тоже советует. Опять же перевертень этот, Полуботок, езовитский выученик: иди, мол, на Москву, а больше никаких, шпарь во все лопатки, по сторонам не оглядайся. Одно слово — на кульерских...

— Та-ак, дальше! — протянул насмешливо Хлопуша. — Так выходит, что все это езовитские выдумки да затейки, а нам Москва ни к чему?

— Нет, ты постой! — загорячился Зацепа. — Так нельзя! Заладил одно — Москва да Москва и слушать ничего не хочешь. А того не соображаешь, с кем на Москву идти-то? С нашей-то, скажем, рванью зеленой... со сволочью, которую Михельсонов и в хвост, и в гриву дует, где только попадет?

— На Михельсонова мы управку найдем! Убрали же наши кулевые и Бибикина енарала, и Кобчикова. Ну, вышла осечка раз, вышла два, а в третий — в самую точку запалим. Не велика птица, Михельсонов!

— Всех наши кулевые не переморят, как тараканов! — заспорил Зацепа. — Суворов енарал почище Михельсонова будет. Мордвинов адмирал тоже не плох. Да и Потемка... Не перебьешь всех, говорю.

— Ты это к чему? — спросил Хлопуша.

— А я вот к чему. Без осторожности в лужу сядем. Дело-то мы уж больно большое затеяли, а силы-то у нас не бог знать сколько. Народу, это точно, видимо-невидимо, да только народ-то наш больно трухлявый.

— Трухлявый? Это наши-то?!

— Наши, наши! — ответил решительно Зацепа. — Что дурака валяешь? Не знаешь, что ли?



Главное дело, разве они, дуrolомы, в сам деле из-за земли, да воли, да правов поднялись? Х-ха! Ну, которые по старой вере вроде пафнутьевских да филипповцев аль еще каких-то, те кой-как держатся. Казачье — туды-сюды. Твои варнаки сибирские лутче прочих... А все остальные — труха. Куды ветер дует, туды ее и несет, чуть ветер повернулся, так она столбом взвилась да и рассыпалась. Не было, что ль, такого?

— А ты ее, труху, забери в руки да слепи из нее пирог с начинкой. Царские енаралы да адмиралы из кого свои полки делают? Не из этой ли трухи? А вымуштруют, так и катают, кого попадя, немца и того трепали, про татар да турок уж и поминать нечего!

— Ну, немец-то и наших здорово трепал! — вяло откликнулся из своего угла Пугачев. — С немцем, брат, не шути, видели мы, как немец живет. Одно слово нация!

— Катькины енаралы из некрутов белогубых во каких солдат делают! — стоял на своем Хлопуша.

— Витьем и делают. Из десятка беспременно одного насмерть заколотят, двоих искалечат, а семерых обработают под дуб.

— А мы что же? Ай мы бить не можем?

— Бить-то мы и почище можем, да, ведь, к нам по доброй воле бегут, от Катькиного же батожья. А ежели и мы их батожьем оглаживать примемся, какая им радость? Они к той же Катьке побегут.

— А ты лови да на виселицу, на кол! С этим народом только страхом и можно...

— Верно. А кто, скажем, вешать-то их будет?

— Оченно просто. Поставь старших. Дай права старшим: вот, мол, под твое начальство, скажем, двести человек и делай ты с ними, что хошь. Ты с них спрашивай, а я с тебя, как ты мой доверенный слуга и все прочее.

— Вона! — засмеялся Зацепа. — Это ты куда же гнешь-то? Дворянство да боярство каторжное поставить хочешь, а народ простой — в рабы?

Пугачев завозился и завздохал.

— А ты что думаешь? — горячо заговорил Хлопуша. — Так — не так, а народ сам собой править никак не может, даже в разбойных, скажем, шайках — и там завсегда всему делу голова — атаман, а под рукой у атамана есаулы, а там — урядники. Который из простых на дело способен, тяни его вверх, в урядники, а потом, того, и в есаулы. Только тем шайка и держится. А ежели все начнут командовать да пойдет тебе галдеж, начнут шебаршить насчет нравов, пропало твое дело. Да ты сам разве не ходил и в есаулах, и в атаманах? Хуже меня, что ль, порядок знаешь?

— Так ты, поди, ежели Катьке горло перехватим, то и крепостное право опять заведешь?

— Ну, там видно будет, что и как, — уклонился от прямого ответа Хлопуша. — Известно, которые осударево дело теперь делают, и награжденье получают по заслугам. Из-за чего люди стараются, как не из-за награждения?

— Значит, нынешних бояров да дворянов спихнем, а сами на их место и сядем?

Хлопуша озлился.

— А ты себя почему теперь в графы произвел? — ехидно осведомился он. — Граф Путятин и

больше никаких!

— На то была воля его царского величества. Он и тебя в графы Чернышевы али там в какие произвел.

— Так, а какие же из нас с тобой графы будут, ежели мы слуг иметь не будем? Теперь, на походе, и мы с собой уж челядь всякую таскаем, а когда до Москвы, до Питера, скажем, доберемся да получим от его царского величества в награждение дворцы, палаты да имения барские, обойдемся без крепостных? Своими руками, что ль, пахать будем да навоз переворачивать?

Вступился Пугачев:

— Народ верный обижать не полагается, а что насчет того, кто, мол, работать должен, то думается нашему величеству так: перво-наперво пушай которые из дворян были, те в холопьях ходят...

— А много ли их на всю Расею?

— Опять же будем с разными неверными народами биться, будем в полон брать, вот тебе и крепостные. Татарчуков, скажем, али персюков...

— Персюков, во-во, — подхватил Зацепа, — оно самое и есть. Насчет персюков, то есть.

— Что такое? — насторожился Хлопуша.

— Разин Степан свет Тимофеич на чем голову сломал себе? На том и сломал, что с Москвой связываться в корень задумал. Ну, и обжегся! До атаманов дорос, а с царем ему не верстаться было...

— Да ты это к чему?

— А где, говорю, тому же Степану истинная лафа была?

— На Волге-реке.

— Ан не на Волге! Велика, подумаешь, прибыль — купецкие расшивы со всякой дрянью на шарап брать! Ну, на пропитанье, конечно, хватало, а прибыли-то настоящей и не было. Да с городов взятых толку было мало. Что в наших городах? Хоботье одно. Велика, подумаешь, пожива?

— Да говори ты, не тяни волюнку!

— А была ему и его воинству пожива настоящая в Персидском царстве, мухамедовом государстве. И набрал он там злата-серебра сорок сороков бочек, да жемчуга сто мешков, да шелков-бархатов, да всякого богатства неисчислимо.

— Так, по-твоему, бросить все да идти не на Казань, а к Астрахани, а с Астрахани морем на Персидское царство? Та-ак! А дальше?

— А дальше видно будет. Может, раскатавши персюков сделаем мы новое царство, и будет наш Петр Федорыч в персидских анпираторах ходить, а мы и в сам деле в князья владетельные вылезем.

— А силу где возьмем?

— А сила к нам сама припрет. Из Расеи и попрет. Кликнем клич, что, мол, зовем к себе весь вольный люд, так с Волги, почитай, все уйдут. Запорожцев с Хортицы вызовем: они до драки

охочи, чубатые...

— На Индию махнуть бы, здорово! — мечтательно откликнулся Пугачев. — Девки у них, как индейки, страсть, говорят, какие сладкие...

Жлоба, Хмара и Выходцев сразу заржали, как стоялые жеребцы.

— Пустое затеваете! — нахмурился Голобородько. — Персюков грабить одна только голытьба за вами пойдет, и ничего там хорошего в мухоеданском царстве не видать. Одно слово, пекло. Пески, болота, да змеи ядовитые, да пауки... Сам вроде рак с хвостиком, а головы и нету, а как хвостиком ужалит, тут тебе и карачун.

— Скорпиев видали мы и в астраханской земле.

— Опять же, — продолжал Голобородько деловито, — индейское, мол, царство... Легко сказать-то, а ты попробуй, доберись до него. Да разве от добра можно искать? Чем наша земля плоха? Ай плоха Расея? Ай в ей богатства мало?

— Ну уж и богатство?! — усомнился Зацепа. — Хлеб, да сало, да водка, да деготь, да рогожи, — вот тебе и богатство.

— Опять же, — добавил веско Голобородько, — разве так полагается? Кто народ взбулгачил? Вставай, мол, люд крещеный, подымайся на бояров да на дворянов землю и волю добывать. Ну, и поднялись толпы несметные. А теперь как же так? Прощевайте, мол, милые, разбирай шапки, расходись по домам, подставляй спины под барские батоги?

Хлопуша поддержал:

— Слово твое, что золото. Взбулгачили тьмы, с местов своих сорвали, заплели, запутали, а сами пойдем теперь персидских или там индейских девок щупать? Оне, мол, гладкие да сладкие! Нет, так нельзя! Опять же, легко сказать, валяя к персюкам и больше никаких! Это при Стеньке очень просто, а ты пойдя, теперь попробуй. Сам царь Петр и тот во как нажегся!

— И вовсе не нажегся. Два княжества заграбастал.

— Верно. А толку-то что? Нагнал туда солдатья, да казаков, а они животными стали. Как мухи дохли. А потом появился у персюков свой царь, то ли Надиром звать, то ли Задирой. Да стал он на наших головотяпов напирать, н-ну, и пришлось на замирение идти. А царские войска, поди, не такие были, как наши. Сами же наших трухлявыми зовете, а Персию да Индию завоевать беретесь! Ерема, Ерема, сидел бы ты дома, жевал бы солому...

Тогда вмешался сидевший в сторонке и внимательно прислушивавшийся к спору средних лет тучный человек с темным рябоватым лицом и золотой сережкой в левом ухе.

— Все это — пустые слова! — сказал он спокойно и уверенно. — Какая там Персия? Какая там Индия? Не с нашим рылом за такие дела браться! Одна наша надежда на Россию. Ежели наше дело выгорит, то только здесь, в России. А не выгорит здесь — пиши пропало. Ермаковы да Стеньки Разина времена прошли. Пойдете на Персию да на Индию, никто вам помощи не окажет, а решитесь на Москву идти, помощь будет, и поляки помогут, и шведы, и король прусский. Недаром он Петру Федорычу два письма прислал. Любезным братом кличет...

Все засмеялись.

— Ах, и хитер старый черт, король прущкой! Так-таки и написал: любезному, мол, братцу. Это Емельке-то, беглому казачишке. Одно слово, вперед заскакивает. Ловок, старый хрен!

— Говори, князюшка! — обратился добродушно к темнолицему Пугачев. — Вы, Мышкины князья, башковитые. Кстати, пошто тебя Рюриковичем кличут?

Темнолицый, чуть наморщив лоб, ответил:

— Суета сует и всяческая суета. Перед лицом господа бога что князь, что грязь — не все ли равно?

— Одначе?

— Был некогда, во времена оны, князь на Руси, Рюриком звали. Пришел, будто бы, варяг с двумя братьями; Синеусом да Трувором, и стал княжить в Новгорода. А от того Рюрика и пошли князья, сначала киевские, потом прочие.

— А твой род, значит, от того Рюрика, что из воряг?

— Не из воряг, а из варягов! Народ такой был, шведского корня! — насупившись, продолжал Мышкин. — И были потом от того на Руси православной князья Мышецкие, а от Мышецких и пошел мой род. И зовусь я Федор Мышкин-Мышецкий. А род наш кондовый, и кабы не злоба врагов, в 1613 году на Земском Соборе быть бы выбранным в цари московские не Мишке Романову, а моему пращуру, Симеону Мышкину-Мышецкому. Взъелся на него, на Симеона, князь Пожарский...

— Так что, выходит, отняли от вас венец царский? — спросил Пугачев.

— Не от «нас», а от пращура моего Симеона. А мне венца земного не надобно, все тлен... Кая польза человеку, аще и весь мир приобретает, душу же свою отщетит? А власть — страшное дело. Кто у власти сидит, тому трудно душу спасти... Нет, ищи ты, Петр Федорыч, себе царства, а я тебе не супротивник. Буду тебе верным слугой!

— Значит, на Москву идти совет даешь?

— На Москву!

— Постой, ребята, нельзя так, с бухты-барахты! — вмешался опять Зацепа.

Снова закипел ожесточенный спор.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

— Испить бы! Дай-ка, Сеня, кваску, что ли!

Юноша, русоволосый, голубоглазый, с нежным румянцем на покрытых пушком круглых щеках, отложил в сторону старопечатное «Житие святых» и поднялся с лавки, чтобы подать отцу, князю Федору Михайловичу Мышкину-Мышецкому, ковшик с душистым и крепким, щиплющим язык, розовым грушевым квасом.

— Ну, что, на чем решили, тятя?

— Галдят все еще, — тихо ответил старый князь. — Сколько голов, столько умов. Одно слово, подлая чернь, безголовая, безмозглая... И всегда так было и так будет. Прочти внимательно Библию, разве не одно и то же? Были у древних израильтян патриархи — они и патриархов не слушали. Были заместо патриархов судьи, да разве они слушали судей своих? Были пророки и цари. Разве кто их слушал?

— Наши не хотят, значит, на Москву идти, тятя?

— Да разве они сами знают, чего хотят? — грустно усмехнулся князь Федор. — Вон Зацепу, того на Персию тянет. Пугачев, так его какие-то «индейки» соблазняют. Оне, говорит, сладкие! А Жлоба, Хмара да Выходцев не прочь бы в Сибирь сунуться, китайцев можно грабить. А Хлопушу Москва манит. Говорю же: сколько голов, столько умов. А в головах этих мозгов-то и нету... Надоел мне их галдеж. Ушел отдохнуть на часок. Голобородько наладит.

Сел на лавке около окошечка. Достал из кармана своих потертых штанов несколько бумажек, посмотрел на них, пожевал губами, положил обратно. Задумался Чуть слышно вымолвил:

— Эх, Гришутка!

По красивому лицу молодого княжича пробежала тень печали.

— Братца Гришу вспоминаешь, тятя?

Старик не отвечал.

— Хоть бы то место найти, где тело его покоится! — продолжал юноша грустно. — Хоть бы косточки белые достать да отвезти в родной земле схоронить, в нашем Мышкине.

Старик пожал плечами и угрюмо вымолвил:

— Знать бы, кто погубитель Гришутки, хоть расплатился бы с ним, ворогом!

— Ты, тятя, на старого Голобородьку подозрение питал?

— И теперь питать продолжаю! — ответил князь. — Да не он один замешан.

— А, может, и Емелька?

— Похоже на то, что и Емелька руку приложил. Хоть он и не из пафнутьевской шайки, а все же вместе с пафнутьевцами хорошим делом занимался. Но я доищусь. На нашей стороне та выгода, что они настоящего имени Гришеньки покойного не знают, черные их души! Зовут «русаявым» и только. Не подозревают в нас с тобой отца да меньшого брата Гришутки. А мы знаем, кто они, душегубы кровожадные.

Печально усмехнувшись, Семен Мышкин-Мышецкий тихо вымолвил:

— Так, тятя, выходит, что все это дело с тебя и началось. Да только из твоих рук змей вырвался и пошел гулять по Руси, и сам-то он, змей этот тысячеголовый, того не подозревает, из какого яйца вылупился.

— А ему, змею, разве не все равно, из какого яйца вылупился из какой щели наружу выполз? Вон Зацепа, бывший мальчонкой в кабацких подносчиках, теперь в «персидские князья» мостится. Сам Пугачев не прочь себя не то шахом персидским, не то султаном турецким сделать. Голобородькино потомство то ли в патриархи всероссийские ползет, то ли все царевы кабаки на откуп взять собирается...

— Может, тятя, не нужно было этого дела и затевать? Очень уж похоже, что новое смутное время... настает. Пропадет Русь!

— Авось, кривая вывезет, — выжал из себя старик. — Она, Русь, жилистая. Все выносит, вроде девки гулящей какой. Никто ее роду-племени настоящего не знает. Мать ее где-то по бережку грибы искала, а прохожие молодцы ловили да насиловали, от того насилия и родилась Русь да и пошла по материнским стопам. Налетели на нее злые татары, уж они ее и

били, и калечили, уж они над нею и измывались! Вся, бывало, кровью заливается, отползет, очумев, в кусты, заберется в болота и отлеживается. Отлежится, опять на дорогу выползет, а там ее литовчики подстерегают: как не попользоваться? А там меченосцы, а там шведы... Как выжила-то?! А нраву буйного, дикого, непоседливая. Ее в степь все тянет, да в буераки, да в тайгу. За всяким проходимцем увязывается. Дома дела по горло, так нет, ей дома не сидится: то в Сибирь заглянет, то в Персию, то к немцам. Теперь вот в Турцию ее потянуло, на теплые воды, на ясные зори. Игрушечка там такая есть, Святой Софией называется. Вынь да положи дуре стоеросовой... А что она, дура, с такой игрушечкой делать будет, того и сама не знает! А то ей еще Храм господен иной раз мерещится. Изблядовалась по большим дорогам, так к святым местам тянет Марию Магдалину из себя разыгрывать. Ах, дура, ах, дура!

— Выйдет ли что, тятя? — робко спросил молодой князь.

— Что-нибудь да выйдет! Нам с тобой терять нечего: все равно на самом, можно сказать, дне пребываем. Из бывших владетельных князей чуть не в однодворцы опустились, даже в князьях числиться перестали. Самый род вымершим почитается со дней ссылки твоего прапрадеда в Сибирь при Алешке Романове да при Никоне треклятом. А ежели для нас с тобой пользы не будет, то хоть одна радость — встряхнем дуреху. Пускай опять ее тело рубцами кровавыми покроется.

— Мстить хочешь, тятя?

— А неужто так оставить?

— Да кому мстить-то?

— Всем. Князьям, что нас оттерли, на престол не пустили, дворянам, что не поддержали, торгашам, что за Минина уцепились, холопам... Всем!

— Гриша, братец дорогой, погиб...

— За правое дело погиб. То не бесчестье роду. За обиды наши старые жизнь потерял. Нужно будет, и мы с тобой погибнем. Предок наш, Михаил князь Черниговский, как помер? Из-за чего? Не захотел болванам языческим поклоняться, только и всего... А мы неужто хуже него, Михаила? Теперь Волконские князья род свой от Михаила Черниговского выводят, а по-настоящему — сбоку припека. Настоящие-то потомки — мы с тобой.

— Жалко, что с Мировичем тогда так неудачно вышло...

— Дурак был Мирович-то! Горячку порол! Нахрапом все сделать рассчитывал. А нахрап — дело рисковое, срывается нахрап частенько. Ну, и сорвалось дело... Да все равно, толку большого я и не ожидал от сего предприятия: Иван Антонович в императоры совсем не годился. Пробывши больше двадцати лет в тюрьме, превратился он в дурачка. За такого не очень-то уцепишься. Один был расчет: свалить немку с трона, покончить с этим романовским домом. А сам Иван, дурачок шлиссельбургский, все равно не жилец был, в нем чахотка злая сидела, до той поры только бы и держался, покуда под него какая-нибудь девчонка не подвернулась. А девчонку-то подсунуть было нетрудно. Вот и пришло бы дело к новому Земскому Собору, а на Соборе мы бы выставили Гришутку...

— А как теперь, тятя, будет?

— Не знаю еще, посмотрим... Хлопуша очень уж старается. Душегуб, а парень толковый. Здорово насаждает на Емельку: иди на Москву и больше никаких. До того дошел, что грозит против Емельки всю свою шпанку каторжную поднять, ежели Емелька артачиться будет. А без варначья сибирского Емельке как, беглые холопы из буфетчиков да казачков орать мастера, а до драки не так-то охочи. Емелька только варнаками да казаками и держится.

— А ежели не удастся подбить на Москву идти, тятя?

— Тогда дело наше плохо, сыночек! Орава емелькина расплзается, «армия» трещит по всем швам!

— Может и рассыпаться?

— Очень просто. И настоящие армии, бывало, прахом рассыпались, а эта сволочь, собранная с борку, да с сосенки, да из царева кабака, да из царева острога, — одна труха ядовитая... Но это козырь в наших с тобой руках: Емелька уж чует, что дело расплзается. А развалится его орава — Михельсон, либо Фрейман, либо Ферзень, либо какой там еще из Катерининых генералов живым манером его, Емельку, сгребет. Свои же и выдадут, надеясь вымолить хоть живота пощаду, головой выдадут. Он-де, Емелька, всему заводчик, а мы — люди темные. Те же пафнутьевцы за милую душу Емельке руки к лопаткам прикрутят, чтобы царица не отнимала у них Чернятинских хуторов...

— Тятя, а кто такая была княжна Тараканова? — спросил Семен.

— Шлюха была. Жидовка турецкая, надо полагать.

— Да кто ее выдумал? Иезуиты, что ли?

— Сама себя, надо полагать, выдумала, время уж больно подходящее. А вернее, полячишка какой-нибудь, они, полячишки, это любят. Радзивиллы, надо полагать, руку приложили, а может статься, и их, наших кто. На Трубецких многие показывали: их, мол, затейка. А кто и на Долгоруких. Да дело-то темное. Глупое дело. И девчонка глупая. Ее Орлов разом вокруг пальца обвел, как в глухой деревушке ухарь офеня девку ражую: приходи, краля, на сеновал ночью, я тебе перстенечек на пальчик надену...

— Пропала девка, как хохлы говорят, ни за цапову душу... Жалко. Говорят, раскрасавица...

— Нашел, кого жалеть! — рассеянно отозвался старик. — В Москве, да в Питере, да в любом городе при кабаках такие по каморкам дюжинами живут. Мало ли красивых девок на свете? Всех не пережалеешь...

Он опять вытащил из кармана свои таинственные бумажки и начал их пересматривать. Тогда Семен потихоньку выбрался на двор, сел у двери на скамейку и задумался. Думал о своем старшем брате Грише, Григории Федоровиче Мышкине-Мышецком, об его странной и страшной судьбе.

Это было на второй год по восшествии Екатерины на престол. Тогда семья Мышкиных-Мышецких, разумеется, под чужим именем, прибыла в Петербург из Ревеля, где они обыкновенно жили, обладая там уютным, старым еще шведской постройки домом. Григорию было лет около тридцати. Это был статный русоволосый молодец, сильный, ловкий, смелый, по-своему образованный, ибо учился в Любеке у немцев, бойко говорил и по-немецки и по-французски, знал, прослуживши два или три года в саксонской армии, и военное дело. По-русски он говорил чисто, без малейшей ошибки, но при случае умел говорить, так, что его можно было принять за обрусевшего немца.

Однажды — Сене тогда было всего тринадцать лет — в доме местного бюргера Гольцгауэра по случаю масленицы был «бал в машкерах». Для этого бала он, Сеня, нарядился «рындою», а Гриша — голштинским офицером. И вот там же, на балу, сама хозяйка, увидев Гришу Мышкина, ахнула и громко вымолвила:

— Ах, майн готт! Но ведь это же удивительно! Это прямо-таки удивительно! Вы, молодой

человек, похожи на покойного императора Петра III. Я его несколько раз видела, когда мой муж состоял мастером при адмиралтействе. Вы и покойный император, как две капли воды.

Шутя, балуясь, Гриша заболтал с усвоенным им в юности голштинским выговором. Добродушная немка еще больше разахалась.

— Если бы не знала, что бедный молодой император умер и торжественно похоронен в Петропавловском соборе, я поклялась бы, что вы, молодой человек, русский царь!

— Не говори, Амальхен, таких глупостей! — предостерег ее бывший корабельный мастер. — Твои слова весьма неосторожны.

— Но мы же в своей компании! — оправдывалась немка. — Мы среди друзей, и что же тут такого? Простая шутка, и больше ничего!

... Нет, это не было шуткой, и Сеня понял это после возвращения с вечеринки у Гольцнауэров домой, когда Федор Михайлович спросил у старшего сына:

— Ну, как?

Григорий Федорович засмеялся и ответил:

— Проба удалась отлично. Амалия готова поклясться, что я — вставший из гроба Петр.

После этого в доме Мышкиных-Мышецких не раз происходили таинственные совещания. Приезжали странные люди, державшиеся молчаливо, избегавшие попадаться на глаза властям. И тогда по приказанию отца Григорий наряжался в мундир голштинского офицера, напяливал на коротко остриженную голову высокий парик и показывался гостям.

Однажды Сеня подслушал, как Григорий говорил двум приезжим из далекой Сибири: — Мои злодеи, Гришка и Алешка Орловы, истые душегубы, хотели по приказанию неверной моей жены известить меня, но господь бог не допустил сего несчастья. Мой верный слуга Никита Челышев, заботясь о пользе государственной, пожертвовал собой и был Орловыми зверски убит, я же, благодаря ему, спасся. Нашлись и другие верные люди, согласившиеся укрыть меня. Одно время я был вынужден скрываться за границей. Теперь же я вернулся в мое государство и собираю преданных мне россиян, дабы с их помощью восстановить мои царские права, снова взойти на престол, злодеев покарать, и народу российскому сделать благое...

Прошло еще несколько времени. Внезапно Григорий собрался и выехал из Ревеля куда-то далеко-далеко. Несколько раз он пересылал с оказией цидулки, писал из Москвы, из Тулы, позже из Нижнего. В его письмах обыкновенно стояла фраза: «на наш, дорогой тятя, товар спрос здесь большой». Потом писем не стало. В это время Григорий Мышкин-Мышецкий находился где-то на Яике.

Отсутствие писем встревожило князя Федора. Он взял с собой младшего сына, запасася деньгами и двинулся по следам пропавшего без вести Григория. Вот во время этих затянувшихся на два добрых года странствий князь Федор и посвятил младшего сына в тайну.

Тайна же была такова. Григорий установил связи с казаками из старообрядцев, побывал и в Астрахани, и на Дону, и на Ветлуте, и в Сибири, и на Урале, всюду сея слух, что царь Петр Федорович жив, что он только ждет удобного времени для выступления, что у него везде и всюду имеется множество людей, готовых по первому его знаку подняться против Екатерины. Местами он выискивал побывавших раньше в Москве и в Питере служивых, особенно из гвардейцев, показывался им и спрашивал, неужели они его не узнают. Встречались и такие,



которые после некоторого колебания ахали и начинали бормотать:

— Батюшка... Ваше величество...

С таких Григорий брал торжественную клятву не выдавать его, императора, скрывающегося от злых врагов, готовиться и ждать, когда он, император, позовет всех своих верных слуг к себе на помощь.

Где-то на Урале Григорий нашел простодушного отставного гвардии поручика, с первого же взгляда признавшего в Григории императора Петра III. Отставной поручик отдал Григорию все свое состояние: несколько сот елизаветинской чеканки червонцев «на его государевы нужды». С этими деньгами Григорий отправился в странствование по разбросанным на необозримом пространстве Яика хуторам казаков-старообрядцев.

Вот здесь он и сгинул.

Князю Федору и сопровождавшему его Сене удалось выяснить, что у Григория в его последней поездке были два спутника: какой-то беглый солдат и какой-то прасол. Они завезли Григория на уединенный казачий хутор. Теперь и следов этого хутора найти было невозможно, его сожгла бродячая шайка, привлеченная слухами о богатстве хуторян, перебив всех обитателей. Но это было уже позже, а до нападения шайки там сгинули следы Григория: Шел только слух, будто ночью он был зарезан или удушен бывшими с ним спутниками, которым помогал и сам хозяин хутора, старообрядец «пафнутьевского согласия». Польстились люди на червонцы, которые возил с собой Григорий... Убили «русявого», поделили между собой его деньги и его вещи. Прасол принялся торговать скотом, беглый солдат ушел куда-то в Сибирь на вольные места. Хозяин хутора, пожилой казак, получивший на свою долю часть облитых кровью Григория червонцев, вздумал жениться на молодой девке и, добиваясь ее расположения, проболтался о своем богатстве. И пошла по степи весть, что у казака червонцев видимо-невидимо. Вскоре после того, как отпраздновали свадьбу, налетела на уединенный хутор шайка степных волков, погостила и ушла. Остались только головешки от сожженного жилья да обугленные человеческие трупы.

Но странствования Григория оставили свой след, как от камня, брошенного в тихие воды пруда, долго-долго еще бегут к берегам пруда круги, так от появления Григория в разных местах расходился, разбегался радовавший одних и тревоживший других слух:

— Баяли, будто батюшка царь Петр III давно помер скоропостижной смертью и похоронен в Питере. И еще баяли, будто Орловы, полюбивники женки царевой, немки неверной, убили Петра Федоровича самым скверным манером, засунув ему куда следует раскаленную кочергу. А он, батюшка-царь, и вовсе жив, но боясь своих врагов, скрывается среди верных людей. Сам-то он, батюшка, старой, правильной веры придерживается, за двуперстное сложение да за Иисуса держится, от никоновых новшеств отрекается. Ну и ходит он, прячась, больше среди старообрядцев да казаков и собирает свое верное воинство. Придет время, он объявится, поведет свое верное воинство на Петербург и ссадит свою женку с престола. Оно и лучше, не дело чтобы царством баба правила. Бабье дело в тереме сидеть, а не государские дела решать. Все одно, не одна решает, а ее любовники. От них простому народу тошнехонько приходится, а вернется на престол-отечество законный анпиратор и простому народу будет всякое облегчение.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Однажды Сеня Мышкин-Мышецкий, уже проживая с отцом в стане Пугачева на Чернятиных

хуторах, задал старому князю вопрос:

— А откуда этот-то... Петр Федорович, выскочил?

Старик ответил:

— Его земля из себя выперла. Не появись он, появился бы другой... Черный люд ухватился за мысль о странствующем, скрывающемся от царицыных слуг, «батюшке-царе Петре Федоровиче» и сам стал жадно искать в своей гуще этого «Петра Федоровича». Цеплялся за каждого темного проходимца, умевшего болтать, ну и вышло так, что подвернулся Емелька. А языком ляпать он мастер, дошлый человек. Теперь-то, распившись да истаскавшись, отяжелел, а раньше в красnobаях ходил. Опять же, парень он бывалый, прошел огонь, воду, и медные трубы, и чертовы зубы. Одно слово — землепроходец.

И дальше старый князь рассказал историю появления «анпиратора».

— Был Емельян, Иванов сын, прозвищем «Пугач», родом из донских казаков, из зажиточной семьи. Молодым человеком пошел он, как и многие другие, на военную службу. Было это во дни покойной императрицы Елизаветы Петровны. Записали Емельку в реестрах того казачьего полка, в который он попал, уже не «Пугачем», а «Пугачевым». А полк пошел далеким походом воевать с пруссаками, осмелившимися оскорбить «дщерь Петрову». Шла тогда Семилетняя война, стоившая столько крови, принесшая с собой столько разорения всем участвовавшим в ней державам: Франции, Австрии, Пруссии и самой России.

— Бабья затея нелепая? — пренебрежительно отзывался об этой войне старый князь. — Так, совсем зря мы в нее влезли. Касалось это дело, прежде всего, австрийской императрицы Марии-Терезы: королек прусский у нее там клочок какой-то оттягал живым манером. Тут и заварилась каша. Французы на пруссаков давно косо посматривали, только предлога ждали, чтобы сцепиться, а тут и предлог нашелся: обидел, вишь, королек берлинский государыню венскую... Ну, и пристали к Елизавете, надо пруссаку рога сбить. Мутит уж очень. Оно, положим, и впрямь больно беспокойным оказался Фридрих. Набрал себе армию, вымуштровал ее во как, да и принялся куролесить. А у него Польша под боком еле держится, сама расползается. Попади ему Польша в руки, он под самым боком у России усядется... А у французов при стареньком уже короле была метреска, бабенка самолюбивая, в маркизах ходила. Фридрих-то — у него язык ядовитый — высмеивал оную королевскую метреску на всякие манеры.

Ну, ежели говорить по-настоящему, то надо было бы нам сесть у окошечка, да ручки сложить, да и поглядывать, как там они, пруссаки, австрийцы да французы, друг друга колошматят: это их дела, семейные. А наше дело — сторона. Ежели по совести говорить, то от склоки меж ними нам только польза: передерутся, да ослабнут, да нам опасными быть перестанут. Но, так или иначе, втянули они и нас, и пошли наши головотяпы в чужих землях порядок наводить. А королек-то прусской оказался, что кобель зубастой, то на одного налетит, то на другого, да цап, да цап. Только клочья шерсти летят. И нашим головотяпам тоже не раз показал кузькину мать, чтобы не лезли в чужое место, да не вмешивались в чужие дела. Ну, а головотяпам-то драться с пруссаком и охотки не было. И начались из армии побегии. В те поры, говорят, и сбежал Емелька Пугачев, а был он тогда уже в урядниках. Сбежавши, махнул к себе, конечно, на тихий Дон. А там слушок пошел; скрывается, мол, беглый урядник. Ну, и приказано было его, как дезертира, изловить и по начальству представить. А он, не будь дурак, — ходу. А куда бежать, как не на Волгу, где всегда люду бездомному да беззаконному великий вод был.

С Волги побывал он, говорят, на астраханских рыбных промыслах, а оттуда перемахнул на Урал, бродил с завода на завод, под чужим именем укрывался и занимался темными делами. Ну, и сорвался: попал к ярыгам в руки и был посажен в Казани в острог. В остроге он, однако,

долго не засиделся, снюхался с какими-то дружками, бывшими на воле, да как-то раз, будучи отпущен под караулом из двух солдат в город по делам, сшиб с ног одного солдата, а с другим вместе сиганул в повозку, которая дружками заранее подготовлена была в надлежащем месте. Да и дернул по всем по трем — ищи ветра в поле...

— И объявил себя императором?

— Не сразу. На первых порах, скрываясь от властей, прячась по большей части среди переселенных на Яик казаков, держал он себя осторожненько. Когда пошли слухи, что, мол, ходит по земле русской, скрываясь от царицыных слуг, лишенный престола батюшка-царь Петр Федорыч, наш Емелька, при случае, как человек бывалый, говаривал, что действительно приходилось ему со странником-царем встречаться и даже дружить. Я, де, Емелька, не простой человек. Меня сам батюшка-царь знает. Я у него, царя, во дворце золотом, в палатах разукрашенных в свою пору на часах стоял.

Простое бахвальство... А от этого бахвальства пошло и дальше, стал Емелька, подыгрывая под общую молву, твердить, что, мол, не только он с царем знался, но даже и больше — имеет он, Емелька, как человек верный, от царя-батюшки поручение ходить по земле русской да из-под руки разведывать, как и что. И кто царю верность соблюдает, и кто под царицыну руку гнет, и кто простому народу какие обиды чинит.

Ну, и стали к Емельке всякие обиженные с прошениями лезть: «Доведи ты, милой, до царя-батюшки, что, мол, царицыны землемеры при генеральном межевании у нашего села во какой кус лугов неправильным манером отмежевали, а господа сенаторы на наше прошение зеленое сукно положили. А мы тебе за услугу в благодарность тулуп новенький поднести согласны, да и деньгами рубль серебром отвалим, лишь бы нам между-то на старое место передвинуть... — Да, ведь, на престоле сидит не царь-батюшка, Катерина царица!» — «То-то, что сидит немка-зловредная. Да долго ли усидит? Может, с божьей помощью, удастся царю-батюшке ей, немке, шею свернуть. Очень просто! А когда воссядет царь-батюшка на своем престол-отечестве, то тут ты ему и помяни об деревне, мол, Горловке... Так, мол, и так... И надо, мол, горловцев, слуг твоих, надежа-осударь, верных, по закону убогатворить, а помещику Самопалову хвоста укоротить...»

И поехал, покатил Емелька по разным глухим углам, собирая дань обильную от разных обиженных. Там от имени царя-батюшки «прирезочку» обещает, этим лесок сулит казенный отдать, чтобы было из чего избы ставить. Здесь прощение и прегрешений отпущение дает головотяпам, ожидающим плетей за то, что в праздничный день в подпитии разбили царев кабак и проломил голову целовальнику, а евоной женке причинное место дегтем вымазали. А тут молвил другим головотяпам, у которых царицыны слуги их моленную запечатали: «Вот погодите ужо: воссядет законный батюшка-царь на престол-отечество, так он сейчас прикажет вашу моленную распечатать. Он и сам по старой вере!..»

Ну, вот раз был в одном глухом городишке на краю степей торг базарный. Съехались из соседних хуторов казаки, привезли на торг свои товаришки, а там налог какой-то кто-то и почему-то требует; брали, скажем с воза по копеечке медью, а теперь требуют по две. И вышел из-за этого спор, дал один казак сборщику по рылу, а тот «караул!» завопил. Набежали ярыги, конечно, ему рыло наклепывают. А баба того казака следом бежит да вопит: «Убивают маво муженька!» Ну и поднялся шум. Набежали другие казаки: «За что Терентия в кутузку посадили? Выпущай!»

А в городке вся-то военная сила состояла из трех десятков инвалидов да земских ярыг. А комендантом был вечно пьяный инвалидный поручик, которого на этот случай и дома не оказалось: уехал к какому-то помещику на именины. Распоряжаться было некому. Толпа выломала двери кутузки и выпустила на свободу не только Терентия, но и других сидевших там арестантов. А арестанты вспомнили: «Братцы! В острожке наши же сидят, комендант, пес

суший, в колодках держит!.. — «Гайда на острожек! Бей, ломай!»

Не только что острожек разнесли, но и лавки, и дома зажиточных горожан. А когда брали острожек приступом, то заставили опытного человека, Емельку, который и с пруссаками дрался, и с туркой бился, приступом руководить. И стал Емелька предводителем. Ну, а потом, разгромив, что можно было, пошла толпа рассеиваться, боясь, как бы не пришлось расплачиваться за содеянное. И стали приставать к Емельке: «Ты все баешь, что, мол, царь-батюшка, где-то поблизости скрывается. Веди нас к нему! Пущай он нас под свою руку берет! Тогда за погром расплачиваться не будем!» Пробовал Емелька отвертеться, да они его приперли: «Давай царя-батюшку, и никаких!» А тут кто-то ему и шепни: «Разорвут тебя дуrolомы, ежели ты им царя не дашь. Одно тебе спасение, говори, что ты сам и есть дарь-батюшка. А утихомятся — улизнешь али что!»

И появился Емелька в первый раз в качестве того самого царя-батюшки, близкий приход которого он возвещал. Но разбушевавшаяся толпа этим не удовольствовалась: «Ежели ты царь, то веди ты нас на соседний городок. Там в острожке полета беглых солдат твоих же сидит. Пымали их по буеракам, в Сибирь гонят».

Пошел Емелька, то есть уже не Емелька, а сам батюшка-анпиратор Петр Федорыч по полудикому краю разгуливать, посаженный в тюрьмы да в остроги темный люд освобождать, чиновных людей царицыной власти ссаживать да подвешивать. И повалили к нему, батюшке, под его высокую руку и беглые солдаты, и буйные казаки, обиженные царицей, и раскольничьи главари, и сбежавшие от своих господ крепостные, и удал-добры молодцы, степные разбойнички. И пошел гулять из края в край тысячеголовый змей народного бунта.

А время было как раз для этого бунта подходящее: царица Екатерина затеяла войну с Турцией. В далекие края ушли царские полки. Война оказалась тяжелой, потери царской армии огромные, и для пополнения этих потерь объявлялся набор за набором. Рекрутский набор, известное дело, — стон и скрежет по деревням. В солдаты кому же, в сам деле, охота идти? Кто может, тот откупается или за себя наймита выставляет. А другие

Пальцы рубят, зубы рвут —

В службу царскую нейдут.

А третьи, как тараканы, расползаются, по щелям забиваются, отсиживаются. Тюрьмы да остроги битком набиты изловленными, которых ждут плети да отсылка в армию. А всколыхнулся народушко — у власти под рукой потребной силы нет, чтобы эту всколыхнувшуюся орду осадить. Стоят по степным городкам гарнизоны, да разве это сила? Или инвалидные команды из гарнизонных крыс беззубых, или молодятина, только поставленная под ружье и тоскующая по дому.

Если бы не был таким глухим да отовсюду далеким тот край, где таившееся под землей пламя бунта прорвалось, спохватился бы вовремя Питер; Пришли бы настоящие, правильно устроенные и умело руководимые военные силы и попросту затоптали бы бунт тяжелыми солдатскими сапогами. Но Питер далёк, три года скачи — не доскачешь. Да и даже когда до Питера дошли вести о том, что где-то, чуть не на краю света, появился «царь-батюшка» из бородатых донских казаков, не было сие принято во внимание. Смешным даже показалось.

Да, пожалуй, и впрямь смешно было. Вон, в какой-то степной крепостце нашелся бравый комендант, капитан Бошняк. И было с ним воинской силы, как кот заплакал. На сам-то Бошняк оказался человеком, который шутить не любит. Со своими инвалидами, да казаками, да

набранными из мирных обывателей добровольцами несколько раз наложил по загревку наползавшим в его, Бошняка, крепостцу мятежникам.

Только таких Бошняков — один, два да и обчелся, а многие совсем не такими оказались, не сумели, не смогли оказать отпор разгулявшимся толпам. Растерялись, смалодушничили, допустили, что под рукой у Пугачева оказались многие тысячи темного и буйного острожного и степного люду. И появилась у него и казачья кавалерия, и пехота, и даже «антилерия» из захваченных здесь и там старых пушченков.

Слух, что где-то между Уралом и Волгой идет большое восстание, в котором принимают участие и казаки, проник за границу и был там подхвачен с радостью. Старый Фридрих вспомнил то не столь уж далекое время, когда русские головотяпы добрались-таки до Берлина и в Потсдаме чеканили свою монету, а в самом Берлине однажды посекали плетями каких-то пашквильянтов, осмелившихся «предерзостно писать о ее императорском величестве, Елизавете Петровне». Вспомнил Старый Фриц, которого русские уже называли старым хрычом, что Петр Федорович, — не этот, разумеется, безграмотный казачий урядник и сторонник двуперстного сложения, а настоящий Петр Федорович из захудалых шлезвиг-голштинских принцев, по капризу судьбы попавший на российский императорский престол, — спас его, короля прусского, бывшего уже на краю гибели, заключив нелепейший и обиднейший для России мир. И вспомнил, как против этого нелепейшего мира, лишившего Россию всех, добытых путем долголетней и столь дорого обошедшейся войны, выгод, возмущалась молодая супруга Петра Федоровича, словно и впрямь позабывшая о своем немецком происхождении.

И Старый Фриц решил; «Помочь этому бородатому дикарю я, разумеется, остерегусь, по крайней мере, пока что. Но на всякий случай не мешает и мне держаться настороже да не мешает под руку и дать знать Пугачеву, что я его действия одобряю». Посланцы Старого Фрица, друга энциклопедистов, покровителя Вольтера и прочих философов, стали доставлять в стан скитавшегося в степях Пугачева «грамотки», в которых «пруцкой король» рассыпался в любезностях по адресу Емельки Пугачева и упоминал о своих к нему родственных и дружеских чувствах.

Зашевелилась и Австрия: снова и снова в венском министерстве иностранных дел стали вспоминать, что еще во дни, когда в московском Кремле сидел «царь Деметриус», отцы-иезуиты усиленно выдвигали проект соглашения между Австрией и Польшей на предмет Великого Герцогства Киевского с тем, чтобы на престоле этого нового Великого Герцогства воссел один из Габсбургов. Тогда против этого проекта поднялось польское шляхество: оно смотрело на Украину как на свое законное достояние и не было расположено уступать это свое достояние австрийскому цесарю.

А вот теперь, полтора или сто шестьдесят лет спустя, обстоятельства складываются уже многим благоприятнее для Габсбургов: Польша сама разваливается. Если суждено развалиться и сколоченной Романовыми Российской империи, почему Австрии не выступить в роли ее наследника? Хорошо было бы добраться до берегов Черного моря, тогда Молдово-Валахия сама упадет, как спелый плод, в руки Австрии.

И австрийские тайные посланцы отправились через Черновицы в Киев, а из Киева через Харьков пробрались на Дон, с Дона — на Волгу, с Волги — в степи, где крутился огненный вихрь поднятого Пугачевым бунта. Зашевелились и другие державы. Бывшие на службе Турции французские офицеры отправились к Пугачеву через Кавказ и через Персию. Двое из них так и сгнули, подвернувшись то ли под черкесский кинжал, то ли под персидский нож. Но один, шевалье де Мэрикур, из-за имевшегося на его аристократическом лице рубца прозывавшийся Балафрэ, как когда-то прозывался один из Гизов, добрался-таки до Чернытина и стал одним из советников Пугачева вместе с итальянским иезуитом Бардзини и шведским капитаном Анкастромом.

Добрался к Пугачеву в Чернятин и «мистер Бот», он же Павел Полуботок, родной внук того Павла Полуботка, который при Петре был украинским гетманом да был Петром ссажен и заморен то ли в Сибири, то ли в казематах Петропавловской крепости.

Еще будучи гетманом, старый Павло имел благоразумие переправить в Англию своего малолетнего сына Петра и вместе с ним десять тысяч венецианских цехинов. Деньги были положены в Английский банк, а Петро отдан на воспитание в какой-то колледж под именем Петра Бота. Он рано женился, породил сына Павла, помер. Павло тоже побывал в королевском колледже, послужил офицером и в королевских войсках, и в наемных Ост-Индской компанией полках. Побывал и в Северной Америке. А вот когда до Лондона донесли вести, что в России что-то творится, Поль Питер Бот, живой портрет своего деда, загубленного Петром, появился в Чернятине с соответствующими инструкциями от министров его величества короля Великобритании.

— А кто все это дело начал? — вернулся Сеня к давно уже тревожившей его мысли. — Он, мой родной отец... И что из всего этого выйдет?

В это время мимо мазанки, у дверей которой он сидел, пробежало несколько молодых казаков, оживленно перекликаясь.

— Как дела? — спросил Сеня.

— Поход, поход, — ответил на бегу один из казаков.

— Куда?

— На Казань! На Москву! Войсковой круг решил! Батюшка-царь приказ подписал! Тряханем Москвою!

## ГЛАВА ПЯТАЯ

В тот же день в раскинувшемся вокруг Чернятинских хуторов на огромном пространстве стане пугачевцев закипели приготовления к походу на Казань-Москву.

В «царской ставке» после длительных и бурных споров, идти или не идти добывать Казань, кончившихся победой сторонников похода, шла непрерывная работа, и с утра до ночи там заседал пугачевский главный совет, состоявший почти сплошь из казацких старшин и Хлопушиных варнаков. Это был мозг тысяченого паука, второй год перекатывавшегося с места на место на просторе заволжских степей. В работах этого главного совета принимали участие и некоторые из таинственных гостей Пугачева, обитавших на пчельнике Варнавы Голобородьки.

Первым из них был вызван Павло Полуботок.

— Ну, будь здоров! — приветствовал его Пугачев. — Садись, покалякаем малость!

Полуботок уселся на скамье.

— Первым делом, — продолжал «анпиратор», — рассмотрим твое, Павло, челобитье на счет гетманства и все такое, признали мы за благо пожаловать тебя нашей царской милостью!

— Спасибо! — ответил Полуботок, поглаживая свои сивые усы и щуря хохлацкие глаза.

Подумал:

— Посмотрим, чем-то пожалуешь?

— На осударевом нашем совете порешили мы признать тебя законным, скажем, гетманом всей правобережной и всей левобережной Украины.

— Спасибо!

— Грамоту на гетманское звание получишь ты от нашей анпираторской канцелярии, за нашей царской подписью и печатями, все, как полагается, честь честью. А что касаемо границ твоего гетманства, то порешили мы покедова так: наша царская граница будет от Белгорода да от Курска на Чернигов, а остальное, скажем, по Донец — твоя земля. От Дона будет всевеликое войско Донское, и тебе за Донец не соваться. У моих верных донских казаков свой великий атаман будет.

— И на том спасибо! — поклонился Нолуботок.

— И быть тебе, Павло, с моим царским величеством в вечной дружбе и в братском союзе, и во всех делах поступать для моего царского величества на пользу и на прибыль, а пока мы порядку не восстановим по всему нашему царству, то быть тебе в полном нам подчинении и наших приказов во всем слухаться.

Лукавая искорка мелькнула в серых глазах Полуботка. Мелькнула и погасла.

— С иноземными, скажем, осударями тебе, Павлу, ни в какие договоры не вступать и союзничать не полагается! — продолжал Пугачев, выдерживая строгий вид, — потому как это дело касаемо усей нашей инперии. Государственным титулом не подписываться, послов в чужие земли не посылать, ни с кем не сговариваться, особливо же с султаном турецким, да с ханом крымским, да с господарем волошским, да с крулем польским или кто заместо его. Словом сказать, быть тебе в нерушимом братском союзе на веки вечные с нашей державой. А за то своих границах волен ты над твоими подданными в животе и смерти и в имуществе. Что касаемо твоего славного украинского войска, то опять-таки даем мы тебе высочайшую грамоту за подписью и за нашей большой государевой печатью на право оное войско собирать и им командовать, одначе, пока что под нашим верховным начальством. А обе грамоты получишь ты, Павло, от нашей анпираторской канцелярии.

Изменив голос, «анпиратор» спросил:

— Любо, што ль?

— Любо! — отвечал Полуботок.

— Поди, мыкаться, как неприкаянному, в чужих землях осточертело? Рад домой вернуться?

Полуботок пожал плечами.

— Ну, а теперь вот что, — продолжал Пугачев. — Это там грамоты, да подписи, да печати, да все прочее — одна видимость. Без бумаги, известно, нельзя. Ну, а насчет самого дела-то как?

— То есть?

— То есть, как думаешь, удастся что изделать ай нет? Да ты не хитри, Павлушка! Мы тоже не лыком шиты, не веревочкой вязаны... Удастся, говорю, хохлов расшевелить да на Москву погнать? Они, хохлы, ленивые! Любят около своих баб тереться...

— Старшину малороссийскую — ту не поднять! — ответил Полуботок. — Она вся на московскую сторону гнет. Живется ей, старшине, неплохо, сам знаешь.

— Еще как! — оживился Пугачев. — Такие себе баре заделались! На простой народ и глядеть не хотят.

— Ну, а крестьянство, думаю, расшевелить-таки могу. На запорожцев полагаю надежду.

— Запорожцы? Запорожцы пойдут! — откликнулся Пугачев. — Запорожцы — лихие ребята. Москва, та им хвост больно прижала, а они погулять любят. Опять же, ясно: ежели теперь не подымутся, то их дело совсем плевое выходит. Степь-то заселяется. Гулять уж и негде, а им без гульбы какая жизнь? Ну, подымай, подымай. Можешь хошь и сегодня в путь отправляться. Вон деньгами-то я тебя, друже, наградить не могу. У самого тонко.

— Деньги у меня для начала будут, — ответил Полуботок.

— От англичанов, что ль? — полюбопытствовал Пугачев. — Странное, братец ты мой, дело: откуда у них деньги такие? Показывали мне на карте, вся-то их земля маленькая, скажем, как две альбо три наших губернии. Киевщина да Полтавщина что ли... а денег — видимо-невидимо. И как где какие смущения, беспременно аглицкие деньги орудуют, а какой им прибыток, того понять не могу!

— В двух словах не объяснишь, — угрюмо обронил Полуботок, — но я его величеству, королю аглицкому, всем обязан.

— Слышал, слышал. Ну-к что жа? Обязан, так обязан... Нам что? Нам, главное дело, Катке шею свернуть да самим на престоле поплотнее усесться, а там уж видно будет, как и что... А когда отправляешься-то?

— А дня через два, — ответил Полуботок, поднимаясь.

— Ну, ладно! Мы-то, вить, тоже не сразу с места стронемся.

Полуботок стоял уже у порога выходной двери, когда Пугачев опять окликнул его.

— Постой-ка, Павло, говорю!

— Слушаю.

— А с езовитами ты путаешься?

— С иезуитами? Нет, — ответил «великий гетман», — не приходится. Они с полячишками, дружба такая, что их и водой не разольешь, а полячишки — они нам на шею сесть норовят, да горды уж больно. Свою-то державу пробенкетували, промотали, профершпилили, почитай, без остатка, а тоже фордыбачат.

Зло усмехнулся.

— Побывал я у них, в Польше. В Варшаве жил. Ничего, хорош городок. Паненки лихие, грудастые да глазастые. А все — пустое какое-то. Силы в ей, в Польше, настоящей то есть силы не видно что-то. А под боком немец-красный перец сидит. Ох, и слопает он Польшу только косточки трещать будут!

Легкая улыбка промелькнула по липу Полуботка. Мнение Пугачева о Польше он, в общем, разделял, но высказываться определенно по этому сложному вопросу не намеревался. — Ну, ладно! — вымолвил Пугачев задумчиво и даже как будто тревожно. — Завертелась мельница. Валяй во все поставки! А что из того выйдет, — кто его знает?



— Что-нибудь да выйдет, — глухо отозвался Полуботок. — Бог поможет...

Пугачев мотнул головой.

— Н-ну, бога-то ты оставь лутче! Бог тут ни при чем... Скорее, скажем, другой... черный... — Он сухо засмеялся и добавил: — Ну, ладно, говорю! Поживем, увидим!

Полуботок вышел из ставки. Едва он удалился, как Хлопуша привел в ставку князя Федора Мышкина-Мышецкого. Его Пугачев поздравил с назначением в имперские канцлеры, пояснив:

— Разные ребята за это дело брались, да толку до сих пор было мало. Известное дело, безграмотный народ... А ты, Федор, и по-иностранному, я знаю, сумеешь...

— Могу! — кратко отозвался Мышецкий. — Канцелярию, действительно, надо серьезно поставить.

— Ну, вот и берись, ставь. Отбирай из рещтантов, которые грамотные, да и валяй. А которые кобениться станут, так ты, того... Дери, говорю, с них шкуру, и больше никаких. Да не жалей ихнева брата: смерть не люблю грамотных.

— Без образованных людей не обойтись.

— Вот уж и не знаю, брат мы мой! — нараспев произнес Пугачев. — Вот уж и не знаю, по совести говорю. Оно, конечно, и пословица такая есть, что, мол, за одного ученого двух темных дают, как за одного битого двух небитых... А правильно ли, того не знаю.

— Образованными людьми государство держится.

— Так-то так, да вот ваш брат, грамотный, сейчас же норовит темному человеку на горб усесться, а везти-то вашего брата на загорбке тяжеленько. Да и обидно уж очень.

— Почему же обидно? — усмехнулся князь.

— А так. Небось, землю-то пашет мужик простой, который грамоте не обучен. Хлебушко мужик добывает, а пришло время — мужику только краюха достается, ваш же брат калачи, да кренделя, да пироги лопает. Рази справедливо так-то?

— Полной справедливости в мире нет.

— А из-за чего мы и кашу завариваем? Должна быть справедливость!

Князь Федор чуть заметно усмехнулся. Пугачев заметил его усмешку, и его лицо потемнело.

— Что такое? — вымолвил он. — Вот и ты так... Знаю, верный человек... Ваш род, Мышецкие, то есть, всегда за старую веру крепко держались. Из-за этого и в полное умаление пришли. Не будь того, и теперь бы среди бояр да вельмож свое место занимали... Значит, могу на тебя положиться во всем...

— Можешь!

— А вот слова твои меня как ножом по сердцу режут.

— Что так?

— Да из-за образованности. То есть, так сказать, по-нашему, по-казацки, чтобы все равные были и чтобы права у всех одинаковые...

— Перед богом все равны, а среди людей нет и не может быть полного равенства.

— Да справедливо ли? Может, придумано так только. Вы же, баре, да попы, да образованные, и придумали, чтобы у темного человека на загорбке сидеть...

— Не мы придумали. Мать-земля придумала, — отозвался Мышецкий. — Один человек рождается сильным, другой слабым. Один красив, другой страховиден. Один умен, другой — дурак-дураком. Один работать охоч, а другой — лежебока. Как всех поравняешь?

— Да я не о том! — досадливо отмахнулся Пугачев. — И сам знаю, что, скажем, не могу приказать Хлопуше таким красивым стать, как твой Сенька. На твоего Сеньку все бабы да девки буркалы плят, а на моего Хлопушу посмотреть боятся. Опять же, недавно отдал я одну полоняночку, дворянскую дочку, сладкую, старику одному гундосому в наложницы, значит, а она, девка, после первой же ночи возьми да и полосни старичка моего по горлянке ножичком. А кабы отдал я ее Сеньке твоему, говорю, так, поди, она бы ему ноги мыла да тую воду пила... Я вот о чем: чтобы не было вперед «кости белой» да «кости черной». Сословиев чтобы не было. Званиев всяких...

— Так. А ты зачем Зацепу да Хлопушу в графы произвел? Юрку Жлобу зачем вчера адмиралом назначил?

— Так то же за заслуги, не по наследству. Заслужил — становись князем альбо графом.

— Так. А ежели у Зацепы сын родится, он как числиться будет?

Пугачев замялся.

— Да неужто же мне Зацепу, моего слугу верного, обидеть, у его пащенка титул графской отнямши?

— Так. А он-то сам, зацепинский пащенок, чем титул заслужил?

Пугачев молчал. Тогда Мышкин продолжал сухо:

— Пустое все!

— Старичка одного знал я, когда сидел в Казани... Хороший такой старичок. Годов ему, может, семьдесят пять, а то и все восемьдесят. Баяли ребята, из князей тоже, как и ты. Ну, может, и не из князей, так все равно из дворянов. А сам себя Иваном Безродным называл.

— Бродяжил что ли?

— Еще при царе Петре от мира отрекся да и пошел в побродяги. Драли его плетьюми, — ничего, не сдался: человек, мол, божий, обшит кожей, зовут Иваном, а больше ничего не помню.

Ну, так вот, сидючи в остроге, больно уж хорошо говорил он, старичок этот... Земля, грит, ничья, божья. Кто на ней сам работает, тот ею и владеет, покеда работает. А начальства никакого не надобно. В солдаты идти — грех большой, потому бог сказал: не убий. Суда никакого тоже не надо, от законов только одно зло...

— Умно! — сухо засмеялся Мышкин. — А жить-то как?

— А так, говорит, и жить. Все люди, мол, — братья. А главное, ежели собственности не будет, а все сообща, так из-за чего и ссориться?

— Та-ак! Приходилось слышать... Ну, а с работой как же? Кто, говорю, работать будет?

— Человеческой душеньке, грит, свойственно труд любить не ради прибыли, а ради добра. Ну, вот и будут дружно работать, а что добудут, то по-братски и делить будут.

— А кто, скажем, работать не охоч?

— Таких, говорит, теперь только можно встретить, потому что не по-братски все. А когда все по-братски будет, так и самый ленивый устыдится да так-то за работу обчую ухватится...

— А ежели не ухватится?

— Н-ну, ничего и не получит. А когда его голод проймет, тогда...

— Тогда пойдет он не на работу, а чужие клетки да погребя очищать темной ночью. А кто подвернется, так он того кистенем по башке. А ты его лови да в острог сажай.

— Никак нет! Острогов да колодок не полагается!..

— А как же с вором да с грабителем таким быть?

Пугачев развел беспомощно руками.

— А уж и не знаю. По-нашему, по-мужицкому, конечно, пымал ты его да первым делом колом по ребрам, чтобы больше не пакостничал...

— А старичок-то твой что говорит?

— А он так говорит: не судите да не судимы будете. Ну, согрешил, скажем, человек. А вы — без внимания. А ему и станет совестно. Што, мол, такое я делаю?

— Да придет он к «братцам», из клетки которых все добро уволок, да бух на колени. Простите, мол, православные! Больше не буду!.. Так что ли?

Пугачев прыснул со смеху.

— Хо-хо-хо! Дураков не так уж много на свете!

— Постой! Солдат, говорит твой старичок, не надо?

— Не надо. Потому и войны не надо...

— Так. А вот, скажем, к примеру, мы, русские, возьмем да своих солдат по домам и распустим. Идите, мол, ребятушки... бог с вами. А то грех большой драться. Ну, ребятушки-то, конечно, и рады. Им что? А в это время, скажем хан татарский возьми да и шарахни на Русь. Тогда как?

— Старичок говорит: сопротивляться не следует...

— Та-ак. А ежели татарчуки людей, скажем, резать почнут?

— Они такие! — согласился Пугачев.

— А тогда как? Становись перед ними, татарами, на колени да и говори: грех, мол, голубчики, людей резать? Ну, а им, конечно, сразу стыдно станет. Ну, и они тоже бух на колени: простите нас, Христа ради! Никогда больше не будем! Давайте обниматься да лобызаться... Так что ли?

Пугачев хохотал, хватаясь за живот.

— Ой, уморил! А, ну тебя! Придумает же такое?!

— Я-то ничего не придумываю! — остановил его Мышкин. — Это твой старичок придумал с великого ума...

Пугачев махнул презрительно рукой:

— Блаженненькой! Что с его взять?!

Потом тоскливо вымолвил:

— А выходит, что все зря!

— Что такое?

— Зря, говорю. Мир не переделаешь. Хошь ты себе лоб расшиби, а мир, какой был, такой и будет!

— Такой и будет! — подтвердил Мышкин.

— Так из-за чего мы-то народ булгачим? Нет, ты скажи: чего для?

Мышкин нахмурил седые брови, пожал плечами, а потом ответил:

— У каждого — свое. Мужик за землю хватается, казакам надоело службу царскую нести — тяжело. Вот Голобородьки в митрополиты, а то и в патриархи всероссийские пробираются. Хлопуше кровушки человеческой попить хочется...

— А нам с тобой?

— Ну, тебе, конечно, в императорах побыть лестно.

— А тебе? Тебе-то что надо?

— А я Романовых род доканать хочу!

— Ну, доканаешь. А дальше что? Вот, я на царском престоле буду. Тебе от того легче что ли будет?

Мышкин пожевал губами, потом, не глядя на Пугачева, вымолвил сухо:

— Легче...

Из пугачевского стана по всем дорогам неслись разосланные Хлопушей и Зацепой гонцы, оповещая шайки восставших, что начинается великий поход на Москву. Всем верным слугам императора Петра Федоровича приказывалось идти на соединение с его христоробивым воинством по указанным гонцами дорогам. Послушным обещались великие и богатые милости, ослушникам же топор да плаха.

А в самом стане Пугачева спешно составлялись новые и новые полки, и на отведенном для этого поле пан Чеслав Курч, получивший от Пугачева чин полковника, усиленно возился с отданными в его распоряжение отборными людьми, обучая их управляться с пушками.

Прошла неделя, и по дорогам, ведущим в Чернятины хутора, стали втягиваться в стан пугачевцев присоединявшиеся к главной армии для великого похода шайки пеших и конных.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Пугачев рассчитывал сдвинуть свою армию с округи Чернятиных хуторов через неделю, но оказалось, что сделать это не было возможности, так как «армия» напоминала скорее кочующую орду, чем настоящее войско.

Если бы пугачевское воинство состояло только из одних мужчин, было бы сравнительно просто: каждый полк увел бы с собой свой небольшой полковой обоз со съестными припасами и разным хоботьем. Но на 25 или 30 тысяч соратников «анпиратора», собравшихся в Чернятиных хуторах и возле них, имелось по меньшей мере до десяти тысяч женщин и детей, начиная с грудного возраста. Каждая шайка, присоединявшаяся к армии, непременно тащила с собой и баб, а бабы волокли с собой свое потомство.

Так было с пугачевцами с первых дней движения, армия обрастала присасывавшимся к ней посторонним сбродом, и вожаки движения были совершенно бессильны с этим злом справиться.

Еще прошлой зимой, когда стан пугачевцев держался под Чернойорском и когда пришлось идти в поход, было решено, «отшить хвост», то есть отвязаться от лишних ртов. У самого «анпиратора» тогда был огромный гарем, состоявший по меньшей мере из сотни разного рода «полонянок» и добровольно сделавшихся наложницами «анпиратора» баб, по большей части вдовых казачек. И разбитных гулящих солдаток. У других видных пугачевцев были свои гаремы, у кого в пять, у кого в десять женщин.

Тогда же «Петр Федорович» держал при себе в наложницах красавицу, молодую вдову убитого пугачевцами майора Харлова, девятнадцати- или двадцатилетнюю женщину, воспитанницу Смольного института.

Европейски образованная молодая женщина, так резко отличавшаяся от всех, с кем Пугачеву приходилось раньше иметь дело, мало-помалу приобрела известное влияние на своего обладателя. В дела пугачевцев она не вмешивалась, зверообразных «енаралов и адмиралов», вроде Зацепы и Хлопуши, она сторонилась, в диких оргиях, почти, без перерыва чередовавшихся в чернойорском стане, не участвовала, смертельно боясь соратников «анпиратора» и их диких подруг. Пряталась от взоров людских в отведенных ей «апартаментах», где держала при себе шестилетнего братишку. Единственное, что несчастная женщина позволяла себе, это было заступничество за попавшихся в лапы пугачевцев пленных дворянок.

Трудно сказать, за что именно, но другие наложницы Пугачева, особенно буйные и сварливые казачки, возненавидели Харлову лютой, неумолимой ненавистью. Вернее всего, это говорила бабья зависть: Харлова была писаная красавица, и кроме того, она была образованная. Сам Пугачев, сначала обращавшийся с ней, как обращался с бесчисленными достававшимися ему полонянками, то есть, как с постельной принадлежностью, мало-помалу привык к ней. Привык разговаривать с нею, стал спрашивать у нее советов.

Этого было совершенно достаточно, чтобы наполнявшие гарем «анпиратора» казачки и солдатки взъелись на «маеоршу».

У наложниц Пугачева были в стане и родственники и дружки. Ядовитые бабьи языки принялись за работу. На Харлову стали взъедаться и разные влиятельные сторонники «анпиратора». Хлопуша, отличавшийся бешеным нравом, первый стал попрекать Пугачева тем, что он, поддавшись «маеорше», обабился и перестал быть лихим казаком. Пугачев

долго огрызался, но когда Хлопуша напугал его возможностью бунта верных казаков, сдался. Накануне ухода из черноморского лагеря служившие при пугачевцах в качестве палачей башкиры и киргизы получили Харлову и ее братишку в свое распоряжение. Они вывели несчастных из войлочной юрты, служившей им жилищем, дотащили до края заваленного падалью оврага и там зарезали, как овец, а теплые еще тела сбросили в яр. Были зарезаны и многие другие женщины, с которыми пугачёвцам надоело валандаться.

Более счастливыми или более несчастными оказались те, которых закупили и угнали в степь киргизы. Иные из них позже попали из рук киргизов в руки персов и были отвезены в гаремы Персии, Турции и даже Египта, где искони был спрос на белотелых, голубоглазых и светловолосых славянских женщин.

После убийства Харловой Пугачев запил, допился до белой горячки, а оправившись, уже не связывался надолго ни с одной из попадавших в его руки полонянок. Продержит у себя одну-две ночи и дарит наложницу кому-нибудь из своих приближенных. Из женщин, бывших в его гареме в те дни, когда была жива Харлова, теперь оставалось всего шесть: две рослые донские казачки, одна туполицая мордвинка, еле говорившая по-русски, одна похожая на обезьянку молоденькая калмычка, одна белобрысая и ширококостная сибирячка-староверка и, наконец, неудержимо быстро старевшая цыганка.

Все они давным-давно смертельно надоели «анпиратору», и он уже несколько месяцев не достаивал ни одну из них своим вниманием. И сам не знал, зачем таскал их с собой. Много раз подумывал, что от них следовало бы отделаться, но думал как-то лениво.

Теперь, накануне выступления в поход на Казань, он обратился к Зацепе:

— А что, граф, у тебя баб много?

Зацепа махнул пренебрежительно рукой:

— До черта! А что?

— А я хотел, было, тебе еще какую подкинуть!

— Кого это? — насторожился Зацепа.

— Да из моих кобыл степных! — продолжал Пугачев. — Надоело таскать с собой.

— Правильно! — одобрил Зацепа. — Пойдем к Казани — новых наберем, сами не будем знать, куда девать. Я до поповских дочек ласый: сытые они, поповны-то.

— Ну, так как же? Берешь моих, что ли?

— Всех?

— А бери хошь и всех. Разе мне жалко?

— А я что с ними буду делать?

— А то же, что и я. Спать с ними будешь.

— Вона. Меня и на моих не хватает! — признался Зацепа. — Я не воробей... Калмычку я бы взял: забавна она. Словно зверушка какая...

— Ничего. Веселая, когда не хнычет. Бери...

— Взял бы и цыганку: любопытно. Николи с цыганками не путался,

— А что особенного? — зевнул Пугачев. — Баба, так она баба и есть... Бери!

— А остальные мне не надобны!

— А куда же мне их девать? — вяло вымолвил Пугачев. — Хлопуше отдавал — не хочет. Юрке навязывал — не берет, его Фимка какая-то оседлала. Князь Мышкину предложил — так он только что плечами пожимает. Брезговает...

— Отдай французу. Вот, мол, тебе из царских рук презент.

— И то! — оживился Пугачев. — Они, французы, говорят, страсть какие до баб ласые. Пошлю ему Машку Хоперскую. А езовиту пожертвую Антонидку. А шведу долгоногому — Федорку... Ха-ха-ха! Спасибо за совет. Ну, так вот что: распорядись там... Пущай отведут девок-то на пчельник. Останнюю, Василиску сибирскую, гони к полячишке.

Час спустя Зацепа вернулся, весело хохоча и заявил, что «кобылы»-то пошли к «немцам» с удовольствием, но там, на пчельнике, вышла осечка. Иностранцы изумились, смутились, посовещались, а потом отказались принять присланных им женщин.

— Испужались? — засмеялся Пугачев. — Ну, ин ладно! Когда так, то так. Скажи-ка Шакирке, что ль...

— Прикончить?

— Не таскать же, в сам-деле с собою... Пущай Шакирка как следует... Он это дело умеет. Он тогда Харлову-то резал.

Шакирка, рябой башкир, получив приказание расправиться с четырьмя женщинами, ослабил:

— Секим башка. Немношка рэзал горла будим!

Вытащил из сапога кривой нож, попробовал лезвие на ногте, убедился, что нож достаточно остер, и направился в развалку к мазанке, где сидели на полу связанные по рукам наложницы Пугачева. При виде палача женщины, подняли крик.

— Зачэм кричал, бариня? — пошутил Шакир, подходя к рослой смуглой казачке. — Савсэм нэ нада кричал.

Он пинком свалил ее на глиняный пол мазанки, уперся коленом в ее спину, оттянул голову за длинную косу, повел нож под подбородок и сильно дернул его вверх и вбок.

— Зачэм кричал? — сказал укоризненно, переходя к следующей жертве.

Это была вторая казачка, та самая, которая в свое время, взъевшись на «барыню» Харлову, больше других способствовала гибели несчастной красавицы.

Казачка замерла, когда Шакир положил ей корявую лапу на плечо, но потом рванулась, изогнулась и впилась острыми белыми зубами в руку башкира. Тот взвизгнул и, не взвидев света, ткнул ее кривым ножом в грудь. И еще, и еще.

Забившаяся в угол сибирячка выла, как пес на луну.

Немного спустя, Шакирка вышел из мазанки и сказал, сверкая белыми зубами:

— Кунчал работа. Всю чотыри рэзал, как барашка.

— Молодец! — похвалил его Зацепа.

— Я молодца! — сам себя похвалил Шакирка. — Я — джигит... Я усю рэзал.

— Вот, погоди: доберемся до Москвы — там тебе работы!

— Будэм дэлай работа. Я радый! — согласился Шакир.

Покончив со своим «гаремом», Пугачев отдал строгий приказ «очистить лагерь». Было разрешено оставить одну бабу или девку на десяток мужчин, а остальных — выгнать. В стане поднялись вопли.

Изгонять баб был отправлен особый отряд из варнаков Хлопуши, к которым присоединились и добровольцы башкиры и киргизы. В стоявшем несколько в стороне отдельном лагере ведших с пугачевцами оживленную торговлю киргизов и персьюков спешно заключались сделки: пугачевцы отводили туда женщин и продавали их желающим. Покупатели в этот день были очень разборчивы: так как от продавцов отбоя не было.

— Бери, Ассан! — уговаривал молодой казак знакомого киргиза. — Марьей зовут. Работящая!

Ассан смерил стоявшую перед ним бледную бабенку с головы до ног, потом замотал головой.

— Нэ надо!

— Почему не надо? — приставал казак. — Дешево отдам. Она и ткать, она и прясть, она и все такое...

— Нэ биром. Она с брухом.

— Велика важность! — возразил казак. — Разродится, вот и все.

— С брухом нэ нада. Бэз брухом биром.

Казак дернул бледную бабенку за руку.

— Ну, и куда ж я тебя, Марья, девать буду?

Баба всхлипнула.

— Пойдем в степь, что ли ча...

Она покорно пошла за ним.

— Зайдем в кусты, что ли? — предложил казак.

Они зашли в кусты. Несколько минут спустя казак выскочил из кустов и побежал в стан. Тело Марьи лежало в кустах, нелепо раскинув голые ноги. Из перехваченного ножом горла выскакивали струйки крови и стекали под запрокинутую голову.

Отряд Хлопуши отобрал у пугачевцев свыше двух тысяч женщин и полторы тысячи детей и загнал их в овраг. При входе в овраг была поставлена стража из старых варнаков. Бабы плакали, выли, проклинали варнаков и Хлопушу. Варнаки посмеивались.

Какой-то одноглазый соратник Хлопуши добродушно уговаривал бесновавшихся баб:

— Чего бунтуетесь? Как смеее против царской воли идти?

— Душегубы вы! — отвечала какая-то средних лет растрепанная баба, державшая на тощих



коричневых руках недавно рожденного младенца. — Что мы теперь делать будем? Бросаете нас, как собак...

— А то и будете делать, что раньше делали! — отвечал равнодушно варнак. — Ваше дело женское известное. Ребят делать будете!

— Да с кем же мы ребят делать будем, когда вы уходите? — голосила тощая баба.,

— Н-ну, было бы болото, а черти будут. Мы уйдем — другие придут. Рази в степу людей мало? Разойдетесь по хуторам...

— Да вы, каторжные ваши души, все кругом разорили! Да вы всех мужиков угоняете.

— Ну, вот и дура! Как это — всех мужиков? Мало ли их на развод остается? Старики сидят. Мальчишки. А вашу сестру куда ж собою таскать?

— А мы как же теперя кормиться будем? — озлобилась баба. — Кричали, кричали, что, мол, и тебе воля, и тебе земля, и все такое, а теперь — на, поди: как собак в степь выгнали...

— Тако дело, милая. Ничего не поделаешь!

— Так зачем всю кашу заварили?

— Ну, это не твоего ума дело. И нечего изводиться Другим хуже приходится. Вон, царь-батюшка своих четырех девок прирезать приказал.

— Так то — шкуры барабанные. А я мужа мово законная жена. Мы в церкви венчаны... Своим хозяйством жили. У нас три лошади были, двух коров держали...

— Твои коровы при тебе и остаются.

— Как бы не так! Остаются! Лошадей под конницу забрали. Коров угнали да зарезали. Одна изба пустая осталась!

— А ты тому радуйся, что хоть изба осталась.

— А что я в пустой избе делать буду? Есть-то с ребятами что буду? Отдайте мне мово мужа, душегубы! Сейчас отдайте!

Варнаки расхохотались.

— Сейчас, сейчас отдадим! — сказал один из них. — Андрюшка! Ты, что ль, ейного мужа в штаны спрятал? Отдавай ей сейчас. Нечего, брат, баловаться!

Андрюшка, подмигивая, спросил у плачущей бабы, хочет ли она в самом деле, чтобы он, Андрюшка, отдал ей мужа. Баба разразилась проклятиями, потом упада на землю и принялась кататься, дико воя.

Как только, стало темнеть, на необозримом пространстве вокруг Чернятиных хуторов запылали бесчисленные огни костров. Пугачевский стан предался буйному веселью, празднуя канун своего отправления в великий поход на Москву. Пир шел до утренней зари.

На рассвете пушечный выстрел возвестил начало похода. Лагерь пришел в движение. Люди, бросая медленно догоравшие костры, расходились по своим полкам и сотням. По мере сбора людей, один полк за другим снимался с места и выходил в степь, на дорогу.

Часов в десять утра последняя конная сотня, державшая в лагере караул, покинула Чернятины хутора и на рысях ушла в степь. Тогда пробывшие эту ночь в овраге бабы

вырвались и с воплями бросились догонять ушедшую в поход армию «его пресветлого царского величества, анпиратора Петра Федорыча всея России». Впереди всех бежала тощая темнолицая баба, прижимавшая к высохшей груди посиневшего от истощающего крика ребенка.

В этот час сам анпиратор со своим главным штабом, со всем генералитетом, министрами и иностранными гостями находился уже далеко от Чернятинских хуторов, в степи. Там он расположился на вершине древнего кургана, насыпанного неведомыми руками над могильным ложем неведомого степного батыра, и, сидя на привезенной из Чернятина парчевой скамье с заменявшим ему скипетр архиерейским жезлом в руке, пропускал мимо себя идущее на Москву воинство.

Для торжественного случая он облачился в казакин из алого сукна, на мускулистых ногах были шаровары из ярко-желтого китайского шелка и красного сафьяна сапоги с загнутыми концами. Казакин был перетянут голубой муаровой лентой, за ней виднелись ручки дорогих турецких пистолетов и кинжалов. Левая рука «анпиратора» опиралась на эфес кавказской сабли.

Безносый Хлопуша и безухий Зацепа, иначе граф Чернышев и граф Путятин, стояли за его спиной. Дальше держался скромно одетый князь Федор Мышкин-Мышецкий, а на полускате расположилась группа иностранных гостей.

По пыльной дороге, огибавшей курган, проползала огромная змея. Сменяя друг друга, проходили, не заботясь о строе, отряды пеших и конных. Впереди каждого отряда шла более или менее значительная часть вооруженных ружьями и тесаками людей. За ними валили оборванцы, вооруженные цепями, вилами, дубинами. За этими следовал разнокалиберный обоз из самых разнообразных экипажей, влекомых разномастными лошадьми. За обозом следовали табуны запасных коней, были видны порой стада коров и овец. Среди толп пеших шли ведомые киргизами вьючные верблюды, а в обозе плыли тяжелые двухколесные степные арбы, в которых сидели смуглые оборванные женщины.

Проходя мимо кургана, каждый отряд выкрикивал «ура» или «виват», и нестройные, недружные крики сливались в один дикий рев.

Светлоглазый швед Анкастром, скрестя руки на груди, стоял лицом к дороге и смотрел, не отрываясь, на проходившие полки пугачевцев. Его казавшееся каменным худощавое лицо оживлялось несколько, когда мимо кургана, джигитуюя, проносился какой-нибудь казачий отряд или когда разномастные степные лошади протаскивали неуклюжую полевую пушку на окованных железными ободьями высоких колесах. Стоявший рядом со шведом шевалье де Мэрикур сначала не без любопытства созерцал представлявшуюся его взору пеструю картину, обмениваясь впечатлениями с тучным итальянцем, но скоро это ему надоело, и он принялся чистить себе ногти маленьким напильничком.

Когда мимо кургана проходила одна часть обоза и в клубах рыжеватой пыли проплыла арба с выглядывавшими из нее смуглыми женщинами, шевалье обратился к Бардзини с вопросом:

— Желал бы я знать, что они сделали с теми четырьмя женщинами, которых хотели нам вчера навязать. Одна из них, та, чернобровая, было по-своему недурна. Дикарка, конечно, но...

Анкастром, чуть повернувшись лицом к французам, отозвался спокойно:

— Граф Путятин сказал мне, что по приказанию самого... императора всех четырех резали...

— Что такое? — поразился шевалье.

— Все четыре зарезаны. Резал их какой-то Шакир. Казак или татарин, или киргиз... Он при императоре исполняет, если можно так выразиться, роль государственного палача...

— Послушайте, капитан! Неужели же...

— Их зарезали, как овец! — повторил швед и опять стал пристально смотреть на проносившийся в это время мимо кургана маленький конный отряд.

— Черт знает что такое! — пробормотал шевалье. — В конце восемнадцатого века...

Бардзини, усмехнувшись, вымолвил:

— Восемнадцатый век — это в Европе. А здесь — Азия...

Минуту спустя Бардзини поинтересовался:

— Что это за часть? Казаки, что ли?

Мимо кургана проходили нестройные ряды конницы. Всадники в пестрых халатах восседали на степных лохматых конях. Вооружены они были частью длинноствольными ружьями с мултуками и подсошниками, а больше копьями, кривыми саблями и луками. Пестрые колчаны, полные оперенными стрелами, болтались у луки каждого седла. Впереди ватаги конных халатников шла группа музыкантов: тут были зурначи, балалаечники, трубачи и барабанщики. Один из всадников вез длинный шест с перекладинками, к которым были подвешены белые и черные конские хвосты, алые и синие ленты, погремушки и колокольчики.

— Иррегулярная конница, — откликнулся швед. — Башкиры... Только вчера пришли на соединение с императором. До пяти тысяч человек... И два таких же отряда идут еще.

Бардзини круто повернулся к переставшему чистить ногти шевалье и, понизив голос, спросил:

— Вы историю изучали, мой юный друг?

— Военную — да, — ответил небрежно француз. — А что?

— Я хотел бы знать, что вам напоминает это зрелище?

Шевалье с легким недоумением посмотрел на патера.

— Что мне это зрелище напоминает? Но, мой бог, признаюсь...

— Вам не кажется, что мы созерцаем повторение похода какого-нибудь Дженгис-хана или Тимурлена из недр Азии на Европу.

— Пожалуй...

— Вам не кажется, — продолжал патер, — что это дикие орды степных хищников, варваров-номадов, идут для уничтожения европейского мира, как шли в старые годы орды монголов?

Швед повернул лицо к разговаривавшим, его губы дрогнули, но он ничего не сказал.

Шевалье нетерпеливо пожал плечами и капризно вымолвил:

— Я знаю только одно, что теперь было бы хорошо выпить стакан вина. Впрочем, я не отказался бы и от омлета...

Не дождавшись конца прохождения своей армии, Пугачев спустился с кургана, сел на своего вороного и ускакал вместе со своей свитой. Следом за ним уехали и иностранцы.

Местность опустела: змея проползла дальше. Но часа через два на той же дороге показалась новая жидкая толпа. Это бежали вслед за ушедшей на северо-запад армией «Петра Федорыча» просидевшие ночь в овраге и оставленные в Чернятине лишние бабы. Впереди бежала, прижимая к груди коричневые руки, темнолицая женщина с выпученными глазами и искривленным ртом. По ее щекам катились капли пота, смешиваясь со степной пылью. Из груди вырывалось хриплое дыхание Ребенка, которого она еще недавно держала на руках, у нее уже не было.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Едва в Казани стали поговаривать о возможности нападения пугачевцев на бывшую столицу казанского царства, старый князь Иван Александрович Курганов всполошился и решил, что всей кургановской семье не мешало бы перебраться из Казани в Москву. Привыкшая безропотно подчиняться мужу княгиня Прасковья Николаевна и на этот раз не подняла голоса против принятого Иваном Александровичем решения, хотя путешествие в Белокаменную по дальности расстояния и путало старую женщину. Родственники Кургановых, Лихачевы, только недавно выстроившие в Казани большой дом, уже успевший прослыть в простодушной Казани «лихачевским дворцом», относились к намерению князя отрицательно: им казалось, что о серьезной опасности для Казани со стороны мятежников и речи быть не может. Поднятое беглым казачишкой, треклятым Емелькой Пугачевым, восстание идет явно на убыль. Мятежники разорили огромный край, а теперь и сами не знают, что делать, ну, и мечутся из стороны в сторону, но до Казани им не добраться. А если и доберутся, то расшибуют себе лбы. Казань — это тебе не какая-нибудь степная крепостца, где все укрепление — земляной вал да гнилой частокол и где вся сила — какие-нибудь два или три десятка мирно доживающих свой век инвалидов под начальством выслужившегося из рядовых в поручики коменданта. В Казани живет губернатор, имеется гарнизон и не какой-нибудь, а настоящий гарнизон из двух пехотных полков, трех батарей и трех сотен донских казаков, под начальством старого опытного боевого генерала Лохвицкого, ветерана Семилетней войны. Правда, полки — Белевский и Елецкий — далеко не в полном составе и на три четверти состоят из молодых рекрутов, но они представляют достаточно внушительную силу. Артиллерия тоже не так плоха. Да, кстати, из старого арсенала вытащили сотни чудом уцелевших пушек, отлитых когда-то петровским мастером Винусом. А казаки — лихие ребята и ими командует пользующийся среди донского казачества большой известностью полковник Шамраев. Он держит своих донцов в руках. Но мало и этого: едва вступив в должность, генерал Лохвицкий сейчас же настоял на формировании волонтерских дружин из местных обывателей. В эти дружины записались поголовно все воспитанники трех старших классов местной «Благородной гимназии», многие семинаристы, молодые купцы и дворяне. Сейчас имеется уже четыре такие дружины: гимназическая, семинарская, купеческая и дворянская. Ружья выданы из цейхгауза. У дворян и гимназистов имеется даже по собственной пушке. Каждый день дружины производят экзерциции на военном плацу, на берегу Кабан-озера.

— Пусть только Емелька сунется, казанцы покажут ему кузькину мать. А кстати, вот-вот подойдет и сооружаемая в Ярославле речная флотилия. Нет, Казань совершенно безопасна!

Павел Петрович Лихачев, троюродный брат князя Курганова, старик лет шестидесяти, даже упрекал князя за его неприличную трусость.

— К осени все кончится! — говорил он. — Как поднялась заваруха неведомо с чего, так и развеется, тоже неведомо с чего. Да наше мужичье давно рассыпалось бы, старообрядцы да воры-казаки с Яика их силой держат. Но, слышно, и у них уже нелады большие. Наделали делов, а теперь и сами не рады. Ищут, куда бы выскочить. Ведь, кому-кому, а главным бунтарям от расправы не увернуться!

Иван Александрович выслушивал все эти соображения, но думал свою думу, хорошо в Казани, а еще лучше — в Москве. Туда уж пугачевцам и во веки веков не добраться. Потому он готовился перевезти семью и довольно многочисленную дворню в Белокаменную, благо и там у него был на Арбате полученный в приданое за Прасковьей Николаевной барский дом. Двое доверенных слуг отправились уже в Москву, чтобы привести дом в порядок к приезду господ.

Однако почти накануне назначенного отъезда в Москву княжна Агафья Ивановна, которую в доме звали Агатой, внезапно занемогла. Призванный немедленно городской медикус Вильгельм Федорович Шприхворт, осмотрев метавшуюся в жару больную, определил у нее горячку. Больной была пущена кровь, потом началось лечение. Но ни кровопускания, ни лечение не помогали: горячка продолжала держать молодую княжну прикованной к постели. О том, чтобы везти больную девушку в таком состоянии за тридевять земель, не могло быть и речи, и когда продолжавший тревожиться князь заговорил об этой неприятной помехе, в первый раз в жизни тихая и всегда покорная княгиня Прасковья Николаевна резко сказала ему:

— Ежели боишься, то уезжай. Я же своего детища не покину, ибо я — мать.

Так Кургановы остались жить в отведенном в их распоряжение Лихачевым обширном и удобном флигеле, окна которого выходили в пышно разросшийся старый сад.

Молодой князь Петр Иванович, записавшийся в дворянскую дружину, по целым дням не показывался дома: он завел дружбу с офицерами обоих пехотных полков, стоявших в Казани гарнизоном, и все время проводил в их компании. Скучать было решительно некогда. В переполненной сбежавшими из охваченных восстанием местностей дворянскими семьями жизнь была ключом, и молодежь развлекалась на все лады, балы и вечеринки шли непрерывной чередой. Но и старики не отставали от молодежи: среди них было мало охотников до танцев, зато все почти сплошь были любителями карточной игры, и эта игра велась на широкую ногу. Бывали случаи, когда какой-нибудь бежавший из своего поместья дворянин проигрывал это поместье другому, даже и не подозревая, что усадьба сожжена, деревня наполовину выгорела, а крепостные разбрелись или присоединились к пугачевцам.

«Штадт-медикус» Шприхворт бывал в квартире Кургановых каждый день, иной раз даже дважды, чтобы следить за ходом болезни молодой княжны. Вместе с ним повадился к Кургановым старый друг и приятель Шприхворта, почти восьмидесятилетний Михаил Михайлович Иванцов, называвший себя «натур-философом».

Это был еще бодро державшийся, несмотря на свой преклонный возраст, высокий, сухой, как щепка, старик с изрезанным морщинами лицом и багровым, словно у пьяницы, носом, хотя на самом деле пьяницей Иванцов никогда не был и пьянство строго осуждал, считая его прежде всего прегрешением против законов природы, которую он всегда называл «Матерью всего сущаго, Натурою».

Михаил Михайлович был в Казани едва ли не самым образованным человеком и, во всяком случае, самым бывалым, ибо с семнадцатилетнего и до шестидесятилетнего возраста провел время почти без перерыва в заграничных странствованиях. Свою долгую и нелегкую служебную карьеру он начал еще юношей, поехав вместе со своим дальним родственником, знаменитым петровских времен дипломатом графом Толстым в Неаполь, где укрывался

бежавший от отцовской тяжелой руки царевич Алексей Петрович со своей Евфросиньюшкой. Позже Михаил Михайлович сделался одним из ближайших сотрудников Остермана, служил при Волынском, случайно уцелел, когда Бирон раздавил Волынского, побывал и в Лиссабоне, и в Мадриде, и в Риме, и в Палермо, и в Париже, и в Лондоне. Достигши шестидесятилетнего возраста, он вышел в отставку и перебрался доживать свой век в родной город — Казань, где и сделался одной из местных достопримечательностей, а в простом народе прослыл за звездочета и чернокнижника. Такая слава была создана ему тем обстоятельством, что старик, еще в дни странствий за границей пристрастившийся к естественным наукам, устроил над своим скромным домишкой в Кремле астрономическую обсерваторию, обзавелся выписанными из Швейцарии инструментами, приобрел добрых четыре сотни книг научного содержания и занялся наблюдениями, которые простым обывателям казались весьма таинственными. Но астрономия не была для Михаила Михайловича главной целью: он увлекался философией и, приняв за исходную точку работы Лейбница, сам начал создавать новую теорию, которая, по его мнению, должна была со временем заменить все придуманное раньше.

Когда Иванцов начал свою работу, то ему казалось, что это дело достаточно простое, но чем больше подвигался его труд, тем более смутной становилась для него основная мысль. А за последние полтора года он и совсем стал сбиваться: все, что творилось вокруг, слишком резко противоречило его выводам. Раньше он установил «двенадцать основоположений благоденствия общества человеческого, государством рекомаго», а теперь выходило так, что если не все, то, во всяком случае, многие из этих «основоположений» никак не уживаются с творящимся в России.

Движение, поднятое на Яике Пугачевым, живейшим образом интересовало Михаила Михайловича, так как в этом движении он легко усматривал многие предвиденные им в «основоположениях» черты. Например, Михаил Михайлович еще во дни Анны Иоанновны и ее любимца Бирона пришел к убеждению, что монархия является совершенно искусственной государственной формой, к тому же, в общем, мешающей народному благоденствию. Естественной или натуральной формой государственного устройства является форма республиканская, дающая возможность народу иметь во главе управления выбранных людей, пользующихся полным и совершенным доверием. То обстоятельство, что сии народные правители поставляются самим народом, обеспечивает за ними и всяческую поддержку со стороны самого народа. К власти допускаются только люди, заслуживающие высокого доверия своими прирожденными добродетелями и высокими способностями, а также бескорыстные и глубоко понимающие истинные нужды народа. Иначе народ не выдвигал бы их, не отдавал бы власть над собой в их руки, а ежели бы у власти по какой-либо случайности и оказались лица, не заслуживающие народного доверия, то народ, несомненно, сейчас же отвернулся бы от них.

И вот Михаил Михайлович жадно собирал все сведения, касавшиеся пугачевского движения.

То обстоятельство, что возглавлялось это движение простым донским казаком, едва ли умевшим подписывать свое имя, не смущало старого натур-философа. Книжная мудрость — не единая в мире мудрость. Христовы апостолы были из простых рыбаков и тоже не знали грамоты. Мало ли имеется в народной среде людей, отличающихся острым умом и удивительными способностями? И мало ли можно найти сущих оборотов среди дворянских сынков, обученных иностранными гувернерами?

Но почему же претендующий на российскую императорскую корону вождь народный предается пьянству и безудержному блуду? Значит, он находится во власти своих скотских страстей. А тот, кто не в состоянии обуздать свои собственные страсти, сможет ли бороться с людскими пороками, отравляющими существование общества? Персона, становящаяся во главе большого или малого государства, должна озаботиться мудрым законодательством, как можно ближе подходящим к незыблемым законам Натуры. Но разве истинный мудрец будет

пить без просыпу и окружать себя гаремом?

У Пугачева в виде его первых министров выступают Хлопуша Рваные Ноздри и Зацепа Резаны Уши, оба побывавшие на каторге за воровство, грабеж, поджоги и душегубство. Какой же государственной мудрости можно ожидать от сих министров? Ведь скорее их можно было бы назвать безумцами. Безумец сам «Петр Федорович», безумны и его соратники. Но ведь не сами собой они выскочили, их выдвинул народ. А ежели народ выдвинул безумцев, то что же такое этот самый народ? Не безумцем ли является и он?

Пугачевское движение является преимущественно крестьянским: крепостной не хочет быть рабом. Это вполне согласуется с законами Натуры — Натура не знает рабства. Волки ради своего пропитания могут загрызть и других волков, но не могут заставить этих других волков быть рабами. Человеческое рабство, по истине, есть явление искусственное, а бунт против него — совершенно естественное явление. Значит, и пугачевское движение отнюдь не есть явление безумное. Но тогда почему же главными предводителями его являются безумцы, на каждом шагу проявляющие свое безумие? Получается некий заколдованный крут, из которого никак не найдешь выхода...

Именно об этом «натур-философ» говорил теплым летним вечером своему приятелю и вместе вечному возражателю, Вильгельму Федоровичу Шприхворту, только что посетившему в доме Кургановых больную княжну Агату. Закончив свой визит и пообещав завтра утром произвести новое кровопускание княжне, штатт-медикус вышел в столовую, где для него был приготовлен чай. За столом сидел и старый князь Иван Александрович.

— Я высоко уважаю философию, — вымолвил, попивая крепкий душистый чай, штатт-медикус, — но я не знаю, можно ли почитать философию наукой?

— То есть как это так? — удивился Михаил Михайлович. — Разве не весь мир почитал Лейбница за великого ученого? А великий метафизикус Декарт?

— Философия есть, так сказать, наука, притязающая охватить все отрасли знаний. Это есть как бы душа знаний человеческих. Но велики ли те знания, коими мы располагаем? Вот, если взять для примера хотя бы старейшую из наук, медицинскую, то ведь и тут мы на каждом шагу встречаем всяческие пробелы. Пользуясь больных, наблюдаем различные феномены в их состоянии, но не знаем истинных причин, вызывающих оные феномены.

— Позволь, друже...

— Нет. Подожди. Вот я лечу нашу милую княжну. Признаки болезни позволяют мне определить эту болезнь как горячку. Знаю, что надлежит делать для преодоления этого недуга. Но чем он порожден? Один скажет, что недуг порожден накоплением вредных соков в организме. Но это не ответ, ибо тогда возникает вопрос, какова причина вредных соков? Другой скажет: сие есть воспаление крови. Но где же причина воспаленного состояния крови?

— Да что ты этим хочешь сказать, медикус?

— Только то, что вы, философы, беретесь за разрешение всех вопросов, не обладая потребными для этого знаниями.

— Но мы говорили о народном движении, поднятом Пугачевым. Причины его, кажется, могут быть определены достаточно точно.

— Против этого утверждения заявляю протест. Всякое народное движение есть явление более сложное, нежели заболевание одного человека. Во сколько же раз сложнее организм государственный, состоящий из многих миллионов существ, организма одного существа!

Определению поддаются только немногие, бросающиеся в глаза причины. И от определения ускользают тысячи других причин, может быть, куда более действенных. Вот ты же сам поминал о том, что Пугачев пьет, как губка. Русские люди, опьяняющие себя водкой, бывают весьма буйны. Русский народ испокон веков предан пьянству, а потребление спиритуса производит повреждения в здравии телесном и душевном. Вот ты теперь будешь говорить, что причиной этого движения является крепостное состояние крестьян, а я скажу, что причина в отравлении русского народа спиритусом. И оба мы будем правы... А хозяин дома этого скажет, что если бы после великого императора Петра Первого осталось не женское, а мужское потомство и не возникал бы вопрос о престолонаследии, то не было бы и мнимого «Петра Федорыча», то есть не было бы и движения или оно выставило бы другую цель.

Опять же многие еще говорят: причиной движения является то, что на престоле сидит не царь, а царица. Это тоже может быть принято во внимание, ибо народ русский на женщину привык смотреть, яко на существо, стоящее ниже мужчины. Глава дому — муж. Глава государству — царь... Вот тебе еще одна причина!

— Но ты-то согласен, медикус, с моей мыслью, что самое движение бунтовщическое служит доказательством болезненного состояния государственного организма и может быть рассматриваемо как тяжкое заболевание.

— С этим согласен. Но дальше?

— Я бы сказал, что причиной заболеваний и отдельных людей, и общества является неправильное кровообращение...

Медик поморщился:

— Сие есть фигуральное выражение, может быть, и весьма красноречивое, но не больше того. Объяснения же по существу всему происходящему сие фигуральное выражение не дает и дать не может. Приняв же его за аллегория, я хочу сказать, как врач, что многими сведущими в медицинской науке людьми советуется для восстановления правильного кровообращения пускать больному кровь из жил. Через это воспаление крови ослабляется. У тех больных, сознание которых от жара затемнено, наступает прояснение...

— Н-ну, кровь и так уж льется в достаточном количестве! — угрюмо ответил натур-философ. — Вон прибежавший сюда, в Казань, Анемподист, управляющим имением князя, говорит, что за четыре или пять дней пребывания в одном только селе какого-то из многочисленных ныне Лже-Петров побито до смерти человек десять да человек двадцать на веки искалечены. А на прошлой неделе гусары Михельсона, говорят, разгромив где-то на беоегу Волги одну большую шайку, перерубили человек пятьдесят да с сотню утопили... Какого же тебе еще «кровопускания» нужно?!

— Мне лично — никакого! — ответил, ставя на блюдечко допитый стакан, медик. — Но ведь это не от меня зависит. Вон я и нашей милой больной кровь пускаю вовсе не для удовольствия...

В это время в столовую вбежал раскрасневшийся Петр Иванович Курганов и, небрежно швырнув на подоконник свою обшитую серебряным позументом треуголку, крикнул:

— Новость! Только что прискакали гонцы от Фреймана. Пугачев сорвался со своего гнезда и идет сюда. Фрейман пытался его сбить в степь, но ничего не мог поделывать, так как его два батальона в самый решительный момент перешли на сторону мятежников.

— А Михельсон?

— Михельсона теснят мятежные казаки. Он, правда, пощипал хвост орде мятежников, когда



они переправлялись через Багровку, но и сам поплатился. Ему пришлось уйти на Самару. Рассчитывает, оправившись, снова ударить на скопища, загородившие дорогу от Самары на Казань. Во всяком случае, сейчас передовые отряды Пугачева находятся уже на расстоянии не свыше полутора верст от нас...

— Хорошее дело, — откликнулся угрюмо старый князь Курганов. — Вот попомните мое слово: нам осады не миновать!

— Ничего, батюшка! — отозвался Петр Иванович. — Нам осады бояться нечего. Наши силы растут. Только что почти все рабочие с фабрик Бахвалова записались в волонтеры. Триста пятьдесят человек. Горят желанием постоять за матушку-царицу.

— Бахваловские рабочие? — переспросил с сомнением натур-философ. — С чего это они?

В столовую тихими шагами вошла Прасковья Николаевна и попросила врача зайти посмотреть на больную. Иванцов распрощался и побрел домой, постукивая по деревянным помосткам своей старой, вывезенной из Лиссабона, палкой черного дерева с набалдашником в виде шара из слоновой кости.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

По желанию старой княгини Прасковьи Николаевны, причт соседней Вознесенской церкви был приглашен на дом к Кургановым — отслужить молебствие о здравии болящей княжны Агафьи. После молебствия отец Илларион и дьякон отец Кирилл остались у Кургановых на обед. За обедом князь Иван Александрович не утерпел и заговорил о том, что занимало умы всех казанцев: о возможности нападения Пугачева на город. Спросил мнение отца Иллариона о пугачевском движении. Священник, человек уже пожилой, благообразный и славившийся в Казани благолепием своего служения, грустно ответил:

— Сие есть попущение господне!

— Иначе говоря, наказание, нам господом за наши прегрешения посылаемое! — вмешался молодой и речистый дьякон.

— Да, но это очень уж неопределенно! — протянул князь. — Наконец, если даже принять вашу мысль, отец Илларион, то как же это так? Те самые прегрешения, которые творятся и сейчас, творились и раньше. Например, крепостное право и связанные с оным злоупотребления или, скажем, всяческие непорядки по управлению, погрешности в отправлении правосудия, обременение населения налогами и прочее. Стоит вспомнить хотя бы времена Бирона. Ведь тогда, действительно, ужас, что творилось. Стон стоял. Дышать не смели. И, однако, никто пошевелинулся не посмел.

— Так-то оно так, но...

— Пойдите, отец Илларион! Я еще не договорил. Вспомните и последние годы царствования Елизаветы Петровны. Не буду осуждать покойную государыню, но ведь теперь всем, всем решительно в Российской Империи живется несравненно легче. Почему же движение подымается именно теперь, когда все заставляет верить в то, что русский народ ждет лучшее будущее? Границы государства весьма и весьма раздвинуты, безопасность от нападения извне упрочена. Промышленность и торговля развиваются, науки и искусства процветают, во главе государства стоит императрица, высокому уму и государственным талантам коей дивится весь свет.

— Пути господа неисповедимы! — вздохнул отец Илларион — Ум же человеческий весьма ограничен. Но я позволю себе привести для примера один всем в Казани известный случай...

— О семье Оглоблиных! — вставил дьякон. — Отец Илларион сей казус любит цитировать в назидание.

— Оглоблины? Это не те ли, у которых огромные лавки возле Кремля? — заинтересовался князь.

— Те самые. Семья их состоит в моих прихожанах искони. Были они, Оглоблины, торговцами средней руки. Пользовались известным достатком, но в богачах не числились. Всем делом заправлял старый Осип Семенович, который в храме нашем был критором. И было у него четверо сыновей и три дочери. И всех он заставлял работать. Все шло хорошо, но пять лет тому назад, совершенно неожиданно, вследствие одного несчастного случая, в одночасье померла вся семья его родного дяди, тоже Оглоблина, торговавшего с Заволжьем, и наши, казанские, Оглоблины получили громаднейшее наследство от тех, саратовских: чугуно- и меднолитейный завод с колокольным отделением, несколько водяных мельниц, прииски на Урале, лавки в разных городах, канатную мастерскую, и прочая, и прочая. Пришлось на наших Оглоблиных до двух сотен тысяч рублей серебром.

— Однако.

— Такое богатство, что и любому князю впору! — вставил дьякон.

— Ну, и вот, — продолжал отец Илларион, — что же бы вы думали? Богатство сей семьи возросло в десять или даже двадцать раз, но счастья им не принесло. Один из сыновей Оглоблина, отправившись в Макарьев на ярмарку, там загулял, пропил данные ему отцом для оборота деньги, а потом, придя в умоиступление и не смея показаться отцу на глаза, наложил на себя руки. Другой слюбился с какой-то мещанского звания девицей и, похитив ее, бежал с ней неведомо куда. Третий обнаружил себя игроком. Одна из дочерей ни с того, ни с сего начала чахнуть. Другая ушла в монастырь. Третью они, Оглоблины, выдали замуж, а она возьми да и сбеги от мужа с каким-то поляком-католиком, из тех, что жили здесь на положении как бы ссыльных.

— Что вы хотите сказать сим примером, отец Илларион? — перебил его повествование князь.

— Токмо то, ваше сиятельство, что вот покуда люди пользовались скромным достатком и жили себе, не мудрствуя лукаво, все шло честь честью. А стоило им разбогатеть, вышло так, как будто они утратили равновесие душевное. Семья как бы заболела неким тайным недугом.

— Отец Илларион и самое-то Емелькино движение приравнивает заболеванию! — вступился дьякон. — По его мысли так выходит, что русский народ подвергся как бы некоему поветрию!

Внимательно прислушивавшийся к разговору натур-философ Иванцов закивал одобрительно головой.

— Мы с Шприхвортом придерживаемся той же теории, — сказал он. — Движение, поднятое Пугачевым, может быть уподоблено той болезни, которая в науке называется гангреной, а в просторечии — «антоновым огнем».

— «Антонов огонь»? Ну, хорошо. Согласимся смотреть на сие движение, яко на проявление «антонова огня». Но каковы причины?

— А что мы знаем о причинах настоящего «антонова огня»? — живо отозвался

натур-философ. — Вот давно ли в Москве была моровая язва, сиречь — чума? Пришла чума через южные степи, с Дуная, где находится действующая армия. А откуда она появилась там? Из Константинополя. Туда же пришла, говорят, с какими-то кораблями из Египта. Ну, а там еще откуда-то... Однако ясно одно: болезнь сия — я про чуму говорю — отменно заразительна. Он одного заболевшего передается другому, третьему и так далее. И захватывает не только отдельные города, и но и целые страны. А где причины этой болезни, в чем ее сущность, — сие никто не ведает.

— Поднятое Пугачевым движение еще более заразительно, нежели моровая язва, — тихо вымолвил священник.

— А по-моему, пугачевщина действует, как опьянение, — вставил дьякон. — Кто наслушается бредней, ими распускаемых, тот уподобляется горчайшему, который в умоисступлении или, скажем, в припадке белой горячки, и на людей, и на животных кидается и на стену лезет.

— Ну, с занесенной из Турции чумой власти-таки сумели справиться, — сказал князь, — хоть и сидела она в самой Москве, а не в степях приволжских. А вот с пугачевщиной что-то до сих пор плохо справляются...

В это время в столовую влетел молодой князь Иван

— Выступаем! — выкрикнул он

— Что такое? — поднялся старый князь встревоженно.

— Павел Потемкин одержал верх над фон Брандтом. Решено выступить навстречу Пугачу и разнести его полчища, не допуская их приближения к Казани. Я забежал только собрать кое-какие вещи. Через два часа сбор. Назначенные для выступления части уже собираются на Арском поле.

Гости поднялись и стали прощаться.

Вопрос о необходимости преградить скопищам Пугачева дорогу к Казани поднимался и раньше. Это была любимая мысль молодого и честолюбивого генерала Павла Сергеевича Потемкина, недавно прибывшего в Казань из столицы. Павел Сергеевич, двоюродный брат уже обласканного государыней Григория Александровича Потемкина, попал в генералы, как говорится, фокусом: если бы не то, что его сродник Григорий стал фаворитом императрицы, уже давно охладевшей к своим прежним любимцам Орловым, Павлу пришлось бы долго добиваться хотя бы полковничьего чина. Но Григорий «вытащил» и Павла, и тот в один год из майоров проскочил в полковники, а из полковников в генералы. И вот теперь он уже в генеральском чине прибыл с особыми полномочиями в Казань, которой угрожал Пугачев. С его приездом начали подходить и подкрепления. И Павел Сергеевич решил, что сидеть у моря и ждать погоды не приходится: надо идти и насесть на разбушевавшегося медведя в его же берлоге.

На последнем совещании в губернаторском доме по этому поводу вышел жестокий спор между стариком фон Брандтом, военным губернатором Казани и молодым генералом.

— Государь мой, — заявил Потемкин, кусая губы, — я почитаю позорным то обстоятельство, что местные власти не задавили до сих пор все движение. Слава российского оружия омрачается успехами мятежников. Доблестные войска императрицы Екатерины прославили себя в сражениях с таким неприятелем, как турки, коих янычарская пехота до сих пор почиталась непобедимой. Тактика Петра Первого, которую применяли и после него наши славные полководцы Миних, Румянцев и другие, состоит не в обороне от неприятеля, а в

нападении на такового. Русский штык делает чудеса!

Но фон Брандт не сдавался.

— Я сам в молодости имел счастье служить под начальством графа Миниха, — заявил он, — и участвовал в его походе на Крым. Но война с врагом внешним отнюдь не сходна с действиями против мятежников.

— Чем это?

— А тем, что действующие части определенно знают, кто есть противник. Здесь же им приходится действовать, так сказать, слепо. Вчера село Никитовка было полно людьми, законам повинующимися и приказы начальства выполняющими, а сегодня то же самое село перешло на сторону Пугачева. А как вы, ваше превосходительство, полагаете отличить верных граждан от бунтовщиков?

— По их действиям!

— Это не так-то легко. Кроме того, для действий против мятежников требуется почти исключительно кавалерия, поддерживаемая легкой артиллерией. В столице это обстоятельство упускается из виду. Пехотные же части не могут сделать многого, ибо не в состоянии угнаться за мятежниками, вся орда которых обладает конями.

— Ну, положим, ваше превосходительство! По последним сведениям, у Пугачева сейчас имеется до тридцати тысяч пеших.

— Которые, ваше превосходительство, не составляют ядро сил мятежников. Это — хвост. И действующие против мятежников офицеры: полковник Михельсон, генерал Меллин, генерал Муффель, генерал князь Голицын — многократно этот хвост громили, но положительных последствий от этого не было, ибо всегда Пугачев и его ближайшие соратники успевали уйти куда-либо. А вместо разгромленного хвоста незамедлительно отрастал новый, еще больший.

— Так в чем же состоит способ борьбы, ваше превосходительство? — сухо осведомился Потемкин. — Не прикажете ли ждать, покуда Пугачеву будет угодно самому сунуться в ловушку.

— На сие, ваше превосходительство, не уповаю! Но я полагаю, что покуда не будет применена в более широких размерах та самая тактика, которую уже с успехом применяет Михельсон, то есть покуда не будут двинуты против мятежников большие кавалерийские части, которые изловят самого зачинщика, нам надлежит воздержаться от рискованных операций.

Потемкин презрительно посмотрел на старого миниховца.

— Вы считаете рискованной операцией выступление против сброда всякой сволочи, вооруженного только дубинами да вилами, такого сильного отряда, как два пехотных полка, два эскадрона Бахмутских гусар да три сотни казаков, не считая моей конной артиллерии?

— Считаю рискованным! — стоял на своем фон Брандт. — Томский полк весь состоит из новобранцев, Зарайский на три четверти из новобранцев!

— А вот вы, ваше превосходительство, посмотрите, как эти «новобранцы» расчешут орду Пугачева!

Генерал Павел Сергеевич Потемкин настоял на своем: для охраны Казани был оставлен ее прежний гарнизон, а только что пришедшие полки — Зарайский и Томский в составе около трех тысяч штыков — были двинуты навстречу приближающемуся к Казани Пугачеву.

Кавалерия Потемкина состояла из двух неполных эскадронов Бахмутского гусарского полка и трех казачьих сотен, большей частью из стариков или юнцов, тоже только что пришедших с Дона. Артиллерия состояла из четырех шестипушечных конных батарей. К отряду Потемкина присоединилась и местная дворянская конная дружина в полтораста человек, которая находилась под начальством выбранных дворянами оставшего гвардии капитана Бор-Раменского. Петр Курганов и почти все его знакомые молодые дворяне из местностей, уже разоренных пугачевцами, входили в состав этой конной дружины.

Вся Казань вышла провожать отряд Потемкина. Местный архиепископ Некрарий отслужил напутственный молебен и поднес молодому генералу образ Казанской божьей матери в дорогой золотой ризе. Купечество, собрав значительные суммы по подписке, пожертвовало большое количество съестных припасов, шейных платков и кисетов, а кроме того, вручило Потемкину полторы тысячи рублей серебром для раздачи тем из рядовых, которые особенно отличатся в действиях против пугачевцев. Магистратские чиновники поднесли витиевато написанный адрес, в котором говорилось, что доблестному генералу Потемкину предстоит возродить славу русских богатырей, некогда побеждавших прилетавшего на Русь из азиатских степей Змея Горыныча.

Когда собравшиеся на Арском поле войска по сигналу трубачей тронулись в поход, из провожавшей их толпы горожан понесся гул криков:

— Пойдите за Русь, родимые! Накажите злодеев!

Офицеры салютовали дамам шпагами. Солдаты, отбивая темп под дробь барабанов, улыбались и кричали:

— Постоим до последнего!

— Песенники! — скомандовал Потемкин.

И запевала зарайцев, красивый тощий парень, высоким голосом затянул:

— Русский царь собрал дружины...

Хор строго откликнулся:

— И велел своим орлам...

Запевала подхватил:

— Плыть по морю, на чужбину...

Хор прогремел:

— К иностранным берегам!

Дворянская конная дружина шла в хвосте выступавшей колонны. Множество родственников, друзей, знакомых и просто любопытных провожало эту дружину. В числе провожавших были штабт-медик Шприхворт и натур-философ Михаил Михайлович Иванцов. Они приехали вместе на пролетке Шприхворта, запряженной старой, откормленной, ленивой белой в яблоках кобылой, которую старый медик называл «фрау Амалия». Лошадью правил такой же, как и седоки, древний кучер Родивон, единственный крепостной Шприхворта.

— Молодцом держатся наши! — похвалил Иванцов, глядя на проходивших по четыре в ряд дружинников.

— А вот и князек наш! — откликнулся Шприхворт, снимая треуголку и размахивая ею в знак

приветствия гарцевавшему на гнедом аргамаче князю Петру Ивановичу Курганову. — А моя милая больная меня не радуется, нет, не радуется. Перелом болезни должен был бы давно наступить, а между тем положение остается весьма неопределенным.

— Всего хорошего, Петруша! — крикнул свойски Иванцов молодому князю. — Постарайтесь, голубчики...

Тот, салютуя неумело саблей, откликнулся:

— Ляжем костями, но не посраим земли русской!

— Ну, нет! Костями ложиться зачем же? — засмеялся Иванцов. — Лучше вы, голубчики, загоните в мать сыру землю проклятого Змея Горыныча!

— Мы Емельку живьем сюда притащим, как соструненного волка! — похвалился скакавший с Кургановым рядом его приятель, совсем молоденький Володя Осколков.

Родивон придержал старую кобылку в сторону от дороги и сказал:

— А пора бы и вертаться. Не то как бы нас дождем не захватило. Вон, туча кака наползает.

Иванцов посмотрел на небо: с севера надвигалась зловеющая туча стального цвета.

— Домой — так домой! — согласился Шприхворт. — Поворачивай, Родивон. А солдат помочит!

— Ништо им! Привышные! — равнодушно заметил Родивон.

Пролетка мягко покатила по пыльной дороге обратно в город...

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Отряд генерала Павла Сергеевича Потемкина отошел от Казани на девять или десять верст, когда из закрывавших все небо свинцово-серых туч посыпались первые, казавшиеся странно большими капли дождя

— Хорошее предзнаменование! — сказал, подъезжая к Петру Ивановичу Курганову, молодой Осколков. — Дождь на дорогу — к счастью!

Курганов посмотрел на потемневшее небо, потом откликнулся угрюмо:

— Ну, радоваться-то, признаться, решительно нечему! Вымокнем, как крысы... Еще простудишься, чего доброго!

— Мама навязывала мне плащ, да я отказался. Солдат не может бояться дождя! — весело улыбаясь, ответил Осколков. — Посмотри, Петя, какими молодцами идут наши ребята. И в ус не дуют, что дождь идет!

В самом деле, солдаты были даже как будто рады дождю: день был жаркий, идти приходилось по разъезженному большаку, и вся колонна подвигалась в облаке едкой пыли. Пойдет дождь — прибьет пыль, освежит воздух.

— А бахмутцы каковы! — продолжал Осколков. — Вот лихие ребята! Нет, пусть мама говорит, что хочет, а я настою на своем: поступлю в гусары. Мундиры у них чудесные, все девицы

млеют, завидев гусара-молодца. А, кстати, их офицеры только что выучили меня одной песенке, вывезенной ими из Пруссии, ведь бахмутский гусарский полк участвовал в Семилетней войне. Как же, как же! Только простая случайность помешала эскадрт-юнкеру Зарубину захватить живьем старого Фрица под Куннерсдорфом. Жалко! Тот-то шуму было бы на весь мир! Зарубин и теперь себе пальцы грызет, как вспомнит о неудаче. В самый важный момент, когда он уже прорубился к прусскому королю и готов был его схватить, его конь споткнулся, упал и придавил Зарубина. Такая досада! Теперь Зарубин был бы уже генералом, а он только эскадром командует. Но надежды не теряет, поклялся честью, что захватит Емельку. Однако у него имеется опасный риваль: сотник Опонько, усатый такой, тоже лихой молодец. Казаки — славные вояки! Опонько собирается Емельку арканом изловить!

— Не хвались, идучи на рать! — засмеялся Курганов. — Но что наши — молодцы, то кто же посмеет это отрицать? Одно лишь обстоятельство меня достаточно смущает: как это мы дозволили Емельке такую кашу заварить?

Володя Осколков, полушутя, вымолвил:

— Наши дворовые говорят, что он, Пугач, заговоренный. Его, мол, и пуля не берет!

— Глупости! А дождь все сильнее и сильнее, действительно, промокнешь до костей. Вот не было напасти!

В самом деле, дождь лил, как из ведра. Сначала истомленная долгим зноем земля жадно выпивала воду, но уже через час на дороге, по которой проходили зарайцы и томцы, стали образовываться лужи. Люди, прежде весело шутившие по поводу неожиданного купания, примолкли. К ногам прилипали комья грязи. Идти делалось все труднее. Напрасно офицеры и сержанты подгоняли рядовых криком «не отставать!» Движение все замедлялось, ряды давно потеряли свою стройность. Рыскавшие по флангам маршевой колонны гусары и казаки все ближе и ближе жались к пехоте. Колеса полевых орудий глубоко врезались в раскисший грунт, и здоровые артиллерийские кони выбивались из сил, таща пушки.

Так прошло время до четырех часов. Проползши еще две-три версты, отряд был вынужден остановиться. Для остановки было избрано небольшое село Свиньино. Потемкин, его штаб и большинство офицеров нашли приют в обширном, оставленном уехавшими в Москву владельцами помещицьем доме, солдатам же пришлось частью разместиться по крестьянским избам и овинам, а частью остаться под открытым небом и мокнуть под холодным, пронизывающим до костей, словно осенним дождем. Артиллерия расположилась под обширными навесами старого кирпичного завода. Конные разъезды из гусар и казаков были высланы вперед для разведки. В полуверсте от сельца были расставлены звеньями часовые пехотинцы.

Прошел час, прошел другой, а дождь продолжал лить. Почва превратилась в подобие киселя, а большак казался не столько проезжей дорогой, сколько ложем потока.

Дворянская конная дружина сторожевой службы не несла. Ей Потемкин поручил охрану одного из стратегических пунктов на самом краю сельца, где начиналась старая липовая роща, граничившая с убогим деревенским кладбищем. Дружинники, по большей части зеленая молодежь, расположились в роще, разбившись на отдельные маленькие группы. У нескольких, запасливых, оказались войлочные полости и холщевые полотнища, из которых можно было соорудить под развесистыми липами небольшие навесы, позволявшие укрыться от дождя. Кое-кто попытался развести в роще костры, чтобы обсушиться, но собранные тут же в роще гнилые сучья не столько горели, сколько тлели, невероятно чадя.

— Ну, как тебе это все нравится? — обратился Петр Иванович Курганов у своему приятелю Володе Осколкову.

Оба сидели под столетнею липой на ворохе мокрых листьев, стараясь укрыться от дождя.

— Хорошо, да не очень! — признался Осколков с недовольной миной. — Право же, я начинаю бояться, что все-таки простужусь. Бедная мама! Воображаю, как она сейчас за меня беспокоится!

— Первый блин — комом, — угрюмо вымолвил Курганов. — И надо же было пойти этому дурацкому дождю! Две недели подряд держалась чудеснейшая погода, а стоило нам выступить в поход — извольте радоваться!

Подошедший к разговаривавшим дружинник — уже не первой молодости мелкий помещик Коптев, хрипло засмеялся и сказал:

— Для хлебов хорошо. Засуха губила урожай. Для нас же — маленькая неприятность. Но надо полагать, все кончится хорошо. Дождь ведь не может идти долго, не осень, слава богу. Пойдет еще часок-другой, а там и перестанет. Ну, и пойдём вперед.

— Земля раскисла.

— Так это ненадолго, князюшка! Земля, как губка, она влагу вот как впитывает. Завтра утром сами посмотрите: ни одной лужицы не будет.

— Значит, заночуем здесь? — спросил Осколков.

— Отчего бы нет? Разве место плохое?

— Место как место. Да ведь мы же отошли от Казани не больше, как на двадцать верст.

— И двадцати не будет, князюшка!

— А рассчитывали без передышки отмахать верст сорок, переночевать да и опять...

— Молода, в Саксонии не была! — засмеялся снисходительно Коптев. — Война — такое дело. Тут больше, чем где-либо, человек предполагает, а бог располагает. От погоды многое зависит, батюшка мой. Сам король прусский, вояка не из последних, как изволите знать, не раз небу кулак со злости показывал в дни войны: он, Фридрих, составит план действий, а дождь или мороз вмешаются, и вся его диспозиция прахом идет. Это уж так!

— Но ведь драться-то можно и в проливной дождь! — заявил задорно Осколков.

— На кулачках, сударь мой, отлично можно и в дождь, хотя бы и проливной, — заметил Коптев наставительно, — и даже лучше, не так упаришься, ежели тебя сверху дождичком поливает. Но маршировать под дождем — иное дело. Сами изволили видеть. По регламенту покойного императора нашего Петра Алексеевича в походе полагается пешему проходить в час от пяти до шести верст, а кавалерии от десяти и до двенадцати на легкой рыси. А вы сами изволили видеть, как мы плелись последние два часа. Еле-еле ноги от земли отрывали.

— Курганов и Осколков! Вас командир требует! — крикнул какой-то дружинник издали.

Князь и Осколков отправились на опушку, где между двух лип под косо натянутым войлоком пребывал командовавший дворянской дружиной Бор-Раменский.

— Ну-ка, вы, адъютанты! — обратился Бор-Раменский к салютовавшим ему по-военному молодым людям. — Слетайте-ка вы, молодцы лихие, к генералу, доложите, что у нас тут тишь, да гладь, да божья благодать. Мертвецы из могил на кладбище еще не вылазят, боясь, должно быть, простудиться. Неприятеля, сиречь, емелькиной сволочи, — и духом не пахнет. Значит, все обстоит благополучно, но весьма скучно.



— Слушаюсь! — ответил Курганов.

— А затем, друг вы мой любезный, извольте спросить у генерала, каковы будут его намерения по отношению к моему храброму ополчению? Неужто же придется нам, в самом деле, ночевать в сей роще?

Сопровождавший Курганова его любимый дворовый Филька подал барину коня. Курганов и Осколков поехали ленивой рысцой из рощи через село к барскому дому, чуть видневшемуся сквозь мглу рано пришедших сумерек.

Генерал Потемкин занимал в помещичьем доме большой и угрюмый кабинет хозяина, где на стенах висели в дубовых рамках, сработанных руками домашнего столяра, английские гравюры с изображением сцен из охотничьей жизни. В этом кабинете генерал радушно принял посланцев Бор-Раменского.

— Промокли, господа? — осведомился он. — Ну, ничего! Бог вымочил — бог и высушит. А с чем пожаловали?

Курганов, как старший, сделал доклад, не преминув повторить и слова Бор-Раменского о мертвецах, которые, боясь простудиться, не вылезают из своих могил.

— Узнаю моего милейшего Павла Петровича! — засмеялся генерал. — Довольно и одного покойничка, который совсем уж некстати вылез из своей могилы.

На розовом юношеском лице Осколкова появилось выражение полного недоумения.

— Не поняли, юноша? — улыбнулся Потемкин. — А кто же сей «маркиз де Пугачефф», как его называет друг нашей государыни, французский философ и остролов, господин Аруэт, именующий себя Вольтером? Кто же, как не гнилой труп покойного императора Петра III, чьим-то злым колдовством на горе русскому народу вызванный из могилы и бродящий по России, сея крутом умственную заразу, которая хуже всякой восточной чумы.

Осколков, вспоминая речи Бор-Раменского и других членов дворянской дружины, поторопился сказать:

— Доблестные и непобедимые войска нашей великой государыни не замедлят загнать сей живой труп снова в могилу. А вы, ваше превосходительство, наш любимый вождь, загоните в спину сего зловредного упыря осиновый кол, дабы больше не имел он возможности выходить из могилы и тревожить покой государства российского, на венные времена.

— С божьей помощью! — отозвался учтиво Потемкин. — Постараемся честно исполнить наш долг перед государыней и нашим отечеством!

— Мы все горим нетерпением сразиться с ордой мятежника! — вставил Курганов.

— Надеемся, что сия оказия представится верным сынам отечества не позже, как через два дня. К сожалению, из-за дурной погоды наше наступление несколько замедляется...

— Что же прикажете сказать нашему командиру? — спросил Курганов.

— Вашему командиру? Ах, да! Скажите ему... Впрочем, нет! Я пошлю к нему кого-нибудь из моих офицеров. Вам же, господа, предлагаю на эту ночь воспользоваться моим гостеприимством. Думаю, в этом доме вы найдете некоторые удобства, которых нет в липовой роще. А перед Бор-Раменским я уж сам извинюсь за то, что осмелился отнять вас у него. Идите, обсушитесь, а через час покорнейше прошу ко мне: выпьем по стаканчику пунша...

В кабинет вошел высокий плечистый офицер в полковничьем мундире. Это был Архаров, родственник Потемкина.

— Новости? — небрежно спросил Потемкин.

— Никаких. Дождь усиливается. Единственная новость.

Курганов и Осколков вышли из кабинета генерала, и у двери до них донесся резкий голос Потемкина:

— Надо благодарить Фон-Брандта! Из-за этого старого колпака мы на три дня опоздали с выступлением. Была такая благоприятная для исполнения намеченной операции погода, а теперь...

Дверь захлопнулась, и наши знакомцы уже не слышали, что еще говорил Потемкин.

Вечером в апартаментах дома Свиных при свете сальных свечек шла небольшая офицерская попойка, в которой приняли участие и Потемкин с Архаровым.

Кто-то из молодых офицеров зарайского полка довольно искусно брэнчал на хозяйских клавинодах, другой сыграл несколько пьесок на флейте. Пили чай из огромного пузатого самовара, начадившего на весь дом, пили пунш. Бывавшие раньше в походах офицеры вспоминали боевые случаи. Старый усач майор Гребешков, выслужившийся из сдаточных при Минихе, громко говорил:

— С русским солдатом можно завоевать весь свет. Ему надо только приказать, и он все сделает. Я сам тянул солдатскую лямку. Я знаю солдата. Вы можете мне верить. За умелым и храбрым командиром русский солдат к черту на рога ползет!

Кто-то предложил выпить за генерала Потемкина, но Потемкин тоном легкого упрека сказал:

— Первый тост — здравие ее императорского величества, великой государыни нашей Екатерины Алексеевны! Виват!

Остальные нестройным хором откликнулись:

— Виват!

Петр Иванович Курганов, выпив два стакана горячего пунша, почувствовал, что его разморило. Покинув зал, в котором сидели другие офицеры, он отыскал в одной из комнат лежавший прямо на полу сафьяновый тюфячок, на котором раньше, должно быть, спала какая-нибудь из дворовых девушек. Он стащил этот тюфячок в угол, вместо подушки подложил под конец тюфячка несколько толстых книг, прилег, закрыв голову снятым с себя камзолом, и почти тотчас заснул.

Сколько времени спал он — потом не мог сказать. Проснулся, потому что кто-то, крепко схватив его за плечо, кричал у него над ухом:

— Вставай, Петя! Проснись же, ради всех святых!

— Что, что такое? — с трудом раскрывая глаза, пробормотал Курганов и приподнялся на своем тюфячке.

— Пугачевцы! Понимаешь? Сейчас начинается сражение! — кричал ему в лицо бледный Володя Осколков.

— Шутишь, что ли? — сердито ответил Курганов. — Или тебе с пьяных глаз приснились

пугачевцы?

— Ах, господи! Да очнись же ты! Говорят тебе, сражение начинается! Счастье еще наше, что ротмистр Левшин с несколькими своими людьми успел проскочить сюда и предупредить генерала. Иначе здесь бог знает что вышло бы. Эти мерзавцы каким-то образом ухитрились зайти к нам в тыл. Не понимаю, как наша дружина прозевала?

Курганов вскочил и напялил на себя сырой еще камзол. У него побаливала голова от выпитого вечером пунша, руки и ноги ломило, глаза болели.

— Пугачевцы? В тылу? Не может быть! — пробормотал он — Как же так?

— Прошли ночью каким-то оврагом. Если бы Левшин и Лихачев не проскользнули мимо них, они могли бы нас шапкой накрыть.

— Вздор! Такой большой отряд нельзя шапкой накрыть! Не трусь, Володя!

— Да я вовсе не трушу! — обиженно отозвался Осколков. — Поскачем к нашей дружине.

Они выбежали на обширный двор усадьбы, куда в полумгле запоздавшего рассвета суматошно выскакивали из дому офицеры, брали коней и галопом неслись к своим частям. Зловеще рокотали отсыревшие барабаны, визгливо, захлебываясь и срываясь, выпевала тревогу кавалерийская труба. С грохотом выезжали со двора стоявшие ночью под навесами пушки полубатарей, и канониры торопливо раздували отсыревшие фитили. Тревожно ржали кони. Метался по двору какой-то босоногий старик, допытываясь у встречных:

— Где же мой барин Николай Палыч? Владычица пресвятая богородица! Да где же это мой барин Николай Палыч?

Где-то, как будто совсем близко, рявкнуло орудие.

«Вот оно, начинается!.. — подумал Курганов.

Не прошло и получаса с того момента, когда раздались первые выстрелы, как генерал Потемкин пришел к убеждению, что оставаться дольше не занятых позициях ему нельзя: село Свиньино лежало в неглубокой котловине, с двух сторон охваченной пологими холмами, и незаметно подошедшие ночью пугачевцы успели занять вершины этих холмов и поставить на них свои пушки. Попытки потемкинской артиллерии сбить неприятеля с холмов не удались. Стрельба пугачевцев была беспорядочной, но очень упорной. Действиями их артиллерии руководил явно знающий свое дело человек. Снаряды ложились там, где только пытались построиться зарайцы или томцы, с неумолимой регулярностью. По приказанию Потемкина, кое-как выстроившийся под прикрытием уже полуразгромленной деревенской церкви первый батальон Зарайского полка двинулся в атаку, но, пройдя бегом шагов двести, был осыпан картечью из нескольких орудий сразу, смешался и бросился назад. И тогда через пролом между двух пологих холмов с востока в ложбину продавилась черная бесформенная масса, казавшаяся полчищем огромных насекомых. Это была пехота Пугачева, сплошь состоявшая из вооруженных дубинами, цепями и вилами крестьян, которых гнали в бой лучше их вооруженные мятежники. За спиной у этих шли башкиры. За спиной у башкир была пугачевская конница, а за нею — пушки, которые время от времени, когда наступавшие приостанавливались, стреляли в них.

Два раза батареи Потемкина загоняли эту орущую массу мятежников обратно в пролом, расстреливая атакующих почти в упор. Особенно удачно действовала батарея, расположившаяся у церковной ограды. Но когда началась третья атака, подбитая меткими выстрелами пугачевских пушек колокольня церкви вдруг покосилась набок и рухнула, завалив батарею своими обломками. В довершение несчастья взорвался зарядный ящик, и при этом

пострадали три орудия второй батареи. Огонь со стороны потемкинских солдат заметно ослабел, а в пролом между двух холмов снова вдавливалась копошащаяся черная масса атакующих. И с вершук холмов продолжали лететь и с прежней точностью падать в ложбину снаряды пугачевцев. Сельцо пылало, несмотря на проливной дождь, в нескольких местах.

Князь Петр Иванович Курганов, присоединившийся к своей дружине, как во сне наблюдал картину боя. Ему раньше приходилось не раз читать описания сражений и слышать рассказы участников, но то, что сейчас происходило на его глазах, совершенно расходилось с его представлениями о ведении боя. Где стройные ряды вымуштрованных солдат, которые по знаку командира идут мерным шагом в атаку на такие же стройные ряды неприятельских солдат? Где развевающиеся знамена и красиво скачущие мощной массой всадники с блестящими палашами в руках?

В этом сражении не было и намека на стройность. На глазах у Курганова едва выстроившиеся тремя каре томцы дрогнули, потому что в середину каре упали два или три снаряда и рассыпались, укрываясь за начавшими гореть избами. Один из эскадронов бахмутцев кинулся, было, в атаку, но неведомо почему, далеко не доходя до холмов, свернул и понесся галопом вдоль занятых пугачевской артиллерией холмов.

«Неужели бахмутцы струсил? — подумал Курганов. — Какой позор!»

В это время он увидел, что из другого пролома меж холмов во фланг бахмутцам несется лавина вооруженных пиками всадников на низкорослых лохматых лошадях. Бахмутцам с трудом удалось увернуться от стычки с башкирской конницей, и они ушли под прикрытие еще поддерживавших огонь батарей.

До этого момента дворянская дружина стояла в бездействии.

— Теперь наш черед, господа! — крикнул Бор-Раменский. — Надо выручать своих. Покажем-ка этим халатникам себя!

Дружина сорвалась с места и ринулась на зарвавшийся и отдалившийся от своих отряд конных башкир.

Словно во сне, Курганов скакал на своем плохо выезженном коне, что-то кричал и махал саблей. Два раза он сталкивался с оборванными всадниками. Одного из них ударил своей саблей. Ударил неловко, как-то вкось, и сам удивился, что башкир свернулся с седла. Лохматый конь раненого степняка взвился на дыбы и ускакал. Второй башкир ткнул Курганова своей пикой, но подвернувшийся Володя Осколков вовремя перерубил пикку саблей и сшиб башкира ударом эфеса с коня. Потом все смешалось. Откуда-то словно из-под земли выросла черная стена людей, с ревом мчавшихся в ложбину. Замелькали цепы и дубины. Яростно вопивший бородач в изорванном азяме подскочил сбоку и размахнулся цепом, норовя ударить Курганова по голове.

— Врешь, не уйдешь! — кричал он.

Но раньше, чем страшный цеп обрушился на голову Курганова, кто-то свалил бородача выстрелом из пистолета. «Да это Юрочка Лихачев! — подумал Курганов. — Как это он здесь оказался?» И опять замелькали странные, фантастические лица.

Опомнился Петр Иванович уже выезжая из Свинына. Рядом с ним ехал Юрочка Лихачев с окровавленным лицом. Тут же скакали незнакомые Курганову гусары.

— Что случилось? — хриплым голосом спросил Курганов у Лихачева.

— Скверная штука! — ответил вместо Лихачева подъехавший Левшин. — Бой проигран!

— Отступаем? — испугался Курганов.

Левшин улыбнулся и ответил:

— Не столько отступаем, сколько улепетываем!

— Но как же так?

— Зарайцы, подлецы, частью разбежались, частью перешли на сторону мятежников. Томцы оказались более стойкими, и их двум батальонам, кажется, удалось вырваться.

— А генерал?

— Потемкин опасно ранен. Архаров убит. Оторвало голову ядром. Да бог с ними. Гораздо хуже, что из всей вашей артиллерии едва удалось спасти семь орудий!

— Но это же ужасно!

— Ничего не поделаешь! Потемкин сам-таки виноват порядочно. Сторожевая служба велась небрежно. Тыл почти не охранялся Пугачевцы, действительно, могли вас, как воробьев, шапкой накрыть, господа хорошие. С Михельсоном им такие штуки не удаются

— А наша дружина?

— Поминай, как звали! — засмеялся злобно Левшин.

— Ведь нас же было полтораста человек. Капитан Бор-Раменский...

— Бор-Раменский убит. Многие перебиты.

— Господи, господа! — простонал Курганов.

— Волонтерство — хорошо! — продолжал сердито Левшин. — Но, господа, за всякое дело надо браться умело. Военное ремесло тоже требует и знаний, и опыта. Вы же полезли в бой, как дети в уличную драку, ну, и получили по первое число. Ничего, учитесь, как надо драться. За битого двух и трех небитых дают!

— Куда же мы теперь? — спросил Курганов.

— Куда? — засмеялся невесело Левшин. — Первым делом — подальше от мятежников, а потом постараемся пробраться в Казань. Михельсон отправил меня со служебным поручением к фон Брандту. В вашу кашу я влип только по случаю.

Жалкие остатки разбитого отряда Павла Сергеевича Потемкина отступали, вернее, бежали по направлению к Казани по той самой дороге, по которой пришли в Свиньино. Пехота пугачевцев не преследовала отступавших. За ними гнались только небольшие конные отряды башкир, которые рассыпались, как только уцелевшие полевые орудия открывали по ним огонь или когда уже оправившиеся бахмутцы и гусары Левшина бросались на них в атаку.

Верст за шесть до Казани преследование прекратилось.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Весть о поражении отряда генерала Потемкина в бою под Свиныным произвела на казанцев ошеломляющее впечатление. Сначала никто не хотел верить рассказам добравшихся до города беглецов, первым из которых был обезумевший от ужаса Филька, егерь молодого Курганова. Филька влетел в Казань на чьей-то чужой загнанной им лошади, которая пала тут же у городской заставы. Скотившийся с нее кубарем Филька был арестован часовыми, отправлен в канцелярию военного губернатора, генерала фон Брандта, и допрошен. Допрос дал немного: Филька бежал из Свинына в самом начале сражения, но утверждал, что пугачевцы всех перебили. Уверял, что на его глазах какой-то казак сначала проткнул пикой барина Петра Иваныча, а потом саблей снес ему голову. Тот же самый казак зарубил, как курчонка, молодого барчука Осколкова, и генерала Потемкина, и других генералов, и чуть не зарубил его, Фильку, да за Фильку вступилась мать Пресвятая богородица.

Фон Брандт распорядился Фильку задержать, а его господ известить, предупредить, что верить Фильке не следует, что он явно со страху потерял голову. А, впрочем, все в руке божьей...

Вслед за Филькой стали прибывать и другие беглецы, которые в общем подтверждали показания Фильки. Час спустя после появления первых беглецов, среди которых были и некоторые уцелевшие дружинники, в город на рысях влетела окруженная казаками карета, в которой был привезен опасно раненый Павел Сергеевич Потемкин. У него была перебита ударом дубины правая рука, прострелено левое бедро и, кроме того, он был серьезно контужен в голову. Только усилием воли ему удавалось заставить себя не терять сознание.

Немедленно по его прибытии в губернском доме был собран военный совет. Изнемогавший от потери крови и от боли Потемкин, с трудом произнося слова, официально передал все свои полномочия фон Брандту и заявил, что он вынужден немедленно выехать из Казани в Петербург для донесения государыне о случившемся.

— То, что случилось, — сказал он угрюмо, — должно послужить нам, господа, уроком. Моя вина велика, нельзя относиться к происходящему так легко, как все мы относились до сей поры. Борьбу с мятежниками мы вели кое-как, спустя рукава, словно и в самом деле речь идет не о страшном восстании народном, а о буйстве пьяной толпы на масленичном гулянии, для разгона которой достаточно послать на площадь пожарную команду да десяток солдат с алебардами. О своем грехе я доложу самой государыне, и если ее величеству будет угодно подвергнуть меня самому суровому наказанию, то и сие наказание я приму, как вполне заслуженное.

Сожалею, что меня не убили. Но ежели богу угодно было сохранить мне, недостойному, жизнь, то почему я превращен в калеку, который, вероятно, надолго будет лишен возможности снова стать в ряды защитников государыни и отечества от этих злодеев хотя бы простым солдатом?

Потемкин замолчал и затем продолжил еще более глухим голосом:

— Вас же, государи мои, прошу помнить: речь идет о самом существовании государства Российского. Как ни больно сознаваться, но это так. Нам нечего бояться внешнего врага, с ним мы справлялись, как справлялись наши предки, спасшие Россию от татар, от литовцев и от поляков. Борьба с внешним врагом нас научил император Петр Алексеевич, который победил великого воителя Карла XII. Но бороться с внутренним врагом, увы, мы еще не научились, ибо сейчас враг внутренний в нас же самих. Емелька был бы не страшен, ежели бы каждый из нас, россиян, понимал, что есть его долг перед отечеством. Мы создали великое государство, но многие ли из нас оценивают все значение этого государства? Многие ли понимают, что мы связаны всем нашим существованием с этим государством?

Говоривший обвел тоскливым взором окружающих Потом махнул слабо, левой рукой и,

морщась от боли, закончил:

— Дай вам бог счастья. Отстаивайте Россию. Помните: не Емелька, вечно пьяный беглый казак, похабник и охальник, живодер и злодей, ведет борьбу с Россией. Он, Емелька, только слепое орудие. За его спиной стоит сам сатана. То, что ныне творится, есть бунт всего темного, всего злого, всего дикого и разрушительного, что таится в народе, против того, что мы называем государством.

Прощайте же, государи мои! А ежели суждено мне умереть от ранений, то не поминайте лихом!

Ординарцы помогли генералу выйти из дворца, уложили в карету, где находился врач, сопровождавший Потемкина, и карета покатила, покидая Казань.

— Государи мои! — обратился фон Брандт к военному совету. — Приняв на себя все права и обязанности только что покинувшего нас генерала Павла Сергеевича, в качестве вашего общего начальника открываю заседание. Приступим к суждению о том, что нам в данных обстоятельствах надлежит делать.

Заседание началось. Четверть часа спустя в зал был введен только что прибывший ротмистр Левшин, который сообщил собравшимся, что хотя отряд Потемкина и потерпел жестокое поражение, но все же добрая половина людей и семь орудий спасены и уже втягиваются в город.

\* \* \*

Князь Петр Иванович Курганов добрался до дома Лихачева, где остановились его родители, совершенно измученный. У него еще хватило сил слезть с коня и пройти, шатаясь, до столовой, где он упал на подставленный ему дворецким стул и несколько минут оставался в полуобморочном состоянии. Очнулся он, когда вышедшая с заплаканными глазами из комнаты больной дочери старая княгиня принялась натирать ему виски уксусом.

— Какой ужас! Какой ужас! — бормотал он и, закрыв лицо руками, зарыдал.

— Ну, будет же! Будет! — растерянно говорил старик-отец, похлопывая его по рукам и глядя по голове, как малого ребенка — Так бог хотел, на все его святая воля... Вот ты цел и невредим, а бедный Володя Осколков погиб...

— Володя тоже уцелел, — отозвался Петр Иванович. — Мы вместе с ним въехали в город. Меня спас Юрочка Лихачев, а Володю выхватил из свалки левшинский ротмистр Сорокин. Володя на радостях подарил Сорокину свои золотые часы.

И молодой человек начал рассказывать обо всех событиях этого рокового утра.

— Что же теперь будешь делать, Петя? — спросил старый князь.

Подумав, Петр Иванович ответил твердо:

— Затея с дворянской дружиной была нелепостью, отец. Левшин безусловно прав: это не шуточная драка на кулаках, где лежачего не бьют. Это — страшная война гражданская. Для нее нужны солдаты. Самые обыкновенные солдаты, готовые, не мудрствуя, не своевольничая, выполнять приказы своих офицеров. Держать в руках ружье я, слава богу, умею. Запишусь рядовым в какой-нибудь из наших полков. Буду драться.

— Под силу ли тебе будет, Петя? — засомневался старик.

— Очень тяжело. Да что делать? Вот я нагляделся на нашу дружину. Задумано вроде неплохо, а на деле — ничего. Когда мы пошли в атаку, получилась каша, полная бестолочь. А левшинские гусары как ножом разрезали толпу и выскочили, почти без потерь. Почему такая разница? Потому что там — умение, а у нас — только желание. С одним желанием без умения много не сделаешь. Тут и с умением-то нелегко, у нашего генерала некоторое умение было, а вот провалился. А Михельсон не проваливается, он великий мастер своего дела. Теперь вопрос ребром: либо нам надо научиться вести борьбу, либо мы все погибнем.

— Бог милостив...

— Нет, отец. Бог слишком долго был к нам милостив. Теперь он гневен и грозен. Костя Левшин тоже говорит, на Россию идет снова проклятое смутное время. Емелька, этот самозванный «Петр Федорович», — тот же самый Лже-Дмитрий.

— Отрепьеву наши заграничные недруги помогали.

— У Левшина имеются сведения от взятых им в плен пугачевцев: в логовище Емельки на какой-то пасеке уже несколько недель сидят, вернее, до выступления сидели, какие-то иностранные посланцы. Всей артиллерией заведует польский шляхтич, дельный офицер. Сегодня их пушки работали неплохо. Сразу, видна опытная рука. Да и действиями их кавалерии руководил, говорят, француз или швед. Но это только начало. Наконец теперь Пугачев начинает сманивать к себе на службу попавших ему в плен офицеров. Раньше с ними расправа была короткая: присягни или повесим, и многие отказывались присягнуть, не велика штука помереть без мучений! А теперь Пугачев пленных офицеров сначала голодом морит, потом слегка пытается, а уж после и предлагает: служи мне, внакладе не будешь, а если не хочешь служить, то мы из тебя всю кровь по капле выточим; прежде, чем помрешь, жизнь свою проклянешь. Ну, и сдаются.

— Плохие слуги будут. Из-под палки...

— Не все! Попадаются, ведь, и такие, которым после первого шага все пути отрезаны.

Помолчав немного, Петр Иванович продолжил:

— У меня есть еще другой план. Это относится к работе Левшина. Он говорит, что теперь исключительное значение принимает партизанская война. Пусть против Емельки действует регулярная армия, но необходимы и небольшие, действующие совершенно самостоятельно отряды, состоящие из людей, обречших себя на смерть. Я может быть упрошу Левшина взять меня в свой отряд. Кстати, Юрочка Лихачев с ним и, представь, всего за несколько недель сделался заправским партизаном. Сорокин — это лихой вахмистр Левшина, отчаянный рубака и головорез, — говорит, что барчук Лихачев не хуже Митрохина орудует. А Митрохин — это очень ловкий парень. Думаю, через несколько недель и я буду не хуже Митрохина...

Слабая улыбка мелькнула на устах Петра Ивановича.

— Чего ты? — спросил старый князь.

— Анемподист докладывал тебе, отец, что Юрочка Лихачев сманил с собой нашу Ксюшу?

Князь небрежно махнул рукой:

— На здоровье. Все равно, крепостные расползлись...

— Представь себе, Ксюшка уже начинает делаться настоящей амазонкой. Нет, право! Они уже выучили ее палить из пистолета и из карабина. Обучают рубить саблей. Ничего идет.



Сегодня она на моих глазах несколько насевших на Лихачева пугачевцев разогнала, двоих зарубила... Юрочка ею увлечен. Он уже говорил со мной насчет ее выкупа.

— Какие теперь выкупы?! — болезненно поморщился князь. — Может быть, завтра и мы сами рабами у всякой степной сволочи станем. Пускай берет свою Ксюшку. Я хоть сейчас ей вольную напишу.

Они замолчали. Петр Иванович полулежал в кресле, думая о своем. Потом спросил у отца, как здоровье Агаты. Лицо старого князя потемнело.

— Шприхворт отчаивается. Одна надежда на милость божью. Прошлой ночью ей было совсем плохо...

В это время появился Иванцов и засыпал Петра Ивановича вопросами. Он ужасался и вновь жадно расспрашивал, поминутно перебивая повествование князя восклицаниями:

— Но как же это так? Сплоховали, что ли? А у нас тут уже говорят, что все погубила измена. Будто какой-то батальон целиком перешел на сторону Емельки, перебив всех своих офицеров, и обратил оружие против своих.

— Этого не было, то есть не было перехода целого батальона на сторону пугачевцев, но многие, бежавшие из Свинына, утверждают, что все солдаты, захваченные пугачевцами, согласились присягнуть ему. Да ведь так и раньше бывало. Даже гренадеры московского полка бригадира Карра от присяги Емельке не уклонились. Чему же удивляться?

— Кроме того, говорят, появилась какая-то доморощенная Жанна д'Арк, которая, будто бы прорвавшись сквозь подходивших к Свиныну мятежников с риском для собственной жизни, предупредила Павла Сергеевича Потемкина о готовящемся нападении, а потом приняла участие в сражении и проявила чудеса храбрости.

Петр Иванович рассмеялся:

— Это наша-то Ксюшка, которую сманил Юрочка Лихачев, попадает в спасительницы армии? Все это вздор, Михаил Михайлович, но Ксюшка, бывшая наша золотошвейка, действительно партизанствует, и очень недурно.

— Простая деревенская девка?

— Наша крепостная. Отец хочет дать ей вольную...

— Жаль-жаль! — покачал головой натур-философ. — Впрочем, ведь и французская героиня была не из дворянок, а простая пастушка из Дом-Рэми. Будучи во Франции, я имел удовольствие посетить сие место. Однако, полагаю, что у французских женщин иной характер, наши едва ли способны на столь героические действия. Но, между прочим, здесь уже поговаривают о необходимости создания дамского батальона, который примет участие в защите Казани от поганца Емельки и его оборванцев. Некоторые дамы уже записываются.

— Готов биться о заклад, — вмешался старый князь, — что эта затея пришла в голову Курловской Анне Игнатъевне!

— Изволили угадать, ваше сиятельство. Анна Игнатъевна уже успела представиться в полном вооружении генералу фон Брандту.

— Что же?! Ей это, пожалуй, к лицу... Драчунья она! Даже с мужем разошлась из-за рукоприкладства, то есть, собственно говоря, не она с ним рассталась, а он от нее сбежал. Ведь она его форменным образом била.

— Ну, затею с женской дружиной я бы не одобрил, — задумчиво вымолвил Петр Иванович. — Не это нужно... А если Анна Игнатьевна сможет, пусть берется и за ружье. Такое время...

— История нас учит, — наставительно произнес натур-философ, — что во дни междоусобных распрей или великих войн и женщины способны приходить в весьма воинственное настроение. Когда польский король Стефан Баторий осадил Псков, многие псковитянки приняли весьма ревностное участие в защите родного города.

Полчаса спустя к беседовавшим присоединился Шприхворт, который приехал к больной княжне Агате. Он сообщил, что пугачевцы, задержавшиеся в Свиныне после разгрома отряда Потемкина, по какой-то еще неизвестной причине собрались и ушли из Свинына на восток. Ушли так поспешно, что даже не все отнятые у Потемкина пушки увезли с собой и не всех пленных увели. Человек до полутораста солдат, прятавшихся по огородам и погребам, после ухода пугачевцев вышли из своих убежищ, откопали два орудия из-под обломков колокольни и пришли в Казань. По их словам, в Свиныне осталось еще три совершенно испорченные пушки. Значит, пугачевцы захватили только двенадцать орудий, да и на эти у них зарядов очень мало.

— Ну, радоваться особенно нечему, — сказал Петр Иванович. — У них и своя артиллерия уже достаточно сильна. Десятью или двенадцатью пушками больше — разница не столь велика. А вот ежели они отступили, то это, конечно, нам сильно на руку. Авось начальство воспользуется этим временем и успеет сделать, что надо, для защиты Казани.

К вечеру уже успевший отоспаться и прийти в себя молодой князь Курганов отправился на поиски Левшина и Лихачева. Лихачева он не нашел, но с Левшиным встретился у подъезда губернаторского дома. Ротмистр шел в местные драгунские казармы к своим гусарам, которые временно там разместились, и предложил Петру Ивановичу сопровождать его. По пути князь изложил Левшину свое желание поступить в левшинский отряд.

— Взять — возьму, — ответил Левшин, — но помни, князь, дело не шуточное. Это не в бирюльки играть. Я на тебя буду смотреть решительно так же, как на любого другого рядового. Даже больше, на первых порах, извини, ты для меня ниже того же Митрохина, не говоря уже о Сорокине.

— Ничего! Я понимаю. Наконец, если Лихачев мог быть тебе полезным...

— С Лихачевым мне-таки пришлось порядочно потрудиться, — признался Левшин. — Я не сумел сразу относиться к нему надлежащим образом, потому что не верил в твердость его намерений и думал, что это ему скоро надоест и он от меня отстанет. Но теперь из него действительно начинается, делаться порядочный партизан, и мне было бы жалко с ним расстаться. Но ты новый человек. Я к тебе по долгу совести буду должен применить все правила, выработанные опытом с тем же Лихачевым. Смотри сам, идти или нет.

— Иду!

— Выдержишь ли?

— Клянусь тебе, что выдержу!

— Еще раз, смотри, говорю! Может статься и так, что пребывание в моем отряде станет для тебя невыносимым, но покинуть его не будет возможности.

— Не маленький, понимаю...

— Понимаешь ли, голубчик? Вот, послушай, в каких передрягах приходится бывать нам, партизанам. Три недели назад, после одной стычки у нас на руках оказались двое раненых, а

нам приходилось утекать. Раненые стесняли. Ну, и вот мы, было, решили прикончить их. Понимаешь? Своих же собственных товарищей.

— Не может быть!

— В партизанской войне все может быть, голубчик!

— И вы их... убили?

— К счастью, нет. Совершенно случайно нашлась возможность сдать их на руки к верным людям. Но ведь это было счастливой случайностью, а могло выйти иначе...

Петр Иванович сцепил зубы, потом вымолвил решительно:

— Назвался груздем — полезай в кузов. Я твердо решил, а там будь, что будет. Я твой, на жизнь и на смерть!

— На жизнь и на смерть! — подтвердил Левшин.

Они добрались до драгунской казармы, где у ворот их встретил вахмистр Сорокин, с околачивавшимися на улице в свободный час земляками-драгунами. Вот тебе, Сорокин, новый рекрут — пошутил Левшин, кивая в сторону Петра Ивановича. — Придется его здорово вымуштровать.

— Ничего, вымуштруем! — весело откликнулся вахмистр. — Через мои руки, вашбродь, сколько барчуков прошло, и все в люди вышли.

— Кстати, — обратился Левшин к князю, — ты уж извини, голубчик, для тебя у нас в отряде место есть, а для твоего Фильки нету!

— Буду обходиться и без Фильки!

— Лихачеву я тоже поставил условие. Ксюшку пусть берет. Хотя мне это и не очень нравится, но она нам может пригодиться, как разведчица, девка и туда пролезет, куда нашему брату хода нет. А вот своего дядьку в отряд да еще какого-нибудь из слуг — дудки, не до них будет...

— А Петька-казачок? — поинтересовался Курганов.

— Петька — ловкий парнишка! — вмешался Сорокин. — Шустрый больно. Нам очень подходит. Кабы можно было побольше таких парнишек верных подобрать, вовсе доброе дело было бы.

Левшин подтвердил, что Петька, любимый казачок Лихачева, в самом деле приносит партизанскому отряду большую пользу, но в подробности не стал входить. Да и Курганову было не до расспросов, отряд Левшина рассчитывал покинуть Казань на рассвете, и таким образом для сборов у Петра Ивановича оставалось всего несколько часов. О том же, чтобы отряду задержаться в Казани, не могло быть и речи: со дня на день полчища Пугачева могли подступить к городу, обложить его, и тогда выбираться из Казани было бы уже трудно. Остаться же в осажденном городе Левшин не желал.

— Гарнизон здесь достаточно силен, — сказал он. — Мой отряд в несколько десятков человек, конечно, мог бы принести и здесь некоторую пользу в случае осады, но гораздо большую пользу мы принесем, действуя по-своему, в тылу у мятежников, как самостоятельные партизаны. Имею на сей счет точные инструкции от Михельсона.

Утром следующего дня партизанский, отряд Левшина, едва отдохнувший после суточного

пробытия в Казани, но пополнившийся на несколько человек, а главное, запасшийся амуницией и боеприпасами из местных цейхгаузов, покинул город, который лихорадочно готовился к обороне против показавшихся уже в окрестностях пугачевцев.

По дороге, где проходил отряд Левшина, тянулась бесконечной вереницей толпа беглецов, большая часть которых после поражения отряда Потемкина потеряла веру в возможность отсидеться в Казани и стремилась в Москву.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Со времени отбытия Петра Курганова с Левшиным прошло четыре дня.

Казань горела, как гигантский костер.

Пожар начался с лесного склада богатого купца-старообрядца Гаврилова, принадлежавшего к таинственному «Пафнутиеву согласию». Склад загорелся сразу в нескольких местах, огонь разлился потоком, и пожар пошел полыхать, пожирая одно здание за другим. Ветром гнало огненные потоки к твердыне города, Кремлю.

Выехавшая тушить пожар местная команда оказалась бессильной: ручные насосы чуть ли не петровских времен были кем-то испорчены, и в бочках не было воды. Да если бы и все было исправно, все равно справиться с разгулявшейся стихией было невозможно. Вихрем разносило огонь по всему городу. Загорелся огромный спиртовой склад, на волжских пристанях горели бунты пеньки и бесконечные ряды огромных бочек с древесной смолой, пылали горы сухой рогожи...

В том, что пожар был следствием поджога, сомнения не было. Часовые соляных складов изловили и тут же расстреляли двух пьяных бурлаков, подкладывавших огонь под штабель казенных дров возле квартиры смотрителя. На сенном рынке торговцы поймали и бросили в огонь поджигавшую навесы гулящую девку Мотьку. Наконец, даже в Кремле были арестованы какие-то подростки, пытавшиеся поджечь цейхгауз. По приказанию фон Брандта эти поджигатели были сейчас же повешены на месте преступления.

Город горел...

Часть горожан, покинув свои обреченные на гибель жилища, нашла убежище в Кремле, а другая стала расползаться из города, стремясь главным образом перебраться на правый берег Волги.

На второй день, когда выгорело больше тысячи домов и пожар стал как будто стихать, благодаря обильному летнему дождю, в непосредственной близости от города показались многолюдные шайки мятежников, вооруженных цепями, дубинами, вилами и косами. Среди них были конные степняки. Охранявшие подступы к городу отряды правительственных войск, растянутые на несколько верст, не могли выдержать напора пугачевцев и, покинув свои позиции по приказанию фон Брандта, втянулись в уцелевшие от огня предместья. Позже, когда пугачевцы стали врывать в эти предместья, солдаты, вяло постреляв, ушли в Кремль. Было решено предоставить город его собственной участи, ограничиться защитой Кремля и ждать прибытия речной флотилии из Рыбинска и Ярославля.

В фон Брандте проснулся старый вояка, соратник Миниха по походам в Крым, и он, стряхнув с себя лень и генеральскую спесь и помолодев лет на двадцать, без усталости работал над устройством защиты.

К счастью, выбирать было не из чего: город горел, и оставалось расставить всю наличную артиллерию на одряхлевших стенах старого Кремля и оттуда отражать попытки пугачевцев ворваться в эту твердыню Казани. Пушек в распоряжении фон Брандта оказалось, около двухсот штук, это было даже больше, чем требовалось для защиты площади, занятой Кремлем. Не столь благополучно обстояло дело с боевыми припасами. Для подавляющего большинства старых горластых пушек, отлитых еще при Михаиле Федоровиче, не было подходящих снарядов. Порох был, но не было ядер. Впрочем, и эти старые пушки могли оказаться полезными, поскольку стреляли картечью, которую было нетрудно изготовить. Пока что на соборной площади местные литейщики, наскоро соорудив горны и формы, отливали чугунные ядра.

Весь третий день кремлевская артиллерия, подпуская нестройные толпы пугачевцев на близкое расстояние, потом несколькими меткими выстрелами разгоняла их. Со стороны мятежников пушечной стрельбы не было, но без умолку трещали ружейные выстрелы, не причинявшие вреда горожанам, укrywшимся за стенами Кремля. Лишь изредка шальная пуля ранила кого-нибудь. Ребятишки, быстро освоившиеся с новой обстановкой, забавлялись тем, что выслеживали места падения этих шальных пуль и потом завладевали ими, как военными трофеями. Их не останавливало и то, что вскоре двое или трое мальчуганов оказались ранеными.

Молчание пугачевской артиллерии внушало осажденным самые розовые надежды, воцарилась неведомо на чем основанная уверенность, что у Пугачева артиллерии нет, ну, а без артиллерии Казань не возьмешь. Кремлевские стены пулями, топорами да дубинами не прошибить.

— Дело ясное, выдержим с божьей помощью! — говорил натур-философ Иванцов своему приятелю Шприхвурту. — Осекся «анпиратор». Пробовал взять Казань нахрапом, а нахрап-то и не получился...

— Однако город, собственно говоря, пропал, — отвечал угрюмо врач, уютный домишка которого в одной из близких к Кремлю улиц превратился в груды развалин. — Из трех тысяч домов, дай бог, чтобы полторы тысячи уцелело.

— Сами виноваты. Что это, в самом деле? Как наши предки, русичи, Солнцевы внуки, во дни Гостомысла, почти тысячу, лет назад строили деревянные избы, так и мы, их потомки, делаем. Давно пора бы научиться каменные города строить. Вон от покойного Михайлы Васильевича Ломоносова, человека острого и проницательного ума, довелось мне слышать, что, мол, ежели хорошенько посчитать, то окажется, что каждые двадцать лет за малым исключением вся Русь выгорает. Сколько добра даром гибнет! Какой ущерб благосостоянию населения и развитию мощи государственной! Вот ежели бы, к примеру, наша Казань не была сплошь деревянной, а имела бы, как в иноземных краях, каменные или кирпичные здания, то этого великого пожарища и вместе с ним позорища вовсе не было бы. И власти могли бы лучше наладить защиту самого города, а не прятаться в Кремле. Выходит, и в конце восемнадцатого века все, как в те времена, когда русские при приближении монголов сами сжигали свои дома и отсиживались в крепостцах. Стыдно, право!

— А кто, скажи пожалуйста, такую пословицу выдумал: стыд — не дым, глаза не выест?

— Ну, уж ты и скажешь!

— А кроме того, нет худа без добра. Ежели бы ваши шалаши не выгорели, то вас бы клопы да тараканы живьем съели. Вы, ведь, боретесь с этой нечистью почитаете едва ли не грехом. Ваши пожары только вас и спасают!

Натур-философ чуть не задохнулся от возмущения.

— Ах ты, немчур! Да разве клопы с тараканами только у нас водятся? Вот, живал я в Варшаве, у поляков...

— Далеко ли Варшава от Москвы ушла? — засмеялся немец. — Поляки — ваши родные братья...

— Опять же бывал я в молодости в Италии. Там, в великом граде Неаполе, друг ты мой, тараканам да клопам тоже счету нет!

— Сего феномена не отрицаю. Но должен тебе заметить, что чужое неряшество нам не в пример. Учиться надо тому, что хорошо, а не тому, что плохо...

Беседовавшие стояли на кремлевской стене неподалеку от старой башни Сумбеки, под прикрытием зубца. За разговором Иванцов неосторожно приблизился к амбразуре и тотчас что-то сорвало с его головы старенькую обшитую позументом треуголку.

— Что сие означает? — изумился он, поднимая упавшую к ногам шляпу. — Кажись, и ветра нет...

На тулье треуголки натур-философ обнаружил круглую дыру с лохматыми краями.

— Сие означает, что ежели бы пугачевская пуля угодила на вершок ниже, то дыра была бы не только в твоей шляпе, но и в твоём лбу, — засмеялся немец.

— Какая пуля?

— А та, которая сорвала шляпу с твоей философской головы.

Иванцов испуганно спрятался за зубец крепостной стены. Только теперь до него дошло, что он был на волосок от смерти.

— Господи! Господи! — зашептал он дрожащими губами. — Как же это так? Да что же это такое? — Затем сердито крикнул: — Ну, ежели так, то я им покажу, негодяям! Ружьишко-то я в руках держать еще могу!

Поблизости рывкнула пушка. Бомба упала как раз среди кучки приближавшихся к стене оборванцев и лопнула, разбрызгивая дождь чугунных осколков. Когда дым рассеялся, то на месте взрыва осталось пять или шесть черных тел.

— Так вам и надо! Так вам и надо! — неистовствовал натур-философ. — Злодеи! Бог покарает всех, всех!

Шприхворт стащил его со стены, и они вместе отправились в губернаторский дом.

— Как ты, друг, понимаешь происходящее? — спросил Иванцов, пробираясь сквозь толпу защитников Кремля.

— То есть что? Сей мятеж, что ли? Твой же старый камердинер Ильич говорит, бог терпел, терпел, да и разгневался, а теперь наказует за грехи русский народ. Поразмыслив хорошенько, нахожу, что здесь есть много правды, ибо мятежное движение наваливается страшной тяжестью именно на все население, а не на какое-нибудь одно сословие. Вон от молодого князька Курганова, а еще больше от Кости Левшина пришлось слышать, что в тех округах, где побывали мятежники, население уже крайне бедствует. На Урале на многих казенных заводах, а также на заводах Демидова поднятые посланцами Пугачева мятежники сначала радовались избавлению от начальства и возможности попользоваться господским да казенным добром, а теперь начинают Лазаря петь, потому как съестные припасы кончились, скот порезали и сожрали, подвоза нет и приходится голодать. Что же выгадали? У яицких

казаков тоже стон стоит, разорили всех. Гольтьба режется с богатыми, а добро гибнет. Второй год никто не работает, да и как работать? Ты, скажем, наловишь и насолишь рыбы про запас, а явится какой-нибудь оголтелый Падуров и все отберет.

Вот наблюдая все это, я и думаю, что злое деяние в самом себе несет наказание. Забывчивы вы, русские, в отличие от других. Казалось бы, после пережитого в дни смутного времени на веки вечные вы должны отучиться от бунтарства, но в каждом из вас и посейчас бунтарь сидит. Вы законам не за совесть, а за страх повинуетесь, вы в каждом законе, ограничивающем волю отдельного человека, подобие цепей тяжелых видите.

— Преувеличиваешь, немчура.

— Ничуть не преувеличиваю. Вот ты Михайлу Васильевича вспоминал. Отношусь и я к нему с превеликим уважением, хотя по-моему не подобало ему столь предаваться Бахусовой слабости, бог его прости. Ну, вот лет пятнадцать назад, будучи по делу в Санкт-Петербурге, зашел я к нему представиться и засвидетельствовать ему свое глубокое уважение, а кстати и поднести в презент некоторые раритеты, добытые здесь, в Казани. Был он моими подарками весьма обрадован и говорил со мной откровенно, хотя, как ты знаешь, к немцам вообще Ломоносов относился недоброжелательно из-за распрей в Академии.

— Воевал, как же!..

— Ну, слушай! Зашел разговор о российской истории, о судьбах государства российского. И тут услышал я от великого вашего ученого следующее, поразившее меня суждение; похоже, дескать, на то, что в России живут, перемешавшись так, что их и не отделишь друг от друга, два разных народа. Один — народ крови и души европейской, обладающий всяческими способностями и зело склонный к государственному строительству. Из этого народа происходят великие мужи, коими держава создается, к каковым он, Ломоносов, относил. Адашева Филарета Никитича, Тишайшего Петра и других, имена всех не упомяну. А рядом с этим народом живет, имея то же обличье, тот же язык и то же бытие, какое-то дикое племя, злое, подобно каким-нибудь американским индейцам. Людям этого племени ничто не дорого. Все, как вы говорите, трин-трава. Это хищники, сродные степным волкам. Из них выходят Малюты Скуратовы, соратники Отрепьева, Заруцкие, Разины, Пугачевы. Одни строят, другие разрушают. Одни копят богатства, другие стремятся этими богатствами завладеть и пустить их по ветру. И время от времени завязывается отчаянная борьба...

— Это, конечно, предположение, хотя и весьма остроумное! — отозвался задумчиво натур-философ. — Но как докажешь? Чем это не простая попытка найти удовлетворительное объяснение феноменам, отличающимся большой сложностью? А как применительно к сей теории объяснить, например, личность Ивана Грозного?

— Об Иване Грозном Михайло Васильевич тоже упоминал. По его определению, надлежит смотреть на него, как на следствие некоего смешения: в молодости преобладало в нем начало созидательное, начало государственное, под старость возобладало начало противоположное, разрушительное, которое, однако же, скрывалось под маской прежних намерений. Боролось в нем две души: одна — европейская, другая — азиатская, степная, дикая...

— Так все объяснить можно. И Бирона можно расписать с одной стороны европейцем, а с другой — азиатом, Тамерланом...

— Бирон-Бироном, а Анна Иоанновна-то по истине куда больше на какую-нибудь татарскую или киргизскую ханшу походила, нежели на европейского государства властительницу и продолжательницу дела Петрова.

Беседуя, друзья добрались до дома фон Брандта и здесь узнали, что старый генерал только

что чудом спасся от грозившей ему смертельной опасности. Проверая оборонительные сооружения, фон Брандт проходил переулком, и некий бородач с обвязанным платком лицом выпалил в него в упор из драгунского пистолета. Пуля прошла между боком и правой рукой генерала, прорезав, как ножом, рукав. Покушавшийся был сбит с ног ударом сабли адъютанта и схвачен. Его уже подвергли допросу. На допросе он сразу же повинился, струсил, молил о пощаде и выдал несколько сообщников из местных жителей.

— Что же будет со злодеем? — спросил Шприхворт.

— Сейчас собирается военный суд! — ответил сообщивший новость писец из губернской канцелярии. — Конечно, злодей будет предан смертной казни!

— Поделом вору и мука! — сердито проворчал натур-философ. — А из каких он?

— Князя Курганова дворовой человек. В кухонных мужиках ходил. И на другого кургановского крепостного указал...

Иванцов растерянно развел руками:

— Вот и поди, говори с таким народом. Давно ли Курганов распинался, что взял с собой в город из поместья только самых преданных ему людей, за которых он может и головой поручиться?

— Посторонись! — раздался зычный окрик. — Дорогу!

Наряд молодых, безусых, неуверенно действующих солдат вел в губернаторский дом связанного веревками бородатого мужика лет сорока, неуклюжего, дрожавшего всем телом и поминутно икавшего.

— Савка! Что ты, злодей, наделал? — крикнул узнавший его натур-философ.

Савка вобрал голову в плечи, потупился и, икая, исчез в дверях губернаторского дома.

— Ну, и времена! — вымолвил растерянно Иванцов. — Этот самый Савка частенько бегал ко мне с разными поручениями от князя и все допытывался, большую ли награду можно получить, ежели взять да и изловить Емельку. Я ему лично сто рублей обещал.

— А Пугачев, то есть, конечно, не сам Пугачев, а какой-нибудь его эмиссар, пробравшийся в город тайком, пообещал за убийство фон Брандта двести рублей, вот он и соблазнился! — сухо засмеялся Шприхворт. — Разве таким Савкам и Яшкам не все равно, кого резать?!

Четверть часа спустя тот же отряд вывел приговоренного к смертной казни Савку на площадь.

— Православные! Заступитесь! Безвинно погибаю! — выл Савка.

Рослый сержант с рубцом на щеке сердито ткнул Савку по шее кулаком.

— Православные! За законного анпиратора...

— Не скули, пес! — прикрикнул сержант. — Где веревка, ребята?

Они поднялись на стену. Снизу было видно, как двое солдат накиннули на шею Савки петлю. Другой конец веревки был привязан к зубцу стены. Ревевшего по-звериному Савку спихнули сквозь амбразуру вниз. Его тело повисло по ту сторону стены.

— Как странно! — вымолвил следивший с напряженным вниманием за этой мрачной сценой натурфилософ. — Только что был жив человек...



Мимо Иванцова и Шприхворта прошел бледный, как полотно, парнишка, с выпученными глазами и искривленным ртом. То ли плача, то ли смеясь, он сказал

— Дяиньку Савву Тимофеича... того... удавили.

Это был любимый казачок молодого князя Курганова Филька, недавно вместе с князем ходивший воевать с пугачевцами в отряде Павла Сергеевича Потемкина.

— А ты чего тут околачиваешься? — сердито спросил у него Шприхворт.

— Ежели мово родного дяиньку вешают, имею я право? — заспорил парень. — Посторонним можно глядеть, а мне нельзя? Я ж ему родной племянник... А его как кобеля удавили... — Парень неожиданно хихикнул.

— Да чего же ты радуешься?! — возмутился доктор.

— Ежели он мне сродственник! — стоял на своем казачок. — Поди, теперь ногами дрыгает во как...

Филька испугался и нырнул в толпу.

\* \* \*

В Кремле, не считая солдат, сбилось до пятнадцати тысяч горожан, натащивших сюда вороха своего скарба. Жилых помещений не могло хватить на то, чтобы дать кров этой массе внезапно ставшего бесприютным испуганного люда. С разрешения местного архиерея детей и женщин разместили по церквам, оставив для служения только собор. В губернаторском дворце и в присутственных Местах расположились, сбившись, как сельди в бочке, семьи сбежавших из окрестностей Казани помещиков и чиновников. Недавно выстроенное здание дворянского собрания с обширными службами дало приют семьям знатных дворян. Тут разместились Ухтомские, Жилковы, Ширинские-Шихматовы, Карамзины, Одоевские, Шаховские и другие. Семье князя Курганова, благодаря связи с Лихачевым, удалось получить в свое распоряжение служебный флигелек из трех комнатушек с обширной кухней и сарайчиком. Дворовые Кургановых заняли сарайчик и кухню, господа поместились в набитых всяческой рухлядью комнатах, одну из них отвели для большой княжны Агаты и безотлучно пребывавшей при ней старой мамки Арины.

Князь Курганов, сильно постаревший за эти дни и казавшийся совсем разбитым, сидел, сгорбившись, в большом ободранном кресле у крылечка флигеля, когда Иванцов и Шприхворт, побывав в губернаторском доме и собрав всяческие новости, явились навестить больную княжну.

— Ну что, как? — осведомился вяло Курганов у гостей.

— Могло бы быть лучше, — отозвался Иванцов. — Действительно подумаешь, что народ с ума спятил... Творится нечто невообразимое. Только что арестовали какого-то писца губернской канцелярии, который внушал черни, что ежели рассудить по совести, то государыня императрица престолом владеет не по праву. Стали его допрашивать: кто же по его мнению имеет законное право на престол? А он в ответ: я, мол, того не знаю, но токмо знаю, что государыня императрица не на своем месте сидит, не гоже женщине быть на престоле, пусть в монастырь уходит.

— Драть бы плетью мерзавца, — буркнул князь. — Ляпает языком, не думая о последствиях.

А от этого ляпания еще большее смущение в умах...

— Это ваша русская кровь бунтует, — зло засмеялся Шприхворт. — За границей таких бунтов не бывает, там народ разумнее.

— Помалкивай ты, немчура! В Голландии не было разве своего Емельки в лице сумасшедшего Иоанна Лейденского? — возразил ему Иванцов. — Тоже хорош! Наш Емелька в анпираторы лезет, а Иоанн — тот прямо в пророки подался. А в королевстве Неаполитанском полоумный рыбак Мазаниэлло какую катавасию устроил? Везде, брат, одно и то же...

— Но чем все это кончится? — вымолвил Курганов. — Неужто погибать России?

— Ну, до этого далеко! Русь-матушка велика и не такие передраги переносила... Справится.

— Ой, справится ли? — усомнился Курганов — Что-то плохо справляется до сей поры. Вишь, как Емельке-стервецу дали разгуляться! На Москву собирается!

— Прихлопнут, и скорее, чем мы ожидаем! — уверенным тоном заявил Иванцов, но выражение его лица свидетельствовало о том, что сам он такой уверенности не питает.

— Горит... Все горит, — бормотал Курганов, глядя на порыжевшее от дыма небо над городом.

— Жаль Лихачевых! — сокрушался Шприхворт. — Их дом действительно был украшением всего города. Потолки лепные, стены альфрейной работы, полы из дубового паркета. Мраморные статуи работы молодого Козловского. Библиотека какая была...

Курганов махнул рукой:

— Что лихачевский дом?! Скоро, кажись, и царские дворцы запылают... Вся Россия запылает... Дожили, нечего сказать!

— Трудно понять, что, собственно говоря, творится? — вмешался Шприхворт. — Вот как объяснить, скажем такое. При последней вылазке, сделанной, чтобы отогнать мятежников, казаки захватили две сотни грабителей, растаскивавших всякое добро из оставленных домов, и среди них оказались весьма зажиточные казенные крестьяне из Хрипуновки, с ними их деревенский поп, и дьякон, и причетник. Соблазнились возможностью пожить, за тридцать верст приехали на подводах. С бабами, с детишками... А куда они здесь чужое добро грабили, какая-то бродячая шайка пугачевцев налетела на Хрипуновку и дочиста всех обобрала. Но мало того, пограбивши Хрипуновку, пугачевцы пошли на Бездонное, а по дороге нарвались на другую шайку, и та их растрепала, а все награбленное отняла...

— Я же говорю, это какое-то повальное безумие! — сказал старый князь. — Был у меня мужик один, Вавилой звали. Медвежьей силы, работать лют и на все руки мастер. Год, два, три живет, спину гнет, работает, как вол. Бережливый, запасливый. А потом словно дьявол его оседлает: женины рубашки топором порубит, свой зипун в печку засунет, посудушку перебьет, лошадь искалечит. За ребятишками с топором гоняется. Сам себя изранит, один раз брюхо себе распорол, кишки выпустил...

— Ну, это чистое помешательство! — сказал Шприхворт.

— А я что же говорю? Помешательство и есть. Но только это с ним далеко не всегда так, в промежутках он не мужик, а золото. И совсем здоров!

— Ну, это «совсем здоров» только внешнее, просто болезнь внутри таится до поры до времени.

— Вот я так и на наш народ смотрю. Ведь золото, а не народ: и рабоч, и смышлен, и ловок. А потом попала вожжа под хвост брыкливой кобыле, и начала кобыла курбеты выделять... Значит, и в народе какая-то порча есть. Болезнь лихая, которая до времени таится, а при случае прорывается. Что за лихо такое, что за порча?

— Французский философ Жан-Жак Руссо, с коим я раньше имел честь состоять в переписке, уверяет, будто люди рождаются добрыми, честными, хорошими, а портит их общество, построенное на неправильных основаниях, — сказал Иванцов.

— Бредни, — презрительно махнул рукой Шприхворт. — Читал и я. Вздор все. Руссо — невежда, верхогляд и больше ничего. Ежели бы знал он естественные науки, особенно медицину, то не искал бы золотой век в прошлом, когда никого, кроме дикарей-людоедов, на земле не было.

— Что же, по-твоему золотой век впереди? — насторожился натур-философ.

— Ни впереди, ни позади! Золотой век — сказка, та самая Жар-Птица, за которой Иванушка-дурачок гонялся.

— Пойдите! — перебил говоривших старый князь. — Пушечная стрельба. Издалека палят. Не подкрепление ли идет?

— Скорее Емелькина сволочь свою «антилерию» приволокла! — упавшим голосом произнес Шприхворт.

И раньше было жарко, а теперь, кажется, еще жарче станет...

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Действительно, к Казани подошла артиллерия Пугачева, действиями которой руководил пан Чеслав Курч. Эта артиллерия представляла собой достаточно внушительную силу, ибо в ней было около полутора ста орудий, в том числе и несколько дальнобойных совершенно новых пушек большого калибра, взятых мятежниками на Катенинском казенном пушечном заводе близ Екатеринбурга и доставленных присоединившимися к Пугачеву рабочими этого завода под командой опытного старого пушкаря Изотова.

До прихода главных сил Пугачева осада Казани имела беспорядочный характер, против города действовали только нестройные толпы взбунтовавшихся окрестных крестьян, поддерживаемых башкирскими конными отрядами и шайками яицких казаков Зацепы. Эта часть быстро распухавшей армии «анпиратора» ограничилась только тем, что выжгла половину города и занялась грабежом. Кому удавалось поживиться добром горожан, тот норовил сейчас же удалиться со своей неожиданной добычей. Но весть об осаде Казани уже разнеслась на огромное пространство, и на смену грабителям из деревень, сел и даже ближайших городков тянулись несметные толпы поднявшихся с дубьем крестьян. Таким образом Казань все время оставалась в огромном кольце восставших. Ее положение напоминало положение привязанной к своей норе ящерицы, на которую напали полчища хищных муравьев. Только вырвется ящерица из норы, размечет подвернувшихся муравьев, как на место раздавленных напозают новые колонны малых хищников.

Когда подошли главные силы «анпиратора», картина изменилась, потому что многочисленная и хорошо управляемая Курчем пугачевская артиллерия сейчас же сократила возможность успешных действий ходивших на вылазку частей гарнизона. Чеслав, опытный, прошедший

отличную артиллерийскую школу воин, умело выбрал выгодные позиции для своих батарей и принялся снарядами из дальноточных орудий громить обветшавшие стены казанского Кремля. Боевых припасов у Курча было в изобилии, и он работал без перерыва. На пятый день осады, к вечеру, выяснилось, что пугачевская артиллерия, уже сбившая немало зубцов с крепостных стен, долбит две бреши по бокам у старой полуразрушенной башни Едигера, явно собираясь взять Кремль приступом.

Городская артиллерия деятельно отбивалась, но ей было нелегко состязаться с противником, потому что большинство ее орудий были устаревшие, а в снарядах уже ощущался недостаток. На три выстрела пугачевцев казанцы едва отвечали одним.

Артиллерийское состязание продолжалось трое суток, и к концу этого времени в городской стене были, действительно, пробиты две бреши. Появившийся в непосредственной близости от города «анпиратор» бросил часть своей орды на приступ. При этом снова применили тот же варварский способ, при помощи которого Пугачеву удалось справиться с отрядом генерала Потемкина: вперед послали, вернее, погнали нестройные толпы мужиков, вооруженных кольями и дубинами. Их гнали, хлеща нагайками, маленькие отряды конных казаков и башкир. Штурмующие толкали перед собой деревянные обшитые сыромятной кожей щиты на тележных колесах и тащили фашины и штурмовые лестницы.

Гарнизон встретил штурмующих сосредоточенным огнем из собранных к пробоевне пушек. Пехота, подпустив осаждающих на двести шагов, дала несколько залпов. С крепостных стен было видно, как бомбы вырывали в напиравшей толпе кровавые борозды, дробили щиты, и, взрываясь, разметывали орущих крестьян

На первый раз удалось остановить штурмующих, не подпустив их к самим стенам. Разметываемая летевшими на нее снарядами темная масса заколебалась, затопталась на месте, потом кинулась в бегство. На большом пространстве по тому пути, который был пройден при попытке добраться до брешей, лежали сотни истерзанных тел, валялись телеги и разбитые щиты.

Час спустя орда вновь прихлынула, В ее тылу, как бешеные, металась подгонявшие пеших конники. Несмотря на убийственный огонь казанцев, первые ряды пугачевцев добрались до брешей. Только выстрелами картечью в упор удалось их отогнать. Казанцы в первый раз пустили в ход ручные гранаты, чтобы уничтожить отдельные кучки мятежников, которые залегли под самыми стенами Кремля. Вылетевшие из двух кремлевских ворот на рысях казаки с Опонькой и драгуны врезались в большую толпу замешкавшихся пугачевцев, прошли словно двумя острыми плугами по этому ошалевшему от испуга стаду, изрубили, несколько десятков конников и несколько сот пеших, захватили две полевые пушки и вернулись в город с трофеями и многими пленниками. Взятые в плен пугачевцы единогласно заявили, что наутро, к рассвету готовится третий решительный приступ, для которого Пугачев со всех сторон стягивает свои лучшие отряды.

Ночь казанцы провели в тревоге. Со стен города были видны бесчисленные огни разложенных во вражеском стане костров, а дальше пылало зарево пожаров: там горели помещичьи усадьбы, деревни и села.

Время от времени отдельные толпы мятежников с дикими воплями бросались к Кремлю, но сейчас же разбивались. Было ясно, что делается это исключительно с целью не дать гарнизону отдохнуть.

Вскоре после полуночи по Кремлю прошел торжественный крестный ход, в котором участвовал сам престарелый архиерей. У башни Сумбеки архиерей отслужил молебен о спасении града сего, а потом произнес речь, в которой говорил, что Пугачев — слуга Антихриста, дьявол во плоти, хищный волк, лютей враг державы Российской. Едва кончился

крестный ход, как с одной из пугачевских батарей стали сыпаться на Кремль каленые ядра, при помощи которых Курч рассчитывал вызвать пожар. В самом деле — ядра заставляли загораться то одно, то другое здание, но горожанам удалось вовремя справиться с этой опасностью. В три часа ночи ударили общую тревогу: часовые со стен донесли о начавшемся в стане пугачевцев таинственном движении. Все войска были выведены из казарм и расположены на заранее назначенных местах в ожидании генерального штурма.

Прошло еще около часа, и генеральный штурм начался.

Было около четырех часов. На востоке край неба посерел, возвещая близость рассвета. Побледили, потом сразу словно погасли бесчисленные огни костров на равнине. Разгорелась пушечная стрельба, опять долбя стену в разных местах. Артиллерия «анпиратора» словно нащупывала слабые места в кремлевских стенах.

Когда на небе загорелась алая полоска зари, казанцы увидели, что толпы пугачевцев идут на приступ двумя огромными колоннами; одна — к пробитым у Едигеровской башни и уже заваленным защитниками брешам, а другая — к тому участку стены, где до взятия Казани русскими находились Ордынские ворота, впоследствии заделанные. С самого начала осады пугачевская артиллерия словно не обращала внимания на этот участок укрепления, взятие которого казалось слишком затруднительным по местным условиям, поэтому, считая это место сравнительно безопасным, фон Брандт ограничился размещением там небольшого количества орудий. Охранялся же этот участок ротой пехотного полка и дружиной добровольцев из казанских семинаристов.

Шприхворт и его неразлучный друг натур-философ Иванцов, проспав всего каких-нибудь три или четыре часа в начале ночи, к рассвету снова были на ногах и, привлекаемые любопытством, добрались к бывшим Ордынским воротам до начала штурма.

— А наши — молодцы. Стараются! — одобрил Иванцов кучку семинаристов, которые общими усилиями стащили на колоколенку церкви святого Алексея имевшуюся в их распоряжении маленькую медную пушку и теперь прилаживали ее на верхнем ярусе.

— Пойдем, посмотрим с колокольни, — предложил Шприхворт.

На крыше храма уже разместились до пятидесяти дружинников, по большей части из великовозрастных семинаристов, которыми командовали старенький сержант Измайловского полка Алипатов, казанский старожил, известный охотник. Почти все собравшиеся под его начальством дружинники были заядлыми любителями ружейной охоты. Их вооружение состояло из разнокалиберных охотничьих ружей. Сам Алипатов имел прекрасный английской работы дальнобойный карабин.

— Пусть сунутся к нам сюда пугачики! — говорил Алипатов своему старому знакомцу Иванцову. — Мы их с крыши будем ошпаривать ловко. А на колокольне профессор Фолиантов с пушечкой сидит. Применяет стратегию то ли Александра Македонского, то ли Юлия Цезаря...

— Да ведь воители древности с огнестрельным оружием знакомы не были! — возразил Иванцов.

— Артиллерия у них все же, говорят, была А потом был еще какой-то Димитрий-царь...

— Отрепьев, что ли?

— Нет, греческий царек какой-то. Полиокретом прозывали. Так тот, говорят, лихо орудовал артиллерией, хотя пушек тогда, конечно, не было...

Побывав на крыше церкви и на колокольне, побеседовав со средних лет латинистом Фолиантовым, которому пришла в голову мысль стащить на колокольню медную пушку, Иванцов и Шприхворт уже спускались на площадь, когда колоколенка задрожала и закачалась, словно пьяная. Грянул оглушительный взрыв, и тот участок кремлевской стены, перед которым стояла церковь, взлетел на воздух. Взрыв поднял вверх массу кирпичей, обломки старых бревен, человеческие тела и осыпал каменным градом Кремль. В стене образовалась огромная брешь. Пан Чеслав Курч сдержал свое слово: взрыв был произведен посланцами Пугачева, проникшими в Кремль вместе с искавшими там спасения горожанами. Мина была заложена Курчем несколько месяцев назад.

Едва стал разбиваться густой дым, поднявшийся над местом взрыва, как вторая колонна пугачевской орды ринулась к пролому.

Взрыв кремлевской стены расстроил весь порядок защиты. Многие орудия были сброшены со своих мест, каменный град причинил казанцам большой урон. Но главное, взрыв своей неожиданностью вызвал смятение среди защитников. Рота солдат, сильно пострадавшая при взрыве и потерявшая всех своих офицеров, рассыпалась по Кремлю, побросав оружие. Беглецы кричали, что пугачевцы ворвались в город и все пропало. И в самом деле первые нестройные вооруженные дубинами и вилами крестьяне втиснулись в пролом. В это время неожиданно для всех заговорила горластая медная пушчонка Фолиантова, осыпая мятежников картечью и производя в рядах нападающих страшное опустошение. В свою очередь и дружинники Алипатова, оправившись от первого испуга, пустили в ход ружья. Стреляли они недружно, без команды, но так как среди них было немало опытных охотников, то их пули не пропадали зря. Первые ворвавшиеся в пролом пугачевцы были истреблены почти поголовно. Нахлынула вторая толпа, но и ее постигла та же участь. Тем временем фон Брандт лично подоспел к опасному месту, туда подвезли несколько пушек и под их прикрытием стали заваливать брешь мешками с песком и фашинами.

Натур-философ Иванцов, увлеченный общим примером, не слушая звавшего его к Кургановым доктора, остался на колокольне св. Алексея. Сначала он помогал доморощенным артиллеристам Фолиантова орудовать пушкой, а потом, когда какой-то молоденький семинарист, без толку суетившийся здесь же с ружьем, был ранен и пополз с колокольни, Иванцов, подобрав брошенное им тяжелое кремневое ружье и вспомнив дни своей молодости, когда сам он лихо охотился на волков, принялся посылать в видневшихся сквозь пролом пугачевцев пулю за пулей.

Его внимание привлекла группа всадников, носившихся перед проломом на отличных конях. Всадники были одеты по-казачьи. Один из них метался перед проломом на великолепном белом жеребце. Это был средних лет человек, смуглый, черноволосый, с одутловатым лицом и с жиденькой бородкой.

— Пугач! Пугач! — кричали семинаристы, указывая в сторону всадника.

Иванцов вскинул свое ружье, взял всадника на мушку и спустил курок.

— Убит! Пугач убит! — пронесся крик.

Пуля Иванцова попала в голову белого жеребца и пронизала его череп. Благородное животное свалилось, как подкошенное. Упал и всадник, но сейчас же вскочил, как кошка, и оказался в седле подведенного ему казаком запасного коня. Они ускакали. Посланный им вслед с гребня стены пушечный снаряд свалил несколько пеших, помогавших Пугачеву усесться на свежего коня, но не причинил вреда «анпиратору». Пугачев, счастливо избегнув опасности, ускакал.

Примолкшая было пугачевская артиллерия снова принялась за работу. Теперь обнаружилось, что за ночь Курч успел сосредоточить против церкви св. Алексея большую

часть своей артиллерии, которая занялась тем, что упорно продолжала разрушение городской стены, произведенное взрывом. Снаряды с неумолимой точностью долбили края пролома, разрушая стену, заваливая обломками прилегающую к пролому площадь, снося притащенные защитниками фашины, убивая и калеча людей. Две дальнбойные пушки избрали своей целью ветхий храм. Упавшая на купол бомба взорвалась на крыше, сбива крест и смела нескольких дружинников. Державшийся долго рядом с Иванцовым безусый семинарист удивленно ахнул, выпустил из рук ружье, присел, хватаясь за живот, потом кульком свалился с крыши на двор храма. Что-то толкнуло натур-философа в плечо, и левая рука его бессильно опустилась. «Я ранен», — подумал он. Невольно нащупал дрожащими пальцами левое плечо и почувствовал боль. «Я ранен!, — продолжала стучать испуганная мысль. — Но почему же нет крови? И что я должен делать?»

Он еще раз ошупал плечо. Боль была сильная, но крови не было. Тогда Иванцов сообразил, что он не ранен, а только контужен, и даже, может быть, не пулей, а обломком кирпича. Он попробовал поднять ружье, выпавшее из рук, но убедился, что одной рукой все равно ничего не сделаешь. «Как странно! — подумал старик. — И как глупо! Только что чуть не избавил Россию от антихриста Емельки, а теперь сам беспомощен, как младенец!»

Иванцов спустился внутрь храма, откуда выбрался на площадь. Едва он отошел шагов на тридцать, как весь верхний ярус колокольни вместе с горластой медной пушкой, профессором Фолиантовым и десятком семинаристов был срезан ядром из дальнбойного орудия батареи Курча. Другое ядро, каленое, влипло в купол. Купол задымился и последние дружинники, еще державшиеся на крыше храма, покинули свои места. Алипатов, бешено сверкая глазами, кричал в пространство:

— Вот я вас ужо! Злодеи! Злодеи!

Висок старого сержанта был рассечен пулей, и кровь заливала его щеку, покрытую жесткой щетиной седых волос.

К пролому подходили резервные части гарнизона, а с другой стороны туда напирала густая масса пугачевцев, шедших снова на приступ.

Вырвавшийся из свалки Пугачев проскакал до своей ставки и спрыгнул с коня у раскинутого на краю небольшой полусгоревшей рощицы шатра. Это была его «ставка».

— Упарился! — пробормотал он. — Чуть не ухлопал какой-то сучий сын! Арабчика уложил, подлец...

— А ты чего в драку полез? — непочтительно отозвался Зацепа. — Ты себя поберечь должен. Руки чешутся?

Пугачев хрипло засмеялся.

— Ретивое разгорелось! Я, брат, горячий человек. Погнали сволоту на приступ, ну, и меня потянуло.

— Не след. Совсем, не след! — продолжал ворчать Зацепа. — Не ровен час, ухлопают, в сам деле.

— Авось, не ухлопают. Вывернусь!

— На авось действовать не полагается. Не в казачьих урядниках ходишь, голубь, а в анпираторах. Тут надо с умом... Дратся-то на кулачках и без тебя есть кому. Вот, сволоты-то сколько приперло. Пушай она в огонь, дурра, и лезет.

Пугачев засмеялся:

— А и наколотили же казанцы сволоты этой самой, — страсть одна! Тыщ пять, поди, будет за эти дни.

— Пять не пять, а около того. Да хошь бы и десять! Чего жалеть в сам деле?!

— Чего жалеть? — откликнулся «анпиратор». — Я и сам так полагаю: дуруломов в нашем царстве — хоть пруд пруди, хоть гать гати. Бей по тыще в день, и то до скончания века не перебьешь... Ха-ха-ха!.. Только как бы нам на Казани-то не нажечься... Зубаст, треклятый немчура! Кусается!

— Не нажжемся! — уверенно ответил Зацепа. — Сиволдаи одни отдуваются. Из казаков мало кого поцарапало. Хлопушина гвардия вся цела...

— А башкирят-то расчесали драгуны да казачишки!

— А тебе жалко? Башкиры-то самосевом растут... Как чекалки степные. Ничего, справимся с Казанью. Полячок да Изотов с антилерией больно ловко управляют. А не удастся Казань взять, — все равно: проскочим вперед да через Волгу перемахнем, по нетронутым еще местам прокатимся. Сволоты-то везде много. Может, и помимо Казани до Москвы дойдем... Отчего нет? Очень просто.

— А дальше что? — спросил Пугачев.

— А там видать будет! Наше дело такое... Далеко заглядывать не для ча... Случись что, угрем вывернемся. Сволотой загородимся. Мы-то на конях, а она, сволота, на своих на двоих, на некованных... Ну, ей и будут тое место, что пониже спины, батогамы греть да со спинки шкуру спущать. А мы в тое время то ли на Дону, то ли у персюков, то ли у турецкого султана в гостях! Нам везде ход...

Пугачев засмеялся. Доверчиво оглядел своего верного соратника:

— Ах, Зацепка, Зацепка! Ну, и подняли же мы томашу! Поди, и впрямь в знатные персоны выскочим!

— Выскочим — не выскочим, а уж пожить в свое удовольствие — поживем! Это верно! А по мне так: хошь день да мой, а отзвонил да с колокольни долгой.

Подъехал безносый Хлопуша. Под ним был могучий вороной конь, на спине которого вместо попоны лежал кусок дорогой златотканной парчи.

— Наши опять сиволдаев на штурм погнажи! — крикнул он. — А на речке чтой-то делается...

— Что такое? — насторожился Пугачев.

— Подходит к Казани какая-то флотилия гребная. На лодках малых... Да наши вовремя заметили. Дерут ихнего брата.

— Подкрепление к казанцам, что ли? — встревожился «анпиратор».

— Не должно быть! И всех-то лодок два десятка. Человек, значит, триста. Какое же это подкрепление? Передовые разве...

Пугачевым овладела тревога. Он снова вскочил на коня и поскакал к берегу Волги.

— Катай их! Бей их! — бесновался он, глядя на завязавшуюся в непосредственной близости от речной пристани схватку на реке: десятка два гребных катеров, полных солдат в мундирах, медленно подвигались к пристани, отбиваясь от яростно наседавших на них челнов



мятежников.

— Эх, прозевали, анафемы! — кричал Пугачев. — Топи их! Жги их! Пушек сюда!

В это время с кремлевских батарей загремели пушки, и снаряды стали бить по бесчисленным лодкам пугачевцев. Сомкнувшееся, было, кольцо разорвалось. Флотилия гребных катеров прорвалась к пристани. Люди выскочили из лодок, выстроились колонной и, оцетинившись штыками, прошли в город под прикрытием кремлевских пушек.

— Жалко, что упустили, — ворчал, снова возвращаясь к своей ставке, «анпиратор». — Ну, да ничего! Прибыли немчуре Брандту не так уж много. В сам деле, будет ли еще три сотни-то?

Тем временем полковник Горелов, добравшийся на помощь гарнизону речным путем, уже объяснялся с фон Брандтом, который с первых же слов Горелова побледнел, как полотно.

— Не могу понять, ваше превосходительство, — говорил Горелов, — как это весть о великом несчастье, постигшем российское государство, еще не проникла сюда!

— Мы от остального мира отрезаны девятым днем...

— Но ведь и мятежники, насколько я понимаю, еще не осведомлены.

— Какая-то случайность... Но, господи, неужели это правда?

— Истинная правда! — ответил глухо Горелов. — Карает нас господь... И в обычное время сие горестное известие было бы чревато тяжкими последствиями, ибо пресечение династии всегда опасно для государства, а в такое время оно еще более ужасно. По моему мнению, государству действительно грозит гибель.

— Но как же сие несчастье произошло?

— Государыня давно уже собиралась произвести смотр военной флотилии Балтийского моря, только что снаряженной в Ревеле. Прекрасная погода последнего времени усугубила это желание. Кстати, к флотилии только что присоединился новый восьмидесятипушечный фрегат «Агамемнон», пришедший из Архангельска.

В одно воскресенье государыня с многочисленной свитой отплыла из Петергофа на своей яхте «Славянка». С ней были бывший канцлер граф Панин и новый канцлер граф Загорянский, Лев Нарышкин, статс-дама Воронцова-Дашкова, австрийский посол князь Брунненфельс, князь Василий Трубецкой, сенаторы Репьев и Козлов и многие другие. Едва начался смотр, поднялся туман, потом налетел жестокий шторм. «Славянка», оторвавшись от эскадры, пыталась укрыться в порту Петергофа. Суда разметало. «Паллада» оказалась выкинутой на берег у Гапсаля. «Венус» унесло к берегам Финляндии. Что же касается «Славянки», то она погибла со всеми, кто на ней был.

— Но каким образом?

— Во время бури и в глубоком тумане «Агамемнон...» наскочил на какое-то судно и потопил его. По всей вероятности, это и была несчастная яхта государыни. Потом к берегу прибило гичку, на которой было два мертвых матроса с яхты, выкинуло некоторые предметы из обстановки императорских кают, наконец, тело сопровождавшей государыню Мавры Перекусихиной...

— А наследник цесаревич?

— Павел Петрович с супругой тоже были на «Славянке».

Наступило молчание. Потом фон Брандт глухо вымолвил:

— Говорите дальше, сударь!

— Что же дальше? Когда весть о несчастье достигла Санкт-Петербурга, сначала никто не хотел верить этому. Все растерялись, не знали, что надлежит делать. Нашелся молодой граф Гендриков, недавно вернувшийся в Петербург из Парижа. По его настоянию собрался правительственный Сенат, и господа сенаторы организовали Временное правительство, во главе которого стал старейший сенатор светлейший князь Михаил Алексеевич Меншиков. Сенат отправил курьеров в армию, чтобы вызвать генерала Румянцева, Потемкина и Суворова. Без их поддержки Временное правительство не может полагаться на помощь армии.

— Боже мой, боже мой, какое страшное несчастье! — шептал фон Брандт. По его морщинистым щекам текли слезы.

— Мы в это время находились в Ярославле, — продолжал Горелов угрюмо. — Весть о случившемся проникла в город. Горожане заволновались, началось волнение и среди солдат. Неведомо откуда появились люди, твердившие, что если государыни и Павла Петровича нет, то нет и смысла оказывать сопротивление Пугачеву. Накануне назначенного дня отплытия флотилии на помощь Казани в казармах вспыхнули беспорядки. Находившиеся там офицеры были перебиты. Генерал Бистром и его адъютант Зорин были подняты на штыки при попытке уговорить бунтовщиков. Часть оставшихся верными присяге солдат с несколькими офицерами ушли на берег. Я принял на себя команду. Мы с бою завладели катерами и, не имея возможности плыть вверх, пошли на Казань. Приставать к берегу по дороге мы не решались. Встретили одну баржу, от команды которой узнали, что смятение царит по всем окрестным селениям. В пятидесяти верстах от Казани узнали, что мятежники ведут отчаянные штурмы. Многие заколебались, но я настоял, и вот мы пробились к вам.,

— Ужас, ужас! — бормотал фон Брандт.

— Будем отбиваться! — продолжал Горелов — А там, что бог даст... Казань крепка...

Фон Брандт безнадежно махнул рукой.

— Что такое Казань?! Я о России... Казань вовсе не крепка. Еле держится. Но бог с нею, с Казанью! Ежели даже мятежники ее с землей сравниют, это для государства лишь царапина. А вот что будет с Россией?

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Старуха Арина, нянька княжны Агаты Кургановой, возвращалась домой во двор бывшего казанского дворянского собрания с рынка на пристани. После взятия «анпиратором» Казани уцелевшие от резни горожане добывали на этом рынке у наезжавших из окрестностей мужиков кое-какие съестные припасы в обмен на вещи домашнего обихода. В этот день Арине посчастливилось выменять у какого-то чувашенина без малого полпуда муки, два десятка яиц и уже ощипанного гуся на старую атласную душегрейку с оторочкой из лебяжьего пуха. Нести все это добро старухе было очень тяжело, и она, протащив корзину шагов тридцать, остановилась перевести дух. Арина тоскливо оглядывалась по сторонам: кругом были выгоревшие кварталы, и среди развалин пожарища безобразно торчали кирпичные печи, словно гигантские гнилые зубы какого-то чудовища. За эти месяцы некоторые трубы уже обросли пристроечками из разного хлама, — здесь ютились погорельцы, не желавшие покинуть погубленного пугачевцами города. Среди них попадалось немало и лихих людей или попросту обездоленных пожаром, которые иной раз и «пошаливали», то есть грабили, а то и убивали редких прохожих.

Поплатившись уже однажды большим шерстяным платком, Арина надеялась, что сегодня ее удачное путешествие на рынок завершится таким же удачным возвращением домой: посаженный «анпиратором» новый казанский воевода, бывший каторжник и известный душегуб Васька Дубовский, за последнее время вошел во вкус власти и принялся круто расправляться с ворами и грабителями. Третьего дня городская стража, именовавшаяся теперь «городовыми казаками», произвела облаву и изловила человек до пятидесяти воров и грабителей. Все они по личному приказу Васьки Дубовского были повешены на уцелевших зубцах полуразрушенных кремлевских стен для устрашения других охотников нарушить строжайший указ нового «анпиратора», которым за темные дела определялась смертная казнь.

Отдохнув на перекрестке, где нелепо торчал из земли обгорелый дубовый столб, Арина снова потащила свою тяжелую корзину, кряхтя и что-то бормоча про себя. И тут словно из-под земли вынырнули двое с вьюками на плечах и крепкими посохами в руках. Одеты они были по-татарски: в длинных восточного покроя кафтанах, с ватными тюбетейками-на бритых головах. .

— Стары вэци... Шурум-бурум. Бариня...

— Отойди ты, окаянный! — огрызнулась старуха. — Какой теперь еще «шурум-бурум»? Самим скоро есть нечего будет!

— Менять давай! — продолжал старший из татар, смуглый, худощавый. — Мой тибэ масла давал, изюм давал, твой минэ платок старый давал...

Старуха насторожилась. В звуках голоса татарина было что-то, словно он слегка посмеивался над Ариной, но не зло, а даже как-будто ласково. И красивые карие глаза смеялись

— Чего подмигиваешь, пес? — рассердилась Арина. — Ты иди девкам подмигивай, а мне нечего!

Другой, повыше, с серо-голубыми глазами и грязным лицом, тоже смеялся и подмигивал старухе. Арина совсем рассердилась, поставила корзину снова на землю и зашипела:

— Уйдите вы, охальники! А то городовых казаков позову. Они вам горбы набьют.

Вдруг кто-то произнес чисто по-русски, таким знакомым, таким милым Арине голосом:

— Мама Арина! Дай медового пряничка!

Старуха чуть не выронила из рук плетеный колобок с яйцами.

— Шурум-бурум, бариня! — сразу изменился знакомый голос. — Будем торговать. Мой тибэ, твой минэ. Туфля имэим...

— Батюшка бар...

— Тсс! Вэди нас твоя дом... Товар покажем...

Старуха засеменяла заплетающимися от страха и от радости ногами по направлению к своему убежищу. Остановилась, заговорила многозначительно:

— Ежели с хорошим, то, пожалуй, приходите. Маслица я бы взяла. Туфли тоже взяла бы... Только уж и не знаю, как: мужчин у нас в доме нету никого, кроме старого князя...

Татары переглянулись.

— Дворовые все, ну как есть все разбежались! — продолжала старуха. — Кажись, никого из кургановских крепостных да лихачевских и в городе не осталось.

— Тем лучше! — шепотком вырвалось у белокурого татарина.

— Барыня Прасковья Николаевна хворали долго, теперь ничего себе. Барышня Агашенька поправляется...

— Помалкивай, старая! — перебил ее старший татарин.

Навстречу им шла группа оборванных и, видимо, голодных детишек, смотревших на татар с любопытством.

— Моя тибэ товар будит носила...

Ребятишки прошли мимо, не задержавшись. Издали один из них выкрикнул звонко ругательство.

— Соседи не обижают? — спросил шепотом молодой татарин.

— Нет, ничего, бог миловал. Сами не знаем, как спаслись... Теперь как будто тише стало.

Так добрались до угла полуразрушенного Кремля, где стояли безобразные развалины сгоревшего здания дворянского собрания, обогнули почерневшие от копоти стены, прошли разоренным садиком и, наконец, оказались перед тем самым флигелем, куда семья Кургановых поселилась перед приходом Пугачева.

— Предупреди! — сказал молодой татарин. — Мы с Костей здесь подождем. Может, кто из посторонних еще там... Теперь никому доверять не приходится!

— Слушаю, батюшка! А только какие же посторонние у нас теперь? Добрые люди своей тени и то боятся. Только доктор и бывают...

Арина ушла, но тотчас вернулась и нарочито громко позвала:

— Ну, идите, идите, нехристи!

Несколько минут спустя Левшин и Петр Иванович Курганов сидели в маленькой светелке, беседуя с уцелевшими от казанской резни членами семьи Кургановых. С обеих сторон торопливо сыпались вопросы.

— Светопреставление господне! — говорил угрюмо старый князь. — Ума не приложишь, как и случилось все. Фон Брандт, царствие небесное старику, до последнего оставался верен присяге. Когда солдаты с полковником Гореловым добрались до Казани и сообщили, что государыни нет в живых, все упали духом, а он, старик, словно даже помолодел. Помирать, говорит, так с честью! Сдачи не будет...

— Все равно, устоять нельзя было, — тихо откликнулся Левшин. — Днем раньше, днем позже...

— Ну, это еще бабушка надвое сказала! Не везло, вот что! Например, покойный Иванцов Михаил Михалыч чуть не ухлопал Емельку.

— Если бы и убил, не помогло бы!

— Да почему? Он ведь заводчик! — стоял на своем Курганов. — -Опять же, при вылазке последней... Ежели бы не проклятые рабочие канатного завода, которые не только на сторону мятежников перешли, но еще и своим в тыл ударила. Нет, ты, Костя, подумай: Опонько-то чуть не сдержал свое слово. Ведь как бешеный был! Он да полковник Горелов, да Соколов, племянник фон Брандта по жене, не только прорвались сквозь линию пугачевских укреплений, но и до самой Емелькиной ставки дорвались. Горелов собственноручно полячишку этого, Курча, зарубил. Опонько Зацепе полчерепа снес, а самого Емельку в бок шашкой пырнул. Не свались Емелька под коня, быть бы ему на том свете.

— Да что толку-то было бы?

— Ну, как же так, Костя? Что ты, в самом деле?! Говорю же — заводчик он, Емелька! С его смертью все рассыпалось бы.

— Я сам раньше так думал, князюшка. Сам так думал. Не хуже Опоньки мечтал добраться до Емельки да ему голову с плеч срубить. Может, в самом начале, когда он только появился, это и принесло бы пользу. Но это время прошло. Мы с Михельсоном за эти пять месяцев, по крайней мере, с десяток разных «Петров Федорычей» отправили на тот свет, а что толку? Одного повесишь или утопишь, а два народятся. Чернь сама из себя их выпирает. А теперь, так может быть и того... Надо, может быть, чтобы побольше этих самозванных анпираторов являлось.

— Опомнись! Что ты говоришь?! — замахал руками старый князь

Левшин и Петр Иванович переглянулись.

— Так Иванцова убили злодеи? — тихо спросил Петр Иванович.

— Геройской смертью помер наш философ! — откликнулся старый князь — Когда ворвались пугачевцы в Кремль, заперлись наши в доме фон Брандта. Четыре пушки туда перетащили. Больше суток отбивались Ну, потом многие духом упали: все равно, удержаться нельзя. Только даром кровь льется. Сговорились, выкинули белый флаг. А осталось человек двадцать Ширинский-Шахматов Евгений, Голицын, Шаховские, Лихачев-младший... Все израненные. И Михаил Михалыч с ними. Выскочили с ружьями, и все полегли. Иванцова еще живым схватили, так он, не будучи в силах драться, проклинал их: сгинете, кричит, как черви могильные, и жены ваши сгинут, и дети ваши, проклятие на всем вашем потомстве!

Кто-то из казанцев выслужиться перед Емелькой захотел, донес, что это наш Михал Михалыч с церкви святого Алексея чуть было ружейной пулей не уложил Емельку. Ну, Пугач потребовал Михал Михалыча к себе. Принесли его на носилках — он уже на ногах держаться не мог. Пугач посмотрел на него и говорит: «Ядовитый старичишка! Любимого моего царского коня убил»... А Михал Михайлыч, захлебываясь кровью от раны в грудь, ему в рожу:

«Невинное животное за тебя, зверя, жизнью поплатилось. О том токмо и жалею, что не в тебя, злодея, пулю всадил!» Ну, Емелька засмеялся. Эх ты, говорит, ученый, а дурак! Я, говорит, помазанник, так меня и пуля не берет...

А Михаил Михалыч возьми да и плюнь в него. В рожу... Откуда и сил хватило. Кровью всю рожу злодею заплевал...

Тут набежали татарчуки, что при Пугаче в палачах ходят, и кривыми ножами старика на части...

— Как же вы-то уцелели? — спросил Петр Иванович, поглаживая костлявую руку отца пальцами

— А я в военном лазарете без памяти лежал. Меня взрывом бомбы контузило, память отшибло на трое суток. Ну, а Емелька тех, кто в лазарете был, почти всех трогать запретил. Только графа Сиверса старого вытащили и дубинами голову ему раздробили. Дворовый какой-то злобствовал...

— А вы, маменька?

— Я в женском монастыре с Агашей спряталась. За монастырь жена Прокопия Голобородьки вступилась, она там когда-то в черничках жила. Ну, а Прокопий Голобородько теперь у Пугача в важных персонах обретается. Его, говорят, старoverы в патриархи ладят. Или его, или Юшку...

— Сколько погибло! — снова заговорил старый князь. — И как ужасно многие погибли. Вот, например, тех, кто был посажен в погреба губернаторского дома, Пугачев велел пощадить, но не по доброте, конечно. Он рассчитывал выпытать, где они свое добро спрятали. Погреба глубокие, десять окошек было. Мятежники возьми, да и заколоти все, кроме двух. Заключенные стали задыхаться, кричали-кричали, молили, просили воздуха, а потом смолкли. На третьи сутки из семисот человек только человек тридцать в живых осталось. Сам Емелька испугался, когда трупы вытаскивать стали... Женщины, дети, старики, молодежь... Словно крысы отравленные. Там и Лихачевской семьи пять человек погибло. Весь род пропал... Кроме Юрочки...

— А наш приятель Шприхворт?

— Немца чуть было, в Кабан-озере не утопили. Многих, ведь, утопили, как щенят. Да нашелся какой-то из поляков, — их теперь при Емельке до двух десятков, конфедераты, они-то, говорят, и стены кремлевские взорвали... Ну, поляки и выручили Шприхворта. Дом его сгорел, имущество пропало. Музей у него по натуральной истории был, так чернь нарочно истребила. Он, говорят, порчу на народ честной напускает.

Да и относительно Михаила Михалыча. Ежели бы пугачевцы его не растерзали, все равно не уцелеть бы ему. Его же дворовые ходили да чернь подбивали, чтобы расправиться со стариком. Заявили, что он, дескать, колдун. В доказательство носили к Ваське Дубовскому «замурованного черта»...

— Что такое?

— У нашего натур-философа блоха дохлая под увеличительным стеклом была. Так они ее за изловленного «колдуном-звездочетом» черта приняли. Торжественно в Волге утопили...

— Дикари! А Агаша?

— Спит... Подожди, разбудим, Петя. Бог спас; поправляется. Только странная какая-то. Почти не говорит. Думу какую-то думает...

— Ну, а теперь как живете?

— Да так и живем. Слава богу, от присяги самозванцу уклониться удалось. Позабыли злодеи про нас. А скольких они в первые дни по взятии Казани перебили за отказ присягнуть! Ну, а уцелевшие все переписаны. Таскают многих в бывшую губернаторскую канцелярию, в казенную палату, в магистрат, как принялись порядок свой устанавливать, оказалось, что грамотные люди нужны. Сначала грамотность чуть ли не за государственное преступление почитали, грамотных истребляли, а теперь уцелевших служить заставляют. Таскали и меня, да я отбоярился: глаза плохо видят. Ну, оставили в покое пока что. Добро наше, конечно, все дочиста разграблено. Случайно два сундука с вещами уцелели: Арина, — спасибо ей, — догадалась на огороде зарыть. Вот и живем теперь, выменивая вещи на съестные припасы...

— Денег нет? — осведомился Петр Иванович.

— Где уж?! Какие теперь деньги!

Молодой князь вытащил из кармана вязаный кошель и сунул отцу:

— Пятьдесят червонцев. На несколько месяцев хватит... Только смотрите, чтобы не пронюхали злодеи!

— Откуда у тебя? — удивился старик.

— Добываем! — усмехнулся Левшин в ответ. — Сами мятежники научили, как действовать нужно... Охотимся на крупного зверя. Шерстку внимаем...

— Грабителей грабим, — промолвил Петр Иванович. — Думаю, греха большого нет. На той неделе выследили одного «князя Куракина» из бывших поваров чьих-то, так на нем одиннадцать фунтов одних перстней золотых нашли

— А с ним что сделали? — полюбопытствовал князь.

— То, что заслуживал. Больше никого грабить не будет...

— Господи, господи, что творится! — вздохнула Прасковья Николаевна. — Но вы-то, голубчики, какую жизнь ведете?

— Волками стали, волчью жизнь ведем! — отозвался Левшин. — Что поделаешь? Теперь такое время! Да вы спросите: откуда мы к вам теперь попали?

— А откуда?

— Три недели назад в Москве были.

— В Москве?! — ахнула старая княгиня. — Где Емелька-антихрист сидит?

— В Москве же и узнали, что вы уцелели и застряли в Казани. Ну, порешили заглянуть сюда

— Господи, господи! И не страшно?

Левшин засмеялся.

— Ну, ежели нашему брату страха бояться, так лучше и не жить, Или идти да присягать Емельке на верность.

— Здесь долго останетесь?

— Дня два-три, не больше. На татарской слободке у дружков приют имеем... А потом — в

путь-дорогу. Нас Иван Иванович ждет. Мы ведь с поручениями от него.

— Это кто ж такой?

— Михельсон! — четко выговорил Левшин.

— Да разве он жив? — удивился старый князь. — А у нас тут, в Казани, его давно уж похоронили...

— Не только жив, но и орудует против «анпиратора». И будь у нас таких людей, как он, побольше, не дожидаясь России до такого позора — видеть во главе государства шайку каторжников... Ну, да ничего, посмотрим, что из всей этой затеи еще выйдет. Емельке и в Москве не очень-то удобно сидится. Заперся в Кремле, как медведь в берлогу забрался, и из Кремля никуда высунуться не смеет без огромного конвоя.

— Да как его, злодея, Москва терпит? Что же население смотрит? Москва — сердце России. И, вдруг...

Левшин нахмурился.

— Москва — большая Федора, да дурра. Баба какая-то разгульная. Ведь ежели бы после гибели императрицы Москва не ополоумела, разве бы добрался Емелька до трона императорского? Одного гарнизона московского было предостаточно, чтобы мятежников в пух и прах разнести. Двадцать пять тысяч человек было! И не каких-нибудь провинциальных захудалых полков, а настоящих боевых, первых после гвардии! Дворянского ополчения, почитай, пять тысяч человек. Купеческие дружины, мещанские, от духовенства... В общем до сорока тысяч было...

— Такая сила, и вдруг...

— Сила-то сила, да ее зараза погубила. Не в сражениях рать полегла, а сама расплзлась. Как в Костроме, как в Курске, как в Киеве...

— Да почему же, почему, Костя? Что же это такое?

Подумав, Левшин глухо ответил:

— Будучи еще в Шляхетском корпусе, видел я однажды опыт один любопытный. Один из помощников Ломоносова показывал в устроенной тогда Шуваловым мозаичной мастерской. Плавят стекло, а потом сбрасывают его каплями в воду. Так оно там в воде и застывает капелькой, словно маленькая грушка с острым, как иголочка, хвостиком. Ну, ничего, держится. А вот стоит этот самый чуть заметный, в ниточку вытянувшийся кончик обломать, и вся эта стеклянная грушка мгновенно рассыпается прахом.

Так, выходит, и с нашим государством: держится оно, покуда стерженек тонюсенький цел — государь. А стоит ему обломиться — и все разваливается.

— Но ведь и раньше бывали замешательства при смене одного государя другим. Однако же...

— Замешательства бывали. Развала не было, ибо была, так сказать, преемственность власти. Умер Петр Великий — сейчас же возрождается законная власть в лице Екатерины Первой. Свергнут малолетний Иоанн Антонович — а на престоле сидит дочь Петрова, Елизавета. Убит Орловым в Ропше Петр Третий — но на престоле уже сидит его вдова Екатерина Алексеевна. Биение сердца государственного не прекращается ни на единый миг. Работа государственной машины не прерывается. И все население знает, кому оно повинуется и почему обязано повиноваться, перед кем ему придется ответ держать.



А ведь тут, когда погибла государыня, все оборвалось! Нет императрицы, которой присягали. Нет законного наследника престола. Есть какое-то Временное правительство, неведомо по какому праву образовавшееся. Почему я должен повиноваться ставшему во главе этого правительства князю Алексею Меншикову? Разве он — царь?

Тогда возник вопрос: не избрать ли немедленно кого-нибудь на престол. Выплыли Рюриковичи: Белосельские-Белозерские, Долгоруковы, Трубецкие. У каждого кандидата — своя партия. Каждая партия готова другую в ложке воды утопить. Идет свара. Никто не повинуется Временному правительству, никто не исполняет указов Сената. Население все больше и больше приходит в смущение. Дела останавливаются. В армии шатание. Сенат без конца совещается, сенаторы препираются, когда надо принимать молниеносные решения. А тем временем подосланные Емелькой смутьяны колобродят, мутят народ. Зовут солдат и офицеров переходить на сторону «анпиратора».

И вот сложилось такое положение. С одной стороны Временное правительство — нечто безличное, а с другой стороны «анпиратор» — лицо, персона. А толпа, ведь, такова: ей нужно за кого-нибудь уцепиться. Ей нужно определенное единое лицо. Ну, и пошло все расплзаться...

В Орле проявился какой-то «цесаревич Георгий», будто бы сын от тайного брака покойного Иоанна Антоновича с дочерью коменданта Шлиссельбургской крепости. Шустрый парнишка из военных писарьков. Взбаламутив местный гарнизон, привлек на свою сторону мужиков, обещая им уничтожение крепостного права. В Туле нашелся какой-то «пророк Израиль», вероятно, свихнувшийся человек, начетчик Библии и галлюцинат. Тот прямо объявил себя царем. Сманил рабочих и мещан. В Батурине вынырнул «цесаревич Алексей Кириллович» — мнимый сын от тайного брака Елизаветы с Разумовским. А в Полтаве отыскался праправнук Богдана Хмельницкого, казак Ханенко, а в Петрозаводске появилась вторая «княжна Тараканова». Даже в южной армии стали выплывать самозванцы, мутившие солдат и натравливавшие их на офицеров, особенно на высший командный состав. Им удалось поднять настоящее возмущение в лагере. Кучка мятежников ворвалась в палатку генералиссимуса Румянцева, когда там шло совещание. Сам Румянецв был ранен. Григория Александровича Потемкина мятежники схватили и поволокли из их палатки, чтобы повесить. Если бы не оставшиеся верными Суворову фанаторы, Потемкин и Румянецв погибли бы. Во всяком случае в самом лагере произошло великое смятение, полк шел против полка. Артиллерия была вынуждена стрелять по взбунтовавшимся картечью. Мятеж удалось подавить, но какой ценой?! Были наворочены горы человеческих трупов. В сражении погибло множество верных делу людей. Армия получила страшный удар, сразу обессиливший ее. Мятежники разбежались. Многие ушли к туркам, другие нестройными толпами, грабя мирное население, пошли в Россию. Гнаться за ними не было возможности, потому что при первых же вестях о мятеже Мустафа-паша; бросил на наш лагерь своих янычар и башибузуков. Его удалось отбить, но удержаться не было возможности: нашей обессиленной армии грозила опасность оказаться в таком положении, в каком около полувека тому назад оказалась армия Петра Великого на Пруте. Пришлось отступать, отступать, покидая на произвол судьбы все то, что было завоевано долгой и кровопролитной войной...

— Но ведь армия-то уцелела! Почему она не действует? Почему не идет на Москву? Что думает Суворов?

— Ежели почитать за армию тысяч тридцать человек, обладающих ружьями и пушками, но почти не имеющих ни пуль, ни снарядов, ни пороха, ни перевязочных средств, то армия уцелела. Но эта армия находится в иностранном государстве, у господаря Молдаво-Валахии. Господарь согласился принять остатки армии, но чинить ей всяческие притеснения. Австрийцы заняли Бухарест сотысячной армией под предлогом охраны столицы княжеств от турок, на самом же деле, чтобы не допустить туда наших. Венгерская конница сторожит наших, готовясь при первом удобном случае наброситься на них.

— Уходили бы домой...

— Суворов рвется в Россию. Он боится, что при дальнейшем промедлении похода армия совершенно растает от болезней и от побегов измученных солдат. Но австрийцы загромождают дорогу. Придется пробиваться...

— Суворов пробьется!

— Но ведь в Малороссии восстание. Там появился внук гетмана Полуботка, поднял подкупом запорожцев. Возродилась старая гайдаматчина. На необозримом пространстве от Днестра и до Северного Донца снуют шайки гайдамаков, грабящих мирное население. Ежели нашей армии и удастся вырваться из полуплена, то ей придется прокладывать себе дорогу до Москвы штыками...

Пугачев, завладев старой столицей, стянул туда всю свою ораву. Мятеж, как огненный вихрь, и сейчас разгуливает по русской земле. Везде и всюду колодники освободились, и бредут толпами к столице: их созывает Хлопуша. Из них он устраивает новую «анпираторскую гвардию». В Кремле стоит этот «каторжный гарнизон», в котором насчитывается теперь уже до десяти тысяч отпетых душегубов. Но это только «головка», только самые отчаянные головорезы. А кроме них в Москве имеются и другие каторжные полка

— А население?

— Что может сделать толпа безоружных людей против отлично вооруженных душегубов? Кто может, тот бежит. Остальные трепещут и повинуются, злобствуют, зубами скрежещут, но бессильны сделать что-либо. На первых порах было море разлитое, пир на весь мир, покуда не сожрали запасы. Теперь, с наступлением зимы, с каждым днем положение делается все хуже да хуже. Крестьяне, раньше охотно привозившие в Москву муку, сало, всякую живность, чтобы получить в обмен награбленные у горожан вещи, теперь боятся даже приближаться к Москве: пугачевская ненасытная орда их грабит. Из-за недостатка в припасах приходится посылать по деревням целые отряды, но толку от этого мало: крестьяне хоронят свое добро в земле. Да ежели такому отряду и удастся путем грабежа раздобыть кое-что, только самая ничтожная часть добытого довозится до Москвы, потому что потребляется самими этими отрядами. Ближайшие окрестности Москвы уже опустошены. В поисках припасов пугачевцам приходится посылать отряды все дальше и дальше.

— Чем же это все кончится, Костя? — спросил с тревогой в голосе Иван Александрович.

— Один бог только знает! Хорошим для Пугачева кончиться не может. Не с чужих слов, а по личным наблюдениям говорю: тот самый простой народ, который дал возможность Пугачеву добраться до престола, уже открыто злобствует против него и всей его шайки. И чем дальше, тем это злобствование будет все сильнее. На Дону уже в полном разгаре казачье восстание против «анпиратора». Так сказать, второй мятеж. Емелька посадил казакам на шею своего ставленника, Хмару, в Великие атаманы. Едва добравшись до Дона, Хмара и весь его отряд были заманены казаками в ловушку и зарезаны, как бараны. Теперь донцы созвали свой собственный Великий войсковой круг. Этот круг избрал нового Великого атамана и всех войсковых старшин, поголовно из зажиточных казаков. Голытьбе это не понравилось, началась кровавая склока, избрали своего атамана. Теперь атаманы воюют друг с другом, станицы и хутора пылают, а тем временем из Трапезунда морем пришла турецкая флотилия. Турки почти не встретили сопротивления, завладели крепостью Святого Димитрия Ростовского и посадили там крепкий гарнизон. Это — конец всему донскому казачеству.

— А в Петербурге что делается?

— Петербург шатается, но еще держится. Там сидит пока что Временное правительство. На его счастье, старые гвардейские полки — Измайловский, Преображенский — почти целиком

сохранились. Но Петербург находится в опасности с двух и даже с трех сторон. Из Швеции доходят тревожные вести. Шведы спешно собирают армию. Ежели теперь, принимая по внимание затруднительность морских операций по зимнему времени, нападения и не будет, то к весне такое нападение сделается почти неотвратимым. Фридрих прусский уже двинул своих померанских гренадеров к границам Курляндии. А с юга — пугачевцы...

— Ежели бы великий государь Петр Алексеевич встал из гроба да посмотрел, что мы, недостойные потомки, сделали из создания его рук, из великой империи!..

— Да, не порадовался бы! — ответил глухим голосом Левшин.

Вышла из своей светелки княжна Агата. Она была бледна, как полотно, — ни кровинки в лице, худа и еле держалась на ногах. Казалась она скорее выходцем из могилы, чем живым человеком. Вся ее жизнь сосредоточилась в красивых черных глазах.

Агата слабо улыбнулась при виде наряженных по-татарски брата и Левшина, поняла, для чего это делается, и не задала ни единого вопроса. Сидела, молча слушая разговор, и только время от времени движение резко выделявшихся на белом лице черных бровей строгого рисунка выдавало ее волнение.

— А я на том свете... побывала, да вот не принял меня господь! — сказала шепотом Агата. — Пощадил всевышний мою жизнь. Нужно, чтобы я жила. Назначил мне бог высокую цель... И даст мне для выполнения сей цели потребные силы и мужество...

Князь Иван Александрович ласково махнул рукой на дочь:

— Поправляйся, ласточка! Чего там думать о каких-то высоких целях?! И то чудо, что уцелела! Ведь Вильгельм Федорович уже и надежду помочь тебе потерял. Почти всю неделю у нас лекарств для тебя не было...

— А, может, это и к лучшему! — вмешался молодой Курганов. — Нет, право же! Шприхворт заморил Агату кровопусканиями. А оставил он ее в покое — сама с болезнью справилась...

Разговор перешел к планам и намерениям молодых людей. Левшин вкратце пояснил, что пробыв несколько дней в Казани, они отправятся к партизанским отрядам Михельсона, бродящим по предгорьям Урала. Посоветовал семье Кургановых продолжать пока что отсиживаться в Казани: все равно при нынешних условиях почти нечего рассчитывать добраться до Петербурга, а в Москву и подавно не следует стремиться.

— Была такая думка, — признался старый князь, — перебраться за границу, но на это большие деньги нужны...

— Очень многие-такие ушли за рубеж! — сказал Левшин. — Бегство и сейчас идет. Уходят в Швецию, Данию, Польшу, Австрию. Но бегство сопряжено с невероятными трудностями, так как чернь всюду бушует. Надо терпеть: авось господь сменит свой гнев на милость. Не может же русская земля долго жить такой корявой жизнью! Брат на брата восстал. Такого повального душегубства, поди, и в дни Смутного времени не было. Народ уже теперь местами голодает.

— А что подельывает Юрочка Лихачев? — спросила Прасковья Николаевна.

— Ваш племянничек — молодец! — отозвался одобрительно Левшин. — Теперь у него собственный партизанский отряд, человек уже до ста. «Гусары смерти» называется. Немного театрально, должно быть из какой-нибудь французской книжки вычитал... Он большой любитель чтения. Ну, ничего. Это не мешает ему быть лихим партизаном.

— А эта... как ее Ксюшка, что ли? — спросил старый князь.

— Ваша Ксюшка безотлучно при Лихачеве пребывает! Разбой-девка! Одета по-мужски, вооружена до зубов. Рубиться выучилась. Стреляет лихо. На коне — и не подумаешь, что женского пола... В схватках зверь зверем делается. А главное, для разведки очень уж полезна. Она да Петька-казачок. Переоденутся оба, она — крестьянской девкой, он — парнишкой в лапотках да в сермяге, и все, что нужно, выведдают. Без них отряд Лихачева много потерял бы.

Такие люди теперь вот как дороги. Ведь партизанство без удержу разрастается. На одном Урале уже есть до пятидесяти отдельных отрядов под общим руководством Михельсона, который держится возле Перми.

— У нас тут одно время ходил слух, будто где-то в чужих землях императрица Екатерина Алексеевна объявилась! — вымолвил князь Курганов. — Будто бы по счастливой случайности удалось ей спастись при потоплении «Славянки» «Агамемноном», ее подобрали на свою лайбу чухонцы, не зная, с кем имеют дело, и доставили в Або. Оттуда перебралась она в Гданьск что ли...

— Слух верен: появилась такая особа в Гданьске. Но скорее всего самозванка, может быть, даже помешанная. Лицом на покойную государыню не похожа совсем. Смуглая, черноглазая, черноволосая. Агенты прусского короля, было, уцепились за нее: хитер Фридрих, на одном луке две тетивы держит. Не выгорит с Емелькой, так, может, мнимая Екатерина пригодится... Однако, не повезло: у самозванки любовник был, беглый гренадер какой-то, так он ее из ревности прирезал там же в Гданьске!..

— А еще поговаривают, где-то цесаревич Павел Петрович появился...

Левшин и молодой Курганов переглянулись.

— Ну, будет об этом! — сказал, поднимаясь, Левшин. — Хотелось бы побыть с вами, да нельзя. Дел у нас с Петром Ивановичем немало. Перед уходом из Казани заглянем еще. А теперь позвольте пожелать доброго здоровья.

Они простились и вышли...

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Отпраздновав в московском Кремлевском дворце первый день Рождества, «анпиратор» со свитой и многочисленным конвоем выехал из своей столицы рано утром 26 декабря на медвежью охоту в Раздольное в ста двадцати верстах от Москвы. Там было огромное имение графа Алексея Петровича Шереметьева, отобранное теперь в казну. Вышло это совершенно неожиданно для всего «двора» и особенно для двух главнейших приближенных Пугачева: сделавшегося после взятия Казани «генерал-аншефом» бывшего поручика Минеева и ставшего императорским канцлером князя Мышкина-Мышецкого. За несколько дней до святок главный управляющий бывшими имениями Шереметьева вологжанин Чугунов, родственник Голобородько, страстный охотник, случайно заповелевал близ Раздольного редкую в московской округе дичину, могучего сохатого и немедленно же воспользовался этим случаем, чтобы напомнить о себе «его царскому величеству», привезя Пугачеву «в презент» замороженную тушу оленя, якобы от имени крестьянского населения Раздольного и других отписанных в казну земель Шереметьева. Занимавшие в новом правительстве высокие посты Юшка и Прокошка Голобородьки, которые усиленно покровительствовали Чугунову, облегчили ему доступ к «анпиратору». Шустрый вологжанин, прибывший с двумя дюжими сыновьями, белокурыми и голубоглазыми статными парнями, кроме оленя, бил челом «его

царскому величеству» старинным серебряным жбаном времен Михаила Федоровича, полным венгерского сладкого вина из погребов Шереметьева, двумя позолоченными кубками и роскошной медвежьей шкурой, удивившей Пугачева своей величиной.

— Великий и преславный государь! — льстивым голосом говорил Чугунов, низко кланяясь и показывая на медвежью шкуру. — Не обессудь на нашей бедности! Чем богаты, тем, значитца, и рады! Для согревания твоих царских ножек, коли вздумается твоему величеству в саночках по снежку прокатиться...

— Матерый был зверюга! — удивился Пугачев, косясь на медвежью шкуру. — Мне таких, признаться, и видывать не приходилось...

Чуть было не обмолвился, что, мол, «у нас на Дону ведьмедев не водится», да вовремя прикусил язык.

— Матерый, матерый был Михайло Иваныч! — зачастил обрадованный приемом Чугунов. — Одначе, попадают и побольше его. Вот, примером, наши же лесничие по первому снежку обошли берлогу, что раньше не примечали: залегла в ней большущая медведица, матка, а с ней двое малышей, первогодков да пестунчик препорядочный...

— Убили? — полюбопытствовал «анпиратор», поглаживая корявой рукой длинную пушистую шерсть медвежьей полости.

— Не! Как можно?! — возразил Чугунов. — Только, значит, обнаружили. Ну, мне доложили. Порядок соблюдают. При графе самому докладать было велено. Он, граф-то, медвежатник. Сам любил медведей на рогатину поднимать. Ну, а как теперь именице стало царское, то, значитца, и которая животная в ем — тоже царская стала. Так оно и выходит, что ты, батюшка великий осударь, всему хозяин. Ну, и докладую я тебе, а уж ты сам порешишь, как быть: прикажешь поднять — подыдем, охотников-то у нас немало, а пожелаешь сам потешиться, так тому и быть. А мы твои верные слуги...

Тусклый взор Пугачева заблестел.

— Давно не охотили на медведя, — вымолвил он живо. — Поди, и позабыл, как брать-то ихнего брата... Ай вспомнить? Ай побаловать свою душеньку?

— А что же? Зачем дело-то стало? — поддакнул Чугунов. — Лихо оборудуем. Мигни только, великий государь!

— А ты как думаешь, твое превосходительство? — обратился Пугачев к присутствовавшему при приеме даров старому князю Мышкину-Мышецкому.

— А что мне думать? — сухо ответил тот. — Дел-то, конечно, не оберешься. Вот, я опять с важным докладом...

— А ну их к ляду, твои доклады! — рассердился Пугачев. — Что это, право? Дыхнуть вы мне не даете, господа министры! Лезете, как мухи на мед. Ни днем, ни ночью покоя не даете. Вас ублагодворять, так и спать не пришлось бы. Что я, двужильный что ли али каторжный какой? Гульнуть хотца — нельзя: законы там какие-то обдумывай. Поохотиться в кои-то веки раз потянуло — «делов много», нельзя! Проехать куда из вашей Москвы постылой вздумалось — никак нельзя: посланника там какого-то, черта лысого, принимать надоть.

Мышкин, пожав плечами, еще более сухо ответил:

— Воля вашего величества. Мне что? Могу и подождать с докладом.

— Да о чем доклад-то? — угрюмо осведомился Пугачев. — Поди, опять о полячишках?

— По польскому вопросу... Получивши вчера новую польского короля дипломатическую декларацию...

— Ох, и допекли же меня полячишки! Ох да и скрочу же я этих панов в бараний рог! — вспылал Пугачев. — То есть, так расчешу... Житья из-за них нет, треклятых! Лопнет, ой, лопнет мое терпение!

Мышкин-Мышецкий чуть приметно улыбнулся кончиками губ. Не замечая его насмешливой улыбки, закусивший удила Пугачев уже почти кричал:

— Отписывай крулику ихнему сам, присходительство. Моим именем. Да навороти, чтобы панам под душку подкатило. Подопри-ка им бока! Пожестче! Остерегайтесь, мол, раздражать его анпираторское величество, а то как бы он вашу Польшу, словно матерую медведицу, на рогатину не посадил. Не уйметесь, так, мол, ждите гостей в Варшаве да в Кракове. Иди-иди, князь! Пиши! Мое слово твердо! И слушать ничего больше не хочу. Надоело!

— Да дело-то разобрать бы надо!

— Дело не медведь, в лес не убежит. Вот съезжу в Раздольное, разомнусь малость, освежусь, а когда вернусь, то и разберусь. Слово мое твердо: поеду брать шереметьевскую медведицу. А ежели что, то опосля подниму на рогатину и варшавскую. Поди, не тяжельше будет. Иди, иди, князь! Не серди ты меня, ради Исуса!

Мышкин-Мышецкий, видя, что на «анпиратора» нашел его «стих... и сговориться с ним все равно нет возможности, молча поклонился и отошел в сторону.

— Ну, а ты, наш енаралиссимус? — обратился Пугачев строптивым голосом к безносому Хлопуше, который по привычке прикрывал обезображенное лицо платком. — Неужто и ты в меня вцепишься да будешь отговаривать от медвежьей охоты?

Хлопуша, подумав, хриплым и гнусавым голосом ответил:

— Нет, по мне, осударь, как тебе захочется. Потянуло погулять, вольным воздушном подышать, — ну-к что ж? Справимся и без тебя... Да ить ненадолго укажишь-то?

— Дня на три.

— Невелико время. Да и не так уж далеко. Случись что, мигом оповестим. На кульерских.

Тень тревоги и подозрения легла на одутловатое лицо «анпиратора». Искося посмотрев на Хлопушу, он деланно небрежным голосом спросил:

— А сам-то ты тут, в Москве, что ли, останешься?

— А это уж как ты, осударь, прикажешь, — спокойно ответил Хлопуша. — Мое дело такое: прикажешь здесь сидеть — посижу, посторожу Москву, прикажешь тебя сопровождать — поеду с тобой. Команду сдам какому подручному. Обойдется столица и без нас денька три-четыре. Мы ей хвост-то во как прищемили. Пикнуть не смеет, не то что...

Морщины на лбу Пугачева разгладились. Взор просветлел.

— Люблю тебя, друже, — вымолвил он, поглаживая жидкую тронутую сединой бороду. — Верный ты мне слуга, граф Панин. Могу на тебя положиться! Не выдашь. Ну, поедем! Погуляем вмestях-то. Закисли мы оба тут. Чтой-то, право? Словно в остроге каком сидим, никуда нос не показываем. Надоело мне!

Хлопуша предостерегающе крикнул. Пугачев недовольно поморщился, вздохнул, потом уже

нарочито важным голосом обратился к Чугунову:

— Угодил ты нам, добрый человек. Ну, и, значит, тебе наше царское благоволение и все такое. А в награду проси, чего хочешь. Хочешь, твоих сынов в нашу царскую гвардию ахвицерами сразу запишем? Ребята-то ладные. Стараться будут — в енаралы выйдут. Очень просто!

— Покорно благодарим, ваше величество! — залебезил Чугунов. — Честь-то какая, ах ты, господи! Обормотов таких да в гвардию, да в енаралы? Только, ваше величество, дозвожь бить челом с просьбишкой: не вели казнить, вели миловать. Записать-то обормотов в гвардию — отчего нет? А только очень бы хотелось, чтобы они пока что при мне, при отце оставались. Дело-то у меня по управлению трудное. Без подручных никак не обойтись. Народ-то распустился, все волком смотрят да куски рвут. А на кого положиться можно по нынешним временам? Только на кровных. Я и то вокруг себя родственников да свойственников собираю отовсюду. Надежнее как-то. Все свои люди. Авось не выдадут, случись что. А сыны мои очень уж ловко с мужичьем управляются...

Пугачев махнул рукой.

— Ладно. А ты, граф, запиши-ка их! Пущай им чины идут. Голобородьки-то мне — самые верные слуги. Еще когда я, скрываясь от моих врагов, в простом виде скитался, они мне большие услуги оказывали. Надоть и их отблагодарить. А Чугуновы — сродственники ихние. Я все помню.

— Осчастливь, великий осударь, словом своим милостивым! — обрадовался благополучному исходу дела старик-воложанин, — Скажи, когда пожаловать в Раздольное соизволишь? Как-никак надо нам и приготовиться для приему!

— На второй день Рождества располагаю ехать! — подумав, заявил «анпиратор». — Сколько верст, гришь, будет?

— Сто двадцать. Восемьдесят по тракту, а потом проселками около сорока. Да мы всюду подставы выставим: графские кони — чистые львы. На всю Россию завод известен. Еще при Петре Первом заведен. Арабских жеребцов тогда царь подарил деду нынешнего графа... Ежели утром соизволишь выехать да на каждых, скажем, двенадцати аль пятнадцати верстах перепрягать, то к вечеру и в Раздольное поспеешь. Очень просто. А утром, скажем, можно и на охоту выйти. А потом того — отдохнуть, погулять. Праздничек устроим, как полагается, по-христиански. Прикажешь, красных девушек, лебедушек-молодушек соберем: пущай песни играют да хоробы перед твоим светлым оком царским водят.

Пугачев откликнулся:

— А которые поглаже, ну, те пущай постель мне погреют да пятки почешут, байками сон сладкий нагонят! Хо-хо! Ну, и шельма же ты, Чугун старый! Ладно, ладно! Вижу твоё старанье. Ну, целуй руку и айда! Так жди нас с енаралитетом в гости вечером на второй день. Беспременно пожалуем. Проветриться... А то, на поди: въелись мне тут со своими делами в печонки. Дыхнуть не дают...

\* \* \*

Выехать на медвежью охоту в Раздольное предполагалось на рассвете 26 декабря. Но весь первый день Рождества прошел в праздничном пировании, в котором приняли участие все

приближенные «анпиратора», а к вечеру пир перешел в дикую попойку. Старый князь Мышкин-Мышецкий, единственный из людей европейского образования при «анпираторском дворе», пользуясь тем обстоятельством, что разгулявшиеся гости «анпиратора» предались буйному веселью и перестали обращать на него, канцлера, внимание, стушевался и ушел в отведенный ему и его «иностранный коллегии» флигель старого дворца постройки графа Растрелли.

Пугачев, уже много выпивший, но еще крепко державшийся на ногах и зоркий, увидел маневр старика и крикнул ему вслед:

— Улепетываешь в свою берлогу, старый хорек? Улепетывай, улепетывай! Какой из тебя питух?! Ха-ха!

В соседней комнате, где на роскошных обитых тяжелой штофной тканью диванах уже спали несколько побежденных хмельком гостей, Мышкин-Мышецкий наткнулся на Хлопушу, перешептывавшегося о чем-то с одним из бесчисленных представителей племени Голобородько. При приближении канцлера они сейчас же смолкли

— Уходишь, князь? — спросил Хлопуша. — Неужто работать собираешься? На первый день праздничка-то? Не по-христиански чтой-то...

— Ну, да и здесь мало христианского, — сухо ответил князь, играя седыми бровями — Поди, во всем дворце, кроме тебя да лакеев-арапов, ни одного трезвого человека не найти.

— Ай грех? — подмигнул Хлопуша, прикрывая лицо рукавичкой. — Народ на радостях веселится...

— Ну, радоваться как будто бы и нечего, ежели по совести сказать, — чуть слышно вымолвил Мышкин-Мышецкий. — Сам знаешь, как дела идут...

Взор Хлопуши заблестел злорадно.

— А ты, барин, чего ожидал-то? Ай думал, что при такой томаше да все как по-писанному пойдет?

— На большую гладкость не рассчитывал, но и такого повального безобразия, признаться, не ожидал.

— Ай поджилки трястись начинают? — лукаво поблескивая серыми глазами, спрашивал Хлопуша. — Кишка в тебя, вижу, тонка! Одно слово — барская кишка, нежная...

Встал, потянулся, зевнул, перекрестил рот и уже иным, сухим и деловитым тоном сказал:

— Коли не побрезгуешь, сам пройду я к тебе. Надоело тут чего-то. И впрямь, мало хорошего. Нализались да нажрались, как свиньи, нашего пресветлого величества верные слуги. На радостях, что дорвались... Поди, к утру которые и окочурятся с перепоею. Сволота! А мне с тобой, присходительство, тоже поговорить хотелось бы. Прямо говорю: любить тебя не люблю, ты — барская косточка. Но за ум твой очень уважаю. Голова, а не тыква у тебя на плечах сидит. Одного не пойму: почто спутался с нами, с варнаками каторжными? Ну, да это твое дело. Меня это не касается. Ты свою линию гни, я свою гнуть буду. Делить нам нечего.

— Ну, и тебе на безголовье жаловаться не приходится, — серьезно вымолвил князь. — Тоже прямо скажу: и я любить тебя, конечно, не могу, уж больно ты лют, Малюте Скуратову не уступишь...

Хлопуша хрипло засмеялся.



— Сибирской тайги выученик, князюшка! Ну, да и от родителей и прародителей унаследовал. Мой батюшка покойный раньше, чем на плаху попал, поди, человек до ста своими руками на тот свет спровадил, так больше в шутку... Ай, мне от него отставать?

— Но в голове у тебя не глина — продолжал Мышкин-Мышецкий. — Будь ты пообразованнее, многое с тобой тогда можно было бы наладить... Один ты, кажись, и можешь на... на него влиять.

Оглянувшись и убедившись, что подслушивать некому, Хлопуша шепотком сказал:

— Чутьочку побаивается. Да не очень уж! Раньше больше слухался. Бывало, побрыкается-побрыкается, да и сдается. А как взяли Москву, возгордился. Поди, и впрямь вообразил себя заправским царем. Про бога больно часто поминать стал. Друзья, мол, приятели. Он, бог, мол, на небе, а я, его избранник — на земле. В помазанниках ходить полюбил. А кто и чем его мазал-то? Разве что хорунжий да сотник, скажем, благословенным кулаком да по окаянному рылу смазывал...

— Потихе ты! — предостерег князь.

— Ничего. Ты не доносчик, а энти...

И он пренебрежительно махнул рукой в сторону.

— Рвань коричневая... И откуда этой сволоты столько набралось, скажи ты пожалуйста?! Эх, дура была царица покойная. Известно, немка белотелая. Жалостливая тоже. Лучше, мол, девять виновных помиловать, чем одного невинного наказать. Не знала, баба, какой мы народ. По нашему характеру лучше десяти невинным головы оттяпать, чем одного виновного выпустить. Он один-то таких делов наделает... С нашим братом добром много не наделаешь. Наш народушко такой, дуй его и в хвост, и в гриву без отдыха, оглядываться не давай, так он, как битюг, везти будет, а распустил вожжи — так он и оглобли поломают...

— Пойдем, поговорим! — согласился канцлер. — Дешеш новые пришли. Новости всякие, веселого только мало...

— Ничего, все утрясется, — засмеялся Хлопуша. — Полтора ста лет назад, говорят, тоже была завируха... А ничего, утряслось.

Когда они проходили через следующую комнату, какой-то пьяный в атласном камзоле, с трудом удерживаясь на ногах, загородил им дорогу.

— Сиятельному графу Никите свет Иванычу! — пропел он, раскланиваясь. — Сорок одно с кисточкой. Гул-ляем! Одно слово — проси, душа, чего хошь. Гуляй, Матрешка, на все медные...

Князь брезгливо посторонился. Хлопуша схватил пьяного за руку, дернул так, что тот повернулся к нему спиной, ткнул его кулаком в шею и коленом ниже спины, и пьяный, пролетев несколько шагов по залитому водкой паркету, растянулся в ближайшем углу.

— Мразь треклятая! — проворчал Хлопуша. — Наползло их к нам, как клопов.

В коридоре они наткнулись на дикое зрелище: двое пожилых пьяных людей в шитых золотом генеральских мундирах тискали не менее их пьяную молодку в роскошном гродетуровом платье с пышными фижмами. Она притворно отбивалась от них, хихикая, и твердила:

— Бесстыдники какие, право! И чтой-то вы со мною, бедной сиротой, делаете? И как только вам не совестно, право?

Она разомлела, по круглому, грубо набеленному и нарумяненному лицу катился пот, оставляя полосы на щеках, черные брови странно топорщились, а из груди вырывалось хриплое дыхание, прерывавшееся смешком.

Всего полгода назад она была мамкой, служила в семье какой-то магистратского чиновника. Когда пугачевцы пришли в Москву, она пожаловалась на своих господ, и те были перебиты озверевшей чернью. А бывшая мамка, меняя любовников чуть не каждый день, в конце концов оказалась законной супругой одного из новых государственных сановников, капризом судьбы из мелких приказных ставшего вдруг важной шишкой. Эта чета тоже пожаловала на рождественское пиршество в кремлевский дворец. Супруг круглолицей Дашки, дорвавшись до вина, через час уже лыка не вязал и теперь спал под столом, обнявшись с другим упившимся «сановником» из бывших барских кучеров, а супруга, встретившая на пиру старых знакомых — Гришку-«фалетура» и Митьку-цирюльника, ставших генералами, — разыгралась, как вырвавшаяся на свободу кошка в марте.

— Не балуйся, робятки! — обратился к возившимся зловецим шепотом рассердившийся Хлопуша.

Гришка-«фалетура», запустивший руку за пазуху своей дамы, нагло ухмыляясь, отозвался:

— А ты что за указчик? Тебе какое дело?

— Да вы, черти, где? Что это вам, сеновал, что ли? еще понижая голос, вымолвил Хлопуша.

Митька-цирюльник напыжился, собираясь ответить, но не успел. Железный кулак Хлопуши треснул его в зубы, и он свалился, как сноп. Еще немного, и другой удар свалил и Гришку. Ошалевшая дама изумленно и вместе расслабленно вымолвила:

— Вот так штука! Как же это? Ни за что, ни про что и вдруг... По сусалам... Хи-хи-хи... Может вы, кавалеры, и меня побьете?

Хлопуша-вместо ответа приблизил свое изуродованное лицо к лицу женщины. Сквозь румяна проступила смертельная бледность, а красивые черные глаза налились страхом. В горле что-то забулькало.

— Сука. Удавить бы тебя! — прошипел Хлопуша.

— Оставь. Ну ее! — вступился Мышкин-Мышецкий. — Стоит руки марать об такую мразь? Не надо было всякую дрянь во дворец впускать. А раз впустили...

Заметив вытянувшегося у дверей рослого придворного лакея, Хлопуша кивнул ему.

— Эй ты, холоп! Позови там еще кого. Да поздоровее!

— Что прикажете, васияство? — еще более вытянулся лакей, поедая глазами всемогущего генералиссимуса.

— Этих... троицу... от моего имени... Пересчитать ребра и выкинуть. Чтобы и духу не было!

— Слушаю, васияство!

На каменном лице лакея отразилась живейшая радость. На его зов вывернулись другие дюжие лакеи. Замелькали увесистые кулаки. Послышался рев пострадавшей «придворной дамы», потом все смолкло. Избитых гостей выволокли, дотащили до высокого крыльца и с него сбросили прямо в снег. Злорадно гогоча, лакеи кричали кучерам стоявших перед крыльцом раззолоченных карет:

— Подходи, ребята, с фонарями! Разбирай, чье такое добро. Развози по домам!

Тем временем князь Мышкин-Мышецкий и успевший уже успокоиться Хлопуша, пройдя длинными коридорами, где на каждом шагу встречались вооруженные караулы по большей части из наряженных казаками варнаков, добрались до апартаментов, отведенных в распоряжение канцлера.

— Входи, гостем будешь, — сказал князь, вводя Хлопушу в свой деловой кабинет, скупо освещенный восковыми свечами. — Чем угощать-то тебя прикажешь?

— Какое там еще угощение? — отмахнулся Хлопуша. — Водки у тебя, поди, не найдешь, а вина ваши барские мне в глотку не лезут. Кислоту в брюхе разводить!

— Я ночью, чтобы спать не хотелось, кофей пью...

— Кофей? Пробовал. Ну его! Сбитень куда способнее. Да не надо ничего. Давай беседу поведем. Новости, говоришь, получены?

Канцлер взял с массивного письменного стола, заваленного бумагами, географическую карту и развернул ее перед Хлопушей.

— Вот, полюбуйся! — вымолвил он. — Тебе это будет полезно. Мои чертежники только вчера закончили. Хотел поднести к празднику... его величеству. Презент праздничный... Да раздумал: он эти дни ни разу трезвым не был еще. Обрадовался праздникам, что ли... А с пьяным и толковать охоты мало...

На карте была изображена Россия до сибирской границы. В самой середине, вокруг Москвы, оставалось светлое пятно. Все остальное пространство оказывалось более или менее густо затушеванным, причем в разных местах тушевка была различных цветов.

Хлопуша с любопытством и в то же время с недоверием глядел на карту.

— Тебе в военной коллегии с картами уже приходилось иметь дело? Научился разбирать?

Чуть потупившись, Хлопуша ответил:

— Начинаю мараковать...

— Ну, вот, смотри. Тут изображена вся Россия, как она была год, что ли, назад. Вот и границы. Видишь? В эту сторону — чуть не до Варшавы. А тут, на юг, — до двух морей. Клочок только оставался: Крым. А тут, правее, до кавказских гор почти. И все было — одно целое. Может, еще не очень ладно скроенное, да, казалось, крепко сшитое. И был на всем пространстве один закон. Да. А вот пришли мы с тобой да с нашим Петром Федоровичем и... и начало все расползаться. Вот тут, чуть выше Твери, петербургские генералы да сенаторы держатся, и наших туда пока что не очень-то пускают. А тут до самого, почитай, Смоленска, поляки. В самих едва душа держится, а тоже расхрабрились. Заняли своими войсками не только свои, но и исконные русские земли. А ежели у нас так дело будет идти, как оно эти полгода идет, то, чего доброго, пожалуют и сюда, в Москву.

— Пусть сунутся! — сердито прохрипел Хлопуша.

— А ты не грози. Лучше и впрямь подумай, как их встретить, а то по последним донесениям из Смоленска, они, кажись, как только потеплеет, в гости к нам пожалуют. А вот тут, — рука канцлера легла на область Киева, Чернигова, Полтавы и Харькова, — тут сидит сейчас наш верный друг и союзник, сотворенный нами Великий гетман украинский, вельможный пан Полуботок. И вопреки договору, в соблюдении которого он крест целовал и на евангелии клялся, помаленьку да потихоньку выпирает он наши российские гарнизоны и заменяет их

своими сердюками да гайдамаками. Помогают ему в этом пока что его цесарское величество император Иосиф да тот же круль Станислав.

А вот тут, — ладонь Мышкина-Мышецкого легла на область Войска Донского, — тут другой наш верный друг и союзник сидит, атаман всевеликого Войска Донского Игнат Бугай. Но только вместо того, чтобы согласно уговору прислать нам на помощь свои конные полки, кликнул он клич ко всем донским казакам, а те взбулгачились да стали из наших гарнизонов утекать.

— Ну, положим, не все уходят! Многие и к нам приходят. И с Днепра, и с Дона, и с того же Яика...

— Верное твое слово: одни приходят, другие уходят. Десять ушло, девять пришло. Пришли да пограбили, да набили торбы и уходят. Растаскивают русское добро. Да и твои варнаки то же самое делают: покуда можно кого грабить, держатся. А кто набил мошну, — туда же, на Дон. И вздумали мы требовать, чтобы их нам выдавали, а Игнат Бугай нам в ответ: здравствуй белый царь на Москве, а мы, казаки, на тихом Дону. А с Дона выдачи испокон веков не было и впредь не будет...

— Дурит Игнашка. Вот весною намнем казачишкам бока, так они опамятуются!

Канцлер засмеялся.

— Видел, только что видел, как ты бока наминаешь да по зубам хлещешь. Ловок. Но ведь пинал ты да колотил пьяную мразь. Холопов, которые привыкли битыми быть. А с голыми кулаками на Дон не полезешь... Ежели полезешь, то как бы самому ребра не погладили. Но этого мало, друг ты мой. Вот посмотри: тут тебе Азов-город, а тут — Таганрог, его царь Петр-вояка основал. А теперь тут опять турецкий паша Сулейман сидит. Казачишки хорохорились да друг дружку мяли, а турки из Трапезунда приперли да невзначай наши крепости и захватили. А третьего дня эстафета пришла: нагрязнул Сулейман с десятью тысячами янычар на старую нашу фортецию Святого Дмитрия, сиречь город Ростов-на-Дону. А тамошний гарнизон и так еле держался: казаки четыре месяца город в осаде держали да половину сожгли. Вот как Сулейман подошел, то гарнизон и выкинул белый флаг, сдался на капитуляцию... А теперь, надо полагать, тот же самый Сулейман и дальше, вверх по Дону пойдет. И придется нашему верному другу и союзнику Игнату Бугаю отбояриваться. А пушек мало, а пороху и того меньше: всегда от Москвы получали, а Москва-то сейчас и сама на бобах сидит...

— Ну, положим, — отозвался самоуверенно Хлоцуша, — мы тоже не все время пьянствуем да с девками валяемся. Поди, на Ижевских да на Боткинских заводах заказанные нами пушки давно готовы. До тысячи будет. Артиллерия у нас хоть куда...

— До весеннего сплава вряд ли можешь получить свою «артиллерию», — сухо заметил канцлер, — а кроме того, и работа там идет вяло. Бывшие крепостные-рабочие, получив волю, на три четверти разбежались

— А мы в те заводы арештованных дворянов нагнали!

— Правильно, не только мужиков, но и баб, и детей. Да только какие же это рабочие?! Мрут, как мухи, а дела не делают. Слабосильны, непривычны, да и голодом вы их морите...

— Жалеть их, дворянов, что ли прикажешь? — насупился Хлопуша.

Князь пожал плечами.

— Приказывать я тебе не могу и не берусь. Мое дело щекотливое, да и другим я занят. А

ежели и говорю, то к слову пришлось: толку из вашей политики не вижу. Ума не вижу. Злобы — много и глупости еще больше, а на этих двух конях далеко не уедешь...

— Вот дай время, после праздников возьму я да и махну на Урал. Места-то родные, знакомые, почитай, и сейчас там дружков сколько найдется. Я там живо все вверх тормашками поставлю...

Князь засмеялся.

— Да там и так уже все «вверх тормашками» стоит. Сам, чай, знаешь, что из старых демидовских заводов и половина не работает. Твои же «дружки» мастеров да опытных управляющих перебили, в истопники загнали или выгнали на все четыре стороны, а посадили на их места сволоту свою. Сволота же работать не умеет и жадна очень: тащит, что под руку ей подвернется. А рабочие, на радостях, что волю получили, все заводы разграбили. В Берг-коллегии стон стоит: не могут заводы работать!

— Поеду — все налажу! Сейчас же после Крещенья и махну.

— А не боишься? — многозначительно осведомился князь.

— А чего мне бояться? — несколько неуверенно переспросил Хлопуша. — Не ты ли меня сковырнуть собираешься?

— Глупостей не говори! — резко ответил Мышкин. — Голова у тебя на плечах есть, ну, так и должен знать, что я тебе не враг, а скорее союзник. Да ведь у тебя недругов немало. Младший Зацепа, к примеру, считает, что ты нарочно подвел его брата под Казанью.

— Собью рога! Бычок бодливый, да силы в ем мало.

— Опять же Минеев... Ты поперек дороги!

Хлопуша сжал кулаки и прогундосил:

— Ростом не вышел. Не я ему поперек дороги, а он мне становится. Голова вскружилась у Минеева. Сидеть бы ему всю жизнь в поручиках, кабы к нам не перебежал под Казанью. А теперь, вишь, мало ему быть енарал-аншефом, так он в фельдмаршалы мостится. Тоже, подумаешь, Румянцев какой! Как бы по дорожке Кармицкого не пошел.

— Смотри: за спиной у Минеева Чубаровы стоят. А сам-то в Чубаровых души не чает. Вырчали они его, когда он в казанских острогах сидел...

— Больше из-за Маринки ихней. Бабник он. Набил девке брюхо, вишь, лестно в отцах ходить... Ну, да мы и на Чубаровскую свору управу найдем...

— Заступаться не буду! — сухо вымолвил канцлер. — Справляйтесь сами, а у меня и так хлопот полон рот. Вот посмотрим, чем-то вы своему воинству христолюбивому платить будете. Жалованье большое пообещали, а денег в казне маловато: разворовали казну!

— После Крещенья в скорости обоз придет из Екатеринбурга с монетного двора: рублевиками два миллиона да новыми червонцами полтора. Обоз-то поди уже вышел.

Мышкин-Мышецкий искоса посмотрел на лежавшую перед Хлопушей карту. Нагнулся, стал измерять расстояние между двумя пунктами. Подумав, вымолвил:

— Авось и доvezут! Посмотрим...

— Справимся, со всеми справимся! — словно успокаивая самого себя, ответил Хлопуша —

Силы-то у нас не занимать. Мужик — дурак, всем миром за батюшку Петра Федорыча... Допустили мы его к земле, ну и уцепился и ногтями, и зубами.

— Да будет ли из этого толк? Вон бывшие барские земли так и остались не засеянными озимым. Да и на своих, крестьянских землях прошлую осень что-то не очень-то работали. Праздновали да делились, друг на друга из-за лужков да рощиц головы проламывали.

— Вывернемся! — сказал Хлопуша, поднимаясь. — Все, говорю, утрясется. Самое трудное сделано...

— Ой ли? — усомнился князь. — Я раньше и сам так думал: лишь бы немку с престола скovyрнуть, а там, мол, все, как по маслу, пойдет...

— А теперь что думаешь? — спросил Хлопуша, направляясь к выходу.

— А теперь так думаю: развалить державу не так уж трудно оказалось, а вот новое наладить — ой, как трудно оказывается. Пустили мы с тобой по дремучему лесу огонь, думали, траву выжжет, а лес не тронет. Ан, оказывается, и лес загорелся да так-то полыхает.

— Прощай, присходительство! Пойду водки добывать, — сказал Хлопуша, уже стоя в дверях. — Нагнал ты на меня тоску, признаться...

— Прощай! — ответил Мышкин-Мышецкий. — Смотри не запей. Будет уж и того, что сам наш богоданный да помазанный неделями не высыхает...

Дверь за ушедшим Хлопушей закрылась.

Снова Мышкин-Мышецкий нагнулся над географической картой и принялся ее внимательно рассматривать.

— Эх...

Нетерпеливо свернул карту и швырнул ее в угол. Подошел к окну, распахнул занавески, посмотрел.

Сквозь запотевшие стекла смутно виднелись ярко освещенные окна главного здания дворца. Там еще продолжалось пиршество. На дворе двигались причудливые тени: слуги увозили по домам выбиравшихся из дворца то по одиночке, то шумными ватагами пьяных гостей «пресветлого царского величества» — Емельяна Ивановича Пугачева, капризной волей судьбы ставшего «анпиратором».

— Пируй, пируй, мерзавец! — злобно вымолвил Мышкин. — Долго ли тебе, смерд, пировать-то придется?!

В это время в пиршественном зале догорала буйная попойка. Хор военных трубачей, добрая половина которых еле держалась на ногах, нестройно играл старые казачьи и разбойничьи песни. В одном углу разошедшиеся сановники и сановницы «анпиратора» плясали русскую, не заботясь о том, что играет хор, в другом — шел ожесточенный и совершенно бессмысленный спор и мелькали кулаки, но до драки дело не доходило. На помосте, куда допускались только высокопоставленные персоны, на большом, обитом алым бархатом диване с позолоченными ножками сидели пьяный «анпиратор» и его новая фаворитка Марина Чубарова, семнадцатилетняя пышнотелая голубоглазая казанская красавица из старовойческой семьи, стыдливо прикрывавшая свой обезображенный беременностью стан персидской шалью.

— Ндравится? — в сотый раз спрашивал Марину Пугачев. — Здорово запузывают наши енаралы?

— Ндравится... А только не ездил бы ты, осударь, к Чугуновым!

— Она! — засмеялся ленивым смехом «анпиратор». — Неужто не ндравится, что я еду?

— Не ндравится! Ой, не ндравится! — капризно твердила Марина — Очень, подумаешь, нужно тебе ведьмедев стрелять там каких-то?! Еще задерет тебя ведмедь, чего доброго. А я тогда как буду?

— Меня задерет? Анпиратора-то? — возразил Пугачев. — Да я его... Хо-хо-хо...

— С девкой какою гулящей, гляди, сведут тебя тамотка, — продолжала хныкать Марина. — Они, Голобородькинские, дошлые!

— Хо-хо! А ты не ревнуй! Сказал — женюсь, ну и женюсь! Чего тебе ищо? А потом и коронацию для тебя, дурехи, сварганим. Мне-то уж не надо: и я так коронованный. Одно слово, божий помазанник... Только для тебя и стараюсь. Митрополита из Киева выпишем. Напишу Полуботку, он и доставит. Оченно просто... А потом мы растрясем того Полуботка с его хохлами. Зазнался, собачий сын. С цесарцами снюхался... Да и Бугаю рога обломать придется. Тоже, воряга, фордыбачит... А потом пойдем Варшаву-шаршаву урезонивать.

Язык «анпиратора» заплетался все больше и больше. Внезапно Пугачев поднялся и закричал пронзительным голосом:

— Гей, слуги мои верные! Енералы да адмиралы храбрые. Казаки мои лихие!

Остановился. Засмеялся. Забыл, что хотел сказать, подумал-подумал и крикнул:

— А гоните-ка вы всю эту сволоту по шеям! Будет, надоело! Спать пора! Спать, спать...

Повернулся к продолжавшей сидеть на диване Марине и, с трудом удерживаясь на ногах, потянул ее к себе:

— Пойдем... спать. А завтра — айда, други!

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Новый любимец «анпиратора» «генерал-аншеф» Минеев, бывший провинциальный армейский поручик, преждевременно облысевший и уже порядком отяжелевший и обрюзгший человек лет тридцати, с квадратными плечами, короткой, воловьей шеей, плоским, словно вырубленным топором из ноздреватого камня лицом и выпученными, как у рака, глазами, до взятия Пугачевым Казани занимал весьма скромное место среди пугачевцев и старался держаться к тени, по-видимому, не очень веря в успех. Но уже и тогда в стане пугачевцев он был на виду, как один из первых настоящих и образованных офицеров, перешедших на службу к «анпиратору». После того, как по доносу Минеева был зверски казнен офицер, попавший вместе с ним в плен к пугачевцам и лишь притворно примкнувший к ним в надежде на возможность побега, который имел неосторожность доверить Минееву свой план, Пугачев поручил Минееву командование составленным из попавших в плен или перебежавших к Пугачеву молодых солдат пехотным полком. В Казани, когда шли кровавые расчеты победителей со сдавшимися защитниками несчастного города, ведомый на казнь с другими офицерами восьмидесятилетний отставной полковник Портнягин, проходя мимо спокойно глядевшего Минеева, своего дальнего родственника, вырвался из рук конвоиров, старческими руками вцепился в шею изменника и раньше, чем конвоиры успели его оттащить, плюнул в глаза ему, крича:

— Подлец! Анафема! Анафема!

Минеев потерял голову. Нападение старика ошеломило его, и он испугался, так как цепкие пальцы Портнягина чуть не раздавили ему горловой хрящ. Но едва конвоиры оттащили Портнягина и сбили его с ног, Минеев пришел в неистовство. С хриплым ревом он бросился на упавшего старика и заколол его свой шпагой, потом кинулся на других пленных офицеров, одного убил, нескольких ранил.

Пугачев видел все происшедшее и хохотал до упаду, поощряя расправлявшегося с беззащитными жертвами предателя криком: «Так их, так их, барчат!» С тех пор он приблизил Минеева к своей персоне. При движении от Казани на Москву Минеев, уже получивший от «анпиратора» чин генерала, командовал целой армией и перещеголял даже Хлопушу жестокими расправами с попадавшими в руки пугачевцев дворянами и офицерами. Казалось, в их крови он хотел смыть нанесенную ему стариком Портнягиным личную обиду. При взятии Москвы он проявил распорядительность тем, что позаботился вовремя занять кремлевские дворцы, присутственные места и многие богатые дома частных владельцев сильно вооруженными и дисциплинированными отрядами из старых солдат. Когда пьяная чернь бросилась грабить Кремль, Минеев не постеснялся встретить ее картечью. Он перебил несколько сот человек, многих утопил в Москве-реке, захватил и повесил жожаков, навел панику на остальных и восстановил порядок. Подоспевший Пугачев одобрил эти действия своего нового генерала и тут же назначил Минеева комендантом Кремля. В этой должности Минеев оказался в ложном положении: с одной стороны, она делала его почти независимым, а с другой — он должен был подчиняться властному и сварливому Хлопуше, получившему чин фельдмаршала. Свою службу Минеев нес с верностью и усердием злого цепного пса, и с этой стороны придрататься к нему было трудно, при том, что и сам «анпиратор» все больше и больше привязывался к нему. Многие попытки Хлопуши оттереть Минеева, услав его, например, куда-нибудь в провинцию, или подорвать в Пугачеве веру в преданность Минеева, как бывшего дворянина и барина, встречали, против ожидания, упорное сопротивление со стороны «анпиратора». Когда Хлопуша наговаривал на нового любимца, Пугачев хмурился и отвечал:

— Экой завидуешь ты какой, Хлопка! Чего ты злобствуешь, скажи пожалуйста? Чего не поделили?

— Из дворянов он! — хрипел и гундосил Хлопуша. — За дворянов и руку тянет. Вот стал набирать для пехоты офицеры старое!

Это соответствовало истине: Минеев теперь уже не лютовал так, как раньше, а напротив, старался приманить на службу «анпиратору» настоящих офицеров, и это ему до известной степени удавалось. Принятых на службу офицеров Минеев держал в ежовых рукавицах и при малейшем подозрении разделялся с ними безжалостно. Когда заходил разговор по этому поводу среди приближенных Пугачева, Минеев говорил прямо:

— Без регулярного войска вы и трех недель не продержитесь, ежели с кем драться по-настоящему придется. Да и чернь в повиновении долго не пробудет.

Юшка и Прокопий Голобородьки упорно высказывались против регулярного войска, заявляя, что казачество всегда умело обходиться без него. Но Минеев твердил свое:

— Вздор все это. Где нет постоянного войска, там либо приходится устраивать дело как у запорожцев, у которых все воины, либо постоянно терпеть от более сильных соседей. Без войска России не жить. Из деревенских обормотов быстро хороших солдат не сделаешь. Покуда ты рекрута обломаешь, выучишь его хоть в строю держаться да на часах не спать, год уходит. На всякие «народные ополчения» рассчитывать не приходится. В военном деле без науки не обойтись, не на кулаках теперь дерутся.



А раз нельзя обойтись без постоянного войска, то нужны и хорошие офицеры, которых у нас нет. Нечего и разговаривать...

— А постоянное войско возьмет да и пойдет против народа! — стояли на своем старообрядцы. — Из офицеров опять господа благородные народятся!

— Да «господа благородные» уже народились. И без офицеров всех не перечесть. Те же урядники да есаулы, атаманы да всякие нынешние воеводы из бывших крепостных да беглых солдат, приказных да варнаков, да начетчиков, да кулаков деревенских!

— Ты бы полегче! — предостерег Минеева Юшка Голобородько. — А то по-твоему выходит так: для того мы и кашу заварили, чтобы старых бар спихнуть, а самим народу на шею сесть.

— Нет, ты так говорить не моги! Мы народушке волю дали, мы ему землю дали!

— Дать-то дали, и он, народ, уцепился. А что он из этой воли да взятой земли сделает, это еще посмотреть надо. Вон мужичишки-то, волю получив, никаких податей платить государю не хотят, а из-за земли смертный бой идет повсюду. Деревня на деревню, село на село идет с дубинами да с топорами Леса везде валят. А что дальше будет, о том некому и подумать...

— А ты бы, баринок, видно опять хрестьян в крепостные обратил?

— Не во мне сила... Мое дело солдатское. А вот посмотрим, как дело обернется. Я государю верный слуга, об его выгоде и забочусь. Остальное меня не касается. А ежели вижу, что не так идет, то по долгу совести и присяги прямо и говорю. Пускай государь своим светлым умом разберет, да как чему быть и постановить.

— Правильно говоришь! — вмешался Пугачев. — Дело-то такое выходит... Вон и старый колдун, Мышкин-Мышецкий, тоже говорит: идучи на Москву, думали, что самое главное — Катьке шею свернуть да власть забрать, остальное, мол, приложится. А стала держава наша — и видим мы, значит, что со многим неуправка выходит. Не так выходит, как гадали да решали... А что насчет войска постоянного, то Минеев прав: без войска пропасть можно.

— Нет, ты, величество, погоди! — перебил Прокопий Голобородько. — А с каким войском мы царицыны войска расколошматили?

— Да кто их расколошматил-то? — засмеялся Пугачев. — Ежели правду сказать, то било нас солдатье, где только попадало. Дуло нас и в хвост, и в гриву, и совсем бы нас скоро прикончило, да как потопла Катька, само рассыпалось. Не из-за чего стало держаться. А державе без войска не быть. Все развалится... Очень просто. А бояться ахвицерай нашему величеству неча: в руках будем держать, так они, окромя пользы нашему государеву делу, никакой вреды принести не могут.

Хлопуша в этом споре сторонился и явно колебался. С одной стороны, и он сознавал, что без постоянной армии, хорошо обученной, имеющей дельных и опытных офицеров, никак не обойтись, и на дикую, пьяную, буйную, кровожадную и трусливую ораву, которая называлась «храбрым войском его царского величества», смотрел с нескрываемым презрением. Ценил он только собственную «гвардию», почти сплошь состоявшую из острожников и сибирских варнаков, верховным главой которых был он сам, бывший острожник и варнак. А с другой стороны, он откровенно побаивался той регулярной армии, над созданием которой возился Минеев, потому что чуял в ней враждебную острожникам и варнакам силу. Главное, в нем говорила ненависть дикаря к человеку, который обладал многими знаниями, совершенно дикарю-каторжнику недоступными. Эти немудрые знания провинциального армейского офицера казались Хлопуше чем-то близким к колдовству. И Хлопуша, отказывавшийся верить в бога, совершенно искренно верил в дьявола и сдавал перед Минеевым, когда тот сумрачно говорил ему; « Ну, тебе, друже, этого не понять! Тут наука нужна!»

Но еще больше терялся бывший атаман грабителей с большой дороги перед стариком, князем Мышкиным-Мышецким, который и впрямь казался ему колдуном. Однако князь держался так, что в нем Хлопуша соперника себе не видел, тогда как Минеев, с которым Пугачев сдружился словно назло Хлопуше, и впрямь грозил оттереть каторжного «фельдмаршала», а потом, быть может, и уничтожить его. Хлопуша вот уже несколько месяцев обдумывал, как бы избавиться от ставшего опасным соперника. Оба зорко следили друг за другом, боялись и подстерегали друг друга на каждом шагу, старались обзавестись сторонниками, на помощь которых могли бы надеяться. Перевес пока был явно на стороне Хлопуши, потому что его поддерживало все племя Голобородек, стоявшее во главе могущественного «пафнутьевского согласия», а Пугачев давным-давно бы погиб, если бы «пафнутьевцы» не поддерживали его и средствами, и людьми. Но Минеев после взятия Казани породнился с другой старообрядческой семьей, немногим менее могущественной, чем Голобородьки, — с Чубаровыми. А связь Пугачева с голубоглазой Мариной Чубаровой делала его в некотором роде родственником «анпиратора» и укрепляла его положение. Но это же усиливало опасения сторонников Голобородек и озлобление Хлопуши. За последнее время Минеев все чаще и чаще начинал сознавать, что вокруг него чьими-то руками неустанно плетется паутина, за каждым его движением следят незримые соглядатаи и на каждом шагу он рискует попасть в какую-нибудь хитро устроенную ловушку. Сам «анпиратор» иной раз полусерьезно предостерегал его, говоря многозначительно:

— Берегись, Бориско! Многие до шеи тваво благородия, то бишь, присходительства добираются. Очень хочется кому-то там шею тебе, как курчонку свернуть!

— Шея у меня не цыплячья: толстая! — отшучивался Минеев. — Авось не задавят... Лишь бы ты, государь, свою милость ко мне сохранил.

— Я что? Я, брат, вижу твое старание. Я к тебе во как милостив. Держись за меня, как вошь за кожух держится, все такое, а я тебя не выдам. Ну, только надо прямо сказать, «они» и без меня сварганить могут. Чуть ты, скажем, зазевался, глянь, они тебя, раба божьего, и подставили под обушок. Остерегайся, говорю...

Минеев отвечал, что он не из робких. Авось... Но в душе он сознавал, что опасность велика, и, действительно, остерегался. Он добыл тонкую стальную кольчугу и носил ее тайком под платьем, не снимая с себя ни днем, ни ночью. Боялся быть отравленным, и ради этого принимал всяческие меры предосторожности. Нигде не показывался в одиночку, брал с собой дюжих телохранителей из бывших царицыных гвардейцев, в преданность которых верил. Почти перестал пить, совершенно резонно считая, что пьяному человеку куда легче попасть в какую-нибудь ловушку. В то, что владычество «анпиратора» над Россией окажется долговременным, он и сейчас не верил. Наедине с самим собой, перебирая в памяти все разыгравшиеся события, он рассуждал так: «Поднялась чернь подлая, разыгралась вольница, взяла верх сволота всякая, голота шалая. Ну, и донесла до трона царского казачишку лукавого да пьяного на своем хребте. А только трон-то этот не из золота, а из грязи. Вот-вот развалится. Да и сам «анпиратор» — куда он в правители годится? Волк степной, бешеный. Лукавства, хитрости звериной уйма, а ума настоящего нету. Сам не знает, что делать надо. За свою шкуру сеченую опасается. Да и его генералы да адмиралы из бывших крепостных да казаков — таковы же. Зверье степное. И сейчас уже, только что добравшись до власти, друг дружке в горлянку зубами вцепляются. Случись что, сейчас голову потеряют и кто куда наутек. Только те до конца и останутся, кому, как Хлопуше, да его варнакам, да палачам добровольным, плахи не миновать и деваться некуда. Весь вопрос в том, сколько времени сия собачья свадьба продлится. Вот первое Смутное время, кажись, лет пятнадцать тянулось. Может, и наш пир на весь мир растянется. Только едва ли. Надо полагать, в три, много в четыре года сгорит вся Россия дочиста, а тогда колесо обратно повернет. И будет снова царь. Только не навозный царь, из грязи выползший, а настоящий, крепкий. И уляжется надолго смута, пойдет на дно вся поднятая пугачевцами мусть, слизь вонючая.

Да и мой-то Емельян Иванов сам не столь прочен: девки из него все соки вытянули, сивуха ему все нутро выжгла. Середка сгнила, оболочка только держится. Вон, раздувать его начало. Руки ходуном ходят, ноги трясутся. Только на коне и на человека похож — привычка сказывается. А ежели хватит его кондрашка, тут такая томаша опять заварится, что разлюли малина! Счастлив будет, кому ноги унести удастся.

Может быть и даже наверное, будут тогда и новые «Петры Федорычи» выскакать, как дождевые пузыри на лужах. Как это было после смерти Отрепьева Гришки. Но это товар гнилой. Будут друг дружку загрызать без толку. Первый всегда покрупнее бывает, последний — помельче. Не такие клыкастые.

Вот, значит, и надо к этому готовиться. Но как?..

Не нужно было обладать особой наблюдательностью, чтобы подметить общее явление: все сплошь новоявленные «анпираторские сановники» тоже держались такого же мнения о непрочности установившегося порядка, не верили в возможность для Пугачева продержаться долго на царском троне, и каждый, как умел, «готовился» по-своему на случай возможного падения «анпиратора». Люди поделовитее, позапасливее, попредприимчивее торопились поскорее набить кошину и, едва представлялась первая удобная оказия, норовили улизнуть подальше. Утекали в Сибирь, где так легко спрятаться в непроходимых дебрях, убегали в Персию, в Турцию, в Польшу. Другие, боясь перебираться на чужбину, довольствовались тем, что хоронили награбленное у дворян и купцов добро в лесах, зарывали драгоценные вещи на огородах и даже на кладбищах. Третьи торопились попользоваться жизнью, не задумываясь над будущим: пили без просыпу, развратничали, бесновались, самодурствовались — и гибли от собственной невоздержанности сотнями каждый день.

Сем Минеев, обладавший известным образованием, «готовился» по способу первых: набивал, как мог, свою кошину и потихоньку скупал драгоценные камни, зашивая их в широкий замшевый пояс, который он носил на себе, под кольчугой. Рассчитывал, если только удастся уцелеть, найти случай сбежать и сбежать именно в Пруссию, где ему пришлось побывать в конце Семилетней войны под начальством Фермора и где жизнь, так хорошо налаженная, пришлась ему тогда по душе. «Проберусь к немцам, куплю где-нибудь мызу, женюсь на немке, — они, немки, хорошие хозяйки да и жены неплохие, не то, что наши кувалды. Заведу хозяйство, буду век доживать на покое!.. — мечтал он.

Иногда в свободные от службы часы Минеев подходил к стенному зеркалу, долго рассматривал себя, что-то соображая, потом сокрушенно мотал головой и бормотал: «Эх, и наградил же меня господь такой рожей! Очень уж приметная, харя проклятая. Ну, брови, конечно, вычернить можно, усы и бороду — тоже, либо сбрить. Да намного ли изменишься? Глаза — как две пуговицы оловянные. Нос луковицей. Шея как у бугая... Однако духа терять не следует. Авось, бог даст, черт поможет, ты, Борька, еще и выкрутишься. Надо только не зевать, не пропустить время удобное. А там — ноги в зубы, хвост по ветру — жарь во все лопатки. Лишь бы вырваться да успеть первые сто верст проскочить, а там — ищи ветра в поле, крота под землей...

В устроенном 25 декабря в кремлевском дворце пиршестве Минеев принял участие наряду с другими «сановниками», но, пользуясь удобным предлогом необходимости проверять караулы, умело избежал опьянения. Ему приходилось несколько раз показываться в залах, где шла дикая попойка, но он упорно уклонялся от приятелей, лезших к нему с приглашением выпить, и за весь длинный зимний вечер выпил только несколько стаканов вина и то по требованию пристававшего к нему с ножом к горлу «анпиратора». Когда пиршество кончилось, и Минеев получил возможность удалиться на отдых в свою квартиру, он был почти трезв. Потребовал от заведывавшего его несложным хозяйством старика-денщика кислой капусты и квасу, отшибает хмель. Потом выкурил две или три трубки, отпустил денщика спать, запер за ним двери, но сам не сразу улегся: сначала вдоволь налюбовался полученной сегодня от

«анпиратора» бриллиантовой звездой да купленной за сущий грош у раскутившегося варнака старинной турецкой саблей с бирюзой и рубинами на эфесе и тщательно обследовал найденную одним из камер-лакеев золотую с эмалью и алмазным шифром покойной императрицы табакерку, за которую он, Минеев, дал лакею червонец и пообещал дать еще сто плетей, если тот проболтается о сделке. Мысленно оценил свои сегодняшние приобретения: никак не меньше, чем на тысячу рублей золотом.

Сообразил, кому из нахлынувших неведомо откуда в Москву скупщиков — жидов и армян продать табакерку и как, когда выковырять из звезды камни. Все это привело его в хорошее настроение, и он даже замурлыкал какую-то песенку. Но едва он лег и согрелся под теплым старинного тяжелого атласа одеялом на мягком пуховике двуспальной кровати, как откуда-то приползла злая тревога и принялась сосать сердце.

Он лежал, вытянувшись во весь рост на спине, заложив руки под голову и думал. Мерещилось далекое детство, прошедшее в маленьком родовом имении возле сонной Костромы, годы, проведенные в Шляхетском корпусе, выход на службу в армию, участие в походе на Пруссию. Вспоминались полковые товарищи и их судьба. Многие ли из них уцелели? Ой, немногие! Бойня-то страшная была, по всей России озверелая чернь, руководимая вырвавшейся из тюрем сволотой, охотилась за офицерами, как за волками, и избивала самым зверским образом. Вон, в той же самой Казани растерзали в храме Казанского Девичьего монастыря у святого алтаря дряхлого столетнего генерал-майора Кудрявцева. «А я, вот, уцелел! Да не только просто уцелел, но и в генерал-аншефы выскочил. Может, еще и в фельдмаршалы продерусь! — мелькнула самодовольная мысль. — Опять же судьба оказалась ко мне отменно благосклонной и в другом отношении: тысячи и десятки тысяч людей последнего достояния лишались, а я в одном замшевом поясе самоцветных камушков тысяч на тридцать, если не на сорок, таскаю. Да и золотца припас: без малого пудик набежит. Не так уж трудно будет при побеге увезти с собой. При побеге».

Опять мысль закружилась вокруг того же невидимого стержня, засевшего занозой в голове Минеева еще с первых дней пребывания в стане «анпиратора».

«Другие же бегут и ничего, удается! — думал он, позевывая. — Неужто я у бога теленка украл? Не хуже других. Мозга и у меня шевелится... Обдумать только надо все получше. Вон, военная коллегия каждый день посылает на границу, к Смоленску, офицеров и чиновников по продовольственной части. Получают документы и едут — «по казенной надобности». Можно будет и смастерить такие документы: штука не велика. Кто их проверять будет? А то подослать верных людей, украсть у кого-нибудь либо отнять. Тут тебе деликатничать да щепетильничать не приходится.

На коне не усидишь, так не токмо что с седла слетишь, а чего доброго, и на острый кол сядешь...

И опять тоска змеей впилась в сердце пугачевского любимца. Из полумглы выплыл в волнах желтого с красниной тумана образ смертельного врага Минеева, страшного Хлопуши.

Закривлялась, заухмылялась проклятая безносая рожа. Стали подмигивать круглые, как у совы, глаза

— Бежать к полячишкам альбо к немцам собираешься, присходительство? — загундосил варнак.

Холодный пот покрыл все тело Минеева Заныли затекшие руки. Застучало в висках.

— У, душегуб треклятый! — пробормотал он, сбрасывая с себя покрывало и приподнимаясь. — Мало ты, пес смердящий, человечины сожрал? До меня добираться? Да я тебя!..

Страшный образ Хлопуши рассеялся в теплом воздухе. Минеев снова улегся и накрылся одеялом. Но теперь лежал на правом боку, и чтобы не поддаваться тревоге, принялся считать и пересчитывать в уме свои богатства и вспоминать, сколько каких камней и какой приблизительно цены уже зашито в замшевом поясе. Это отогнало тревожные мысли, принесло успокоение, а с успокоением и дрему. Уже в полусне подумал: «И как это Емелька ухитрится выдерживать столько времени безнаказанно? Как у него сердце не обратится в труху? Что за сила в нем такая?..»

Он заснул, но спал чутким, сторожким сном солдата, привыкшего и во сне быть начеку. Чуть треснет лампадка, горящая в углу перед старинными образами, чуть зашуршит что-то за коврами, чуть задрожат маленькие стекла в оконной раме, — и тяжелые припухшие веки уже шевелятся тревожно и на плоском лице появляется выражение готового проснуться и вскочить на ноги человека.

Пробили башенные куранты близких ворот Кремля шесть раз, возвещая близость рассвета. Минеев вскочил, как встрепанный, и крикнул спавшему за дверью на кожаном диване денщику:

— Васька! Умываться! Сбитню давай!

Часа два спустя из Кремля вынесся и промчался, пересекая Москву из конца в конец, огромный «анпираторский» поезд, состоявший из полусотни роскошных саней самых разнообразных форм, включая и несколько громоздких карет на полозьях. Впереди вихрем летели отборные конники конвоя, наряженные казаками, а сзади — сотня киргизских «батыров» с их вождем, князьком Рахимом Ибрагимовым, и сотня башкир.

Предполагалось, что с «анпиратором» в одних санях, кроме Минеева, поедет Юшка Голобородько. Но когда Прокопий привел Юшку, тот оказался пьяным до такой степени, что в двух шагах от саней позеленел и чуть не свалился. Его одолевала тошнота.

— Оно ничего! Право слово, ничего! — засуетился Прокопий. — Вышел на воздушок из тепла, ну, его и мутит. Ведь правда же, Юшенька, соколик? Ты сейчас совсем молодцом будешь!

— Блевать, сволочь, будет! — сказал сердито «анпиратор». — Гоните его в шею, пса шелудивого!

— Так я заместо его сам с тобой сяду, осударь, — предложил Прокопий, в планы которого не входило оставлять всю дорогу Пугачева с его новым любимцем.

— А от тебя перегаром воняет! Убирайся и ты! С одним Борькою поеду! — решил «анпиратор».

Оба Голобородьки стусевались и поместились в других санях.

Когда поезд тронулся, Пугачев злобно усмехнулся и, мотнув головой, вымолвил:

— Видел, Бориска? Они, начетчики, готовы сразу и на загорбок мне усесться. Сторожат, псы, как солдаты колодника острожного...

Минеев молчал.

— Надоело это мне! — продолжал «анпиратор». — Во как наскучило! В кишки они мне въелись, езовиты.

Ходят за мной следком, как няни за малым робен-ком. Опекуны нашлись непрошенные. От жадности скоро утробы полопаются у всей ихней семейки. Рвут кус за куском. Третьеводни на ельтонскую соль откуп выцыганили у меня. На всю, значит, Волгу хозяевами заделаются,

щuki зубастые. А теперь пристають, — отдай им и водку во всей Московской округе на откуп.

— А ты, государь, не давай! — вяло вымолвил Минеев. — У казны твоей царской только и доходов верных, пока что с воли да с водки.

— Тебе легко сказать — не давай! — омрачился Пугачев. — Посидел бы ты на моем анпираторском месте!

— Упаси господи! — от души вырвалось у Минеева.

— Понимаешь мою жисть?! — угрюмо засмеялся «анпиратор». — Не велика, брат ты мой, сладость в царях ходить. Я на день сто раз за башку хватаюсь: цела ли? А ежели цела, то крепко ли на плечах сидит? А ежели крепко сидит, то моя ли аль чужая?

Разгорячившись, он зачастил:

— Что это, право? Какой такой порядок? Разе с помазанниками так поступать полагается, скажем, по священному Писанию? Разе с меня воля снята, что я без ихнего дозволу и шагу ступить не смею? Вон, Игнашка Бугаенок, стерва, какую пакость учиняет. Совсем Донщину от Москвы оторвал. А заговорил я, что, мол, это какое же такое дело выходит, да что, мол, казачишкам рога обломать пора, так они, Голобородьки, на дыбки: тебя, мол, кто, как не казаки, на родительский престол отечества посадили? Ну, и должон, значит, ты им всякое уважение. А что же я после того за царь такой да еще анпиратор и все такое, ежели какой-нибудь шелудивый Бугаенок мне всенародно в бороду наплевать может, а я его, собачьего выпорка, и пальцем тронуть не смей?

Опять с Полуботком — кто всему причина? Они же, Голобородьки. Мышкин-князь меня тогда же упреждал: нельзя, мол, на такое согласиться, чтобы отдать Полуботку Украину еле не всю. Разрушится, мол, держава, а поляк морду вверх задерет. А они, Голобородьки, в одну душу; Полуботок — человек верный. А ежели, мол, хохлов не ублаготворишь, Катькиным енаралам свободный ход из Туретчины до Москвы останется. Ну, ладно! Хохлов-то мы ублаготворили, енаралы у волошского господаря чуть не в остроге каменном сидят, ходу им, верно, нету. Да нам-то радость какая? Оттяпали от державы какую кусину! Да поставили всюду свои заставы. Да не пропускают в нашу сторону с юга ни соли, ни рыбы. Везли армяне из Кафы серы пятьсот бочонков для наших пороховых заводов, а Полуботок, поганец, возьми да и забери всю тое серу. А мы из чего порох делать теперь будем? Поляки тоже не дураки: ничего не пропускают. Через Ригу да через Питер тоже не получишь, там пока что сенаторы да енаралы, да адмиралы Катьки покойной сидят. А сволота, что ни день, орет: пойдём, мол, в Питер, последним барам шеи свертывать, головы откручивать. А того, дура, в толк не возьмет, что на Питер-то тоже с голыми кулаками не полезешь. Так ошпарят, что вся шкура с тела слезет...

Ох, и рассержусь же я на всех этих опекунов, да шептунов, да советников непрошенных! Ох, да и наберусь же я старого духа, настоящего, казацкого! Ох, да и примусь я из моих ворогов лучину щепать! По-казацки. Как следоват... То есть, чтобы пух и перья во все стороны летели...

Да что же ты, Борька, молчишь? Словно воды в рот набрал, стервец. Анпиратор твой тебя своей доверенности жалуёт, а у тебя язык в какое-то место втянуло!

— А ты не сердись на меня, государь, — пожившись отозвался наконец Минеев. — Я ведь не велика шишка. Ну, к твоей персоне царской близок, по твоей милости ко мне, твоему слуге. За доверие — спасибо. А дела-то все без меня вершатся. Я совсем в стороне. Вон, Хлопуша... то бишь сиятельный граф Панин, и за то на меня злобствует, что ты меня комендантом кремлевским назначил. Кажись бы, что ему?

— Граф Панин — тоже верный мне слуга. Ты его не замай!

— Я его верности не порочу. Ему, как и мне, все равно деваться некуда... Я только к тому, что не имею совсем доступа в твой, государь, тайный царский совет.

— Тот «царский совет» у меня вот где сидит! — показал Пугачев на свое горло. — Те же Глобородьки да свойственники их, Сорокины, да езовиты яйцкие, душегубы, Подтелковы да еще Хлопуши дружки. Один Мышкин-князь не из ихней канпании Да и тот их слушает. Побаивается, чтобы они ему горла не перехватили. Очень просто! Они такие. Их на то взять. Окружили меня и вертят, как надо. Мы, мол, тебе венец царской вернули... Так ты, мол, почувствуй благодарность. Ах, езовиты, езовиты! А на кой мне прах и венец этот, когда сам я в малолетках при Голобородьке ходить должен?! Вон порешил Маринку обзаконить, а Глобородьки — на дыбки: не след, мол, тебе на твоей же полюбовнице жениться! А я знаю, в чем дело: подкладывают под меня Софку альбо Устюшку. Чтобы голобородкинское семя крапивное в анпираторы вылезло. Да не по-ихнему будет! Недаром Кармицкий покойный меня упреждал. Была мозга у парня, даром что всего-то в армейских сержантах побывал: смотри, говорит, величество! Голобородькинская помога тебе поперек горла потом станет да боком выйдет! Так оно и вышло. Верное его слово было. А самого его они, Голобородьки же, укокошили. Как взяли мы Татищеву фортецию, ну, тут я, конечно, на радостях загулял. Да и прозевал: покуда я веселился, они, волки, удавили мово верного дружка Кармицкого да, связавши ему ручки-ножки, и спихнули под лед. Вот хватился Мишки, где, говорю, Кармицкий? Что-то его не видать сегодня? А они, ироды, гогочут: пошел, мол, сержантишка поротый, к своей матушке, вниз по Яику...

По спине Минеева побежал холодок. Подумалось: «Оплошаю, так они с Хлопушей и меня к моей покойной матушке отправят. Только не вниз по Яику, который далеко, а вниз по Москве-реке...»

— Да добро бы было, ежели бы хошь на них самих положиться можно было, а то ведь они за меня цепляются, как черт за грешную душу, покуда все хорошо идет. А чуть сиверко повеет, они же первые начинают поглядывать, как бы мне руки скрутить да моей головой откупиться. Лукавые, черти степные, водяные болотные! Когда Голицын-князь нас под Татищевую раскатал да побежал я в Бердскую слободу, на то похоже было, что все пропало, — тогда голобородькинский шуринок Шигаев с другими захватили нас с Хлопушей силком, связали, как баранов, и хотели Рейсдорну головой выдать. А тот, сказано, что раздрыпа, так раздрыпа и есть! — не поверил. Обалдел. А тут набежали наши да и ослобонили и меня, и Хлопку. Вот они, голобородькинский род иудин, какие! А Лыска, то есть Лысов, который меня чуть на тот свет не отправил, копьем заколоть хотел, как борова, и заколол бы, не будь на мне кольчуги стальной — кто он был? Тоже из голобородькиных сродственников. Ну, ладно! Вот, бог меня тогда спас. Попался Лыска, рябой черт. Явное дело: подлежит смерти, пес. На законного анпиратора руку, злодей, поднять посмел! А они, Голобородьки, и то, и се, да он, мол, с пьяных глаз, да он такой-сякой, сухой не мазаной, да он себе заслужит. Одно слово — как еще Лыске награды не потребовали за то, что меня сквозь тело мое белое проткнуть хотел. Ну, только не вышло по-ихнему, я того Лыску-таки удавил, пса...

... А Харлову, маеоршу мою любимую, кто погубил? Баба им, вишь, помешала! Взъелись да взъелись, да что ни день, то пуще Бунтом грозить стали. А на сволоту я разве полагаться могу? Она, сволота, как дым от костра: куда ветер, туда она и стелется... Ну и прикончили Харлову. А она мне, бедная, и по сейчас по ночам представляется... Эх, Борька, Борька! Вот что они со мной, с анпиратором своим, делают!

Пугачев обмяк и слезливо заморгал. Минеев молчал, думая свою угрюмую думу. Золоченые сани с тройкой огневых коней и кучером-истуканом неслись стрелой по малолюдным еще в утренний час улицам старой столицы московского царства.

Неожиданно Пугачев приподнялся и неистово закричал. Кучер дернулся телом, а потом, справившись с испугом, принялся хлестать коней кнутом. Колокольчики залились малиновым звоном. Прохожие робко жались к стенам домов и заборам и долго-долго смотрели вслед. Многие торопливо крестились.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

И чего они, черти, величество по этим погорелым местам таскают?! — завозившись, проворчал недовольно Пугачев. — Словно дражнют! Полюбуйся, мол, белый царь, что с Москвою на радостях сделалось? А то, может, запугать хотят? Вот, мол, как попала столица в твои руки, так и почала разваливаться, таять, словно воск на огне!

Минеев, думавший свою думу, лениво поглядел на еще дымившееся местами пожарище, где среди остатков полуразрушенных огнем зданий копошились спасавшие, а, может, и расхищавшие скарб черные галдящие кучки людей.

— Маршрут князь Трубецкой составлял...

— Ильюшка Творогов?

— Он! Вместе с графом Паниным.

— С Хлопкою? Та-ак! — протянул «анпиратор».

— А составляли они маршрут еще третьего дня! — продолжал Минеев сухо. — А тогда этот квартал целехонек был. Горело-то вчера. Днем началось да, почитай, всю ночь и полыхало. Вон местами и сейчас курится!

— Ты это к чему, Борька? — воззрился Пугачев.

— К тому, что, значит, нельзя было предвидеть, когда маршрут составляли.

— А ежели, уже составивши тот маршрут, взяли да и нарочно и подпалили? Пущай, мол, полюбуется!

Минеев пожал плечами.

— Да какая цель-то в этом, государь?

— А я почем знаю? Разе им в душу влезешь? И так говорят, чужая душа — потемки, а в ихних душах — одна чернота! Хитрят, мудрят, кружева хитрые плетут. Цыкнешь на них, сволочей, так они словно ужи — на брюхе ползают, а отвернешься — шипят да жало высовывают! — раздраженно твердил Пугачев, когда сани проносились мимо сгоревшего квартала. — Ильюшка Творог — он кто? Двоюродный альбо троюродный братец того же проклятого Лыски, что на мою высокую персону предерзостно руку поднял. Да женат на голобородькинской выкормке. Так нюжли могу я ему, анафеме, верить?

— Ты, государь, кажется, теперь уже никому не веришь, — спокойно возразил Минеев.

— Никому и не верю! — подтвердил Пугачев. — Раньше дураком был, верил. Каждому простому человеку верил. Только дворянов остерегался, как они все Катькину руку тянули. А простым — тем верил, потому как я для кого и дело-то все затеял? Ну, думаю, они хоша бы с благодарности, обязаны мне по всем статьям, как выхожу я ихнего брата спаситель и



свободитель... А пожимши, глаза раскрываются: та же змеиная душа, что и у дворянов. Да еще, может и подлее. У иного дворянина хошь свой гонор дворянский имеется. Вон на той неделе Головин из орловских дворянов под присягу идти отказался. Мне, мол, моя честь дворянская не позволяет! Три месяца в колодниках ходил, одной руки решился, скрючило его в остроге в три погибели, вша его заедает, а вывели на плаце присягать с другими протчими, а он — на поди! Честь не позволяет! Это под виселицей-то, на которой его же сродственники, раньше повешенные, качаются! Ну и повесили... А моя сволота разве на такое дело пойдет? Да она только покажи ей арапник, не токмо што крулю польскому альбо султану турецкому, она борзому кобелю на верность присягнет!

Цепляются, говорю, за меня, покедова за моей спиной, как за каменной стеной. Моим именем прикрывшись, дураков грабить можно. А случись что, так они первые на меня же, помазанника, ошейник наденут да на веревке поведут в речке топить! Знаю я их! Я, брат, сквозь землю на три аршина все вижу!

— Никому не верить, так и жить нельзя, — глухо вымолвил Минеев. — Так и с ума сойти недолго!

— Очень просто! И руки на себя наложить — также недолго. И выйдет — черту баран... Эх, ну его к ляду, все такое! Одна радость: выпить. Хлебнул водочки альбо венгерского да покрепче, ну, от сердца и отлегло. Хошь дышать-то можно! А то и впрямь еще возьмешь да удавишься... Давай-ка нашу царскую дорожную флягу: согреемся!

Минеев достал из-под сидения саней объемистую дорожную флягу, обшитую сукном, с привинченным к горлышку дорожным стаканчиком.

— Кажись, не подменили, — пробормотал он, — а на всякий случай, государь, давай-ка я первым выпью!

Глаза Пугачева запрыгали, дряблые щеки затряслись, рот искривился. На лице появилось унылое выражение.

— До чего дожили, скажи пожалуйста! — горестно вымолвил он. — Чарку водки и то без опаски нельзя вылакать. Думаешь, как бы в ней, водке-то, отравы какой не оказалось! Н-ну, дела, можно сказать! Поди, Катька моя таких страхов и не знала. Жила себе, не тужила. Жамки жрала да чай с енарадами распивала, не боясь отравы...

— Ко всему привыкнуть можно, — неопределенно отозвался Минеев. — А только, конечно, береженого и бог бережет... Ну, наливай, что ли?

— А можно и не наливаючи! — бодро засмеялся «анпиратор», выхватывая из его рук флягу и прикладывая ее горлышко ко рту. — Мы, брат, по-походному, по-казацки!

Он долго глотал крепкую водку, покуда его смуглое лицо не покраснело.

— Ф-фу-у! Да и здоровая же водка! Аж дух сперло!

Он опять прильнул фиолетовыми губами к тонкому горлышку и когда кончил пить, на его темном лице было успокоенное, почти блаженное выражение.

— Все пустое дело! Одно слово — трын-трава! — засмеявшись, сказал он. — Прячь, Бориска, пригодится еще на нашей бедности...

Он как-то сразу посоловел, утонул в богатой собольей шубе, закрыл в изнеможении глаза и из искривленного рта понесся негромкий, но сочный храп.

Минеев рассеянно посматривал по сторонам и старался собрать разбежавшиеся мысли.

«Пьет «его пресветлое величество». Почти без просыпу пьет. Еще и раньше, до взятия Москвы, пил здорово, иной раз чуть не до зеленого змия, а все же, по крайней мере, в крутые дни умел сдерживать свою ненасытную утробу и сохранять свежую голову. В опасности сразу трезвел, словно рукой хмель снимало. В военном деле, бывало, показывал удивлявшее и нас, офицеров, умение соображать. Чутье какое-то было. А вот со взятия Москвы, да нет, еще раньше, даже со взятия Казани, с того дня, когда пришла весть о гибели царицы и наследника престола, Павла Петровича, словно покотился под гору и чем дальше, тем быстрее. Целыми сутками валяется в постели, держа при себе какую-нибудь бабу, «чтобы грела бока». Ничем не занимается. На все рукою машет. Раздувает его безобразно. За шесть месяцев два раза чуть не при смерти был. Доктора пугают: ежели не бросит пить, скоро каюк будет. Печень, мол сгниет... И будет каюк! Хоть какого богатыря такая жизнь скрутит, а он — какой же богатырь? Только что жилистый был, двужильный даже! Да вот сгорает, на глазах сгорает... Как сгорает и попавшая в его корявые лапы Москва, как и вся страна. Ведь и впрямь — горит все кругом!

Стоило брать Москву, чтобы в полгода довести ее до такого состояния! Ежели бы подняться над ней птицею да посмотреть сверху — вся в лысынах от пожаров. Поди, скоро и половины не останется. Население все прибавляется, та самая сволота, которая на своем хребте Емельку до престола доволокла, власть ему дала, — она со всех концов прет в столицу, на всенародное пиршество. Все труднее размещать да кормить эту ораву. Набьется сволота к какой-нибудь уцелевший квартал и все растащит без толку, без пользы разрушит. А там смотришь — пожар. И тушить некому: не свое, чужое горит. Бегут, как тараканы, в другие кварталы и несут с собой разрушение.

Заводов сколько было, мастерских разных, рабочего люда! А теперь что? Работать никто не хочет, а и кто хотел бы, нету возможности. Из пяти тысяч суконщиков на месте и пяти сотен не осталось: разбежались. Одни товарами из разворованных складов торговать принялись, другие спились, третьи в «городские казаки» записались да под видом того, что порядок охраняют, живого и мертвого грабят. Каждое утро на улицах подбирают десятка два-три зарезанных да полсотни, ежели не сотню, опившихся и замерзших. Цены на все, особливо на съестные припасы, в гору лезут. А деньги словно сквозь землю проваливаются. Да, оно, вероятно, так и есть: у кого еще водятся какие гроши, тот их в земле хоронит. А подвозу из деревень нету. Шел осенью хлеб по Волге да и застрял, рабочие побросали баржи, разграбили, что было можно, и разбежались. Стыд и срам: дров в столице нету. Дворцы топить нечем, заборы разбирать приходится да брошенные дома. От этого опустошение идет еще почище, чем от пожаров. Ну, на зиму хватит Москвы. До следующей зимы еще дотянуть можно будет. А там что? Конец... И так везде и всюду. И всюду недовольство, ропот, склока. Кровь льется... Режут друг друга, как баранов. Разбивают себе головы безмозглые...

На каменном лице Минеева появилось жесткое выражение.

«Ничто сволоте! Пущай! Сама захотела, безголовая! Печалиться мне, что ли? Да пропади все они пропадом! Мне в пору о том думать, как бы самому ноги унести...»

Сказалось действие выпитой крепкой водки: по телу разошлась приятная теплота, тяжелые мысли ушли куда-то, спрятались, оставив лишь мутный осадок глухой тревоги. Наплыла легкая и приятная сонливость. Однако охваченный сладкой дремотной истомой Минеев видел все, что творилось вокруг и держался по привычке начеку. Слышал, как скрипел под полозьями слежавшийся, укатанный снег, как екали селезенки мчавшихся вихрем коней и как заливались колокольчики и бубенцы. Вдоль дороги, по краям, стояли кучки людей, согнанных в снежные сугробы с пути «анпираторского» поезда казаками, скакавшими впереди. Эти люди падали на колени и били земные поклоны, приветствуя своего ставленника. А «его пресветлое царское величество», бывший беглый казак, спал пьяным сном, приткнувшись к плечу своего генерал-аншефа. Распластавшиеся на снегу «верноподданные» своим «ура!» приветствовали сидевшего прямо, как истукан, Минеева.

Откуда-то из самой глубины души всплыла мысль «А что, в самом деле? Чем я не царь? Чем я этого, обормота безобразного, с перегоревшей середкой, хуже? Почему не стать мне царем, ежели настоящего царя не видать? Подобрать бы только дружков верных да преданных. Этому долго не жить, все равно. Да, в случае чего ему и голову открутить не так трудно, особенно мне, по моему комендантскому положению. Вон, в ту же дорожную флягу подсыпать какого-нибудь зелья и вся недолга...

— Ур-ра! Ур-ра! — нестройно орала кучка наряженных в заплатанные тулупы мужиков, стоявших по колена в снегу, когда мимо них пронеслись сани с мирно посапывавшим «анпиратором» и размечтавшимся о возможности свернуть ему шею Минеевым.

Пугачев шевельнулся и раскрыл глаза.

— А? Что? — спросил он сонным голосом.

— Народ приветствует твое царское величество! — официальным тоном доложил Минеев.

— Н-ну, и дурак народ энтот самый! — сладко зевнув, отозвался «анпиратор» и снова закрыл глаза. — Орать-то он, народ, рад. А чего орет, того и сам не понимает. Так, горло дерет... Драли их, дураков, видно мало! Вот у немцев, там, брат, того... Не будешь орать... Там, скажу я тебе...

Не закончив фразы, он опять погрузился в сладкий сон.

Скоро кучер стал сдерживать упарившихся коней: доехали до первого «яма», где ждала подстава.

Перепряжка была прямо на дороге, перед воротами старого заезжего двора. Кроме ямщиков, конюхов и всякой дворцовой челяди, там стояла кучка по-праздничному разодетых крестьян с сановитым седобородым и красноносым сельским старостой во главе. Староста, которого почтительно поддерживали с обеих сторон такие же рослые сыновья, держал перед собой деревянное, разрисованное яркими цветами блюдо с караваем черного хлеба, берестяной солонкой и белым вышитым рушником.

Остановка саней и воцарившаяся тишина разбудили сладко спавшего «анпиратора». Раскрыв глаза, он посмотрел мутным взором на окружающих, мотнул головой в сторону стоявшего с хлебом-солью старосты и хмыкнул.

— Прикажешь принять подношение, государь? — деланно почтительным тоном спросил Минеев.

— А на кой ляд? — вырвалось у Пугачева — Свиной откармливать, что ли?

Но тут же спохватился и, выпрямившись, крикнул

— Спасибо, детушки! Спасибо, родные! Ах, сколь сие меня радует! То есть, значит, ваша мне вернопреданность и все такое. Старайтесь, детушки! Бог труды любит, а царь за усердие награждает! А пьянствовать не полагается! Ничего хорошего, окромя дурного, от водки не бывает. Да...

— Ваше Величество! Батюшка-царь! — оживился седобородый старик, подбегая к саням с подношением. — На одного тебя вся надежа! Заступись ты за нас, батюшка, как ты царь-анпиратор!

— Примай подношеньица, присходительство! — отдал Пугачев распоряжение Минееву.

— Шепелевские нас забивают! — вопил старик, норовя приложиться губами к плечу

«анпиратора». — Совсем житья от них, разбойников, нетути! Смертным боем бьют. Из-за водяной мельницы, которая... А кто ее, мельницу, строил, как не мы? Нашей барыне, Лизавете Григорьевне, госпоже Боевой, принадлежала. А у них, шепелевцев, каки таки права? Только и того, что ихний барин, Шепелев Пал Петрович, которого они по твоему приказу удавили, был женатым на нашей барыне, которую мы по твоему же царскому приказу живую сожгли вместиах с управляющим немцем... А они, шепелевские бывшие, наших человек с пяток из-за той мельницы укокошили. Да еще из-за лужка, который поповский, человек трех... Что жа это за порядок такой? Одно смертоубийство...

Пугачев, нахмурившись, почесал покрытый красными жилками нос. Усмехнулся и лукаво подмигнул:

— Ну, а вы, детушки, что жа? Так и стерпели?

Староста помялся, потом визгливо ответил

— А мы ихних тоже бьем, где попадет. Не замай наших, боевых! Каки таки права имееете?

— Значит, тоже охулки на руку не положили? — совсем уж развеселился «анпиратор». — Поди тоже с пяток в могилу загнать успели?

— До десятка будет! — признался старик. — Из-за нашего законного добра, то есть. Ай так спущать да разбой терпеть? При господах натерпелись, будя!

Кучер доложил, что перепряжка кончена.

— Валяй по всем трем! — распорядился весело Пугачев. — Ску-ушно тут!

— Батюшка! Ваше величество! — завопил подноситель хлеба-соли.

Но застоявшиеся сытые кони рванулись, и сани понеслись вихрем в поднятом копытами облаке снежной пыли

— Ах, дурак, ах, да и дурак же! — заливался Пугачев, плотнее укутываясь собольей шубой. — К самому анпиратору со своим дерьмом лезут, сиволдаи! Никак барское добро поделить не могут! А ты осовел, Борька? Ай перезяб? Давай согреться. Тащи, тащи флягу свою! Выпьем!

Потом он почти всю дорогу спал, завалившись вглубь саней и не просыпаясь даже на остановках.

На полдороге до Раздольного в селе Мозжухине был обед, приготовленный в уцелевших от пожара комнатах дома убитого крестьянами помещика, отставного генерала Мозжухина. Пожар разрушил старое дворянское гнездо, пощадив только одно крыло огромного здания. Но тут все носило следы разгрома и расхищения всего мало-мальски ценного, вплоть до дверных ручек, печных вьюшек и оконных стекол. Впрочем, высланные вперед «князем Трубецким» — яицким казаком Твороговым — рабочие и дворцовые челядинцы привели разоренное гнездо в некоторый порядок. Разбитые стекла окон были заменены промасленной бумагой и бычьими пузырями, исковерканные стены закрыты коврами, полы застланы волчьими и медвежьими шкурами. Но поправить полуразрушенные печи было немислимо, и поэтому в комнатах было холодно и дымно. Кое-как изготовленный высланными вперед дворцовыми кухарями обед оказался из рук вон плохим, и если бы недочеты его не покрывались обилием крепких напитков, весь обед был бы испорчен. От чада, стоявшего в холодных комнатах, у Пугачева разболелась голова, и он был не в духе. Сердился на своего бывшего любимца Творогова, злобно огрызнулся на заговорившего о делах Хлопушу, бешено обругал не вовремя полезшего с какой-то новой просьбой Прокопия Голобородьку

— Хошь тут-то отпустили бы душу на покаяние! Сгинь, постылый!

Едва пообедав, он велел вытащить на двор большое кресло и стал принимать выборных от Мозжухина и ближайших деревень. Сначала отвечал осаждавшим его запутанными просьбами мужикам ласково, именуя их «ребятушками» и «детушками», потом стал гневаться и обрывать просителей.

— Подушное сбавить просите? — сердился он. — Да много ли с души выходит-то? Да как у вас совести хватает, дуболомы? Волю я вам дал? Землю барскую получили? Чего вам еще нужно? Какого лешего вам не хватает? Власть у вас своя, выборная.

— Какая это власть? — возражали мужика — Воры сущие да грабители!

— Вы же их сами выбираете!

— Да что с того? Его выберешь, а он тебе сейчас же за пазуху норовит залезть, собачий сын! Куски рвут, душегубы!

— Который плох оказался — гони в шею!

— Все плохи оказывают себя! Покуда силы не имеет — хорош. А забрал силу — зубы волчьи враз вырастают! Заедают они нас! Пропадем!

— Помещиков вам, дурье, вернуть, что ли?

— Нет, это уж что?! Опять рабами заделаться? Не желаем! Так хотим, как у казаков на Дону... Чтобы никакой власти не было! Каждый сам себе хозяин и никаких!

— Сдурели вы, что ли, ребята? У казаков тоже своя власть выборные атаманы!

— Не желаем атаманов! У разбойников только атаманы бывают да есаулы!

— А кто подати собирать будет? С кого я спрашивать должен?

— И податей не надо! Будя! Весь век платили! Не желаем больше! Москва и без нас богатая! У казны денег и без наших грошей много! Пущай нам она, казна, теперь содержание дает!

У Пугачева налились кровью глаза, задергалась левая щека. Накатывался припадок бешеного гнева, когда он делался опасным и для окружающих, и для самого себя. Видя это, Хлопуша и Прокопий Голобородько с помощью Творогова стали гнать «депутатов».

Толпа поредела. Остались низко кланявшиеся «батюшке-царю» и что-то невразумительное бормотавшие старики. Пугачев смягчился и стал их расспрашивать о том, как идут в округе дела. Посыпались горькие жалобы:

— Одна беда за другой на голову валится. Еще осенью пошло конокрадство, какого никогда не было. Угоняют лошадей. Бают, кыргызы какие-то скупают для турецкого, мол, султана. Опять же поджоги. Сено в стогах все как есть пожгли, проклятые. Изб да овинов столько изничтожили, что и не перечтешь.

— Да кто поджигает-то? — допытывался угрюмо «анпиратор».

— А мы того не ведаем, батюшка! Разное бают. Которые так говорят, что, мол, господа разбежавшиеся за свою обиду мстят...

— Да вы же господ в корень вывели?

— Верное твое слово, вывели их, кровопивцев наших. Всех вывели! А которые уцелели, так

те кто куда бежали... Прячутся...

— Так кто же пакостничает?

— Пастухи бывшие. Первые конокрады, батюшка! Они всегда конокрадами были. Опять же, колодники, которые из острогов повыскочили. Лютые волки... Ну, и протчие которые... Раньше, скажем, поссорившись, он тебя матерным словом, а ты его тоже по матери, тем и кончалось. А теперь, чуть что, он тебе, проклятик, или нож в бок, или красного петуха пукает. Ему что? Начальства теперь нет, наказывать его, сукина сына, некому. Острога нет. Кого ему опасаться? А чуть что — он айда в Москву а ль на Дон, к казакам, а то еще куды... Опять же, разбойного люду развелось, и-и-и сколько! Одно слово, видимо-невидимо! Режут народушко православный, хрестьянский, хуже татаров... По дорогам проезду нет.

— Я всюду команды воинские рассылаю. Для порядку...

— И-и-и, батюшка! Не прогневишь только, твоя царская милость, на слове! Твои команды то только и делают, что народушку притеснение учиняют. Ты его для порядку посылаешь, а он, значит, мощну набить старается. Лучше и не суйся: забьют насмерть! Опять же, насчет женского сословия. Никогда при господах такой обиды не было. Ну, баловались барчата да которые управляющие, да и то больше с дворовыми девками. А теперь которая девка молодая, так ее и в клетки не спрячешь: выкрадают. На увод, значит. Народушко говорит, персюки там какие-то скупают. Девочек, то есть. Они, персюки, сами черные как черти, а до наших девочек белотелых охочие. Опять же ребята совсем осатанели. Отцов-матерей никто слушать не хочет. Ему, пащенку, говоришь, чтоб, мол, работал по хозяйству, а он, пащенок, в ответ: теперь, мол, все вольные! Хошь, так сам и работай! Таки-то дела, батюшка, ваше велицтво! Опять же, все говорят, страшная война весной будет. Собрались, мол, семь царей, да семь королей, да сколько там князей, да турецкий султан, да какой-то там бухарь и положили промеж себя клятву — русскую землю под себя забрать да поделить, а народушко изничтожить.

— Вздор! — скрипнув зубами, отозвался Пугачев. — Пустое. Бабы плетут...

— Тебе лучше знать, ваше величество, тебе лучше знать! А только слушок такой есть. Что правда, то правда. Поляк, мол, Смоленск-город уже забрал. А от Смоленска далеко ли и до Москвы? Смоленский трахт — вот он, рукой подать... Опять же турок, говорят, с несметной силой пришел. Кого саблей рубит, кого копьем колет, а у казаков силушки не хватает, а хохлы-мазепы тому турку помогают, чтобы Москву изничтожить... А прогнать-то его, турку, и некому! Енарал Румянцев был, так его кто-то в башню посадал, на чепях держит. Енарал Суворов был, и того арештували. А Потемкин-енарал, так тот, колдун, серым волком обернулся или птицей, да и перемахнул в чужие края, там опять свое войско верное собирает, чтобы весной на Москву пойтить да всем наказание исделать...

— Мелете вы и сами не знаете, что! — рассердился Пугачев.

— Верно твое слово, батюшка, царь белай! Ах, сколько верно ты говоришь! А только разные знамения проявляются. Орловский архиерей, которого башкиры твои зарубили в соборе, по ночам из могилы выходит. Страшной такой! Весь в крови... А в руках крест-золот... А кто ему на дороге попадет, тому он, убиенный башкирцами, говорит: «Молитесь, нечестивцы, а то грядет на вас сила несметная!..

— Бабы сказки одни!

— Тебе знать лучше, твое пресветлое царское велицтво! А только верные люди сказывали. Опять же в Саратове-городе мещанка, бочарова жена, разродилась зверушкой рогатую да хвостатую... Будто не от мужа-бочара, а от самого нечистого духа... А это дело конец света предвещает. Опять же где-то сам с неба камень накаленный упал, как гора. И был с того

камня глас...

— Пошли вон, дураки! — рассердился «анпиратор». Он вскочил и затопал ногами.

— Ав-ва-ва...

Толпу мужиков словно ветром сдуло.

— Лошадей! — крикнул срывающимся голосом Пугачев. — Водки!

Опять по покрытому укатанным снегом тракту скакали сломя голову гайдуки, сгонявшие с дороги едущих и идущих плетями и неистовым криком, за ними неслись казаки в алых чекменях, за казаками летели гуськом сани царского поезда.

Сзади, замыкая шествие, нестройной гурьбой валили башкиры и киргизы на своих разномастных лошадях. И казаки, и башкиры, и киргизы были уже не те, с которыми «анпиратор» утром покинул Москву, и даже не те, которые их сменили на одной из первых остановок: масти конвоя были заблаговременно высланы вперед и сменяли друг друга с таким расчетом, что каждой отдельной части приходилось, сопровождая поезд, пробегать не больше двадцати или двадцати пяти верст. Многие кони не выдерживали сумасшедшей гонки и падали по дороге.

С самого утра день был ясный: на небе — ни тучки, ни облачка. Весело обливая лучами укутанную пышным снеговым покровом землю, катилось зимнее холодное солнышко. Держался порядочный мороз. Но уже вскоре после полудня с запада стали показываться тучки. Померк, потом и совсем исчез огненный шар солнца, потонув в облаках. Потеплело, повеяло теплом с запада, откуда плыли, подгоняя одна другую, серые тучки. Рано смерклось. А поезд все мчался и мчался.

Вдоль того пути, по которому еще предстояло пройти, стали загораться заранее заготовленные огромные костры, служившие как бы маяками. Появились и вершники со смоляными факелами, лихо скакавшие впереди поезда и по бокам. У костров, мимо которых проплывали сани и кареты на полозьях, копошились толпы крестьян, согнанных для встречи «анпиратора». Но теперь они уже не оглашали ночной воздух криками «ура!» в честь «Петра Федорыча»: эти нестройные мужицкие крики надоели помрачневшему Пугачеву после первых же встреч, и по его приказанию Творогов с одной из остановок выслал конных гонцов оповестить встречных, что разрешается только снимать шапки да бить поклоны, не утруждая слуха его пресветлого царского величества своим мужицким криком.

Строгий приказ был выполнен. Толпившиеся у придорожных костров верноподданные «анпиратора» срывали с себя треухи и становились на колени, как только вблизи показывались мчавшиеся с гиканьем передовые гайдуки со смоляными факелами, а когда налетали казаки в алых чекменях с длинными пиками, мужики принимались отбивать поклоны. Почти все крестились.

Когда поезд исчезал в ночной мгле, у медленно догорающих костров долго еще оставались кучки людей.

В одном из сел, верстах в сорока от Раздольного, для «анпиратора» был приготовлен ужин. Но Пугачев закобенился. С трудом согласился он войти в избу, где стояли столы с яствами и питиями, выпил несколько чарок водки, вяло пожевал ломоть пирога с начинкой «на четыре угла», запил стаканом сладкого вина и поднялся.

— Едем, Бориска! — сказал он Минееву. — Скучно чтой-то... Надоело все это... Ну его к ляду...

— Едем — так едем! А с ужином как же быть?

— А так и быть! Кто из енаралов да министров жрать хочет, пушай жрет. Нагонят нас опосля. А не нагонят, так беда не велика. Вон, которые уж отстали по дороге. Ну их всех к шуту. Надоело мне с ними валандаться, хуже горькой редьки... Едем!

Они уехали. Огромный хвост спутников, оторвался, задержавшись, чтобы поужинать. Но сани, в которых сидели по привычке прикрывавший рукавицей свое изуродованное лицо угрюмый Хлопуша, расстроенный «анпираторской» немилостью и старавшийся бодриться, яицкий казак и лихой конокрад Творогов, ставший теперь «министром двора», и другие сани, в которых о чем-то сердито говорили Прокопий и Юшка Голобородьки, увязались за санями Пугачева

Увидев это, Пугачев скривил губы и, мотнув головой, вымолвил:

— Дядьки мои. За малолеточком присматривают, чтобы он, малолеточек, ножку себе не зашиб ненароком альбо глазок не запорошил чем... А мне этот надзор колом поперек горла стоит!

— Ты — царь! Хочешь, так и прогнать можешь!

— Прого-онишь их, как же! — невесело засмеялся «анпиратор» — Куда их прогнать-то? Смутьянов этих? Нельзя их прогонять: опасно. Народ против меня взбулгачить могут. Очень просто!

Минеев пожал плечами, но промолчал.

— А ты как бы с ними поступил? — спросил Пугачев минуту спустя.

Минеев развел руками.

— Не знаю, право... Трудно мне себя на твое место поставить...

— То-то и есть, — пробормотал Пугачев. — Прицепилась они, Голобородьки всякие, к моим ногам да к рукам, облепили меня и ходу мне не дают. А чует мое сердце, тянут они меня гуртом в пропасть. Вот-вот гуркнем все туда, в пропасть-то! Слышал, что мужичье-сволочь балакает? Светопреставление, мол, идет. Бочарова жена в Саратове чертячьего младенца нечистого выродила. А еще какой-то там камень с неба. Опять же убиенный архиерей... Я его убивал что ли? Али приказ мой такой был, чтобы убивать? Да я еще в Казани строго приказал: которых даже дворянского звания, ежели только сопротивления не оказывают, не резать здря! Так разве сволоту в руках удержишь? Она, сволота, как зверь дикой: покуда в клетке сидела, покуда и вреди мало было, только вонь одна звериная. А вырвалась из клетки — и почала зубы пробовать да так разгулялась-разыгралась, что ни кого ни попадя бросается да в ключья рвет. В Кашире давно ли бунт был? А против кого? Сами, дуболомы, властей над собой поставили, а потом перебили. А калуцкий полк чего в том месяце наделал? Я их, калуцких, в свою анпираторскую гвардию записал, каждому солдатишке по рублю серебром отсыпал, а они с чего-то сдурели да своих же выборных командиров до последнего человека на штыки подняли, а которых в огонь живыми побросали. Город на шарап взяли. Обывателей сколько перекрошили... Говорю, сущие волки! А почнешь их наказывать, как следовало, потому они, подлецы, всю державу разворошить могут, так они орать начинают, что, мол, какая же это в сам-деле слобода? Вот ты и подумай, делай что полезное с таким зверьем двуногим...

Помолчав, Пугачев снова заговорил, словно беседуя с самим собой:

— Не пойму чтой-то никак, как и что... Вон Лизавета, тетка моя, баба-сладкоежка, двадцать



лет на троне сидела. Путалась с хохлом своим, сладкопевцем, с Разумовским, да с Шуваловыми, да с кем-то там еще. А о делах и думки у нее не было: баба, так она баба и есть! А ничего, управлялась. Опять же, Катька моя благоверная. Ну, эта не дура, положим: хитрая немка. А все же — баба. Однако, ничего, гладко шло. А вот у нас с тобой, удалых добрых молодцев, все как-то коряво выходит...

— Утрясется...

— Утрясется ли? Все вы мне твердите для успокоения, что, мол, утрясется... А на мой взгляд растрясывается все с каждым днем. На первых порах: даже оно будто и лучше было, яснее как-то. Господ по боку, земля крестьянству, всякая слобода, крестись хошь двумя, хошь тремя перстами, хошь всюю пятерней, торгуй каждый, кто чем хочет. Суды всякие по боку. Начальства тебе никакого: выборные. Ну, гладко было в мыслях. А дошло до дела, кат его знает, что и выходит. Расквасили мы большой горшок, а слепить новый не того... Не выходит... Ай ошибка вышла? Ай не с того конца начали? Не так надо было дело варганить? Да что ты молчишь, Борька?

— А что мне говорить-то? — непочтительным тоном сказал Минеев. — Я одно знаю: снявши голову, по волосам не плачут. Попали в передрагу, ну, надо вывертываться.

— А вывернемся ли? Нет, ты по чистой совести! Напрямки. Я, брат, правду-матку люблю. Бояться тебе нечего. Говори откровенно, что думаешь...

— Набирай армию, государь! Регулярную армию, настоящую. Чтобы дисциплина была прямо-таки железная. Как при Петре Первом. Офицеров подбирай. Настоящих, чтобы солдата в руках держали. Закон крепкий поставь. Предавай смертной казни каждого, кто провинится. Петр-то, твой прадед, своею рукой послушникам головы рубил... Грабителей — на виселицу. Разбойников — на кол сажай. Ворами руки руби.

— Вона! — засмеялся невесело «анпиратор». — А кто тогда в живых ходить будет? Эх, не показывается мне что-то... Коряво, коряво выходит. Тогда только и на сердце легко, когда выпьешь да какой-нибудь гладкой девке под бочок подкатишься...

Пугачев смолк и, казалось, отдался дремоте. Сани пролетали мимо ярко пылавших костров и стоявших на коленях мужиков.

Начинало снежить...

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Раздольное, огромное и благоустроенное поместье Шереметьевых принадлежало к числу тех немногих дворянских имений, которые почти не пострадали в дни великой смуты. Может быть, Раздольное спасло то, что пашенных земель и лугов здесь было мало, а десять десятых занимал могучий, местами прямо дремучий лес, чуть ни единственный остаток старых лесных богатств московского края. Несметные богачи, Шереметьевы, получившие при Петре Великом графский титул, из поколения в поколение были страстными охотниками и берегли Раздольное как охотничий рай, не соблазняясь возможностью больших выгод от вырубки леса и заселения своих пустошей беглецами. Поэтому к тому времени, когда орды «анпиратора» двинулись от Казани к Москве, в пределах Раздольного сравнительно с его размерами оказалось ничтожное количество крестьян, да и эти крестьяне, по большей части не землепашцы, а привыкшие жить лесным промыслом, не причинили богатому имени большого вреда. Понятно, пользуясь данной «анпиратором» волей и желая воспользоваться

и обещанной землей, они объявили своей собственностью все пахотные и луговые земли, окружавшие их малолюдные поселки, вырубили несколько сот десятин коренного мачтового леса под предлогом запаса на постройку новых изб, пошарпали рассеянные в лесу отдельные барские мызы, где жили шереметьевские лесничие, надсмотрщики и крепостные охотники. Но на выстроенный в петровские времена барский дворец, носивший название Охотничьего, посягнуть не осмелились. Тут, кстати, неведомо откуда вывернулся шустрый выходец с Вологды Питирим Чугунов, бывший прежде одним из многочисленных управляющих в каком-то из родовых имений Шереметьевых, — человек с действительно чугунными кулаками и медвежьей силой, к тому же стоявший во главе целого племени таких же лесных медведей и сопровождаемый целым отрядом вымуштрованных псарей и гайдуков, вооруженных до зубов и отлично умевших управляться с оружием. Имевший свои планы на будущее, Питирим Чугунов или, как его звали крестьяне, Питимка Чугун, не долго думая, сейчас же стал действовать от имени нового «анпиратора» и объявил, что Раздольное отписано в казну и впредь все огромное имение «граховов», бежавших за границу, будет царской собственностью и охотничьим угодьем. Он железной рукой прекратил бестолковые порубки леса, разрушение сторожек, вторжение обнаглевших деревенских парней в Охотничий дворец и расхищение хозяйственного инвентаря. Попробовала устроить на Раздольное набег какая-то бродячая шайка грабителей. Чугун, не долго думая, встретил грабителей дружным ружейным огнем. Кто не был убит и не успел сбежать, был подвергнут свирепой порке. С тех пор отпала охота у грабителей лезть в хорошо охраняемое Раздольное.

При помощи своих дальних родственников Чубаровых Питирим Чугунов добился доступа к самому «анпиратору», которому на первый раз бил челом подношением целого набора дорогих охотничьих ружей «аглицкой работы», отобранных, разумеется, из собраний Шереметьевых. Он безбожно, но умело льстил «батюшке белому царю, природному государю» и вошел в его милость. Пугачев утвердил Питирима в должности главного управляющего Раздольным и прочими к нему приписанными имениями Шереметьевых и, отпуская, сказал: Старайся, мил-человек!

— Для твоего царского величества — разопнусь! Кому хошь горло перерву! Да мы, Чугуновы...

Теперь, незадолго до полуночи 26 декабря Питирим Чугунов имел счастье торжественно принимать в Раздольном прибывшего на медвежью охоту «анпиратора».

Сам Чугунов вместе с семейными и всеми его ближайшими помощниками по управлению имениями Шереметьевых, получив вест от выставленных по дороге дозорных, что царский поезд приближается, вышли встретить приезжих за монументальные каменные ворота шереметьевской усадьбы, где еще с ранних сумерек пылали огромные костры и смоляные бочки. Все были разряжены по-праздничному. На дворе перед двухэтажным Охотничьим дворцом горели сотни налитых салом плошек. На каждом окне здания пылали десятки свечей. Люди шереметьевской охотничьей команды в чекменях и в высоких казацких шапках стройно стояли от ворот до подъезда шпалерами, держа в руках смоляные факелы. Все вместе представляло красивое и торжественное зрелище, и Пугачев, которому долгое путешествие по покрытым снегами полям и перелескам сильно наскучило, сразу повеселел.

— Здорово! — вымолвил он, ухмыляясь и подталкивая локтем молчаливого Минеева. — Лихо принимают нас с тобою, Борька! Сказал однава Чугун старой, я, мол разопнусь, да угожу! — и выходит — слово его верно! Стараются, собачья печонка!

От ворот до парадного подъезда сани «анпиратора» и его спутников проехали шагом. Чугунов и его свита шли за санями гурьбою. У подъезда сани остановились как раз у края дорогого персидского ковра. Чугунов прытко подбежал, отстегнул тяжелую, запорошенную снегом полость и помог «анпиратору» выйти из саней, почтительно поддерживая его под локоток и

слащаво приговаривая:

— Не оступись, великий государь! На коврик, на коврик священными стопами... Чтобы ножкам, значит, мягко да тепло было... Надежа-государь! Отец наш! Радость-то какую нам, грешным, бог посылает! Ну, совсем светлый праздник!

— Помогай, помогай! — снисходительно ответил польщенный «анпиратор». — Видим твоё старание!

— Пять ступенечек, пресветлый государь, — извивался ужом вологжанин, — крылечко, значит, елочками мы убрали в честь твоего приезда... Ах, сколь осчастливил ты нас! Ах, сколь порадовал! А уж мы-то, рабы твои верные, для тебя, батюшка. То есть скажи только — жен и детей заложим! Иззяб, поди, батюшка? Ничего, ничего! Сейчас согреешься! Натоплено у нас. Тепло, как в раю господнем. Слуги твои верные да повара, да казаки удалые еще третьего дня пожаловали. Все приготовили. Пожалуй, пожалуй, батюшка, защитник наш, отец и покровитель!

Прием вышел хоть куда. Во время ужина, накрытого в огромной зале дворца, с хорами и расписанными итальянскими мастерами стенами и потолками, где от множества свечей было светло, а от топившихся без перерыва трое суток громадных «голландок» прямо жарко, играли невидимые за колоннами и трельяжем трубачи, бывшие крепостные музыканты Шереметьевых. Огромные столы были заставлены блюдами с разнообразными яствами, а также жбанам и сулеями с напитками. На особом возвышении на столе против подобия трона, на котором восседал «анпиратор», красовался Кремль из расцветченного сахара. Шереметьевский повар-зодчий, великий искусник, не позабыл осветить сахарные башни и церкви тоненькими восковыми свечечками, чей свет мягко просвечивал сквозь крошечные окошечки из цветной слюды.

Почему-то именно эта подробность привлекла к себе особое внимание повеселевшего «анпиратора». С жадным любопытством дикаря он рассматривал сахарный Кремль и даже трогал зубчатые стены и раскрашенные крыши башен корявыми пальцами.

— Ну и Чугун! — бормотал он, расчувствовавшись не на шутку. — Вот так Чугун! Одно слово — настоящий Чугунок-Чугунице! Разодолжил! Знал, чем угодить! Хошь, я тебя в енаралы произведу?

— Игде нашему брату, мужику, да в енаралы лезть?! — скромничал Питирим.

— Вона! — засмеялся Пугачев. — Я, брат, и не такую сволоту в енаралы повыводил! Ломаться тебе, значит, нечего! Жалуем тебя, нашего слугу верного, енаральским чином. Ходить тебе впредь в енаралах, и больше никаких. А твоя жена енаральшею будет!

— Вдовый я! — сокрушенно признался Чугунов. — Девятый годок во вдовцах хожу...

— А кто ж у тебя по дому? — любопытствовал Пугачев.

— Сношеньки две да племянничка одна. Дозволь и им, надежа государь, к твоей пресветлой ручке приложиться! Осчастливь...

«Анпиратор» милостиво согласился, и на зов Питирима откуда-то павами выплыли три молодые женщины. В одну из них Пугачев впился глазами: это была высокая, статная, смуглая, чернобровая и черноглазая девушка цыганского обличья, лет семнадцати, в алом расшитом серебром и золотом сарафане. Подошла, обожгла «анпиратора» взглядом блестящих черных глаз, усмехнулась, заметив произведенное впечатление, и притворно скромно потупилась.

— Племянничка моя, двоюродного брата доченька. Сироточка горемычная! — лебезил заранее приготовивший эту встречу Питирим. — Уж так-то она, надежда-государь, зреть твою высокую персону желала!

— Ну и красавица! — вырвалось у Пугачева, пожиравшего глазами действительно красивую девушку.

— А уж скромница какая! — распинался Чугунов. — А уж разумница какая! А уж и сказочница же! Как почнет про Иван-Царевича да про Алену Прекрасную, да про жар-птицу и все такое, ну, прямо соловей поет!

— Что замуж не выдаешь разумницу свою? — осведомился Пугачев, поглаживая смуглянку по круглому плечу.

— Да она, государь, на парней и глядеть не хочет! Не показываются ей что-то... А я ее торопить не желаю. Что ее принуждать-то? Пушай на девичьей воле пока что погуляет...

И, скосив глаза, совсем уж сладким голосом добавил:

— Вон пойдешь почивать, надежда-государь, от трудов твоих царских, кликни ужо. Танюшка, говорю, сказок страсть сколько знает... Песни играть умеет... Пяточки почешет... Все такое...

— Ах, да и Чугун же! Ах, да и Питиримка же! — восторгался «анпиратор», сильнее нажимая на круглое плечико смуглой Тани — Вот так Чутунице!

Потом шутливо обратился к девушке:

— А меня, старика, не забоишься, красавица?

Та снова обожгла его взглядом черных глаз и, улыбнувшись, вымолвила:

— Кабы все молодые такими были, как ты, батюшка... А мне, девице, чего и бояться тебя? Чай не съешь живую-то?

Пугачев быстро разомлел от комнатного тепла, от усталости, от выпитого за день вина, а еще больше от возбуждающей близости молодой красавицы. Он скоро подозвал к себе Чугунова и сказал ему:

— Разморило меня, Чугунок! Отдохнуть бы...

— Опочиваленка давно готова, государь! Отдохни, батюшка. Успокой свое тельце пресветлое...

— Проводишь, что ли?

— Танюшка и проводит тебя, государь! Посидит, покедова сон на тебя сойдет... Сказочку какую расскажет...

«Анпиратор» тяжело оперся на подошедшую к нему смуглую красавицу и пошел, волоча ноги. Трубачи за колоннами снова грянули в серебряные трубы.

К освещенному площадками и смоляными бочками подъезду Охотничьего дворца подкатывали одна за другой сани отставшего по дороге царского поезда, и в пиршественный зал вваливала одна гурьба за другой. С неба падал крупными хлопьями снег.

— Ну, завтра на медведя идти нечего и думать, — сказал, притворно сокрушаясь, Питирим Чугунов встретившемуся на его пути Минееву.

— Ну, одну-то медведицу, поди, государь сей же ночью в спальне своей на рогатину посадит!  
— крепко пошутил Минеев. — Подсунул к нему племянницу-то?

Чугунов засмеялся.

— Нюжли грех, присходительство? Ему — удовольствице, а девке — честь... Пуцай поиграются...

— Положим...

После ухода «анпиратора» в спальню трубачи играть перестали, но пир продолжался чуть не до рассвета.

Нашлись охотники посмотреть дворец. Толпу сановников, в которой были Хлопуша, Творогов, Юшка и Прокопий Голобородьки, Минеев и еще кое-кто из приближенных «анпиратора» водил по шереметьевским апартаментам сам Чугунов, сильно выпивший, но державшийся бодро и ни на минуту не забывавший своей обязанности гостеприимного хозяина.

Зашли в длинную залу, где на стенах висели картины в резных позолоченных рамах.

— А это у грахов, значит, шереметьевского роду была, так сказать, галдарея портретная! — пояснил Чугунов, подводя гостей к картинам. — От самого, значит, начала ихнего роду... Заграничные мастера писали.

Пройдя несколько шагов, он остановился

— А здесь, господа енаралы, прежних государей да государынь лики пресветлые... Петра Первого да его супруги благоверной, Екатерины, опять же Петра Второго. Опять же, Лизаветы Петровны...

Кто-то обратил внимание на пустой простенок, на котором, судя по торчавшему еще костылю, раньше висела какая-то картина.

— А тут почему пусто?

— Грех такой вышел! — бойко откликнулся Питирим. — Уж я и то сокрушался — страсть! А висел тут, ваши присходительства, иностранного мастера работы портрет его пресветлого царского величества, ныне благополучно то есть царствующего батюшки нашего Петра-свет-Федоровича всея России. Очень уж похоже было. Ну, прямо, как живой. Иной раз инда жутко смотреть было... А был тот потрет пожалован графу Михаилу Кирилловичу самим батюшкой в знак царской к нему милости. Ну, правду надо сказать, берегли его, тот портрет, царскую милость, как зеницу ока. А рядышком, вот туточка, висел, значит, потретец Пал Петровича, наследничка богоданного. Ну, а как были в наших местах беспорядки, то забрались сюда парни озорные, известно, пьяные да глу-упые... Что с ихнего брата и спрашивать? Чернота! Да с пьяных глаз и порезали на шматки оные портреты... Уж так-то досадно! Уж так-то жалко! Вот теперь, приехавши сюда, полюбовался бы батюшка на свою персону... То-то ему, батюшке, приятно было бы... Ну, а дуроломы-то и пошматовали картинки. Разе они понимают? Им что?

Минеев чуть улыбнулся себе под нос и потупился. Кто-то хмыкнул. Илья Творогов, только что опустошивший целую бутылку огнистого венгерского, заржал, как степной жеребец, и хлопнул Чугунова по плечу с такой силой, что тот крякнул.

— Ох, да и ловкач же ты, Питиримка! Ой, да и хитрец же ты! Ой, да и дошлый ты, черт лысый! Так парни, гришь, потрет-то царской изничтожили? Хо-хо-хо!

— Парни, батюшка князь сиятельный! — с каменным лицом ответил Чугунов. — Такие шалые,

такие бесстыжие... Им что?

— А ты об этом докладывал... самому-то?

— Его царскому величеству? А как же! Ньюжли молчать надо было? — ответил Питирим. — В первый же раз, как был допущен пред царские очи. И пал тут я на колени, и бил лбом об пол... Не прикажи, говорю, великий государь, казнить, а прикажи миловать. Не моя вина, что изничтожены картинки-то... Твой да цесаревича, мол, портреты... Парни треклятые изничтожили по дурости...

— Хо-хо-хо! — грохотал Творогов. — Так я и поверил тебе, старый Чугун! Так я и поверил! Поди, сам картинки вырезал да запрятал...

— А мне зачем бы их прятать? — притворно удивился Чугунов.

— Ну, так, значит, в печке спалил!

— А зачем бы я их палил?

— А чтобы соблазна не было...

— Какого соблазну? Окстись, присходительство, то бишь, сиятельство! — вдруг сурово прикрикнул Чугунов. — Хоша ты государю-батюшке и приближенный слуга, а не гоже так говорить. Прищеми язык, говорю! Болтать такое не следует. На людях, чай!

Повернулся к хлопавшему глазами Прокопию Голобородько:

— Унял бы ты своего сродственничка! Я-то, конечно, не доносчик. Мое дело маленькое. А неровен час, доложит кто другой его величеству, так и совсем не хорошо может выйти...

Прокопий сообразил, испугался и прикрикнул на хохотавшего Творогова:

— Заткни пасть, непутевый! Чего ржешь? Ну тебя, в сам деле!

Гости притихли.

— Холодно тут чтой-то! — заявил Хлопуша. — Айда, господа честные, где потеплее...

И портретная галерея погрузилась во мрак.

Уйдя спать с отведенную ему Чугуновым комнату, поблизости от той спальни, где пребывал сам «анпиратор» со смуглой Танюшкой-сказочницей, Минеев разделся и, облачившись в беличий халат, улегся на широкой софе. «Значит, склока-то идет! — подумал он. — Питиримка всю эту комедию недаром разыграл. А за его спиною Чубаровы. Против Голобородькиного рода-племени. Творогов, дурак, так только, по дурости, под руку подвернулся. Ну, конечно, что случилось завтра же «самому» ведомо станет. С прикрасами. Разумеется, «сам» озлится. И без того на Творогова уже зуб точит... Ну, все это хорошо. А что из этого выйдет? Кто, случись что, снизу, а кто сверху окажется? Кто кого подомнет да ломает? А пущай их! Мне не все ли равно? Жалеть, что ли, кого из зверья двуногого? Грызутся, как голодные пауки в склянке, друг друга поедают, а мое дело — сторона...

Вспомнилась смуглая Танюшка. Минеев сладко потянулся, зевая. «Славная девка... Где Чугун такую выкопал? Племянница, говорит. Врет, поди... Ну, ничего: племянница или нет, а «самому» явно угодил... Бабник «пресветлый» наш». Пощупал под кольчугой и рубашкой: цел ли замшевый пояс с алмазами и рубинами. «Цел»... Успокоился и погрузился в дрему.

Двое суток мела метель. Об охоте нечего было и думать. «Анпиратор», которому очень по

вкусу пришились сказки смуглой Танюшки и ее горячие девичьи ласки, почти двое суток не показывался из своей опочивальни. Приехавшие с ним приближенные, впрочем, не очень скучали: с утра и до поздней ночи в огромном столовом зале шел пир горой, а напившихся расторопные слуги, вымуштрованные Чзпуновым, укладывали спать в одной из бесчисленных комнат дворца, обращенных в опочивальни. Другие резались в карты. Иные забавлялись с неведомо откуда вынырнувшими разбитными девками. Кто-то, опившись, очоурился тут же, в столовой, и пролежал несколько часов колодой, прежде чем обнаружилось, что он мертв. Кто-то другой, бог весть с чего, забрался на чердак, и там удавился. Были драки, впрочем, без особо тяжких последствий, потому что слуги сейчас же растаскивали дерущихся.

Каждые три или четыре часа из Москвы прибегал очередной гонец с депешами, извещавшими, что в столице все обстоит благополучно.

Вечером на четвертый день святок явился молодой князек, Семен Мышкин-Мышецкий, числившийся на службе по иностранной коллегии и бывший личным секретарем при отце: привез от князя Федора доклад с разными новостями.

К «анпиратору», рано замкнувшемуся в уютной опочивальне с Танюшкой-сказочницей, князька не допустили. В одной из комнат дворца собралось несколько приближенных «анпиратора» с фельдмаршалом Хлопушей во главе, и Семену Мышкину-Мышецкому было предложено сделать этому «царскому совету» краткий доклад по содержанию привезенных депеш. При этом присутствовал и Минеев.

Давно невзлюбивший молодого князя за его молодость и пригожесть безносый Хлопуша встретил Семена Мышкина-Мышецкого насмешливым вопросом:

— И как это ты снегу не побоялся, барчук? Замерзнуть по дороге мог... А с какими новостями пожаловать изволил? Докладай царскому совету. Его величество отдыхает, приказал не беспокоить до завтра.

Семен Федорович принялся излагать вкратце привезенные новости:

— В Москве все спокойно. Москва мирно празднует святки, да и погода там эти дни была хорошая. Метель только тут, вокруг Раздольного. Ну, а что касается новостей, то вот они; ехали в Москву посольства от цесарского величества из Вены да от короля прусского. Из Берлина везли даже царю подарки разные, промежду прочего полное фельдмаршальское обмундирование, золотую шпагу, часы с хитрой механикой и еще другое. Да польские власти задержали под разными предлогами.

— Зарываются ляшки! — засмеялся Хлопуша. — Ну, дальше!

— Случайно прорвавшиеся через польские кордоны на русскую сторону купцы-армяне привезли иностранные куранты, в которых пропечатано, что сам Фридрих II, король прусский, уже собиравшийся выехать в Кенигсберг, где собрана восьмидесятитысячная армия, внезапно заболел и, по-видимому, опасно, так что дважды уже распространялся слух о его смерти.

— А пушай его помирает, старый перец! — засмеялся Хлопуша. — Нам никакого огорчения окромя радости...

— Поляки заявляют нам все новые требования. Ведут себя очень дерзко. Промежду прочего, те же армяне сообщают, что в тылу у польской армии, придвинутой почти к Смоленску, не все гладко: гайдамаки с Украины переходят за польскую границу, подбивают холопов, режут панов, грабят жидов. Уже взяли и сожгли несколько богатых местечек. Разгромлены поместья Радзивиллов и Сангушек.

— Ништо полячишкам! — позлорадствовал Хлопуша. — Мы им еще пустим красного петуха. Пущай по Польше погуляет... Ха-ха! Хлоп-то и там такой, как у нас крепостной... Да они, полячишки, своему холопу горячего сала за шкуру любят заливать, поди, почище, чем наше баре...

— Нет ли каких особых новостей из Питера? — осведомился Минеев.

— Был бунт в Кронштадте: бомбардир Аверьянов подбил, было, матросов, да комендант крепости генерал Рогачев сразу подавил беспорядки и всех зачинщиков расстрелял. А в Питере толкут по-прежнему воду в ступе, никак не сговорятся, кого бы царем поставить. За последние дни надумались: царя пока что не ставить, а выбрать кого-нибудь в диктаторы...

— Это что же за штука такая? — полубопытствовал Хлопуша.

— Диктатор — это как бы царь, только без титула и на время, — пояснил Минеев.

— Хе! Не так глупо! — отозвался Хлопуша. — Да еще ежели выберут какого-нибудь царицына енарала настоящего, к примеру сказать, Румянцева альбо Суворова, поди, и сделают что-нибудь... Да нет, не дойдет до того! Ежели бы офицерье выбирало, то, двистительно, выбрало бы толком. А господа-сенаторы, лысые старички сопливые, те своего захотят да такого, чтобы только видимость была...

— Действительно, — продолжал Мышкин, — по донесениям из Петербурга из-за этой мысли только пущий разлад пошел. Намечают то того, то другого, роют друг дружке яму, а согласиться никак не могут.

— Нам же лучше! А с Дону какие вести?

— Турки опять растрепали донцов, вознамерившихся было отнять фортецию Святого Димитрия Ростовского. Сам Бугай еле ноги унес. Теперь посылают они на Москву посланцев сговариваться идти вместе против турок. На Южной Украине большая тревога. Ходит слух, что татары собираются с силами, весной набег учинят. Уже под Славянском и Елизаветградом видели в степях подозрительных конников, по всем приметам разведчиков ханских. И Полуботок боится, как бы татары бед не наделали. Ведь старые фортеции почти совершенно разрушены при беспорядках, гарнизоны малы...

— Поди, и Павло, собачья душа, на поютный двор пойдет? — засмеялся зло Хорпуша. — Ах, езовит, хохол, мазница! Хитрил-хитрил, да и перехитрил самого себя.

Юшка, Прокопий и Творогов во время доклада Семена Мышкина-Мышецкого недоумевающе переглядывались. Было ясно, что все значение новостей остается им непонятным, но внушает тревогу. Наконец, Прокопий, старший и более тертый, выкрикнул:

— Да как же они смеют-то?

— Кто? — поднял на него угрюмый взор Минеев.

— Ну, энти, которые протчие... Скажем, турка. Вить, ежели он донцов расчешет, то как бы и к нам на Яик не добрался, пес мухоеданекый!

— Доберется! — глухо вымолвил Минеев. — Очень просто!

— Да как же так? — завопил испуганно Прокопий. — Испокон веку того не было, а тут на поди! Сами мы в чужие земли тамошних мужиков пошарпать много раз ходили, а нас никто и пальцем тронуть не смел! Это что же за порядок такой выходит?

— Да не скули ты, пес! — оборвал его Хлопуша.



— Сам ты пес! — огрызнулся несмело Прокопий.

— Будем его величество будить да докладывать? — с сомнением в голосе спросил Юшка.

— Я бы доложил! — отозвался Минеев.

— А почто его беспокоить? — заспорил Творогов. — Ен и так эти дни что волк злой — зубами лязгает...

— И впрямь, чего ему удовольствие портить? — ухмыльнулся Хлопуша. — Поспеет узнать вести-то. Да и ничего особенного нету...

Минеев заморгал, но сдержался и смолчал, подумав: «Мне-то не все ли равно? Хошь пропади тут все пропадом, хоть сквозь землю провались. Лишь бы мне удалось выскочить вовремя...»

На другой день с утра опять установилась погода. «Анпиратор» встал веселый и осведомился, как обстоит дело с охотой.

— А хошь сейчас можно подымать медведицу! — доложил Питирим Чугунов. — Мои охотнички все это время берлогу сторожили. Цепью стояли, поодаль, конечно, чтобы не ушла. Да куда ей уходить-то? Лежит, лапу сосет...

Быстро собрались и отправились в лес, к берлоге. Три четверти пути сделали на санях, хотя кони и утопали почти по грудь в снегу. Потом вышли из саней и стали пробиваться меж стволов старого леса. Берлога, бывшая под корнями сваленной бурей сосны, была под наблюдением охвативших ее цепью охотников, по большей части бывших крепостных Шереметьевых.

Сначала Пугачев собрался, было, показать собственную удаль и самолично пойти на зверя с рогатиной, но потом сдался на уговоры: что он, как царь, не имеет права рисковать своей драгоценной жизнью. Поэтому было решено, что «анпиратор» с несколькими отборными охотниками, в числе которых были и Чугунов со своими дюжими сыновьями, расположился чуть поодаль от берлоги. Поднимать медведицу пойдет Вавила Хрящев, успевший на своем веку поддеть на рогатину куда больше медведей. Ежели у Вавилы и его подручных выйдет неуправка, и поднятые звери пойдут на утек, то по ним будут стрелять. И первым, конечно, станет палить «его пресветлое величество».

На случай возможного прорыва зверей, чуть дальше, охватывая полукругом берлогу, стояли отдельные кучки охотников, размещенных по указанию принявшего на себя руководство Творогова.

Минеев попал в одну такую кучку, которой пришлось расположиться в полусотне шагов от «анпиратора». С ним были два его бессменных телохранителя, Юшка Голобородько и несколько незнакомых ему людей, которых он счел за шереметьевских охотников. К ним присоединился и прикрывавшийся рукавицей Хлопуша.

— Будем сейчас, значит, матерого зверя подымать, присходительство! — сказал он, кривляясь.

Минееву была видна и занесенная снегом берлога, и кучка людей с «анпиратором» во главе. Он видел, как Вавила Хрящев с двумя подручными подбежали почти к самой берлоге на лыжах и выпустили несколько кудлатых лаек, сейчас же принявшихся нырять в снегу и звонко тьякать. «Сейчас выйдет медведица», — подумал Минеев. Поддаваясь охотничьему азарту, он стал незаметно для себя выдвигаться вперед, держа ружье наготове.

Лай собак разбудил медведей. Первым выкатился из берлоги порядочной величины пестун,

но заробел и юркнул в берлогу. Охотники орали и бросали в берлогу комьями снега. Тогда с глухим, но все усиливавшимся ревом стала выходить огромная медведица. Лайки заметались вокруг, хватая ее за гачи. Не обращая на них внимания, медведица пошла на людей, спокойно выжидавших её. Наблюдая за ее движениями, Минеев выдвинулся еще на два или три шага.

Несколько мгновений медведица, стоя на четырех лапах, взирала на своих врагов налившимися кровью глазами. Потом словно какая-то невидимая пружина подкинула ее вверх: она поднялась на задние лапы и пошла на Вавилу, норовя его облапить. Вавила выставил рогатину, и ее острые зубья впились в грудь зверя.

Больше Минеев ничего не видел. На его голову обрушился страшный удар, сваливший его в снег. Несколько человек навалились на него. Во рту у него оказался тряпичный кляп, мешавший ему не только закричать, но даже громко застонать. Руки и ноги его были опутаны. Еще несколько мгновений, — и его поволокли, как тушу зарезанного кабана, по снегу все дальше и дальше от берлоги. Бывшие кругом него люди рассеялись. Хлопуша, все прикрывая лицо рукавицей, лениво пошел туда, где стоял «анпиратор», с острым любопытством наблюдавший за ходом борьбы Вавилы с медведем. Впрочем, эта борьба оказалась короткой: направленная умелой рукой Вавилы рогатина одним рожком добралась зверю до сердца, и медведица осела. Один из подручных Вавилы, зайдя сбоку, сильным ударом обуха добил издыхавшую медведицу. Выкатившийся снова пестун был застрелен Пугачевым, всадившим с него две пули. Двух визжавших и царапавшихся медвежат вытащили из берлоги и посадили в заранее припасенные мешки.

Охота была окончена, и охотники направились в обратный путь.

Добравшись до саней, Пугачев осведомился:

— А где енарал Минеев?

— У енарала голова чтой-то разболелась, — отозвался Юшка Голобородько. — Ушел еще до того, как Вавилка стал зверя на рогатину сажать! Надоть полагать, домой уехал, полежать...

Пугачев, довольный удачной охотой, удовлетворился ответом и стал усаживаться в сани. Вдруг его мутные глаза налились испугом, и обрюзглое лицо побледнело.

— Свят... свят... свят! — забормотал он. — Аминь, аминь, рассыпья! Уйди! Уйди, мертвец!

В нескольких шагах от него стоял молодой князь Семен Мышкин-Мышецкий.

Растерявшийся Юшка засуетился, заахал:

— Что ты, что ты, осударь? Что тебе попритчилось?

— Зарезанный! Мертвяк из могилы! — бормотал Пугачев, пытаясь сотворить трясущейся рукой крестное знамение.

— Да это де князек Мышкин! Сенька Мышкин-Мышецкий, осударь! Какой там еще «мертвяк»?

Испуг Пугачева так же быстро прошел, как и накатился. Но осталась слабость, налившая все его грузное тело свинцовой тяжестью.

— Тьфу! И впрямь, с чего это я? Сенька Мышкин-Мышецкий? А мне и бог знает что показалось... Одного паренька вспомнил... Тьфу...

Пугачев выдавил из себя хриплый смешок, ввалился в сани и крикнул:

— Валяй по всем по трем! Гони! Надоело!

Кони потащили, утопая почти по грудь в снегу.

Добравшись до Охотничьего дворца, «анпиратор» узнал, что и Хлопуши, и Прокопия Глобородьки, и Минеева нет. Сначала растревожился, но вышла из своей горенки смуглая Танюшка, заулыбалась, лаская «белого царя» многообещающими взорами, и Пугачев успокоился.

Обедать за общим столом он не пожелал: питье и яства были принесены в спальню и туда же был позван бог весть откуда добытый услужливым Питиримом слепой «дид-кобзарь», сивоусый украинец. «анпиратор» принялся трапезовать, угощая и Танюшку, под заунывные и скрипучие звуки кобзы.

Пока он трапезовал, в лесной глуши в одной из сторожек для Минеева пришел последний час. Верные Хлопуше варнаки, без шума завладевшие Минеевым, дотащили «генерал-аншефа» и кремлевского коменданта до занесенной снегом избушки, содрали с него соболью шубу, мундир, кольчугу, даже рубашку и сняли набитый драгоценными камнями замшевый пояс. Хлопуша и Прокопий с холодным любопытством глядели на это, сидя на лавках. Теперь Минеев лежал, почти совсем обнаженный, на мерзлом земляном полу. Руки и ноги его были стянуты кожаными сыромятными ремешками. Во рту торчал тряпичный кляп.

— Набил поясок камешками цветными туго! — хихикал Прокопий. — Не иначе серым зайчишкой за рубеж перескочить собирался, баринок белотелый. А мы его, зайца лопухого, как шапochкой и накрыли!

По знаку Хлопуши один из варнаков вытащил кляп у Минеева изо рта. Минеев застонал.

— Душегубы! — прохрипел он. — За что? Что я вам сделал?

Хлопуша, ослабившись, ответил

— Ваше присходительство, господин комендант! Зачем такие слова кислые? Нюжли мы с Прокошкой, твои друга верные, в душегубах ходим?!

— За что вы меня? Чем я вам помешал? — хрипел Минеев. — Ну, возьмите все мое добро, пользуйтесь, отпустите только душу на покаяние!

— Ах, сколь велика твоя доброта! — захихикал Прокопий, хлопая себя по бокам, словно от восхищения. — Слышь, Хлопка, то есть, сиятельный грахв? Подарил он нам все камешки эти... Берите, мол, пользуйтесь!

— Отпустите, я никому словом не обмолвлюсь! — стонал Минеев.

— Да ты и так, друг ты мой любезный, не обмолвишься, и без обещаний, — равнодушно отозвался Хлопуша. — А что касаето твоево вопросу: за что, мол, и все протчее, ну, так я тебе скажу напрямик: стал ты у нас под ногами путаться. Куда ни сунешься, на тебя наступишь. Надоело... Опять же, баринок ты. Дворянская косточка... Ишь, пузо какое отрастил...

Минеев застонал. По багровым с натуги щекам катились крупные слезы.

— Опять же, — продолжал Хлопуша, — вишь, тебе, барин, легулярная армия понадобилась. Ну, а мы тоже не дураки. Мы, брат, отлично понимаем, что к чему!

— Кабы была легулярная, то есть, армия, — пояснил Прокопий, — нам с самим вовсе бы и сладу не было. А нам это не столь удобно... Понял, енарал казанской?

Не удержался и пнул лежавшего Минеева в живот ногой.

— Кончайте что ли, ребята, — вымолвил Хлопуша. — Ты, Савка, что ли! У тебя пальцы здоровые...

Рослый варнак с изрытым оспой лицом присел возле Минеева на корточки, несколько мгновений смотрел ему в помутившиеся от ужаса глаза, потом выкинул вперед поросшие рыжими волосами руки с похожими на обрубки пальцами и сжал, как клещами, горло Минеева.

— Х-ха-а-х-харр! — захрипел Минеев.

— Нажми! Нажми! — извиваясь ужом, визжал Прокопий.

— Сейчас! Кончал базар! — отозвался рыжий Савка, нажимая.

Час спустя, поделивши по-братски богатство Минеева, неудачливого основателя регулярной армии нового «анпиратора», Хлопуша и Прокопий возвратились в Охотничий дворец. Пугачев почивал в своей спальне. Хлопуша и Прокопий, как ни в чем не бывало, уселись обедать. Но едва они успели насытиться, как поднялась суматоха и послышались тревожные крики: из Москвы прискакал, загнав по дороге нескольких коней, гонец от князя Мышкина-Мышецкого с известием, что в столице бунт.

— Какой бунт? Из чего бунт? Кто бунтует? — засыпал конца-казака вопросами Хлопуша.

— Вся Москва поднялась. Башкиров да татарченков бьют! Полыхает Москва!

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Пока Прокопий, Юшка, Творогов и Хлопуша совещались, прискакал и второй гонец, а за ним и третий. Привезенные ими депеши от Мышкина-Мышецкого в общем подтверждали первое сообщение: в Москве бунт, москвичи избивают башкир и татар. В нескольких частях города пожар. В третьей депеше, писаной, видимо, наспех, на первом попавшемся листке бумаги, было упомянуто, что на гарнизон полагаться нельзя, ибо высланные против бунтующих солдаты явно сочувствуют толпе и даже помогают ей расправляться с «татарчуками».

«Кремль в безопасности, но только покуда. Поручиться за дальнейшее нельзя! — писал канцлер. — Требуется немедленное присутствие государя. Много повредило делу безумное кощунство «духомола» Терентия Рыжих против Иверской Божьей Матери. Терентий растерзан толпой там же, у часовни, но несметные толпы окружают Кремль, требуя выдачи сообщников Терентия, будто бы из яицких казаков...»

На этом письмо обрывалось.

Всполошившийся Прокопий Голобородько потащил за собой в спальню «анпиратора» Творогова и Хлопушу. Пугачев, пьяный и утомленный ласками Танюшки, крепко спал, обнимая смуглую красавицу.

— Государь! Проснись-ка! — прогундосил Хлопуша, стоя у двери.

— Иваныч! — визгливо вскрикнул потерявший голову Прокопий. — Вставай! Не время спать-то!

Пугачев зашевелился, раскрыл глаза и посмотрел на вошедших мутным, бессмысленным взглядом.

— Да вставай, Иваныч, тебе говорят! — теребил его Прокопий за плечо. — Слышь ты? В Москве бунт! Наших бьют!

Словно пружина подкинула Пугачева. Он вскочил и спустил голые волосатые ноги на лежащую у кровати шкуру медведя.

— Ась? Кого бьют? Кто бьет? За что? — забормотал он. — Енаралы, что ли, подступили? Аль поляки?

— Москвичи, Иваныч! Москва поднялась! Режут!

Тут только он спохватился, что трижды назвал «анпиратора» Иванычем, как звал раньше, задолго до принятия Пугачевым имени «Петра Федоровича». И вспомнил, как после взятия Казани тот же «Петр Федорович» однажды за «Иваныча» чуть не зарезал Юшку.

Охвативший Прокопия страх передался и самому «анпиратору». Он заметался, бормоча:

— Бежать надоть! Кони готовы? Скорей! Хлопка! А игде енарал Минеев?

— На какого шута Минеев тебе еще понадобился? — глухим голосом отозвался Хлопуша. — Нету его!

— Как нету? — изумился и испугался «анпиратор».

— Помер он! Скоропостижно помер Минеев-енарал! — зачистил Прокопий.

Пугачев обвел обоих полным злою тревогой взглядом. Увидел на лице Юшки растерянное и вместе мстительное выражение. Мгновенно сообразил.

— Убили, душегубы?

— Ну, и убили! Велика важность! — сердито ответил Хлопуша. — Он против твоей жизни замышлял!

Пугачев схватился за голову. Застонал:

— А-а-а... А-а-а... Убили, значит? Как тогда Кармицкого? А-а-а... Душегубы! Может, вы и меня выманить да прикончить думаете? Так я вам не дамся! Я...

— Будет тебе лотошить! — угрюмо сказал Хлопуша. — Чего выдумывать? Ты нам нужен. А баринок вредный был... Одевался бы ты, величество, что ли! Ехать надо!

— Куда? — сразу забыв о гибели Минеева, спросил Пугачев.

— Как куда? — удивился Хлопуша. — Известно, в столицу! Слышь ты: сволота московская разгулялась. Твоих же слуг бьет да режет. А Кремль ничего, гарнизон сидит.

— С чего поднялись-то москвичи, — спросил Пугачев, торопливо одеваясь. — Какая муха их укусила? С чего началось?

— Известиев от канцлера нету, — вступил Прокопий Голобородько. — Может, другие гонцы принесут. По дороге встретим. Узнаем, как и что.

— Так на Москву ехать? Ах, ты, господи! — вздыхал встревоженный «анпиратор». — А не махнуть ли куда подальше от греха? Я Москву знаю: она лютая. Дура дурой, а станет на

дыбы, так с нею не справишься. Заломает!

— Утекать всегда время будет, — уверенно возразил Хлопуша. — Москву потеряешь — царство потеряешь!

У Пугачева чуть было не вырвалось: «А провались оно, царство!», но он вовремя сдержался, только что-то невнятно промычал.

— Присходительный канцлер пишет, — продолжал Хлопуша, — что, мол, требуется твое присутствие. Значит, дело не так плохо, еще можно поправить. Лыжи наострить завсегда успеем. Да, ведь, коли побегом, поди, пропадем!

Легко терявшийся, но столь же легко и приходящий в себя Пугачев совсем овладел собой. В нем проснулся бывалый казак, не раз переживавший всяческие беды и привыкший выкручиваться из самых затруднительных переделок. Страх ушел, уступив место злобе.

— Ну, ладно! Поглядим, как и что! — вымолвил он, засовывая за красный кушак чеканные двустольные пистолеты и пристегивая к поясу кривую саблю. — А кто виноватый, ну... то уж покажу я ему кузькину мать! Лутче б ему и не родиться! И Москву проучим в три кнута! Покажем мякинникам, как ихнего брата лупят!

Полчаса спустя «анпиратор» с ближайшими сановниками покинул Раздольное.

Молодой князь Семен Мышкин-Мышецкий следовал за «анпиратором», но чувствовал себя плохо и думал только о том, как бы не свалиться по дороге. Он чувствовал недомогание еще накануне выезда из Москвы, а в дороге, должно быть, простудился. Теперь у него сильно стучало в висках, горели глаза, лихорадка палила и ломала все тело и в голове мешалось. Одна мысль сверлила, как бурав: «Чего САМ испугался, увидев меня на охоте? За какого «убиенного» и «мертвяка» принял меня? Не за покойного ли брата, кем-то зарезанного на степном хуторе? Да-да! Я, кстати, и наряжен был так же, как тогда обрядился братец, пускаясь в путь. Но если так, то что это значит? Зачем бы ему пугаться? И почему Юшка Голобородько недавно допытывался: не было ли, мол, у меня брата? Понимаю, братца-то они и зарезали, злодеи. Они, они! Польстились на бывшее в его мошне золото. Но как же теперь быть? Неужто так и оставить? А тут, как на грех, я болен. Огневица, что ли, привязалась? Хоть бы добраться домой да отцу все обсказать. Он решит, что делать... Да жив ли отец еще? Может, москвичи и Кремль взяли, и всех перебили. Может, и нас перебьют, растерзают... Ведь в Москве бунт народный».

Точно, в Москве уже вторые сутки шел и разгорался бунт, и начавшееся в столице волнение уже перекидывалось на ближайшие к ней города.

Дело началось с пустяков. Еще со времен Петра I в Москве твердо укоренился обычай устраивать на святки, на масляницу и на Пасху народные гуляния. Для этого на одной из близких к Кремлю площадей устраивались «горы» для скатывания на салазках, ставились качели, простые и перекидные, и строились балаганы, в которых скоморохи, по большей части из гулящего московского же люда, представляли разные комедийные действия. Тут же на площади размещались ларьки торговцев разными немудрыми лакомствами и игрушками. Бродили шустрые сбитеньщики и оладейники. И здесь же шла продажа «зелена вина».

В те дни, когда «анпиратор» со своими приближенными развлекался в Раздольном, пестрое московское население тоже веселилось и развлекалось по-своему на отведенной под горы, качели, ларьки и балаганы площади. И, быть может, еще никогда не было на этих гуляниях такого многолюдства, как в этот год, и такой разнохарактерной толпы, потому что с воскресшим «анпиратором» на Москву хлынул вольный люд из самых далеких углов империи. Кстати, неподалеку от площади, отчасти в обширных дворах пострадавшего при взятии «анпиратором» столицы женского монастыря, отчасти в старых, еще петровской

постройки казармах, отчасти в отнятых у обывателей домах помещались башкирские, татарские и казачьи полки. Дикари степняки, башкиры и киргизы, а также казаки, пришельцы с Урала и из далекой Сибири с первого же дня святок почти не покидали гуляния. Другие, уральцы и сибиряки, были и сами не прочь гулянуть, благо щедрый «анпиратор» распорядился, чтобы гуляющих угощали за счет царской казны водкой и давали жамки и баранки.

Уже в первый день гуляния произошло несколько потасовок, причем выяснилось, что «урусы» норовят «наложить» башкирам и татарам, а казаки не прочь помочь им в этом деле. Впрочем, «городовые казаки» — городская стража, почти полностью состоявшая из прежних «бутарей» полицейских, довольно усердно исполняли свое дело, и все в общем обошлось благополучно. Подравшихся растаскивали, буянам мяли ребра и набивали затылки, у правых и виноватых очищали карманы. Мертвецки пьяных уволакивали куда-то, и порядок восстанавливался.

В первый день праздника на замерзшей Москве-реке были устроены гонки и скачки, а потом конные халатники «драли козла» и «ловили невесту». В гонках на легких саночках приняли участие и московские лошади. Случилось так, что лучшие заклады получили не москвичи, а два брата, казанских татарина. Во время скачек один киргиз предательски сбил с коня своего соперника, яицкого казака Белогубова. Белогубов был убит копытами собственного же горячего и пугливого жеребца. На провинившегося киргиза напали родственники Белогубова, но он поранил трех человек, а сам утек. Казаки потребовали выдачи виновного для расправы, но их прогнали. В тот же день на площади, где шло гуляние, какой-то башкиренок ножом перехватил горло приставшему к нему пьяному парню из московских суконщиков. Товарищи зарезанного суконщика изловили двух казанских татарчат и им «набили обручи», то есть каблуками тяжелых сапог перебили ребра. В воздухе запахло грозой, и благоразумные обыватели стали покидать гуляние и расходиться по домам. На площади здесь и там уже сгрудились толпы возбужденных, по большей части полупьяных людей, громко ругавших «нехристей» и «поганных». Башкиры и киргизы, тоже озлившись, ходили кучками и тоже галдели и визжали, сверкая глазами и осыпая «урусов» своей гортанной степной руганью.

На четвертый день праздника возбуждение как будто улеглось, и с утра все шло гладко. Но именно тогда, когда этого менее всего можно было ожидать, ударил колокол судьбы.

В одном из небольших балаганов на площади набранные с борку да с сосенки лицедеи все эти дни несчетное число раз и с возрастающим успехом разыгрывали «комедию про царя Максимилиана». Около полудня, в самый разгар представления, когда балаган был набит зрителями, привалила толпа подгулявших башкир. Хотя в балагане было и так донельзя тесно, степняки втиснулись, выперли с нескольких скамеек сидевших там «урусов» и сели сами. На беду в том же углу сидели семейные какого-то пожилого суконщика и среди них белокурая и курносая Васятка, привлекавшая на себя внимание смуглых косоглазых степняков. Кто-то из них, шутя, облапил Васятку. Девка завизжала:

— Спасите, режут!

«Урусы» заколыхались, как стадо баранов, потом набросились на башкиров и вышибли их из балагана на площадь. Может быть, этим бы все и кончилось, если бы за грубо размалеванными декорациями в это время не вспыхнул случайно пожар. Пьяный скоморох поджег подвязанную фальшивую бороду такого же пьяного «царя Максимилиана», а тот, катаясь, заронил огонь в грудку кудели. В один миг задняя часть балагана вспыхнула, и огонь перекинулся на помещение для зрителей. Едва там показались первые струйки дыма, среди зрителей поднялся страшный переполох. Раздались пронзительные крики «Пожар! Горим!». Толпа шархнула к выходу. Люди сбивали друг друга с ног, затапывали упавших. Кто выскочил наружу, те бежали, как безумные, по площади и кричали:

— Татарчуки живыми людей палят! Башкиры балаган подожгли!

Толпа ответила зычным криком:

— Бей нехристей! Бей поганых!

Вся бывшая на площади многотысячная масса сразу пришла в движение. То здесь, то там образовались людские водовороты, в которых крутились люди с плоскими смуглыми или желтыми лицами и раскосыми глазами. Народные волны смыли патрули «городовых казаков», и в руках москвичей оказались сабли, пистолеты и даже неведомо откуда появившиеся мушкеты. Задавленные многолюдством степняки или погибали под кулаками и каблуками рассвирипевших русских, или, выдравшись из свалки, бежали по направлению к местам, где была расквартирована башкирская и киргизская конница. Разъяренная толпа гналась за ними, и бывшие впереди толпы вооруженные люди без усталости палили из пистолетов и мушкетов. В занятом башкирами монастыре забили тревогу, и около сотни всадников с пиками вынеслись за ворота навстречу толпе. Но при виде мчавшегося к монастырю черного людского моря конники растерялись. Те, что проскочили вперед, попали в толпу, были стащены с лошадей и убиты. Другие рассыпались и пошли наутек. Народный поток влился во двор монастыря. Застигнутые врасплох башкиры и киргизы, привыкшие чувствовать себя сильными лишь на коне, сдавали перед москвичами, которые валили валом, набрасывались гурьбой и молотили противников дубинами, обломками досок и чем попало. Толпы врывались в кельи, где прятались степняки, и там давили их, как крыс. Несколько сот башкир и киргизов искали спасения в трехэтажной монастырской гостинице. На их беду, тут же, в стенах монастыря, хранились большие запасы сена и дров, и вторгшиеся с монастырь москвичи сейчас же воспользовались этим. Здание гостиницы было обложено сеном, дровами, хворостом. Запылал огромный костер. Выпрыгивавшие из окон степняки попадали в огонь. Кому удавалось прорваться из огненного кольца, тот попадал на ножи осаждающих. Огнестрельного оружия у башкир и киргизов не было, а имевшееся в изобилии холодное оружие в такой борьбе оказывалось почти бесполезным.

Пока часть толпы штурмовала монастырь и справлялась с застигнутыми там «нехристями», тысячи и тысячи москвичей разлились по всем ближайшим кварталам, избивая отдельные кучки азиатов. Тревога заглянула и в Кремль. Исполнявший в отсутствие Минеева должность кремлевского коменданта «бригадир». Родионов, из беглых сеченных солдат гвардии, имел в распоряжении всего один батальон недавно составленной и обученной Минеевым регулярной пехоты да сотню донских казаков, да два эскадрона драгун, среди которых настоящих солдат было мало, все больше соратники Хлопуши, варнаки, соблазненные красивыми драгунскими мундирами. Когда Родионову было доложено о начавшемся погроме, он после долгих колебаний решил выслать для усмирения толпы сотню донцов. Но вынесшиеся на рысях из Кремля донцы, встреченные камнями и выстрелами, скоро вернулись в Кремль с заявлением, что бунтующих видимо-невидимо и что без пехоты и артиллерии ничего не поделаешь. Родионов струсил. К тому же, он не верил ни своим пехотинцам, всегда державшимся строптиво, ни драгунам, которые не раз смеялись над его неумением ездить верхом. Разумеется, такого гарнизона не могло хватить даже для охраны самого Кремля. Оставалось отгонять нападающих артиллерийским огнем, благо в пушках, порохе и снарядах недостатка не было.

В Москве был назначенный «анпиратором» военный губернатор — яицкий казак Анисим Рябошапка, родственник Голобородек и их ставленник, человек уже немолодой и растративший свое здоровье в походах «на турку» и «на пруссака». Попав на высокое и ответственное место губернатора столицы из атаманов глухого казачьего хутора на Яике, Анисим чувствовал себя, как рыба, выдернутая из воды и выброшенная на песок. Будучи совершенно неграмотным, он безнадежно запутался в делах и, сознавая свою несостоятельность, топил тревогу в пьянстве и разврате, как это делали, впрочем, и все остальные «сановники», кроме Мышкина-Мышецкого. Весть о начавшихся беспорядках



застигла Рябошапку во время пира в доме богатого торговца Сеньчукова, старообрядца из «пафнутьевского согласия». Еле держась на ногах, Рябошапка кинулся в казармы пехотного Бутырского полка в Хамовниках. Поднятые по тревоге бутырцы стали лениво строиться на дворе. Половины командиров и рядовых на месте не было. С трудом разысканный в одном из соседних «царевых кабаков» командир полка, бывший мясник из Калуги, с трудом понимал, что от него требуется. Когда полк кое-как выстроился, Анисим Рябошапка заплетающимся языком сообщил, что «государевы лиходеи подбили москвичей на бунт против его царского величества», и что бунтовщики вздумали резать верных слуг государевых, помогших ему добыть царство.

Из рядов солдат послышались голоса, спрашивавшие, кого бьет и режет народ?

— Храбрых башкиров да киргизов! — ответил Рябошапка.

Солдатские ряды заколыхались... Вдруг кто-то крикнул:

— Ничто! Так им, сволочам, и надо!

— Они — верные слуги государевы! — заорал, как ужаленный Рябошапка.

— Нехристи! Волки лютые! Зверье муходанское! Падаль жрут, как псы, а туда же — «верные слуги»!

— Кто там смеет? — завопил Рябошапка. — Взять его! Капралы! Арештовать! Забить в колодки!

Кто-то из офицеров кинулся в толпу солдат, рассыпая удары направо и налево. Линия сломалась и вогнулась. Ворвавшийся в ряды офицер схватил первого подвернувшегося под руку солдата. Тот выпустил из рук ружье и, пытаясь вырваться, закричал. В то же мгновение офицер повис на солдатских штыках. Ряды дрогнули, смешались и сорвались с места, оцетинившись штыками. Полковой командир из мясников был сбит с ног ударом окованного медью приклада и добит штыками.

— Бей начальство! — орали солдаты. — Будет! Довольно! Поизмывались над нашим братом, ироды!

Из рядов бежали выборные капралы и сержанты и тут же падали под ударами сразу освирепевших солдат.

— Бей кашеедов! Обворовывают нашего брата! Бей пузанов! — кричали солдаты.

Притиснутый к стене Рябошапка, бледный, как смерть, взывал к расходившимся солдатам:

— Голубчики! Родные! Православные!

Поднялся злорадный хохот:

— Да ты сам давно ли в православные записался, дыромоляк уральский! А кто вчера нашего брата «щепотниками» да «табашниками» крестил да на гоб-вахту сажал за самую малость? А кто сичай только в защиту нехристей, которые конину жрут, псиною закусывают, звал супротив православных?

С Рябошапки сбили казацкую шапку, сорвали саблю. Ему плевали в одутловатое лицо, но, однако, пощадили. Только накостыляли шею и, улюлюкая, прогнали со двора.

Весть о происходящих в казармах беспорядках мигом разнеслась по окрестным кварталам, и толпа обывателей, привлеченных любопытством, нахлынула в казармы.

— Надоть Костромской полк оповестить! А то как бы начальство не подняло их против нас! — сообразил солдат, который и подал сигнал к беспорядкам, воткнув штык в грудь офицера. — Сережка, Васька! Из-за вас почалось, вы и хлопчите! Айда к костромичам. Обскажите: так, мол, и так, и все прочее...

Убеждать Костромской полк не выступать против бутырцев долго не пришлось: в казармах этого полка тоже началось избиение и изгнание выборных офицеров.

Разнесся неведомо откуда слух, что имеющий ружья, отборный киргизский конный полк, расквартированный в здании бывшей суконной фабрики братьев Томилиных, собирается на подавших москвичей.

— Ну, нет, этого не будет! Не позволим! — решили бутырцы и костромичи.

Захватив ружья и боевые припасы, они двинулись к суконной фабрике. По пути к ним пристало несколько сот безработных суконщиков. Киргизы заперлись на фабрике и принялись палить по бутырцам. Бутырцы отхлынули, оставив на месте несколько убитых.

— Айда за пушками, ребята! На Оружейный Двор! В Арсенал!

До Арсенала бунтующие не добрались, но подбили стоявший в Хамовниках артиллерийский дивизион и притащили пушки. При первых же выстрелах киргизы вылетели со двора фабрики в конном строю, с пиками наперевес, но наткнулись на загораживавшие им дорогу завалы, откуда бутырцы и суконщики осыпали их пулями. Оказавшись меж двух огней, перетрусившие степняки стали поднимать руки и кричать, что сдаются. Но озлобление против них было так велико, что предложение сдаться было встречено смехом. Снова затрещали ружья, забухали пушки. Доведенные до отчаяния киргизы еще два раза пытались пробиться. Нескольким богатырям удалось каким-то чудом выскочить и бежать. Остальные были зверски перебиты.

Восстание, как пожар, перекидывалось с одной части города в другую. К вечеру им была охвачена почти вся Москва. Только Кремль продолжал держаться, притаившись, и туда стягивались все, имевшие какое-либо отношение к новому правительству.

Военный губернатор Анисим Рябошапка бесследно пропал. Скрылось и множество пугачевских офицеров. Из четырех казачьих полков только один, Чугуевский, успел втянуться в Кремль, но без пушек. Стоявший около Чудова монастыря Валуйский полк всполошился и решил выйти из города. Захватив свою артиллерию, этот полк направился по дороге на Раздольное, чтобы присоединиться к тем войсковым частям, которые уже собрались вокруг отсутствующего «анпиратора». Старобельцы, потерявшие связь с товарищами, не долго думая, бежали из негостеприимной Москвы, а оренбуржцы остались в столице и, мало-помалу втягивались в начавшийся грабеж казенных зданий и складов. С началом ночи бунтующие завладели огромными интендантскими складами и недавно собранными запасами спирта.

Еще в самом начале беспорядков князь Мышкин-Мышецкий настаивал на необходимости немедленно известить о случившемся «анпиратора» и вызвать его в Москву в надежде, что его личное присутствие повлияет на расходившихся москвичей. Но на этот разумный совет не обратили внимания, вероятнее всего, вследствие общей растерянности. Только к полуночи, когда бунтом был охвачен уже весь город, Мышецкому удалось отправить с извещением о случившемся нескольких гонцов, одного вслед за другим. Первые двое так и не выбрались из города, почему — осталось неизвестным. Но остальные сделали свое дело, и «анпиратор», загулявший в Раздольном, получил поднявшую его на ноги весть.

На второй день восстания с утра волнение, охватившее столицу, как будто пошло на убыль. Кстати разнесся слух, что «анпиратор» с несметными силами уже подходит к Москве, поклявшись не оставить от нее камня на камне. Бушевавшие вчера обыватели стали прятать

концы в воду. Бутырцы и костромичи с присоединившимися к ним арзамасцами и серпуховцами порешили выбрать новое начальство и отправить выборных к грозному «Петру Федоровичу» с повинной и с заявлением, что «вся причина — нехристи, мухоедная нация», да воры-грабители начальнички, сущие вороги его пресветлого величества. Однако едва новое начальство принялось водворять в казармах порядок и переписывать зачинщиков, солдатская масса опять пришла в ярость, и опять начались убийства. К тому же по городу разнеслась весть, что на рассвете какой-то Терентий Рыжих, по одним слухам из секты «бегунов», по другим — из недавно зародившейся секты таинственных «духомолов», пробравшись к часовне Иверской Божьей Матери, бросил булыжник в икону и повредил ей лик. Изувер был тут же растерзан, а труп его сожжен на площади перед часовней. Но в народе заговорили, что из очей Богородицы Иверской полились слезы. Всюду толковали, что у убитого Рыжих были сообщники среди собравшихся в Кремле яицких казаков, и Москва снова встала на дыбы, как разъяренная медведица. Все попавшие в руки восставших пушки — а их было немало — были притащены к Кремлю. На ближайших улицах появились наскоро сооруженные завалы. Кремль оказался в осаде.

В этот день ясно определилось, что московское движение, бывшее в начале простым беспорядком и потом перешедшее в погром ненавистных населению «татарчуков». и прочих «нехристей», теперь стало враждебным новой власти вообще, а отчасти и самому «анпиратору». Такому повороту очень помог совершенно неверный, порожденный испугом, слух о приближении «анпиратора» с полчищами ведомых им на покорение Москвы «нехристей» и казаков.

Старая Москва, еще сохранившая память о древних нашествиях «злого татаровья» и о сидении в Кремле ляхов, заволновалась и зашумела. Стала ершиться та самая чернь, которая принесла к власти Пугачева на своем хребте. И сразу проявилось, что никогда на деле чернь и не верила в подлинность «Петра Федорыча». Ей понадобился собственный, «мужицкий», а не «барский» царь, — и она дала царский титул выдвинутому яицкими казаками-староверами проходимцу. Но он не оправдал надежд черни на действительное улучшение ее участи, и чернь стала показывать своему ставленнику зубы. В первый раз за все время владычества «анпиратора» Москва громко заговорила. «Кабыть ошибочка вышла! Омманул кто-то! Разве который царь настоящий — разве привел бы он с собою на Белокаменную разбойный люд со всех концов? Разве настоящий анпиратор якшался бы с нехристями, которые конину да псину жрут?»

Собравшиеся в Кремле сторонники Пугачева заседали на принявшего на себя командование всеми военными силами коменданта Родионова, требуя от него принятия решительных мер против бунтующего народа. Но Родионов, теперь еще меньше доверявший гарнизону Кремля, упорно отбояривался, говоря, что в случае прямого нападения на Кремль лучше держаться мирно. Гонцы уже, наверно, оповестили самого «анпиратора». Он, батюшка, не замедлит прибыть и всем распорядиться. Надо подождать.

С другой стороны, и у москвичей не было особой охоты пытаться брать сильно укрепленный Кремль. Время от времени восставшие присылали в Кремль переговорщиков, которые предъявляли разные пустые требования: требовали выдачи предполагаемых сообщников треклятого Терешки, из-за которого Богородица плачет, и Рябошапки, ибо из-за него кровь безвинная пролилась. Потом стали требовать удаления и разоружения казаков и даже допущения в Кремль караулов от четырех примкнувших к горожанам пехотных полков.

Оробевший Родионов не знал, что делать. Он предвидел, что если впустить в Кремль бутырцев и костромичей, то Кремль будет наводнен поднявшейся чернью, и тогда избежать расправы со сторонниками «Петра Федорыча» будет невозможно. Обезоруживать и высылать из Кремля казаков он считал также невозможным, так как не мог полагаться на пехотный гарнизон и артиллеристов. Что же касается выдачи мнимых или действительных сообщников Терентия Рыжих, то где их найдешь?

Мелькнула было мысль: схватить и выдать первых попавшихся под руку оборванцев. Авось толпа, занявшись расправой над ними, удовлетворится. Но ежели вместо расправы, москвичи приступят к допросу и выяснится обман, то может выйти и совсем нехорошо...

Родионов принялся хитрить и выгадывать время, вступая в бесконечные препирательства.

— Потерпите, православные! — твердил он. — Вот-вот сам государь пожалует. Что вы на меня наседаете? Мое дело маленькое. Я поставлен охранять Кремль, ну, я это и делаю. А государь вернется и распорядится, как ему заблагорассудится.

Переговорщики ершились, грозили, что примутся бомбардировать Кремль, возьмут его и тогда передуют, как котят, всех засевших там, но, однако, уходили, совещались с восставшими, опять возвращались, опять чесали языки. А время шло и шло.

Вечером в Кремле поднялась тревога. Разнесся слух, что под кремлевскими стенами имеются обширные тайные ходы, что какой-то архимандрит, чуть ли не настоятель Чудова монастыря, указал их восставшим и что бутырцы и костромичи уже пробираются под землей, а к полуночи выйдут внутри Кремля в укромном месте и начнут резать осажденных. Перепуганный до полусмерти Родионов заметался, сам обследовал дворцовые подвалы, осмотрел подземные помещения старых кремлевских храмов. Расставил всюду вооруженные патрули. Всю ночь пришлось держать гарнизон под ружьем. Несколько раз поднималась тревога, часовые слышали под землей говор и гул шагов. Два патруля по ошибке обстреляли друг друга. Пальба взбудоражила осажденных и начались беспорядки, сопровождавшиеся попытками отворить осаждающим ворота Кремля. Однако ночь прошла благополучно, а рано утром в Кремль пробрался какой-то расторопный казак из конвоя «анпиратора» и сообщил, что «Петр Федорыч» со свитой изволил прибыть и остановился пока что в селе Бутырки, что он уже вступил в переговоры с московскими выборными — протоиереем Исидором Ильинским от московского православного духовенства, Пенфилом Томилиным от именитого купечества, Иваном Елисеевым от рядового купечества, Зосимой Рыковым от мещанства и рабочих и с двенадцатью выборными от полков, принявших участие в восстании. На вопрос «велика ли воинская сила, пришедшая с «анпиратором»?» гонец откровенно признался, что в распоряжении Петра Федорыча пока что имеется всего около двух тысяч человек, да и то с бору, с сосенки, без артиллерии. Всех башкир, киргизов и татар своей гвардии «анпиратор» оставил по дороге, боясь привести их в Москву и тем усилить восстание.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Пугачеву пришлось ехать всю ночь. К рассвету добрались до Бутырок, бывших тогда большим пригородным селом.

По дороге было много остановок: задерживали высланные Родионовым и Мышкиным-Мышецким гонцы, сообщавшие неутешительные вести о ходе дел в столице. Попадались и торопившиеся убраться из столицы обыватели, и чем было ближе к Москве, тем больше становилось беглецов и тем тревожнее были их сообщения. Иные уверяли, будто москвичи уже овладели Кремлем, перебили гарнизон и уже выбрали на царство нового «анпиратора». Один беглец даже сообщил ошеломившую Пугачева и всю его свиту новость:

— Неведомо откуда появилась сама бывшая императрица Екатерина Алексеевна. Баяли, что утонула, а ничего подобного! Верно, что потонула, только не она а ее подружка, Воронцова-Дашкова. А «сама», значит, выплыла тогда на бережок да нашла приют у какого-то чухны, ну, и принялась по Руси странницей ходить и оказалась в Москве. А как началась завируха, она-то и шась в казармы Бутырского полка. А теперь она вошла с

духовенством и народом в Кремль и прямо в Успенский собор и воссела на престол...

Слушая эту удивительную весть, Пугачев позеленел.

— Вранье! — хрипло вымолвил он. — Мертвые не воскресают!

Он оборвался. Почему-то вспомнилось, как позавчера, после охоты, его напугал молодой князек Семен Мышкин-Мышецкий, напомнивший ему «русявого», первого «Петра Федорыча», бродившего по уральским степям в надежде на возможность взбулгачить народ против Екатерины. Вспомнился и собственный пример: ведь и он сам разве не воскресший мертвец? А отчего, в самом деле, не появиться и воскресшей царице? Может, и впрямь не потонула, а спаслась да до поры до времени притаилась, а теперь вот вынырнула и собирается вырвать у него царский венец. А то появилась какая-нибудь шустрая самозванка. Очень просто! Разве три месяца тому назад в Ярославле не выплыла уже одна такая, бывшая дворовая господ Скопиных Катька Рослова? Хорошо еще, провралась скоро и попалась в руки посаженного править Ярославлем сметливого варнака Аршинова, а тот, не долго думая, высек ее публично, а после того привязал за ноги к хвосту бешеного жеребца, да и поминай как звали...

Одна провалилась. На ее место могут пожаловать и другие. Одной не удалось. Сорвалась затейка бабья. А другой, третьей, десятой, может, и удастся взбулгачить сволоту. Почему нет? Поманит чем, наобещает золотые горы, молочные реки с кисельными берегами и поведет за собой темный народ, которому при нем, «анпираторе», живется тоже не больно сладко...

Пугачев заскрежетал зубами. Снова вспомнил Минеева: с головой был баринок! Все твердил, что надо бы выискать где угодно подходящую бабенку, чтобы хоть сколько-нибудь на Катьку походила, да и взять ее в жены. Жива, мол, и помирились царь и царицей.

Но тогда против минеевского замысла восстали все Голобородьки, а почему — бог их разберет. Душа у них темная, лукавая... Планы свои имеют, окаянные... Ну и отговорили. А вот теперь...

Услышав о появлении воскресшей из мертвых «Катьки», Пугачев упал духом и совсем было решил уходить из Москвы. Вернуться в приуральские степи, к яицким казакам. Там можно будет долго продержаться. А то махнуть, в самом деле, в гости к шаху персидскому или попытаться пробраться в Индийское царство.

В это время пришел целый обоз беглецов из Москвы, и эти люди сообщили, что Кремль держится, что никакой воскресшей государыни нет и в помине и что восставшие не решаются брать Кремль, лезть на рожон. Значит, дело обстоит не так плохо, как казалось.

От этих беженцев «анпиратор» узнал и многие другие подробности бунта, а главное то, что вся ярость москвичей обрушилась на иноверцев. Их почти поголовно истребили. «Ну и шут с ними! — подумал «анпиратор». — Да они мне, зверье степное, надоедать начали. Одно слово — азиаты неверные... Вор на воре, грабитель на грабителе. Может, расправившись с ними, сволота стихомирится...

Он решил продолжать путь, хотя и с оглядкой. Оставлял позади себя лошадей с приказом держать их в полной готовности. И думал: ежели не удастся московское быдло уломать, с готовыми конными подставами можно уйти далеко. Ежели и в других местах народ взбулгачится, все равно везде будет неразбериха. Нырнешь на дно, да и уйдешь в мутной воде далеко от опасного места.

Так Пугачев добрался до Бутырок, приведя с собой кроме своего обычного конвоя еще полного состава казачий полк. По совету Хлопуши все башкиры, киргизы и татары конвоя

были оставлены на полдороге между Москвой и Раздольным.

Прибыв в Бутырки и озаботившись обороной на случай нападения бунтующих москвичей, «анпиратор» вызвал охотников отправиться в столицу для переговоров, пообещав им щедрую награду.

На это согласились любивший риск Ильюшка Творогов, Антон Кoryтин, московский старообрядец и в прошлом, средней руки торговец, обладавший большими знакомствами, и дьякон-расстрига Иван Толиверов, обладатель могучего баса. А куда они отсутствовали, по всей дороге вплоть до первых домов Белокаменной были расставлены пикеты с наказом, чуть что скакать в Бутырки. В Бутырках, перед тамошним кабаком, где остановился «анпиратор» со свитой и главными приближенными, стояло двадцать свежих троек. Мало ли что может случиться...

Посольство через час вернулось с сообщением, что москвичи еще ершатся, но уже склоняются к тому, чтобы прислать своих выборных для переговоров. Были названы и имена переговорщиков.

— Ох, плачет по ним веревка! — бормотал «ампиратор». — Экое дело затеяли, подлые их души!

Но тот же Хлопуша дал совет — принять переговорщиков поласковее.

— Передушить их, сукиных детей, завсегда можно и опосля. Теперя самое главное, как дуру-Москву унять. Тут, брат, не кулаком, а умом надо орудовать.

Наконец переговорщики прибыли. Приехали они на санях, без всякого конвоя. Держались независимо и смело.

Их ввели в большую комнату трактира, где на сбитом и покрытом кумачем помосте восседал на кресле «анпиратор», а за ним держались Творогов, Хлопуша, Прокопий Голобородько, Юшка и некоторые другие сановника

— Приблизьтесь, ребятушки! Приблизьтесь, детушки! — слащавым голосом приветствовал их Пугачев, ощупывая каждого из них своим пронизывающим взглядом.

Переговорщики, остановившись в нескольких шагах от помоста, довольно сдержанно поклонились.

— Ну, так как? Что такое? — зачастил, волнуясь, Пугачев. — Из-за чего все такое? И что хорошего? Ну, праздник Христов, ну, погулять захотелось, ну, выпили. Да шкандал, да дубош, из чего? Ай-ай, чего натворили, детушки! Очень уж вы, говорю прямо, огорчили меня! Ну, одно слов, — как ножом по горлу полоснули! Я ли вам добра не желаю? Я ли о вас не забочусь? Ни днем, ни ночью покою не имею, куска не доедаю, все о вас пекусь. А вы... Почто татаровье поганое на Москву привел? — визгливо выкрикнул Елисеев. — Крест-то на тебе есть? Аль ты не русский царь, а татарской орды хан?

Упрек смутил Пугачева. Его глаза забегали растерянно. Нижняя губа отвисла.

— Не подобало в столицу царскую язычников, сыроядцев да многоженцев, гарнизоном ставить! — вступился и протоиерей. — Вере христианской, коей Москва искони верна и предана, аки дочь матери своей, многие и нестерпимые обиды учинены. Перед самым Рождеством святой храм Николы-на-Крови ими, язычниками, осквернен и ограблен. Твоя татарская орда и посейчас из священнических риз парчевых чепраки шьет, а киргизы, воры, кисеты из них делают! Ответчик-то кто? Ты! Потому что тебя бог на царство поставил!

— Народ голодает! — сдержанно, но веско заговорил Панфил Томилин. — Не

господа-дворяне, а народ московский голод испытывает. На наших фабриках сколько тысяч рабочих было, — все сыты, да обуты, да одеты всегда были. А теперь голодают. Волю получили, а сами теперь хоть бы и туркам закабалиться рады. Жен посылают на ночь в казармы: объедки у солдатни твоей выпрашивать, чтобы хоть детей накормить. Когда это видано было? Дети мрут, как мухи. Хоронить некому! Черная смерть опять проявилась. А кто ее занес, как не твои татарчуки и персюки косоглазые?

— Пойдите, ребяташки!

— Мы и так стоим! — взвизгнул Елисеев. — Долго ли стоять-то?! За одну неделю убили человек до ста душегубы. У Патриарших Прудов в одное ночь в двух домах всех жильцов вырезали!

— Лихие люди и раньше водились, — отозвался вполголоса Хлопуша.

Протоиререй Ильинский смерил его строгим взором и потом сказал многозначительно:

— Да, были. Но никогда татей ночных да душегубов клейменных никто судьями над народом не ставил. А попадались среди воевод грабители да душегубы, так цари-то им головы рубили, как князю Гагарину, который царским наместником в Сибири был, да на плахе кончил.

Хлопуша поперхнулся ругательством.

— И я строго наказываю: злодеев разных ловить да сажать, детушки! — вмешался «анпиратор». — Для порядку законного...

— Кому поручаешь-то? Сущим вора да душегубам? Так ты им прикажи, чтобы они сами себя ловили да казнили! — дерзко засмеялся Елисеев. — Со всего царства с тобою воронье злое суды слетелось! Жить нельзя,дохнуть не дают!

— Аль при дворянах лутче жилось? — задал ядовитый вопрос Творогов.

— Ты нам дворянами глаз не коли! — строптиво возразил Томилин. — Что при дворянах было, то было. А при барских псарях, что ходят теперь в царях, и того во сто крат хуже!

— Нельзя же так, детушки! Нельзя же так, голуби! — по-прежнему слащавым голосом заговорил «анпиратор». — Ну, не все хорошо...

— А что хорошо-то? Нет, ты укажи, чем лучше стало?

Пугачев воззрился на дерзкого Елисеева.

— А хоша бы то лучше, что раньше господа-помещики своих крестьянов крепостных могли в карты проигрывать альбо на борзых менять!

— Ну? А ныне?

— Экий ты, старичок! А ныне — слободны все!

— Так-ак! Слободны? Это тебе кто же сказал? Так ты бы ему в его зенки бесстыжие плюнул! А с чего на Волгу персюки да армяне горские караванами идут? Аль не затем, чтобы наших девок да мальцов покупать? Слобода! А с чего матери детей своих убивают, чтобы муки ихней не видеть? Баре в карты проигрывали? Та-ак! А твои-то башкирята да киргизы, понабравши пленных, не передают с рук на руки, играючи в кости и то в те же карты?

— То против моей воли...

— Да нам-то какая разница, против твоей воли али с твоего согласия? Пропадает русский

народ!

— Ну уж и пропадает?! На первых порах, двистительно, нелегко...

— А на вторых порах легче будет? — усмехнулся Томилин. — На каких таких «вторых порах»? Вееобчий голод идет! Друг дружку скоро есть будем! А ты говоришь — «легче будет»!

— Голод от бога! — наставительно вымолвил Пугачев. — Бог за грехи наказует!

— Та-ак! — отвечал неугомонный Елисеев. — И народ московской про то самое не со вчерашнего дня говорит! Как по писанию — за грехи, мол! Да только за чьи? Почему при прежних правителях этого не было? Почему при тебе бог нас карает, как при Годунове, за невинно убиенного, за кровь младенческую?

Лицо Пугачева посерело:

— Али за мною есть какой страшный грех? — задал он вопрос. — Годунов царевича Димитрия, говорят, резать приказал. Так. А я что изделал?

Но Елисеев не смутился и бойко ответил:

— Про то тебе и знать! Мы только видимость знаем: руку карающую! Так и при Годунове было: сначала никому невдомек, за чтой-то силы небесные ополчились? Ну, а потом и стали догадываться: за кровь невинную, за углицкое дело злое да тайное!

Вспылив, Пугачев крикнул:

— А ежели я, вас, псов, да... на смерть? На виселицу?

Подняв голову, Томилин тихо, но твердо ответил:

— Не посмеешь!

— Не посмею? Сволоту московскую побоюсь что ли?

— А кого на Остоженке в доме Репьевых держал? А кто на Арбате рядом с покровом в доме Филимоновых проживал?

«Анпиратор» дернулся всем телом, потом осел. Его дыхание перехватило. Глаза выпучились.

Потом он шумно вздохнул, деланно засмеялся и сказал небрежным тоном:

— Значит, моего верного слуги, доброго донского казака, Емельяна Пугачева, женку да ребятишек захватили?

— Да и Маринку Чубаровых...

— А ежели я вас, бунтовщиков, казни предам, то сволота московская их забьет альбо повесит?

Елисеев, прищуря серые глаза, с усмешкой ответил:

— Зачем забивать неповинных, скажем, людей? А может, приведут, скажем, одну казачку донскую с ейными диденышами в Успенский собор да там заставят целовать крест и евангелие перед выборными от духовенства, от купечества, мещанства, а, между прочим, и от воинства христолюбова. Она и поведает нам, как и что... а что касаето Маринки, то пушай



она докажет, кого это разные, скажем енаралы да министры промеж себя, в своей компании, Емельяном да Иванычем кричат... А с нами уж что бог даст, то пушай и будет! Ехамши сюда, исповедались, причастились... Все чин чином... Рубашки чистые надели. Вот...

Наступило глубокое молчание. Потом Пугачев, глубоко вздохнув, скорбно вымолвил:

— Погубите вы, ребята, Расею!

Панфил Томилин строго откликнулся:

— Кто-то другой ее уже погубил, Россию! Разве мы ее на части разорвали? Разве мы хохлу лукавому, езовиту тайному, Малую Россию отдали за понюшку табаку? Настоящие князья да цари по кусочкам землю собирали, в одно сколачивали, а ты единым духом на куски порезал. Настоящие цари города да крепости строили, а ты Казань спалил, Рыбинск спалил, Калугу спалил... Настоящие цари Русь от татар ослобонили, а ты опять полцарства нехристям отдал...

— Дайте время — все поправлю, детушки! С божьей помощью...

— Какой бог-то тебе помогать взялся? Ай Христос тебе советовал русскую землю зорить? Не ошибочка ли вышла? Не принял ли ты в боги какого-нибудь... черного да хвостатого? Не на него ли, нечистого, и надеешься?

Наступило глубокое молчание. Слышно было только тяжелое, прерывистое дыхание Пугачева и сопение Хлопуши.

Потом «анпиратор» вскочил и, простирая руки к переговорщикам, слезливо вымолвил:

— Ребятунки! Детушки! Да что же такое? Да нюжли мы не русские? Да как же это так? Ну, ошибка вышла. По горячему делу. Ну, грех вышел. Известно, драка была огромнейшая. А в драке волос не жалеют. И все такое... Ну, правда, бед натворили немало. Я не слепой тоже! У самого под сердцем сосет, да иной раз такого-то дюже сосет, что и-и-их! Места себе не нахожу... Так нюжли пропадать всем? Ну, в опасности, скажем, пребываем. Полячишки, там, да турка, да. ну, всякие. Полуботок этот самый. Так ежели мы-то за дело дружно возьмемся, чтобы, значит, все за одного да один за всех, так ведь дыхнуть им, сукиным сынам не дадим! Во как скрутим. Ну, говорите, детушки: чего Москва требует?

Переглянувшись с другими переговорщиками, протоиерей Исидор Ильинский вымолвил четко,

— Да будет Земский Собор всея Руси! Да сгинет опричина! И да будет опять Русь единая, неделимая!

— Собор? Земский Собор, говоришь? — удивился «анпиратор». — Ну, и размахнулся же, отец! Ха-ха! Хоть седни прикажу кирпич готовить, хвундамент рыть. Та-акую церкву закатим, что ай-люли! Выше Ивана Великого колокольню выгоним!

— Не храм новый построить, а выборных от всей земли собрать. От земщины русской. Чтобы все дела обсуждать да решать. Собо-ор? Выборных? — недоумевал «анпиратор» — Для совещаниев? Вроде быдто сенат? Н-ну-к что жа? Можно и такое дело. Очень просто! Оповестим народушко. Вроде быдто «круг» казацкий... А потом того...

Неожиданно вмешались молчавшие до того времени депутаты от восставшего московского гарнизона, загалдели, предъявляя ряд по большей части бестолковых и мелких, но, видимо, дорогих солдатской душе требований: разрешить солдатским женам и вдовам торговать безданно, беспошлинно. Зимой выдавать всем валенки и романовские полушубки и холста на портянки...

Пугачев облегченно вздохнул. Его смуглое лицо повеселело. Глаза заискрились.

— Ребятушки! Детушки! Да нюжли не сговоримся? Господи... Я — вам, вы — мне. По-милому, по-доброму, по-хорошему...

Раздражение сразу пошло на убыль. Всем стало дышаться легче. Только Хлопуша, забившийся в угол, оставался угрюмым и злобно посматривал на переговорщиков, особенно на дерзкого на язык старичишку Елисеева. Что-то соображал.

К вечеру осада с Кремля была снята. «анпиратор» со свитой — все верхами — проследовали по улицам столицы и вступили в Кремль. Колокола кремлевских церквей заливались трезвоном. Им отвечали и некоторые другие московские церкви.

Вернувшись в кремлевский дворец, «анпиратор» вызвал князя Федора Мышкина-Мышецкого и встретил его веселым, самоуверенным смехом:

— Ну, что, присходительный канцлер нашего государства? Струсили вы все тут, поди, до омморока? Ха-ха-ха! У страха глаза велики! А ничего особенного! Подурила сволота московская, как кобыла брыкливая, и шабаш. А я сразу понял: пустое дело! Так, по дурости да по пьяному делу! Чернь — она буйная да драчливая. Ей дай порвать. И только! А я показался — так у них сейчас душа в пятка. Чует кошка, чье сало слопала! Шкодливая да трусливая! И только!

— Ну, не очень-то «и только», — отозвался канцлер сухо. — Ты на кресте да на евангелии клятву дал, что Земский Собор соберешь!

— Велика важность?! — беззаботно засмеялся Пугачев. — И собираю!

— Обязался без ведома Собора налогов не вводить, рекрутов не брать, войны не начинать, мира не заключать, новых законов не издавать...

— Велика важность?

— Значит, конец самодержавию?

— Зачем — конец? — искренне удивился «анпиратор». — Я как был, так и остаюсь царь-анпиратор, самодержец всея России. Одно слово помазанник!

— Выкатывается власть из твоих рук! Вот что означает Собор! Права царские к выборным переходят. Отчет будешь обязан давать, а кому? В других землях, ну, там только образованным и есть ход в выборные. А у нас... Да после того, как чернь и тех немногих грамотных, кои были, то ли вырезала, то ли неведомо куда загнала, кто в выборные попадет? Опять же, ежели всем права, так налезут в Собор из медвежьих углов такие, которые только умением язык поворачивать от зверья отличаются, а по уму — те же бараны... Чуваши, да черемисы, да вогулы, да самоеды, да разные там якуты России свои законы давать будут. Не быть русскому народу на своей земле хозяином!

Пугачев почесал затылок.

— Нюжли плохо будет? — спросил он нерешительно.

Мышкин-Мышецкий пожал плечами.

— При царе разумном, деловитом — ни к чему это. Болтовни много, а дела мало. А при царе слабом, ленивом Собор даря заслонит. Народ не на царя смотреть будет, а на Собор. А выборные своим выборщикам потрафлять будут, хотя бы и в ущерб всему царству. Не крепнуть царству, а слабеть. А может и рассыпаться...

— Чего каркаешь, присходительный? Ничего еще не видно, пока что, а ты уж вон какие речи говоришь. Как по покойнику службу служишь...

И опять Мышкин-Мышецкий пожал плечами.

— Еще когда этот самый Собор соберется, а ты уж теперь плачешь... А я так думаю: нам бы сейчас, как никак, да чтобы вывернуться. Бунт смирить надо. Чтобы порядок был, и все такое... А там видно будет. А что касаясь умаления власти, то, присходительство, это еще бабушка надвое сказала... Я, брат, такой! Я ни на кого не посмотрю! Что мне ихний собор? Ну, соберутся, ну, будут языки чесать, и все такое. Пушай их! Пушай, говорю, тешатся! А коли очень уж галдеть станут, то я, брат, не посмотрю! Приду, значит, где они там, выборные разгорланить будут, да с хорошей казацкой нагайкой! Хо-хо-хо! Да и покажу епутатам: это, мол, вы, господа хорошие, видели? Ну, и будет праздник Луки — целованье моей руки! Хо-хо! А что касаясь моих царских правое, то, брат ты мой, тут я — никаких послаблений!

Затем он участливо спросил:

— А твой парнишка как? Ай и впрямь расхворался? Я еще там, в Раздольном, на охоте, глянул на него — не показалось мне чтой-то... Даже не узнал... Ан выходит, это с болезни...

— Доктора позвали. Боюсь, не горячка ли? — угрюмо отозвался канцлер.

— Один он у тебя?

— Единственный... Дочка есть, да та не в род, а из роду...

— А баял кто-то, быдто еще старшой есть. В неметчине, что ли? — слукавил Пугачев.

— Был и старший. Да... убили!

Одно веко Пугачева дрогнуло Он затаил дыхание.

— Молод был горяч. У немцев в офицеры вышел. Королю саксонскому служил, — продолжал ровным голосом Мышкин-Мышецкий. — Ну, поссорился с другим офицером. А тот от него сатисфакции потребовал...

— На поединок, значит, вызвал? Ну, дальше! Нюжли забил?

— На пистолетах дрались, возле Дрездена. Город такой в Саксонии...

Пугачев кивнул, вспомнив, что о Дрездене ему приходилось слышать в дни Семилетней войны.

— Ну, и схитрил немец. Не по правилам дрался; раньше сроку выпалил.

Пугачев притворно сочувственно вздохнул.

— А ты на бога не ропщи, присходительный! Как его святая воля Сам знаешь: и в священном писании на сей счет сказано, что, мол, даже волосу не упасть. И все такое...

— Да я не ропщу!

— А Сеньку твою выходим! Уж и горячка?! Ну, простудился парнишка, и больше никаких. Кровь ему из жилы пустит дохтур, и все пройдет... Женить его пора бы. Чего смотришь? Хошь, мы и невесту подыщем? Да ты не морщись! Ха-ха-ха! Я тебя наскрозь вижу! Знаю, что подумал: не подсунет ли, мол, одну из полюбовниц своих? Ха-ха-ха! И ничего подобного! Знаю, кому мною попорченных дур навязывать! Для Сеньки найдем девицу-раскрасавицу честного роду-племени, которая себя соблюла... От казны и приданое назначим! Хошь —

землями, хошь — червончиками-лобанчиками. Сейчас в нашей казне пусто да завтра будет густо: из Екатеринбурга караван уж поди вышедши...

Тень прошла по лицу Пугачева.

— Нужна деньга! То есть во как нужна! И что такое, право? Скажем, рублевик серебряный альбо червончик. Ни съестъ его, ни тело грешное прикрыть, а поди — сила в нем какая...

— Большая сила! — согласился Мышкин.

— Вот одна, скрываясь от моих врагов, угодил я, помню, в острог. Был там старичок один. Да я, кажись, тебе рассказывал. Старенький старичок, лохматый такой. Быдто апостольского звания. Ну, ума — палата. Все книжки, которые есть прочел... Мудрец да и только. Так вот, говорили и об этом. И он так говорит: злая, мол, выдумка — деньги, и надо так изделать, чтобы их не было вовсе. Ну, мне что-то не показалось. Как же, мол, так? А на что я тогда, скажем, сапоги куплю? Альбо овса для коня, платок для девки? А он, старичок, так говорит: и надо, мол, так изделать, чтобы никто ни продавать, ни покупать не мог, а кто что сработает, то сдавал бы, скажем, в казну, а кому что нужно, тот пришел в склад и выбирай, что требуется... Без денег, то есть... Кому что нужно. А для того взять да построить по всему царству чихаузы и там все хранить, до нужды. А дома ничего лишнего чтобы не было...

— А ты ему что?

Пугачев захохотал.

— А я ему так: здорово придумано! А только не для русского царства! У нас только заведи чихауз, так разе что стен не украдут, а все остальное, то есть так-то разворуют! Ха-ха-ха! Да и что за удобство? Вот, скажем, я на хуторе живу. Ну, в пьяном виде потерял один сапог. Тут как быть? Поезжай, скажем середь зимы к начальству да проси квиток выдать на один сапог? Ну, ладно. Вот, получил один сапог. Домой вернулся, а на другой день кум прет: получай, мол, друже, твой сапог потерянный! У барбоски дворового отбил! Ну, и должен я с этим найденным сапогом опять по начальству с докладом ходить? Так, мол, и так, примайте один сапог, а какой — сами выбирайте! Ха-ха-ха... Так заколол, говоришь, саксонец твоего старшенького?

— Застрелил, а не заколол, — поправил Мышкин.

— В Сеньку был лицом? — допытывался Пугачев.

— Н-нет! Семен сероглазый и волос русый, а тот в матку вышел, не то, что смуглый совсем, а все же... Ну, а теперь давай поговорим о делах!

И в этот, и в последовавшие за этим дни у канцлера было работы больше, чем раньше, и ему удавалось только урывками посидеть у ложа опасно заболевшего, горевшего огнем сына.

Москва все еще не успокаивалась, и почти каждый день вспыхивали беспорядки. Чернь, почувствовав слабость власти и собственную безнаказанность, продолжала бесчинствовать. Почти все казенные склады продовольствия, амуниция и боевых припасов были разграблены. Мало уцелело и домов новой, пугачевской знати. С таким трудом сбитые Минеевым молодые полки пехоты и регулярной кавалерии уцелели, но растаяли наполовину, потому что множество солдат разбежалось. Ходил слух, что иные, боясь наказания и не веря дарованному «анпиратором» прощению и забвению прегрешений, направились на север к засевающим в Питере царицыным генералам. Другие сбежали к Полуботку или забились в разные трущобы. Весть о московском погроме расплывалась по владениям «анпиратора», как волны от брошенного в пруд камня: камень уж потонул, а круги бегут, бегут... В то время, когда в Москве уже будто бы восстановилось спокойствие, беспорядки продолжали

вспыхивать в разных городах и селах, все дальше и дальше от первопрестольной. В Рязани население, выведенное из терпения поборами новых властей, убило воеводу и всех новых чиновников и выгнало из города небольшой гарнизон, причем были перебиты все инородцы. Во Владимире во время начавшихся беспорядков появилась таинственная «инокиня Мария», дававшая понять, что она — бывшая императрица Екатерина, и несколько дней город был под властью ее приверженцев, пока «инокиню» не застрелил прятавшийся среди жителей местный пугачевский воевода Сибиряков. В Тулу и в Курск весть о московских событиях пришла в виде сообщения, что «анпиратор» убит восставшими солдатами, которые будто бы посадили на его место какого-то атамана Златопера. Туляки ограничились длившимся три или четыре дня грабежом казенных и демидовских оружейных заводов и винных складов, а куряне объявили себя независимыми от Москвы и во главе управления поставили почему-то местного протодьякона с кругом из двенадцати выборных старшин.

Когда Москву можно было считать уже утихомирившейся, пришлось восстанавливать нарушенный порядок в других городах. По настоянию москвичей всюду были разосланы гонцы с оповещением, что «его пресветлое величество» порешил созвать Великий Земский Собор и что все должны заняться избранием и присылкой в Москву к Пасхе своих представителей. В грамотах, содержащих наставление, как производить выборы, оказалось много неясностей, да и самим грамотам темный люд верил плохо, опасаясь какого-нибудь подвоха. Кое-где сейчас же приступили к выборам, и из-за этого пошли побоища.

Вести о происшедшем в Москве достигли Петербурга, Киева, Астрахани, буйного Яика, Архангельска, понеслись в Сибирь, через польскую границу, вызывая везде вполне понятное внимание. Первым на события отозвался Полуботок: его гайдамаки и сердюки коварно напали на содержащиеся по договору в главных городах Малой России московские гарнизоны, пытаясь уничтожить их. Небольшой пехотный гарнизон в Белой Церкви был взят измором и капитулировал, выговорив себе право свободно уйти в московские пределы. Но вслед за сдачей оружия пришедшие в Белую Церковь краснозупанные гайдамаки вырезали всех москалей. В Киеве несколько дней шли схватки, но тамошнему гарнизону удалось разгромить набросившихся на него сердюков и удержать город в своих руках.

Отовсюду в Москву неслись гонцы от местных властей то с просьбой о присылке подкреплений, то с требованием указаний, то с мольбой о снабжении оружием и боевыми припасами или о присылке денег. Положение все запутывалось и на улучшение надежд было мало. Сознал это и сам «анпиратор», но следуя примеру утопающего, который хватается за соломинку, он ухватился за надежду разрешить все затруднения при помощи двух с половиной или трех миллионов рублей серебром и золотом, шедших караваном из Екатеринбурга с тамошнего монетного двора.

— С деньгами все достать можно будет! — твердил он. — А чуть Чусовая, да Кама, да Белая тронутся, понавезут в Москву с уральских заводов демидовских да строгановских серебра в чушках да меди столько, что я все московские улицы медью вымощу, а крыши их серебром покрою!

Но караван из Екатеринбурга запаздывал и запаздывал, а в Москве с каждым днем все острее сказывался недостаток в монете. Уж не говоря о золоте и серебре, которых давно никто не видал, из обращения с непостижимой быстротой стала исчезать и медь.

Москва опять заволновалась, угрожающе заворчала. В воздухе снова запахло беспорядками.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Огневица, свалившая молодого князя Семена Мышкина-Мышецкого, затянулась на добрых полтора месяца. Лечил больного искусный в своем деле лекарь Шафонский, получивший образование за границей. В течение первых трех недель несколько раз дело казалось безнадежным. Больной не приходил в себя, он все время бредил, тело его горело и покрывалось странными пятнами. Должно быть, болезнь оказалась прилипчивой: в апартаментах, занятых канцлером и его домашними, умерло пять человек прислуги. Одно время чуть не свалился и сам старый князь, но устоял. В начале четвертой недели в болезни Семена произошел какой-то перелом, жар стал понемногу сдавать, покрывавшие тело пятна начали бледнеть и исчезать. Бред уменьшился, иногда сменяясь краткими часами, когда к больному возвращалось сознание

В один из таких дней больной попросил ухаживавшего за ним слугу из бывших придворных лакеев позвать отца. Старый князь, — он за это время и впрямь сделался чуть не дряхлым стариком, — сейчас же оторвался от своих занятий и прошел к горенку сына.

— Какой день у нас, батюшка? — слабым голосом спросил Семен и, получив ответу сказал: — Вот уж никогда не подумал бы! А мне все чудится, будто только вчера было это...

— Что такое, сыночек?

— Да там, в Раздольном... Когда «сам» испугался меня... Да разве я тебе, батюшка, не докладывал?

— В бреду, ведь, тебя привезли, Сенюшка! Где уж тут было еще докладывать?! Опять же, — в Москве бунт был. Пальба шла. Мы в Кремле ни живы, ни мертвы сидели...

— А в бреду не проговаривался?

— Да о чем ты, голубчик? Не попритчилось ли тебе что?

Помолчав и собравшись с мыслями, юноша вымолвил глухо:

— Как на охоту ехать в лес, к берлоге, дал мне Чугунов Питирим дубленку, шапку барашковую и высокие сапоги. Поверх я подпоясался кушаком синей шерсти да за кушак засунул нож охотничий. Глянул в зеркало и подумал: чудно, как я похож на братца покойного, злодеями загубленного — Семен задохнулся от слабости. — Опять голова кружится что-то, тятя...

— А ты помолчал бы! Чего утруждать себя? Разве что важное, Сеня?

— Важное, тятя! Такое важное... Не хотелось бы в могилу уйти, не оповестив тебя. Я и там еще думал, как бы живым добраться да тебе все обсказать... А еще боялся, как бы в бреду не проговориться. Ведь не один я в санях сидел, а кто со мною был, не припомню... Рыжий какой-то, слюнявый.

— Бог с ним, Сеня!

— Ну, вот... После того, как медведей взяли, случаем подошел я к саням самого... царя... А он как воззрится! Лицо побелело, глаза на лоб полезли. «Свят, свят, свят! — шепчет. — Мертвец из могилы встал! Убиенный воскрес!»

Семен смолк. Потом чуть слышно добавил:

— И понял я, тятя: это он погубил братца! Он, он, он! И с ним, гляди, Прокопий Голобородько был. Вдвоем...

Он закрыл глаза и словно погрузился в сон.

— Не ошибся ли ты, Сеня? — спросил старый князь — Не был ли ты и тогда уже не в себе?

— Нет. Только голова болела да в груди стеснение было. А все осознавал. Да ты, тятя, опроси остороженько других, и другие видели... А потом, помню, «сам»-то, очухавшись, смеялся, только с испугу. Почудилось, мол, не весть что! А на меня все с опаской поглядывал. Он, он, тятя! Душегуб! А ты его на престол посадил, смерда, пса поганого!

— Не я посадил, Сеня! Народ. Холопы пьяные...

— А ты помогал. Может, без твоих советов и оборвался бы он, оборотень! И теперь ты ему служишь. Мне Микешка говорил: больше всех на тебя он полагается, твоими мыслями мыслит. Все твои советы исполняет...

Старик поморщился

— Ну, не очень-то, Сеня! Лукав он и труслив... Кажется, самому богу не поверит. Все подвохов боится. Знает, что случаем наверх вылез, слепое счастье привалило, а ноги-то жидки...

— Раздавить бы его, тятя! Как червеца ядовитого! Как жабу поганую, бородавками покрытую! И других! Все оборотни какие-то, лица человеческого не увидишь. Морды звериные, а не лица человекьи. В каких щелях подземных все эти гады раньше сидели, от света божьего прятались? Почему теперь обнаглели да наружу повыползали? Зачем? По какому праву? А мы... мы им помогаем! Зачем?

Он заметался, шепча тоскливо:

— Ах, тошно же мне, ах тошнехонько! Помру я, скоро помру, батя!

— Бог с тобою, Сенюшка! — дрогнувшим голосом отозвался старик. — На поправку дело пошло... Зачем о смерти думать?

— А зачем жить-то, родной? Как жить с таким грехом?

На морщинистое лицо старого князя легла тень.

— Повинны мы, батюшка! Чем вину искупим? Я тогда еще, на Чернятиных хуторах, в сомнение стал приходиться. Все думал, особливо по ночам. Ты, бывало, задремлешь, а я лежу да думаю... Говорил ты мне: немку свалить, Павла убрать, род пресечется; Пугач долго не усидит, быдло, пес бешеный; его на то и хватит, чтобы немку да ее сына загрызть, а дальше, мол, нам дорога расчистится... Говорил, ведь? Намекал, что, мол, проведешь меня в императоры. Ну, мне и жутко было, и сладко: Симеон Первый, всея России... Царь казанский, царь астраханский, царь сибирский... А вот теперь вижу: не нужно мне все это! Какой там царский венец? Помираю я, батя!

— Выходим! Вылечим! В теплые края увезу тебя!

— На Рогожское кладбище, тятя! А мне страшно: сколько крови пролито! Как ответишь?

— У тебя руки чисты! Разве ты кровь проливал?

— Я — нет. Да для меня-то все же делалось!

— Не для тебя, для нашего рода княжеского! Ради нашего права законного!

— А где наш род, отец? Братец убит, ты — стар. Я в могилу уйду... А кто попользуется? Зверь в образе человека, оборотень! А какое царство рушилось! А сколько горя да мучений всем,

крови невинной... Зачем все это? Все равно, ничего не выходит. Все горит, все рушится, все расплзается. Гнило все...

Канцлер нерешительно вымолвил:

— Не думалось, что так будет, Сеня. Иначе все представлялось... Кто же мог предусмотреть?

— Плохое оправдание, отец! Так и любой бродяга, пустивший огонь по лесу, говорить может...

Молодой князь опять заметался в жару, забредил. Отец, сдав больного на руки слуг, ушел в свой кабинет и принялся пересматривать бумаги. Но работалось с трудом, все думал о том случае в Раздольном. Старший сын неотступно стоял перед глазами, старая боль опять подступила к сердцу.

Канцлер сдвинул в сторону документы и хрипло вымолвил:

— Ну, за кровь — кровь! Расплачусь с лихвою!

С огневицей молодость Семено Мышкина-Мышецкого кое-как справилась, но когда болезнь ушла, она оставила измученное ею тело бессильным бороться с другими болезнями. У Семена открылась чахотка, и стало слабеть сердце. Неустанно следивший за его здоровьем Шафонский счел необходимым предупредить отца, что на всякий случай не мешало бы позвать попа. Канцлер выслушал это внешне спокойно, только лицо потемнело да на изрезанном морщинами лбу проступили капли холодного пота.

С этого дня старый князь, словно ожесточившись, примкнул к тем ближайшим советникам «анпиратора», которые всегда выдвигали необходимость самых крайних, самых крутых мер. И если сам он не требовал применения этих крутых мер, то постоянно наводил на мысль о них, напоминая примеры из русской истории.

— Великий князь Димитрий, позже прозванный Донским, забрал в свое войско многих иноков монастырских. Царь Петр отобрал церковные колокола для отливки пушек на шведа. Из колоколов он же, Петр, чеканил медную монету. Нужда заставила, да и скопленные монастырями богатства не раз отбирались князьями на государственные нужды. Золота и особенно серебра в монастырях не счесть. В Троицко-Сергиевой лавре, говорят, до десяти пудов жемчуга хранится, то же и в Киево-Печерской лавре. У торговых людей и вовсе не грех часть богатства отобрать, ежели для защиты государева дела понадобится. Не велика тягость и в том, ежели по одному лишнему парню с сотни человек в солдаты взять. Бабы, понятно, выть будут, да ведь так испокон веков было!

Эти слова падали на подготовленную почву, и «анпиратор» издавал указ за указом, нажимая на без того уже озлобленное население, особенно на крестьянство. Одним из этих указов требовалась сдача в казну всех «лишних» колоколов. Этот указ был понят как требование сдачи в казну всех колоколов, а неведомые люди поспешили разъяснить и цель указа: «царь обязался родичам татар да башкиров, побитых в Москве и других городах, дать богатый выкуп, и ежели меди не хватит, то будут отбирать из храмов ризы, чаши, подсвечники и прочую церковную утварь». В Серпухове в воскресный день к старому собору святого Владимира, когда там шло торжественное богослужение, подошел сильный наряд «городовых казаков». Кто-то крикнул, что идут сдирать с икон ризы. Грянул набат. Хлынувшая с близкого торга толпа крестьян набросилась на казаков и нескольких убила. Беспорядки охватили весь серпуховский округ.

Тогда «анпиратор» разослал по ближайшим к Москве городам «увещание», в котором говорилось, что церковные сокровища и не думали отбирать, а что касается недостатка в



монете, то идет уже из Екатеринбурга в Москву государева казна. Казенный обоз везет несметное количество золота и серебра, нужды в деньгах не будет.

Это было верно. Обоз с огромным количеством рублевиков и червонцев новой чеканки с изображением «Императора Петра III Феодоровича всея России» действительно шел из Екатеринбурга.

\* \* \*

После взятия «анпиратором» Казани сильно пострадавшие партизанские отряды под общим начальством Михельсона оказались оттиснутыми далеко на север. Положение Михельсона сделалось одно время отчаянным, главным образом вследствие истощения боевых припасов. Однако испытанный и закаленный боец не потерялся. Без пощады отбирая у населения коней и фураж, он почти всех своих пехотинцев перевел на конное положение, а из тех, кого не было времени обучить верховой езде, создал особые отряды тележников и санников. Таким образом его малое войско могло передвигаться с удивительной по тем временам скоростью; сваливалось, как снег на голову, где никто не ожидал, а потом исчезало, оставив после себя на память трупы изрубленных драгунскими палашами или гусарскими саблями сторонников «анпиратора». Отличный артиллерийский офицер, особый талант которого признавался самым великим знатоком артиллерийского дела, фельдмаршалом графом Румянцевым, Михельсон приспособился и в этой области. Запрятав в лесных делянках тяжелые пушки, он в несколько месяцев обзавелся большим количеством орудий совершенно нового образца, таких легких, что их можно было возить на простых деревенских телегах или на санях. Это были знаменитые «шуваловки», изобретенные еще во дни Елизаветы Петровны генерал-фельдцейхмейстером графом Шуваловым, но тогда встреченные Военной Коллегией недоверчиво. Однако по распоряжению Шувалова несколько сот таких «шуваловок» были отлиты на принадлежащем ему Шишмаревском заводе близ Перми, но так и остались лежать там, не будучи принятыми в казну. Михельсон, одно время служивший при Шувалове в ординарцах и исполнявший его поручения, вспомнил об этих забытых пушках. Когда Казань пала, а орды «анпиратора» пошли на Москву, Михельсон заколебался, не зная, что делать. Его соблазняла возможность пробиться на Петербург, отказавшись принять «анпиратора», но еще больше манил его план широкого развития партизанских действий как раз там, где прошли первые полтора года деятельности Пугачева и где население уже испытало на себе все тяжкие последствия разрушений, произведенных смутой.

— Ежели Петербург устоит, туда всегда успею пробраться, — решил Михельсон — А ежели уйду отсюда, то кто будет мешать злодеям пользоваться всяким добром из этой области?

Он остался.

Несколько недель спустя после падения Казани конный отряд полковника Обернибесова, в составе около полутора человек при двух полевых орудиях, внезапно вынырнул под Пермью, попытался ворваться в город, занятый пугачевцами, но при первых же выстрелах местного гарнизона бросился бежать, оставив по дороге одну из своих пушек. Успех окрылил пугачевцев, и местный комендант из казацких старшин Трифон Лодыжкин, оставив город под охраной нескольких десятков «городовых казаков», метнулся за убегающим Обернибесовым. С ним было около тысячи конников и два пехотных батальона с четырьмя полевыми пушками. В семи верстах от города гусары и драгуны Обернибесова, видимо, окончательно потеряв голову, ринулись в Галахов овраг, бросив по дороге и последнюю пушку. Пугачевцы — это были исключительно конники — с криками торжества влетели на рысях в овраг и

наткнулись на завалы из срубленных деревьев. Из-за завалов по ним ударил град картечи, бившей в упор, а сверху посыпались ружейные пули неведомо откуда появившихся егерей. Удар был такой неожиданный, что вся пермская конница кинулась в бегство, бросив свои четыре пушки. Но и выход из оврага был уже прегражден словно из-под земли выросшими засеками и оттуда шла пальба. Началась бойня. Спасти удалось немногим.

Тем временем подошли два батальона, убежденные, что идет расправа с царицыными слугами. Когда и на них брызнула картечь из скрытых за лесом пушек, они тоже кинулись в бегство. Весь гарнизон Перми оказался уничтоженным. Победители ворвались в город на плечах немногочисленных беглецов. Город сдался, не оказав ни малейшего сопротивления, а с ним в руки Михельсона — ибо отряд Обернибесова был только частью сил Михельсона — попала огромная добыча, наиболее ценной частью которой было большое количество боевых припасов в местных складах.

Многие впоследствии ставили в упрек Михельсону беспощадную суровость, с которой он расправился в Перми с попавшими в его руки сторонниками Пугачева. Число расстрелянных по приговорам военно-полевого суда разными местными летописцами определяется по-разному. По записям Зубарева, пономаря, всего было казнено около 400 человек, тогда как в записках краснорядца Лутохина говорится о двух без малого тысячах. Достоверно известно, что когда горожане прислали к грозному «енаралу Михельсону» смиренно молившую о милости депутацию, тот ответил:

— А где были вы, почтенные, когда Лодыжкин с товарищами забавлялись, кроша саблями взятых в плен беззащитных людей на соборной площади? А где были вы, когда мятежники резали женщин и детей даже в храмах?

Давший весьма подробное описание пермских событий заводской мастер Хольмстрем, обрусевший швед, между прочим, писал: «Накануне прихода генерала Михельсона в местном остроге содержалось около восьмисот дворян и бывших чиновников, а также до пятидесяти человек православного духовенства. Почти каждый день Лодыжкин отбирал из нас человек двадцать и предавал лютой казни. Я лично оплакиваю моих двух дочерей и мужа старшей из них. Особливо зверски Лодыжкин поступал с духовными лицами, даже теми, кои присягнули, страха ради, Пугачеву. На моей памяти было повешено шесть священников и семь дьяконов. Так погиб и семидесятипятилетний архимандрит Арсений, которого злодеи зарыли живым в могилу, заставив старца руками вырыть себе яму.

Когда гусары растворили двери нашей тюрьмы и стали нас выводить, мы решили, что это переряженные злодеи, которые поведут нас на казнь. Я никогда не забуду того чувства, с коим мы увидели генерала Михельсона и его офицеров на площади перед собором. Тут же висели трупы двадцати главных помощников Лодыжкина и он сам, но никто на них не смотрел. Мы, заливаясь радостными слезами, обнимали друг друга, говорили: «Христос воскрес!» и лобызались».

В обширном, но дошедшем до нас лишь частично, письме Михельсона к Румянцеву о пермском периоде его деятельности говорится, между прочим, следующее: «Всеми своими успехами, ведомыми Вашему сиятельству, обязан я тому мудрому правилу, которое воспринял от вас же, великий воин: неприятелю не надо давать опомниться; ежели он обратился в бегство, его надо все время колотить по затылку. Так я и поступил по взятии Перми. Разгромив тамшнее скопище и перебив множество злодеев, я пощадил только трех из сложивших оружие, кои по всем данным, служили самозванцу против воли или по безвыходности. Их я забрал в свои отряды и по долгу чести и совести свидетельствую, что лишь весьма малое из них число обмануло доверие, за что и потерпело наказание. Прочие же, вернувшись в строй до конца исполнили свой долг, и многие искренним своим раскаянием и служебным усердием весьма искупили свой грех перед государыней и родиной, почему я в подробном своем рапорте ходатайствовал о их награждении».

В том же письме Михельсон говорил далее следующее: «Пользуясь тем обстоятельством, что после захвата самозванцем столицы все законченные враги государыни и родины устремились в Москву, а в обширных восточных провинциях империи на местах оставались только слабые отряды нераскаянных пугачевцев, страхом принуждавшие мирное население к повиновению, я, утвердившись в Перми и значительно усилив свою армию освобожденными дворянами, а равным образом способными носить оружие гражданскими чиновниками и добровольцами от купечества, мещан и крестьян, принялся рыскать по сей обширной области, нанося решительные удары злонамеренным. При этом действовал я с великой суровостью, памятуя, что во дни смуты гражданской токмо жестокий страх оказывает спасительное действие. Между прочим, я поставил себе за правило не давать пощады всем изловленным мною или указанным от населения уголовным преступникам, ставшим начальниками. Накопленное ими имущество, то есть все награбленное у мирных жителей, я неуклонно отнимал и употреблял на содержание моей армии, стараясь как можно менее отягощать гражданское население. Я счел в праве объявить себя императорским наместником, исходя из положения вещей и явной необходимости сделаться полномочным правителем обширного края и совместить в своем лице власть военную и гражданскую. Весьма нуждаясь в дельных и храбрых офицерах, я позволял себе давать офицерские чины, подчиняясь воинскому уставу. В этом отношении я следовал примеру великого монарха Петра Первого, который делал генералами полезных людей, невзирая на их происхождение и руководствуясь исключительно их знаниями и усердием к государственному делу. С согласия и даже по настоянию добровольно подчинявшихся мне офицеров и чинов гражданских я временно присвоил себе звание генералиссимуса».

Перечислив ряд городов и местностей, где с осени развивались военные операции, Михельсон продолжает: «Из сказанного выше вы, Ваше сиятельство, можете видеть, что в бездеятельности и небрежении долгом нас нельзя упрекнуть. Конечно, у нас были ошибки, но мы действовали в обстоятельствах необычайных и беспримерных в истории государства Российского, когда все кругом было охвачено злой и пагубной смутой. Сколь странны были обстоятельства, можно судить уже по разительному примеру, о коем я выше кратко упоминал. Дворянка казанской губернии Анна Игнатьевна Курловская, лично известная ее Величеству еще в дни осады Казани полчищами самозванца, образовала собственный отряд из дам и девиц Казани. Отряд принимал участие в защите несчастного города, действуя самоотверженно и неся жестокие потери. После взятия города мятежниками дворянка Курловская с несколькими спасшимися от резни соратницами выбралась из города, ушла на восток и приняла участие в партизанской борьбе. Впоследствии к ее небольшому отряду примкнули многие спасшиеся дворяне, признавшие Курловскую за начальницу. Отважная амазонка на протяжении нескольких месяцев воевала с мятежниками, проявляя храбрость и искусство. Она привела своих партизанок в Пермь, когда мы заканчивали приготовления к Екатеринбургской экспедиции. Я не видел причин пренебрегать ее содействием, а ради того, чтобы крепче связать партизан дисциплиной, даровал я госпоже Курловской майорский чин, чему она была несказанно рада, ибо оказалась по чину выше собственного супруга, капитана. Долгом чести и совести почитаю засвидетельствовать, что помощь, оказанная мне майором женского пола в труднейшем предприятии, имеющем столь важные последствия, оказалась весьма значительной и поведение ныне покойной дворянки Курловской было до конца доблестным, о чем я в свое время упомянул в приказе по моим войскам.

Не без пользы был и гвардии сержант Гавриил Державин, командовавший отдельным партизанским отрядом. Однако позже, учитывая недоброжелательное отношение к нему других моих помощников, обиженных язвительностью его суждений о них и некоторым высокомерием в обращении, я счел за лучшее отправить Державина с важным поручением в Петербург. Считаю нужным помянуть, что поручение было весьма удовлетворительно исполнено.

Не могу обойти молчанием и содействия, оказанного мне в Екатеринбургском предприятии

некоторыми другими партизанами, особенно ротмистром Константином Левшиным. Ему я поручил важнейшее дело разведки, и он, переодеваясь то в крестьянское, то в татарское платье, побывал и в Казани, и в Москве, и в самом Екатеринбурге, откуда доставил мне точнейшие сведения. Из других несших партизанскую и разведочную службу упомяну молодого князя Петра Курганова и его родственника дворянина Юрия Лихачева, а говоря о последнем не могу не сказать о сопровождавшей его в самых смелых делах бывшей дворовой девушке Ксении».

На этом письмо Михельсона к Румянцеву обрывается. Но о каком же Екатеринбургском предприятии настойчиво упоминается в этом письме, и почему сам герой этого предприятия, Михельсон, позже ставший уже не самовольно, а совершенно законным образом генералиссимусом и до конца жизни пользовавшийся общим уважением, придавал ему такое большое значение?

Здесь мы вернемся несколько назад.

Еще в первое время пугачевского восстания южный и средний Урал сделались местом действия повстанческих шаек, которых привлекала близость многочисленных уральских заводов с тысячами сочувствовавших «анпиратору» рабочих. Урал со своими дебрями и почти полным бездорожьем представлял собой словно нарочно созданное убежище для мятежников, куда они уходили, как только их постигала неудача, где они отсиживались, запасаясь новыми силами и средствами, и откуда потом спускались, подобно хищным волчьим стаям, на равнину. Наконец в действиях Пугачева и его соратников вплоть до конца красной нитью проходит стремление держать открытой дверь в Сибирь, где в случае окончательного поражения, могли бы без труда укрыться все главари с их семьями и с накопленным имуществом.

Когда Москва попала в руки «анпиратора», одной из первых его забот было обеспечить за собой дорогу от Уфы на Челябин-Курган и от Уфы на Екатеринбург-Тюмень. Златоуст и особенно Екатеринбург, приобретя исключительное значение, были укреплены и заняты сильными гарнизонами. Была попытка превратить в крепость Пермь, но Михельсону, как мы знаем, удалось вырвать Пермь из рук мятежников и оставить ее за собой. Также бодро держался далеко на юге Оренбург, куда собралось много тысяч беглецов из других местностей. Одно время там начальствовал генерал Рейнсдорп, тот самый, над которым пугачевцы издевались, называя его «енаралом Раздрыпой». Позже, когда болезни окончательно одолели Рейнсдорпа, власть перешла в руки молодого и деятельного генерала князя Голицына, сумевшего удержать в повиновении свою небольшую, но крепко сколоченную армию.

После падения Казани, когда для пугачевцев открылась дорога на Москву, все их главные силы устремились туда, словно притягиваемые магнитом. С этой тягой «анпиратор» не мог справиться. Весть о сказочных московских богатствах будила жадность поднявшейся темной и хищной массы, разрушала все попытки новой власти установить твердый порядок в восточных, слабо населенных провинциях. Едва какому-нибудь назначенному Пугачевым воеводе, атаману или губернатору удавалось собрать вокруг себя несколько тысяч вооруженных людей и с ними засесть в одном из далеких от столицы городов, как эти военные силы разваливались под влиянием притягательной силы Москвы. Людей, оторванных от привычного дела и получивших в свои руки оружие, соблазняла мысль о возможности быстро нажиться грабежом. Но весь край между Волгой и Уралом сильно пострадал за время восстания и обезлюдел, а уцелевшее население оголодало и было озлоблено против новой власти, поэтому рассчитывать на поживу могли лишь немногие. И люди уходили от «анпираторских» воевод и губернаторов, как утекает вода из решета.

К тому же вслед за взятием Москвы на западе наметились большие осложнения и возникла угроза войны с Польшей. На севере темной грозовой тучей продолжал висеть Петербург.

«Анпиратору» было, собственно говоря, уже не до востока. В его распоряжении уже не было сил, чтобы раздавить уцелевшие гнезда, в которых засели его враги, поэтому поневоле он поручил расправу с Михельсоном и Голицыным местным силам, но неумелые попытки закончились большими неудачами. Так сунувшийся было из Уфы на Михельсона пугачевский «енарал» Сидоренко, он же Квашник из бывших капралов, при попытке перебраться на правый берег Камы ниже Перми был растрепан михельсоновской артиллерией, потерял весь свой обоз и сам едва унес ноги. Столь же неудачной оказалась из рук вон плохо подготовленная и еще хуже проведенная бывшим колодником Исаевым экспедиция, отправившаяся из Самары на Оренбург. Не пройдя и половины дороги, Исаев растерял большую часть своей орды из-за недостатка продовольствия и гибели лошадей.

Сам генерал Михельсон в упомянутом выше письме Румянцеву говорит: «Завладев Пермью, я мог тогда же напасть и на Екатеринбург, но по многим соображениям предпочел воздержаться, отложив на несколько месяцев. Моей первой заботой было завладеть Шишмаревским и другими заводами Шуваловых, запастись новой, более пригодной для партизанских действий артиллерией в виде «шуваловок». Моей целью было не столько захватить сам Екатеринбург, сколько то, что он должен был дать Москве...

В записках заводского мастера Хольмстрема шишмаревский эпизод излагается так: «Богатейший шишмаревский завод дважды подвергся нападению мятежников еще до падения Казани и пришел в плачевное положение. Большинство рабочих разбежались, многие присоединились к мятежникам. Мастера были перебиты, прогнаны или смещены в простые рабочие назначенным от самозванца управляющим из вотяков Василием Крещеным, человеком совершенно невежественным и диким. За неимением подлинных заводских рабочих Васька-вотяк, над коим смеялись даже его сотоварищи, поставил на работы несколько сот содержащихся в цепях дворян обоего пола и настоящие рабочие учинились не только надсмотрщиками и начальниками над несчастными, но их крепостными господами и предавались сущему тиранству. На всех попавших в руки пугачевцев заводах шло беспробудное пьянство. Вместо того, чтобы выполнять данные от казны заказы, особенно на предметы вооружения: штыки, сабли, лядунки, ядра, оболочки для гранат, картечь и прочее, ставшие господами рабочие выделывали сковородки, кастрюли, котелки и другие предметы домашнего обихода. На приписанном к Шишмаревскому заводу казенном Свят-Ивановском литейном заводе другой вотяк, Гунька, с товарищами употребили двенадцать тысяч пудов красной меди на выделку медной монеты и присвоили ее. Кукляевский оружейный завод завладев многими тысячами пудов ржаной и пшеничной муки, занялся одной только работой — выгонкой водки и сбывал ее в Сибирь.

На эти заводы налетел бурей славный воитель Михельсон раньше, чем туда дошла весть о разгроме Лодыжкина и взятии Перми. Сопrotивление было оказано только на Кукляевском, где пьяные рабочие, отстреливаясь, легко ранили полковника Обернибесова и убили двух его драгун. На Миславском заводе пугачевский управляющий из варнаков Семенихин с товарищами заперся в конторском помещении, откуда стреляли из ружей, однако бежали, едва только был в них выпущен снаряд из полевой пушки. На Шаболовском заводе освободившиеся при нападении на него михельсонова отряда пленники перебили своих тиранов. В четыре дня Шишмаревский и все окрестные заводы были очищены от мятежников. Многие злодеи были без промедления казнены, прочие же подверглись суровому наказанию и под угрозой смерти поставлены на работы. Однако весьма долго наши заводы не могли достигнуть прежнего благосостояния, столь велико было разрушение, причиненное за короткое время мятежниками...

Главное дело было сделано: генерал Михельсон завладел хранившимися в заводских складах бронзовыми «шуваловками» и другими предметами, полезными для вооружения его армии.

Положение дел на Урале тревожило Пугачева и его соратников. На оружейных тульских

заводах, тоже сильно пострадавших от хищничества рабочих и хозяйничания управляющих из варнаков, истопников и тому подобного люда, испытывалась нужда в железе, чугуне, стали и меди и все надежды возлагались на подвоз сырья с Урала.

Как мы знаем, сам Хлопуша, который в молодости был рабочим на Урале и кое-что понимал в заводском деле, рассчитывал после рождественских святок «слетать» на Урал и там, во-первых, наладить производство, а во-вторых, собрать войска и прогнать Михельсона из Перми

Несмотря на все предосторожности, принятые Михельсоном, слух о его намерении применить к делу пролежавшие больше пятнадцати лет в складах «шуваловки», проник и в Москву, но там он произвел слабое впечатление. Из близких к «анпиратору» лиц один только Минеев имел смутное представление о «шуваловках» и иной раз думал, не идет ли речь об изобретенных Шуваловым гаубицах какого-то особого типа. Кто-то, донес Пугачеву, что «шуваловки» «малость тяжелее солдатского ружья».

— Ну, ежели так, то с эдаким много не сделаешь! — засмеялся «анпиратор» — И настоящая пушка не столь далеко палит, а ежели такая махонька, то будет она, скажем, пукать и только всего! Дурак Михельсонов ваш! Вот Голицын-князек — тот мозговатый, что правда, то правда!. На всякие выдумки парень горазд! Егерей на лыжах бегать лихо обучил. Из снегу валы строит да еще какие?! У казаков многое перенял. Мозговат, мозговат, говорю... А Михельсонов — все по книжкам. Немец!

Разыгравшийся в Москве на святках погром, повлекший за собой беспорядки и в других городах и больно ударивший по созданным Пугачевым плохо дисциплинированным войскам, выдвинул в первую очередь вопрос о необходимости восстановить порядок и принять такие меры, которые обеспечили бы столицу от новых осложнений. Переживший злую тревогу в дни бунта «анпиратор» крепко засел в Кремле и уже не решался оставить столицу хотя бы на несколько часов. Не решался он отпустить от себя и Хлопушу, заявляя прямо:

— Только на твое, Хлопка, варначье пока что и можно положиться! Крупа глупая того и гляди шкандалист примется. А татарчат моих верных напугали, да и где они теперя? Случись что, не дозовешься! Нет, уж посиди-ка ты лучше, Хлопка!

И Хлопуша отложил до лета предполагаемую поездку на Урал.

Но доходившие с Урала и из Оренбурга вести продолжали его тревожить, и он снова и снова возбуждал вопрос о необходимости послать кого-нибудь на восток. Об этом и шла речь в тот день, когда молодой князь Семен Мышкин-Мышецкий рассказал отцу то, что случилось с ним в Раздольном

— На заводы можно послать Ильюшку, — нерешительно вымолвил Хлопуша.

— Трубецкого князя, то есть Творогова? — невесело засмеялся Пугачев — Нашел кого! Не знаешь ты его, пса!

— Девоч дюже любит!

— Это что! Пущай! Я сам к бабьятине пристрастен. А только Ильюшка — лукавый черт! Он давно уж подговаривается, чтобы я его в Пал Петровичи, цесаревичи, нашего престолу наследнички, назначил! Вот ты и рассуди пошлешь его, пса, власть ему дашь да деньги, да все такое, а ему заедет вожжа под хвост, он и почнет на дыбки становиться! Возьмет да и объявит, где ни есть, себя «анпиратором»! Оченно просто!

— Не посмеет!

— Чего побоится? Первое дело, он не верит, что наша масленица затянется. Мошну набил, погулял, покатался. Сыт по горло. Опять же в Москве скушно ему, его в степь тянет. Вот все это время про Стеньку поминает. Хорошо, мол, Стенька пожил, на персюков ходил, княжну, нисану красавицу, в полюбовницы взял. А Москва, мол, кислая...

— Пошли кого из Голобородек!

— Пошлешь их! Так они, стервецы, и оторвутся от моего тела белого! — сердито вымолвил Пугачев. — Впились в меня, как пиявки, кровь мою пьют, раздулись, а отпасть не хотят!

Помолчав, он продолжал:

— Подумывал я было; не послать ли Сеньку Мышкина? А он возьми да и скисни. Помирает. Чахотка в груди открылась. Кровью харкает.

И уж совсем глухо добавил:

— Да оно, может, и к лутчему! Все одно пришлось бы его, Сеньку, приказать прирезать альбо удавить. Намозолил он мне глаза. Дюже схож с одним пареньком русявым, которого мы с Прокопием охладили. Так бы и ничего парнишка, Сенька-то, а смотреть на него неприятно... Напоминает... Ну его!

Хлопуша предложил еще несколько человек, но «анпиратор» отверг их всех, высказал горькую мысль:

— Народу у нас — видимо-невидимо, а полагаться не на кого. Людей настоящих нету! Сгоряча, когда драться приходилось, этого не было заметно. Драться-то, поди, каждый дурак может, были бы кулаки здоровые. А вот как править пришлось, тут тебе и осечка выходит! Тот дурак стоеросовый, этот — прямо помешанный, а тот людей без толку, как хорек кур, душит, а этот разум пропил, а вот этот в лес смотрит! Тошно и смотреть на сволоту, что округ нас с тобой собралась! А еще уменья нету. Ты его спрашиваешь, а он только глазами моргает.

— По-твоему выходит, окромя дворянов и людей у нас нету? — угрюмо осведомился Хлопуша.

— Не то, Хлопка! Людей-то и промежду, скажем, мужичья черного набрать можно, да к какому делу его приставишь? На что он годен? Кабы его подучить, ну, так... А в сыром виде — ни к чему. А как его учить, когда дело сейчас делать надо? А доверять уцелевшим дворянам — тоже опасная штука. Вон я на старого Мышкина смотрю. Кажись, и свой человек, а можно ему до конца верить? Ой, не знаю...

— А все же на заводы кого ни есть да надо послать! Баклуши там бьют, черти! Дорвались до казенного добра и рады!

— А ты сам, Хлопка, найди да пошли! — отмахнулся «анпиратор». — Все одно толку большого не будет. Ну, да авось кривая вывезет!

В конце недели на Урал был отправлен из Москвы бывший писец канцелярии нижегородского губернатора Зиновий Мельников с двумя десятками набранных с борку да с сосенки писарей и мастеров и с личным конвоем в пятьдесят человек хорошо вооруженных людей. Они доехали только до Уфы.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Золотой караван из Екатеринбурга, прибытие которого с таким нетерпением ожидалось в обезденежившей Москве, два раза выступал из Екатеринбурга и два раза поспешно возвращался в город под защиту тамошнего гарнизона.

В первый раз, едва огромный обоз отошел верст на сто от Екатеринбурга, пришла весть, что в окрестностях Уфы начался большой бунт тамошних башкир и многотысячные толпы степняков захватили весь край между Уфой, Казанью и Самарой.

Слух этот в известной степени соответствовал действительности: восстание, и восстание кровавое, имело место. Поводом послужило появление среди суеверных башкир сгинувшего впоследствии без вести казанского татарина Мусы, фанатика и, по всем признакам, помешанного. Муса, в молодости пробравшийся из Казани в Астрахань, оттуда — в Самарканд, вернулся в Россию за год до начала пугачевского движения и скоро приобрел известность святого, обладающего даром исцелять больных и пророчествовать. Почти накануне восстания Пугачева Муса выступил в одной из казанских мечетей с пророчеством о близком падении русского владычества и о восстановлении славного Казанского царства под властью одного из прямых потомков Чингис-хана. Из-за проповеди Мусы татары заволновались. Казанские власти проведали об этом, Муса был схвачен и предан суду. Покуда шло следствие, Муса сидел в местном остроге, а его слава пророка усилилась славой страдающего от гяуров за святое и правое дело. По-видимому, богатые казанские татары подкупили тюремную стражу, и Муса бежал. Где он после этого скитался, что делал — история не знает, но вслед за падением Казани Муса вынырнул и еще настойчивее повел пропаганду в пользу восстановления Казанского царства и объединения всех мусульман под властью династии Чингис-хана. В него уверовал башкирский князек Нафтулла Юсуфов и дал ему приют у себя, когда «анпираторский воевода» Казани хотел учинить с новоявленным пророком короткую расправу. Трудно сказать, что вышло бы из проповеди Мусы, если бы ему не помогло одно обстоятельство. Поставленный править огромным уфимским краем человек неведомого происхождения, называвший себя Яковом Безродным, буян, злой пьяница и хищник, задумал поживиться у башкир и распустил слух, что им получен из Москвы приказ окрестить всех башкир. Хитрец Яшка, правда, соглашался дать башкирам отсрочку, но с условием уплаты ему порядочной mzды «с кибитки». Башкиры, выдав Яшке «гостинец», тайком отправили в Москву депутацию с жалобой. Яшка изловил депутатов, выпорол до полусмерти и прогнал по домам с предписанием внести немедленно «за непредание смертной казни» новый большой побор. Из-за этого и сыр-бор загорелся. Башкиры поднялись, как один человек, и начался короткий, но кровавый башкирский бунт. Сам Яшка, отправившийся усмирять башкир с несколькими сотнями казаков, был разбит, попал в руки башкир, и по приказанию Мусы башкиры содрали с него кожу. Но потом сами поддались беспричинной панике, кинулись в степи по направлению к Оренбургу.

Вот на этот-то башкирский бунт и наткнулся было екатеринбургский «золотой караван», после чего вернулся в Екатеринбург. Когда башкиры ушли в степи и дорога очистилась, караван снова отправился в путь, но попал в жестокую метель, чуть не погубившую его, и вернулся в тот же Екатеринбург. Два дня спустя из Москвы в Екатеринбург прибыл маленький отряд из недавно сформированного Белгородского казачьего полка. Старшими в отряде были два офицера; хорунжий Васьков и войсковой старшина Матюхов. Белгородцы предъявили коменданту Екатеринбурга, старому таежному волку Пороховщикову, строжайший приказ от «генералиссимуса» графа Панина, то есть Хлопуши, ни перед чем не останавливаясь, немедленно отправить «золотой караван» на Уфу под конвоем в четыреста надежных человек с соответствующим количеством пушек. Пороховщиков не осмелился задерживать караван и, отобрав у местного гарнизона почти всех коней и сани, отправил огромный обоз, тем более разросшийся, что к нему присоединились и многие обитатели Екатеринбурга, стремившиеся в Уфу или в заволжские провинции. Между прочим, с тем же обозом пошел и недавно прибывший из сибирских областей ясак в виде песцовых, лисьих, бобровых и собольих мехов, стоимостью свыше миллиона рублей золотом. Опасаясь застрять в снегах и



порезать коней, на каждые сани был допущен груз не выше двадцати пяти пудов. Начальником обоза был ехавший в Москву новый управляющий екатеринбургского монетного двора Фрол Ипатьев, из рабочих местной гранильной фабрики, а конвоем командовал старый пугачевский соратник Шелудяков, теперь называвший себя «князем» и еще — неведомо почему — «адмиралом». Саней, везших только казенный груз, числилось в обозе 417, кроме того, 200 саней принадлежали простым обывателям да под конвоем шло сто двадцать саней. Считая возчиков, конвой и присоединившихся к каравану разных лиц, среди которых было много женщин, людской состав определился без малого в полторы тысячи человек. Маленький отряд белгородских казаков всего в пятнадцать человек с тремя взятыми под багаж и продовольствие почтовыми тройками сопровождал обоз. Все белгородцы были отлично вымуштрованы, а сивоусый сероглазый подхорунжий, хорунжий и войсковой старшина производили впечатление лихих рубак. Было только несколько странно видеть среди рядовых двух совсем белогубых подростков, из которых один больше смахивал на красивую девку, переряженную казаком. Белгородцы, люди общительные, охочие поболтать, посмеяться, пошутить, очень быстро заружились со своими товарищами по путешествию. Как выходцев с юга, их занимало все в незнакомой им обстановке, и они обо всем расспрашивали. Особенно их внимание привлекала партия человек в двадцать, в сопровождении конвоя. Это были арестованные Пороховщиковым в Екатеринбурге дворяне и бывшие чиновники магистрата и берг-коллегии, среди которых находился бывший директор екатеринбургской гранильной фабрики Иоганн Ульрих, саксонец, воспитанник фрейбургского горного училища.

— Так, задарма, тащим кабана немецкого с собой — пренебрежительно скашивая глаза в сторону саксонца, говорил Фрол Ипатьев. — Самой что ни есть вредной человек! Одно слово — немчур! Он за Катьку всегда горой стоял. Его бы давно пришить надо было, да, вишь, заступники нашлись! А он и храбрится, перец: ты ему слово, а он тебе — десять! И все каркает и каркает. Ваша, грит, собачья свадьба скоро капут, потому что, грит, у вас на чердаках заместо мозгов — глина! И ругается здорово! Так и чешет, так и кроет! Почище любого русского, пес!

— А вы бы в ответ его матерщиной обложили! — посоветовал, смеясь, Матюхов.

— Да у нас никто по-немецкому не может, — сокрушенно признался Ипатьев. — Только то и знаем, что, мол, «дыр тафилъ» да «фирфлюхтырь». Рази его, толстокожего, проймешь?

— Да неужто никто по-немецки так и не понимает? — полюбопытствовал Матюхов. — Что же вы за народец такой?

— А нюжли в вашей дыре, в Белгороде, лутче? — оскорбился Фрол.

— Лучше не лучше, а многие по-немецкому здорово чешут. А я так любого немца запарить могу! Побывавши в ихней Саксонии в плену наострился. Вот я вашего борова немецкого сейчас разделаю под орех!

Хохоча, он подъехал к саням, в которых лежали связанные арестанты и с грозным видом принялся выкрикивать что-то по-немецки. Окружающие улавливали только знакомые им слова «тейфелы» да «ферфлюхтера, но были довольны впечатлением, какое производили грозные выкрики Матюхова на немца. При первых же словах Матюхова Ульрих сначала побледнел, потом побагровел, глаза его выпучились, губы затряслись.

— Так его! Шпарь! — подзадоривал Матюхова Ипатьев. — Ишь, корежит его, катькиного прихвостня! Подопри, подопри ему бока! Ха-ха-ха!

Громко хохотали и другие, особенно когда немец на очередное ругательство Матюхова стал, задыхаясь, отвечать по-немецки и два или три раза тоже упомянул и «тейфель» и «ферфлюхтен». Матюхов два раза замахивался на Ульриха нагайкой, но потом отъехал,

заявив:

— Не стоит руки марать!

А немец после обмена ругательствами с дошлым белгородцем лег, закрылся с головой, долго плакал и почему-то шептал:

— Gott sei dank! Aber... aber, dot ist vunderbar!

Время от времени Матюхов слезал с коня и, присаживаясь к ехавшему в удобных санях Ипатьеву, угощал того хорошей водкой из походной фляжки. Порой к ним присоединялся и Шелудяков, который, нажив на сытых хлебах толстое брюхо, норовил как можно меньше оставаться в седле. Как-то сам собой разговор всегда сворачивал на общий ход дел. Шелудяков держался бодро, уверял, что все идет к лучшему, вот только бы зиму пережить, а там и совсем хорошо пойдет. Ипатьев довольно осторожно возражал ему, жаловался на беспорядки, на разруху, указывал на недовольство крестьян, упоминал, кстати, и о волнующих население слухах, что в самой Москве не все благополучно и что «анпиратору» никак не удастся сбить крепкую и послушную армию. Впрочем, он прошедшей переменной был в общем доволен и указывал причину своего довольства:

— Я кто был? — говорил он. — Не только что рабочий, значит, раб, и все такое, но и из рабочих-то чуть не распоследний! До седых волос дожил, а иначе как Фролкой никто не называл. А теперя я кто? Из истопников да отходников в дилехтуры попал! То, бывало, чтобы косушку раздобыть, последнее хоботье в кабак прешь, гол, как сокол, по морозу пляшешь, а теперя на мне шуба медвежья да с енотовым воротником! Да! Прислуги и себе десять человек взял! Так и выходит, что из последних да попал в первые и безо всякой науки. Как был неграмотный, так и остался. А которые пановали, так самыми распоследними изделались. А благодаря кого? Анпиратор изделал! Да я за него каждому горло перервать готов!

— То-то ты, Фролка, своего же брата, рабочего, теперя в бараний рог гнешь! — поддразнивал Ипатьева Шелудяков. — На смерть засекаешь, чуть что.

— А чего им в зубы глядеть? Стоят того, — и деру! На то они рабочие, одно слово — рабы... Я, брат, такой! Я никому потачки не дам! А наши рабочие — они каки таки люди есть? Одно слово, проломлены головы! Опять же вор на воре сидит да вором погоняет. Только не догляди, так они у тебя подметки срежут!

— А на тебе шуба-то медвежья чья? — осведомился насмешливо Шелудяков.

— Пал Прохорыча... Счетовода нашего!

— Дорого дал?

— Шесть аршин веревки да кусочек мыльца! — захохотал Ипатьев. — За супротивность анпиратору взял да и повесил. А шубу себе взял Мертвому разве шуба нужна?

— А люди бают, всей-то его супротивности и было, что он шубы тебе даром отдавать не хотел!

— А хоша бы так, рази грех? Ну, поносил он шубу, попользовался и будет с него. Теперя мой черед!

— Ой, смотри, Фролка! — шутливо предостерег его Шелудяков. — Изловит тебя Михельсонов, так он не только что тебя из шубы вытряхнет, да еще душу твою из тела вышибет!

— Очень я их боюсь?! — огрызнулся Ипатьев. — Михельсонов примерз в Перми, а Голицин в Оренбурге застрял. Да они на нас и напасть не посмеют! У наших возчиков кулаки — пуд не пуд, сорок фунтов тут! А их чуть не тыща. Да твое варначье... Да твои пушки! Пущай кто сунется — сам не рад будет.

— Пушки-то есть, да велика ль с них честь? — смеялся Шелудяков. — Тяжелы, проклятушие! По такому глубокому снегу их бы на полозьях волоком тащить, а не на колесном ходу. А мы из-за них как проклятые ползем. А случись что, как-то еще из них палить будем? Пушкар-то наши в белый свет, как в копейку, жарят. Воронье пугать здоровы. Еще в городе закурили, да должно быть на всю дорогу угару хватит. Два раза я их обыскивал — ничего нету, а отошел — пьют.

— Хитер наш брат, мастеровой! — обрадовался Ипатьев. — Ежели водки касаемо, так они самого черта околпачут!

Первые четыре дня путешествия не было никаких происшествий. Обоз, растянувшийся на огромное расстояние, медленно, туго, но все же двигался. Данный для его охраны конвой держался Шелудяковым в порядке, и все время, покуда обоз полз по сугробам, конники рыскали по сторонам, заезжали вперед, возвращались, а по ночам держали караул. По дороге попадались проезжие, опрос которых удостоверял, что крутом все обстоит благополучно. Некоторые из проезжих оповестили, что видели три отдельных отряда конников, направлявшихся на юг. По описанию это были белгородские казаки. Старшина Матюхов подтвердил предположение, заявив, что часть Белгородского казачьего полка выслана из Уфы на поиски башкир из-за слухов о появлении Мусы и его сторонников. В самом деле, утром пятого дня прискакал разъезд из пяти белгородцев, и командовавший этим патрулем молодой человек с красивыми усиками доложил Матюхову, что вся ближайшая местность обшаривается белгородцами в надежде изловить Мусу. Тот же патруль сообщил, что всего в нескольких верстах белгородцы вынуждены были оставить в овражке у переправы через степную речку Жагалку отбитый ими у шайки грабивших население башкир обоз с несколькими десятками бочонков спирта.

— Дюже жалко было! — расписывал докладчик, разводя руками. — То есть такой спирт, ну, чистый огонь!

— Пробовали пить, что ли? — засмеялся Матюхов.

— Оченно просто! Разбили нечаянно один бочонок, а от него дух... Ну, только тем и попользовались, командир погнал за башкирятами. Пришлось оставить. Не надеемся, что подобрать сумеем добро. А уж и крепок, а уж и духовит! Такая жалость!

Матюхов обратился к Шелудякову с вопросом: нельзя ли что сделать? Ведь и впрямь, добро пропадет. Лучше бы подобрать бочки да представить начальству. Можно награду получить.

— Какая там награда?! — вмешался Фрол Ипатьев — Приказные уворуют, вот и все. Ежели, скажем, самим попользоваться, то дело верное. У начальства водки и без того хватает.

— Я бы забрал, да... Да как бы наша сволота не перепилась! — заколебался Шелудяков.

— Ну, сволоте можно дать бочонок-другой да и будет с нее. А для охраны остального стражу выставим.

— Посмотрим, там видно будет, — ответил уклончиво Шелудяков, что-то соображая.

Уже начинало смеркаться, когда огромный обоз дополз, наконец, до берегов извилистой Шагалки. Выскочившие вперед конники легко нашли склад спирта в десятиведерных бочонках-пузанках. Склад охранялся тремя белгородскими казаками.

До ближайшего поселка, почти совершенно разрушенного при недавнем башкирском восстании, оставалось еще добрых двенадцать верст. Поэтому Ипатьев и Шелудяков решили остановиться на ночлег тут же, отправив часть конников за фуражом в ближайшие хутора по Шагалке. Как всегда, из саней был составлен круг, внутри которого разместились люди и кони. Из собранного по берегу сухого камыша развели много костров. Шелудяков великодушно уступил белгородцам два бочонка, пять отдал возчикам, а остальные забрал себе и отдал под охрану своих казаков и пушкарей.

Возчики мгновенно расхватили водку из пяти бочонков, и это только раззадорило жадность сильно переязбших людей. Белгородцы оказались сущими ротозеями и допустили, что шустрые пушкاري у них на глазах скрали два бочонка. Тут же в стане зашушукались:

— Белгородцы думали схитрить да зарыли в снегу еще то ли десять, то ли двадцать бочонков, а кто-то из них возьми да и проболтайся Прошке Штанкову, пушкарю, да Мишке Любавчику, казаку. А Прошка да Мишка других оповестили.

Любители выпить на даровщинку потянулись к открытому Прошкой и Мишкой месту. Так как нести спирт с собой в лагерь грозило встречей с Шелудяковым, то пили на месте, сколько могли, и старались выпить, как можно больше. Когда Шелудяков, тоже находившийся в сильном подпитии, обратил внимание на подозрительное шатание из стана в стан и нагрянул туда, где лежали припрятанные опростоволосившимися белгородцами бочонки, от их содержимого оставалось уже очень мало. Скорый на расправу Шелудяков собственноручно избил в кровь двух застигнутых на месте пушкарей, как раз опоздавших к дележу неожиданной добычи. А покуда он шумел и дрался, кто-то спрятал несколько бочонков и из охранявшегося стражей запаса. Шелудяков растерялся и махнул рукой.

О том, что произошло дальше, довольно подробно рассказывает в напечатанных в 1789 году в Риге «Воспоминаниях» бергмейстер Иоганн Ульрих.

«Когда нас вывезли из Екатеринбурга, все мы были в глубоком отчаянии. Единственный человек, который не терял бодрости и надежды, был наш уважаемый пастор, господин Карл Винтергальтер, почтенный старец и ученый теолог. Он всю дорогу утешал нас своими речами, в которых советовал верить в милость божью, и подавал нам пример своим презрением к тягостям зимнего пути.

Мятежники обращались с нами чрезвычайно грубо, проявляя невероятное жестокосердие. Многие из них забавлялись тем, что подходили к нашим саням, вытаскивали из-за голенищ кривые ножи и делали вид, что собираются нас резать. Злодей Шелудяков много раз грозил нас расстрелять, и когда мы ему говорили, что он за сие подвергнется ответственности, он смеялся и говорил: «Донесу, что вы подняли бунт и пытались бежать, почему мне и пришлось с вами покончить! Еще награду получу!»

Другой злодей, рабочий Фрол Ипатьев, руки которого были обагрены кровью многих невинных жертв, без всякого повода бил плетью семидесятилетнюю вдову екатеринбургского протопопа Анфису Успенскую, бил кулаками по лицу больного Арсеньева, человека достойного и всеми уважаемого, грозил всех перевешать и несколько раз изливал неудобоназываемую жидкость собственной фабрикации на сирот бывшего екатеринбургского вальдмейстера Шишкина.

Я персонально был так измучен всем пережитым за сии ужасные месяцы господства подлой черни, что мечтал о смерти как об избавлении, и посему проявлял дерзновение к нашим палачам, полагая, что грубостями своими выведу их из себя и они покончат со мной. Однако бог судил иначе. Случай сей весьма достопримечателен и поучителен, и я хочу сохранить память о нем для потомства.

Из Екатеринбурга с нами шли белгородские казаки. Их начальник, именовавший себя

старшиной Карпом Матюховым, на одном из перегонов подъехал к саням, на коих лежали мы с почтенным пастором, сделал зверское лицо, заскрежетал зубами, замахал нагайкой, а потом, к нашему несказанному удивлению, пересыпая свои слова грязной русской бранью, а также и скверными немецкими словами, прокричал нам на правильном немецком языке: «Сделайте испуганные лица и отвечайте мне ругательствами. Я не тот, за кого вы меня считаете. Ругайтесь же, черт бы вас побрал, а то меня заподозрят. Мужайтесь, час освобождения близок!.. Он еще раз замахнулся на меня нагайкой и отъехал. Глядя на сие, злодеи смеялись и благодарили его за то, что он якобы нас «ошпарил». Мы же воистину были в крайнем смущении. Мы желали верить его обещанию, но верить было весьма трудно! Даже полагая, что он и его товарищи белгородцы почему-либо хотели нам помочь, разве имелась для того возможность? Рядом были полторы тысячи мятежников. Белгородцев же, как мы сосчитали, едва набралось пятнадцать человек. Все случившееся представлялось нам неким сном, и мы много раз переспрашивали друг друга, не почудилось ли нам сие.

Так, переходя от надежды к отчаянию, мы прожили несколько дней. Лишь один раз упомянутый выше человек снова подъезжал к нашим саням и опять, будто осыпая нас проклятьями, подтвердил, что спасет нас.

Когда мы расположились станом на берегу реки Шагалки, мятежники обнаружили в камышах и в снегу много бочонков с водкой и предались пьянству. Наша стража из бывших рабочих подавала пример другим. Старшина Матюхов вел себя нарочито странно. Так, он избил нагайкой двух наших сторожей за недостаточно бдительный присмотр за нами, а потом притащил самого Шелудякова к нашим саням и настоял на усилении надзора за нами, на что Шелудяков ответил с превеликим раздражением: «Эти скоты все перепились Не мне же самому сторожить арестантов! Небось, не убегут!» — «Я пришлю своих людей сторожить их», — ответил Матюхов. И в самом деле, к нам были приставлены новые часовые из белгородских казаков, в том числе один женоподобный юноша. Нам казалось, что они обманывали доверие своего строгого начальника: раздобыв неведомо откуда водки, они щедро угощали наших едва державшихся на ногах сторожей. Женоподобный юноша, видимо, лишь притворявшийся пьяным, присел возле меня и шепнул: «Будьте спокойны. Не спите. Готовьтесь». По звуку голоса я понял, что это молодая женщина в мужской одежде.

После полуночи, когда весь захмелевший стан спал крепким сном, та же женщина и с ней казачок разрезали наши веревки, дали нам надеть тулупы и треухи и вывели из стана. Часовые не задержали: они были тоже белгородцы и участвовали в заговоре. Нас провели по глубокому снегу на другой берег реки и указали убежище в густых камышах. Там уже были несколько человек, освобожденных белгородцами раньше нас, и среди них до крайности испуганные бедные сиротки вальдмейстера Шишкина. Здесь же мы увидели пожилого офицера в полковничьем мундире, который сказал нам: «Я полковник, а ныне генерал Обернибесов. Мы пришли из Перми, и сейчас начнется расправа с мятежниками. Вам же бояться нечего: мы их собьем и погоним в другую сторону...

Глубоко взволнованные, мы пали на колени и стали молиться всевышнему, еще не веря в свое спасение. В это время раздался ужасный крик, подобный вою стаи голодных волков, загремели пушечные выстрелы и по льду мимо нас, подобно черным демонам с пиками наперевес, пробежали люди на лыжах. Через несколько мгновений в стане мятежников грянул взрыв. Как мы узнали после, был взорван зарядный ящик, стоявший у кибитки начальника нашего конвоя, злодея Шелудякова. Памятуя, что в лагере мятежников имеется значительная артиллерия, мы со страхом и трепетом ждали, когда она вступит в действие. Но когда пушки действительно заговорили, один из оставшихся при нас воинов Обернибесова сказал: «Кончено дело! Наши завладели пушками и обстреливают пугачевцев!»

Из нашего убежища в камышах нам почти ничего не было видно, тем более, что луна пряталась за тучами. Таким образом, мы могли лишь догадываться о том, что творилось в самом стане мятежников. Видели же мы, как люди скатывались с берега на лед и пытались

бежать в степь, отряды конницы настигали их и истребляли. Потом все смолкло. Внезапно где-то заиграли трубачи, исполняя марш Преображенского полка и раздалось громовое «ура!» Скоро наступил рассвет. Мы были спасены.

Нас отвезли в город Пермь. По дороге нас нагнал обоз с ранеными из армии знаменитого генерала Михельсона, и мы узнали ошеломившую нас новость, что в ночь, когда Обернибесов завладел «золотым караваном», главная армия генерала Михельсона внезапно вторглась в Екатеринбург и после недолгих и жестоких боев овладела городом».

В официальном докладе Военной коллегии, сделанном позже самим генералом Михельсоном, говорится следующее: «Пользуясь тем обстоятельством, что самозванец или, вернее сказать, военный министр Хлопуша оповестил власти Уфы и Екатеринбурга о предстоящем прибытии для подкрепления городских гарнизонов сформированного Белгородского казачьего полка, который сильно запоздал вследствие плохого конского состава и бескормицы, я коротким ударом у Гниловодской прорвал слабые линии мятежников и выбросил далеко на юг мою конницу с новой артиллерией и несколькими батальонами егерей на лыжах. В местностях, куда сии части проникли, они выдавали себя за белгородских казаков и московских егерей, присланных, якобы, для усмирения башкирского восстания и поимки Мусы. Партизан ротмистр Константин Левшин с помощниками Петром Кургановым и Юрием Лихачевым под видом белгородских казаков проник в Екатеринбург с подложным приказом о немедленном отправлении «золотого обоза», а по выходе обоза сопровождал его пять суток, покуда не подставил мятежников под удар дождавшегося в заранее избранной местности у реки Шагалки генерала Обернибесова. Ночное нападение на стан мятежников оказалось весьма удачным. С незначительными потерями в людях и в конском составе Обернибесов завладел станом у Шагалки, освободил заложников, которых везли в Уфу и в Москву, в том числе бергмейстера Ульриха и пастора Винтергальтера, и уничтожил скопище пугачевцев, выполняя приказ не обременять себя пленными. Единственное исключение было сделано для главарей мятежников в количестве девяти человек, кои были привезены в Пермь, судимы военно-полевым судом и повешены. Среди них были один из старейших соратников самозванца Шелудяков, именовавший себя «адмиралом», и бывший истопник гранильной фабрики в Екатеринбурге Фрол Ипатьев, именовавший себя «берг-мейстером» и директором монетного двора.

В это время я с моими главными силами прошел форсированным маршем к Екатеринбургу. Застигнуть врасплох гарнизон Екатеринбурга мне помешала одна из тех случайностей, кои трудно предусмотреть. Я говорю о непонятной измене и побеге дотоле доблестно и усердно выполнявшего свой долг гвардии сержанта из дворян Смоленской губернии Ивана Ракитина. Я был встречен артиллерийским огнем. Действиями артиллерии руководил пугачевский комендант Пороховщиков, закоренелый злодей, бежавший с каторги. Тут я в первый раз применил имевшиеся у меня в изобилии «шуваловки». Их несомненное преимущество перед тяжелыми и неповоротливыми пушками гарнизона сказалось прежде всего в том, что мы могли передвигать свои батареи с одной позиции на другую, едва неприятель успевал пристреляться, и тем избегали потерь. Появление высланных мной в обход города егерей на лыжах с несколькими «шуваловками», расположенными на простых деревенских розвальнях, вызвало в городе смятение. Тогда я пошел на приступ и ворвался в город. Мною была обещана награда в три тысячи рублей за Пороховщикова и в тысячу за изменника Ракитина, предупредившего пугачевцев о нашем приближении. К превеликому моему сожалению, Пороховщиков успел бежать, что же до упомянутого Ракитина, то он был найден застрелившимся. Здесь я приказал застигнутых с оружием в руках в плен не брать. Овладев городом, из числа поставленных самозванцем гражданских властей я признал заслуживающими снисхождения лишь тех, кои были вынуждены служить мятежникам против воли. Все же остальные были казнены. Отобрав из местных рабочих соответствующее число заложников, я приказал нагрузить сто саней трупами казненных и отправить их четырьмя обозами в ближайшие города Сибири, назначив в качестве возчиков екатеринбургских

рабочих. Им я поручил оповестить поставленные самозванцем власти о моей расправе с екатеринбургскими мятежниками и сообщить о скором моем прибытии. Вследствие моего поступка сторонники самозванца пришли в великое уныние, потеряли весь свой кураж и почти поголовно бежали вглубь Сибири. Смущение овладело и гнездившимися на уральских заводах мятежниками. Они стали разбегаться, не дожидаясь нападения с моей стороны. В короткое время, пути между Сибирью и остальной Россией оказались в моем распоряжении. Утвердившись от Вятки до Оренбурга, соединив под своим началом все находившиеся поблизости военные силы и восстановив повсюду законный порядок, я получил возможность произвести и другие операции, прежде всего овладеть Уфой. Здесь до меня в первый раз дошли слухи о великом и радостном событии в Ракшанах. Вскоре же было получено и подтверждение того, что казалось всем нам столь желанным, но и столь же маловероятным...

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

«Анпиратор» почти не выходил из дурного настроения. Он не на шутку струсил после пережитой в дни рождественских святок жестокой передряги, удержался от кутежей и довольно усердно занимался государственными делами, главным образом составлением новой армии. Его подозрительность разрасталась день ото дня. Сплошь и рядом он высказывал грубое и обидное недоверие даже самым близким к нему людям. Всех представителей семьи или, вернее сказать, целого племени Голобородек, он прямо возненавидел, и эта ненависть прорывалась на каждом шагу, так что даже сами Голобородьки начали посматривать вокруг себя с опаской. Отношение Пугачева к вернейшему из соратников Хлопуше тоже было крайне неровным. Он то осыпал «графа Панина» милостями, называл «милым дружкой», изливался перед ним в горьких жалобах на действительных и мнимых врагов, то начинал смотреть на варнака волчьим взглядом. Когда Хлопуша, который не отличался мягким нравом, начинал огрызаться, «анпиратор» говорил ему:

— А ты не ершись! Я, брат, сам ершистый. А что до твоей мне верности, то я, брат, так смотрю: все мне други да приятели до черного лишь денечка. А как беда нагрянет, все вы лыжи наострите. А сволота первой побегет. Я ее, сволоту, наскрозь вижу. Раньше дурак был, верил: стану, мол, мужицким царем да буду делать доброе дело, так сволота мне в ножки будет кланяться. Ну, а теперь знаю: только ослабею, так они, сиволдаи, всей стаей на меня накинутся да в клочья и изорвут. Москва многому научила, чего раньше не знал!

— Струсил ты, вот и все! — гундосил Хлопуша.

— И вовсе не струсил! А вот когда говорил с епутатами, ну, жалко стало: из-за чего такое? Ну, и прошибла меня слеза. Видите, говорю, детушки родные, до чего вы меня, своего анпиратора природного, довели? Плачу слезами горячими... А Елисеев, старикашка, пронзительный такой, одно слово — ехидна, и говорит: «Москва слезам не верит!» Верное его слово: Москва — каменное сердце. А у ей душа в мошне сидит. Мошна толста — душа довольна. Мошна пуста — душа вон. А еще лукава она, Москва-то. Раньше того видно не было, а теперь очень уж явственно. И плетет, и плетет Москва лукавая, и придумывает супротив меня сказки. Хлеб я велел даром бедным раздавать — «подлещивается, поддабривается, потому нас испугался!» Дров не хватает — «это он Москву выморозить хочет!» Казаков на Дон отпустил — «нас без защиты нарочно оставляет!» Вызвал казаков из белгородской провинции — «Ага! Опричников на Москву сгоняет, чтобы нас душили!» Тыфу ты, пропасть! Никак не угодишь, никак не потрафишь. А вся причина — дело плохо ладится... Тут еще лихо это самое, «черная смерть». Разе я в том причина? Поветрие — оно поветрие и

есть. Одно слово, ветер разносит незримо. Я тут при чем? Я что ли чуму эту треклятую придумал? Так я и сам ее страсть как боюсь! В драке помирать не боюсь, а от чумы страшно! А Москва шушукается: «чуму нарочно пускают, чтобы москвичей настоящих всех выморить, а на их место казаков да татар посадить, а то ляхов-латинян... Я, вишь, чуму сею! И скажут же такое?! А тут еще долгогривые грызутся, никак не поделются. Отдашь какую церкву тем, которы по старой вере, православные кулаки сучат, за дубинки берутся. Оставишь каку церкву православным, старoverы на дыбки: «Щепотникам да табашникам угождает!» Ах, ты, господи!

А потом что это, в сам-деле, за жисть такая? Сиди, твое царское величество, как барбоска али кудлатка какая в своей будке на чеши, а наружу носа не смей показывать, а то тебе еще и голову каменючкой прошибут аль ноту переломят.

— Тесно тебе, что ли? — удивился Хлопуша.

— И знамо, тесно! Ну, Кремль, ну, дворец, ну, все такое. А радости много ли? Та же тюрьма, острог казанский, только что малость побольше. А кругом — часовые. Вот и выходит, что лез в «анпираторы», а попал в колодники. А у меня от этого в грудях стеснение. Что такое? Я простор люблю. Я так: куды захотел, туды и полетел. Опять же у меня и сна-покою нету. Только задремлешь, чудится, быдто кто подкрадывается толи с ножичком, то ли с кистенечком. Только и заснешь, как водки наглотаешься. А взялся за чарку, вы же рожи строите! И вредно, и опасно, и не подобает, и то, и се, и тому подобное! А, ну вас в тартарары! Ушел бы от всего этого! Да куда уйтить-то?

— Привыкнешь!

— Что-то не привыкаю! Все скучнее да скучнее делается! Не показывается что-то мне жисть такая! Да вон и ты не очень-то весел ходишь, Хлопка!

Лицо Хлопуши потемнело. Пугачев лукаво подмигнул:

— Ай к весне дело идет, Хлопка?

— Что ж, что к весне? — удивился варнак.

— Енарал Кукушкин скоро сигнал давать почнет! Собирайтесь, мол, други верные, под зеленой шатер, на тихие зори, да на чистые воды, да на большие дороги!

— Ну, вот еще что придумал?! — с неудовольствием сказал Хлопуша. — Ай бродягой заделаться прикажешь? После енералиссимуса-то?!

— Нюжли во вкус вошел? — усомнился Пугачев. — Не похоже что-то!

И вдруг впился сверлящим взором в изуродованное, страшное лицо «генералиссимуса»:

— А то, может, и впрямь смерти моей ждешь?

— Зачем она мне понадобилась, смерть-то твоя? Опомнись!

— А есть которые и так бают: разлакомился, мол, безносый. Хочется, мол, ему не только в енаралах, но и в царях побывать!

Хлопуша обозлился и сердито загундосил:

— А ты мне скажи, кто сплетку такую плетет, так я ему и дохнуть не дам больше! Своими руками задуш!



— Кто бает? — притворно заколебался Пугачев. — Ищи округ себя. Твои же дружки да собутыльники. Самые к тебе близкие люди, вот кто плетет... Может, и впрямь под тебя кто подкапывается из зависти...

— А может, и сам ты вот тут, сейчас придумал! — прохрипел Хлопуша. — Поймать захотел! Да сорвалось! Не поймал!

Пугачев заулыбался и вымолвил, подмигивая:

— Двистительно... Может, и сам придумал! А ты не сердись! Ты в моей шкуре побывай, так и не такое придумывать станешь!

— А ты бы поменьше придумывал! А то и спятить не долго!

Глаза Пугачева тревожно забегали. Вздохнув, он глухо вымолвил:

— Я и то боюсь! Мерещится по ночам разное. Да все несуразное такое... Русявый один представляется. Мало ль кого пристукнуть привелось да ничего... А вот русявый этот да еще Харлова-маеорша с братишкой... А то Кармицкий еще. Придет, быдто, станет да и смотрит любопытно, высматривает, говорю... А сам подмигивает... Губами шевелит, а говорить не может!

— Она! — изумился Хлопуша. — Ну, русявого, скажем ты пришел. А Харлову с братишкой да Кармицкого не ты, а другой! Твоей вины нету! Пуцай к тем и лезут, которые их пришили!

— А они ко мне лезут, — жалобно признался «анпиратор». — Да хоть бы сказали, чего им нужно! Легче было бы. А то так: стоят да смотрят, да губами шевелют...

Он пугливо оглянулся. Хлопуша съежился и вобрал голову в плечи.

— Ну тебя! И на меня жуть нагнал! — признался он. — Мне, признаться, побитые не снятся, а вот Катька твоя, верно, мерещится. То ли во сне, то ли наяву.

— Катька? Царица бывшая? Тю!

— А ты не тюхай, а раньше послухай. Вот, говорю, снится мне гроб да огромнейший, и хоша он и закрытый, а видно наскрозь. Лежит в ем она, царица, да не мертвая, а так, быдто притворилась мертвой, а сама все видит. Ну, вот только я, значит, поближе, а она и приподымается из гроба. Да как посмотрит на меня! Да как сверкнет глазами! Н-ну, тут у меня и душа в пятки! А проснешься — весь в поту... Живая была — пронзительная и мертвая такая же...

— Ну, Катьки нам бояться нечего! Из гробу не вылезет, да и гроба-то не было: потопла. Рыбам да ракам корм...

— А Москва и по сю пору Катькиной смерти не больно верит, — заметил Хлопуша. — Я так полагаю, — продолжал он, — это она все тебе назло! А при Катьке — ей назло верила, что, мол, Петр жив да где-то скрывается!

В самом деле, в Москве все чаще и чаще всплывал слух о будто бы где-то появившейся императрице. Ее встретили в поле крестьянские ребятишки. Заговорила с ними, подарила им рублевик серебряный, а они по лику на той монете и опознали дарительницу. А то будто брел по лесу старый капрал и набрел на избушку а ли на шалаш, а в шалаше — она В простом одеянии, но он, капрал, сразу ее опознал. Да она и запираяться не стала, только приказала молчать. Ну, он жене сказал, а жена соседке... Пошли мужики в лес, а шалаш уж пустой стоит. Ушла! А то еще ехали с красным товаром офени, а она на перекрестке стоит, а на голове — царский венец... Видели ее и в самой Москве и даже возле Кремля. Молилась у Иверской.

Солдат один за приметил да хотел ее задержать: получу, мол, награду. Только он к ней, а она как сверкнула на него глазами, и на солдата будто столбняк напал.

Каждый раз, когда слух о появлении «Катки» доходил до «анпиратора», он начинал чувствовать себя хуже прежнего. За последнее время еще новое появилось. Стали поговаривать, что и разруха, и бунты, и голод, и «черная смерть» — все это, мол, кара божья. И будет народ несказанно страдать, покуда не вернется царица законная. Тогда все пойдёт на поправку.

По совету канцлера «анпиратор» однажды вызвал в Кремль «епутатов» от строптивного московского населения — их числе были также и прежние переговорщики — и стал объяснять им нелепость слухов о возможности возвращения императрицы.

— Померла она! Потопла!

— А кто видел, как она тонула? — ехидно спросил Елисеев.

— Матросы видели!

— А что же они не вытащили?

— Опять же, сколько времени прошло, а она не показывается! Значит, померла!

— Та-ак! А ты, твое царское величество, почитай, годов семь или восемь скрывался! И то вынырнул!

Удар попал не в бровь, а в глаз, и «анпиратор» растерялся.

— Я-то одно дело, а она вовсе другое! Я от моих врагов лютых скрывался, которые меня убить замыслили!

— Та-ак! А она, говорят, твоего графа Панина безносого испужалась, — с притворным сожалением заметил ехидный старикашка. — Очень уж, мол, на наказанного за душегубство варнака одного похож! Ну, известно, баба. Пужливая! Вот и спряталась, где ни на есть. А по времени объявится! Да ты на меня, бедного, не сердчай, твое величество, а то как бы из меня и дух вон тут же не вышел. А что хорошего будет? Опять скажут, что, мол, кто-то там в Кремле человека невинного зарезал!

Пугачев скрипел зубами и давал себе в сотый раз клятву при первом удобном случае расправиться с Елисеевым да и с прочими «епутатами». Да и со всей этой треклятой, лукавой и строптивной Москвой. А Москва жила только слухами, вся была во власти своих же собственных выдумок.

Смерть «от чахотки в грудях» Семена Мышкина-Мышецкого дала новую пищу болтовне. Стали говорить, что «анпиратор» намеревался подсунуть молодого князя народу, выдав его за наследника цесаревича Павла Петровича, да бог не допустил, послал «цесаревичу» преждевременную смерть. Когда Мышкина хоронили, было огромное стечение народа, и толпа держалась вызывающе, так что не обошлось и без столкновений с «городовыми казаками».

«Анпиратор» пожелал почтить похороны своим присутствием и шел за гробом пешком. Могила для Семена Мышкина была приготовлена в Девичьем монастыре. В то время, как гроб подносили на руках к могиле, какая-то молодая, бледная и худая черница протолкалась к гробу. Очутившись в двух шагах от Пугачева, она вдруг быстрым движением выхватила из рукава пистолет... Грянул выстрел. Следом другой. Первая пуля попала в цель: ударила в грудь чуть повыше сердца. Пугачев вскрикнул и свалился. Вторая пуля пролетела над его головой, когда он падал, и угодила в руку и в бок Хлопуше. Поднялось невообразимое

смятение. Упавший на снег «анпиратор» чуть не свалился в могилу. Подоспевшие Творогов и Юшка Голобородько кинулись поднимать «анпиратора» и в суете оба упали на него. Кто-то кричал: «Держи! Бей!» Люди бестолково металась среди могил. Черницу схватили, обшарили, сорвав с нее почти всю одежду. Прокопий Голобородько бил ее кулаком по белому, как мёл, лицу. Голова ее моталась из стороны в сторону. Из рассеченных губ и разбитых зубов шла кровь.

— Брось! — напустился на Прокопия канцлер. — Забьешь насмерть, а ее еще допросить надо!

— Убью! Убью! — рычал Голобородько, порываясь снова к чернице. Но его оттащили. Черницу крепко держали дюжие руки «енаралов» и «адмиралов».

Поднятый услужливыми придворными из снега «анпиратор» дрожащими руками ощупывал себя и бормотал:

— Нюжли жив? Вот так штука! Чуть было в могилу Сенькину не попал! Вот так штука!

— Ты ранен, государь? — приставал к нему бледный Юшка. — Дозволь посмотреть!

Пугачев сорвал с себя казакин. Что-то упало. Это была сплюснутая в лепешку пуля. Еще раз жизнь самозванца была спасена его крепкой стальной кольчугой. Раны не было, но был сильный и болезненный ушиб.

Оправившись от испуга, Пугачев пожелал посмотреть на покушавшуюся на его жизнь черницу. Ее приволокли к нему. Стоять она уже не могла. Из обезображенного рта вместе с кровью шла пена: она отравилась. Смерть избавила ее от мучений. Назначенное канцлером Мышкиным следствие выяснило, что черничку звали Агафьей и что она всего за неделю до происшествия пришла с торговым обозом из Казани. Многие указывало на ее принадлежность к дворянскому сословию: белое тело, нежные маленькие руки, хрупкие плечи. Других следов найти не удалось.

Покушение чернички сильно подействовало на «анпиратора». Он был потрясен и как-то осел. Вернувшись в кремлевский дворец, он все время бормотал:

— Это что же такое будет? Ежели даже девка там какая ни есть может на меня руку поднять и все такое... Последние времена, что ли, приходят?

Вызванный в Кремль доктор Шафонский после тщательного обследования нахмурился и сказал:

— Снаружи как будто ничего. Только синяк...

— Пустое дело! — приободрился Пугачев. — В первый раз, что ли, синяки получать? Не на рыле! Вот только саднит дюже! Желвак выскочил...

— Место скверное! — веско вымолвил врач. — Тут артерия, именуемая аортой, проходит... Как бы она не оказалась от толчка поврежденной.

— Жила такая, что ли? — испуганно спросил Пугачев. — И важная жила-то?

— Очень важная! С ней шутить не следует...

— Знала, стерва, куда трафить! Ну, и черничка! А сама яду приняла. Чорту баран! И не побоялась! А я ей что исделал? Чем обидел, говорю? Разе забил кого из сродственников, так она со злости...

Шафонский предписал «анпиратору» полный покой на несколько дней и воздержание от вина. Но едва он ушел, Пугачев потребовал водки и закурил на несколько дней.

Хлопуша тоже отделался счастливо: пуля сделала сквозную рану на левой руке, не зацепив кости, потом скользнула вдоль ребер и засела в мускулах груди. Ее пришлось вырезать. Обе раны были болезненными, но отнюдь не угрожающими жизни «генералиссимуса». Однако ему пришлось проваляться несколько дней, так как он ослабел от потери крови и от привязавшейся лихорадки. Впрочем, сам «генералиссимус» отзывался о ранах с пренебрежением:

— Ничего! Присохнет, как на собаке! У меня тело не барское, а мужицкое!

Несколько дней спустя после происшествия в Девичьем монастыре канцлер «анпиратора» князь Мышкин-Мышецкий навестил еще возившегося со своей раной на руке Хлопушу и, едва поздоровавшись с ним, сухо сказал:

— Ну, сиятельный граф и фельдмаршал, позвольте вас поздравить!

— С чем это? — насторожился Хлопуша, почуяв, что князь пришел не с добром. — Кабыть сегодня я не именинник!

— Вашему сиятельству предстоит в самом близком времени вплести новые лавры в венок славы российской армии! — напыщенно-насмешливо продолжал Мышкин.

— Не пойму что-то, — смутился Хлопуша. — А ты, ваше сиятельство, говори по-простецкому!

— Круль польский Станислав прислал ультиматум.

— Не пойму чтой-то...

— Ну, грозит войной!

— Та-ак! Давно грозит! Не очень мы его побоимся, ляшка этого! Да чего ему нужно еще?

— Требует уплаты денежной контрибуции в размере пяти миллионов рублей золотом, из коих половину немедленно, а остальное через полгода.

— Сдурел лях, что ли? За что мы еще ему платить должны? В наши же земли влез нахрапом да еще и плати ему! Дудки!

— Указанная сумма требуется в возмещение убытков, понесенных крулевством вследствие участия державы Российской в первом разделе Польши!

— А мы ее, Польшу, разве делили? Катька виновата да король прущкой, да австрийский цесарь. Ты ему, Станиславу, так и отпиши: мы, мол, ни при чем! Катька потопла, с нее взятки гладки. Пущай с других требует. Да у нас и денег нету!

Улыбнувшись кончиками губ, Мышкин продолжил сухо:

— В своей ноте круль Станислав пишет так: «За действия прежнего правительства всю ответственность возлагаем на нынешнее царское правительство, преемственно унаследовавшее от прежнего не только права государственных, но и обязанности».

— Вот-те на! — возмутился Хлопуша. — Катька напрокудила, а мы — отдувайся? С какой стати?!

— Спорить тут бесполезно. Требование предъявлено, и поляки от него не откажутся. Но этим дело не ограничится: до внесения всей суммы с процентами мы должны дать залог...

— Не Маринку ли брюхатую а ли Таньку в заложницы паны хотят? — ухмыльнулся Хлопуша

— Залог земельный, мы должны немедленно и без сопротивления отдать им всю Смоленскую провинцию, а кроме того, немедленно же вывести свои гарнизоны из всех украинских городов и навсегда отказаться от каких-либо прав на Белоруссию и Малороссию.

— А дальше? А ежели мы им, панам польским, по-казацки дулю покажем?

— А в случае отказа круль Станислав обещает прибегнуть к силе оружия, иначе говоря, грозит войной и обещает занять не только Смоленск, но и Москву. Да война собственно говоря уже и началась. Поляки сидели в Полоцке да Витебске, а за эти дни их армия вовсе приблизилась к Смоленску. Ежели мы не желаем увидеть уланов и в Москве, нельзя терять времени, надо гнать войска на защиту Смоленска!

— Значит, война? Н-ну, а «сам» что говорит?

— А «сам» сейчас не столько говорит, сколько мычит!

— Пьян?

— Как дым! С того дня, как Чугунов привез ему для утешения Таньку из Раздольного, ни разу он, кажется, в трезвом виде не был! Только от него и добился, что «наплевать»!

Хлопуша тревожно завопил, свирепо по-мужицки выругался и поднялся с угрожающим видом.

— Н-ну, я его вытрезвлю! Пойдем к нему, сиятельство! Разбаловался от джуге! Ему на все наплевать! Ишь, кака така цаца! Творогов... Трубецкой, то есть издеся? Идем, собьем сейчас государственный верховный совет. Пугнем самого-то! Я знаю, с какого боку к нему подойти! То есть, так-то вспарю!

— Боюсь, толку от этого вспаривания будет мало! Раскис «анпиратор» наш, словно медовый пряник от сырости.

— Подбодрим!

Какие меры Хлопуша принял, чтобы отрезвить уже неделю непросыхавшего Пугачева, трудно сказать, но во всяком случае часа полтора спустя, когда в одной из зал кремлевского дворца собрался на скорую руку созванный «Верховный тайный совет», «анпиратор» был в состоянии принять в совещании участие.

У него были мутные, налившиеся кровью глаза, синие губы, покрытый испариной лоб, и руки тряслись, как в лихорадке. Сидел он в своем кресле вразвалку, а когда ему приходилось говорить, то из уст его вырывался совершенно осиплый голос.

Вспоминая, каким ему пришлось впервые увидеть «анпиратора» немного больше года назад, князь Мышкин-Мышецкий невольно подумал, что тогда это был еще человек, пусть и сильно поживший, но все же бодро державшийся, живой, подвижный и отличавшийся умением быстро соображать. Теперь о прежнем «Петре Федорыче» осталось одно воспоминание, только его тень. Следы неудержимо быстрого разрушения замечались и на лице, и во всем теле. Когда-то стройное сухощавое тело степного поджарого волка — кости да стальные мускулы — за это время налилось нездоровым жиром. Пугачев нагулял брюхо не хуже готовой рассыпаться беременной молодки. Его стан согнулся. Ладони превратились в подушки, а пальцы с кривыми и неопрятными желтыми ногтями казались разбухшими. Большой сизый нос привычного пьяницы, весь изрезанный темными жилками, заметно скривился на сторону и как-то беспомощно повис над тронутыми сединой растрепанными усами. Под глазами вздулись словно наполненные водой серые мешки. Дряблые щеки,

изрезанные морщинами, тряслись при каждом движении, как налитые киселем пузыри. «Не надолго же тебя хватило, мужицкий царь! Скоро же ты сгорел, холоп!» — брезгливо подумал Мышкин, наблюдая вяло возившегося и сопевшего в кресле «анпиратора».

«Верховный тайный совет» сам собой зародился еще в первые дни пугачевского движения далеко от Москвы, там, в приуральских степях. Состоял он из неопределенного числа членов, ибо никакого статута или правил не было, а просто по мере надобности созывалось совещание из наиболее видных и влиятельных сторонников «Петра Федорыча», среди которых главная роль принадлежала всегда представителям «Пафнутьева согласия» в лице членов семьи Голобородько. Бывали времена, когда после сильных поражений «совет» имел всего пять-шесть членов. По мере успехов он разрастался, так как Пугачев вводил в него новых и новых членов из своих сподвижников. Там были люди из самых разных народностей: из башкир, киргизов, казанских и астраханских татар, уральских и донских казаков, из чувашей, черемисов и других инородцев, не говоря уже о великороссах и малороссах. Одно время в совещаниях принимали участие с правом голоса Чеслав Курч и Михал Пулавский, брат знаменитого конфедерата. Перешедшие на сторону Пугачева сержант Кармицкий и поручик Минеев долго играли там роль знатоков по военной части

Ко дню описываемого совещания из старых членов «Тайного совета» уцелели лишь немногие, например, Прокопий и Юшка Голобородьки, богатый яицкий казак Шилохвостов, сибиряк из «безпоповцев» Ядреных, князь Мышкин-Мышецкий Творогов и Хлопуша. А список погибших в боях, предательски убитых завистливыми товарищами, попавших в руки сторонников Екатерины или бежавших и пропавших без вести включал в себя по меньшей мере сотню имен, из которых история сохранила память лишь о десяти или двенадцати.

Когда Хлопуша привел с трудом переступавшего «анпиратора» и заседание было объявлено открытым, слово взял канцлер. Он очень кратко изложил положение дел. Представлялось это положение очень мрачным: кроме внутренних сложностей, грозила тяжелая война с Польшей. Надежды на то, что удастся против панов поднять польских холопов, пока что не оправдывались. Польская армия невелика, но хорошо вооружена и дисциплинирована. Руководит ее действиями очень способный боевой генерал Владислав Вишневецкий. У поляков, правда, мало артиллерии, зато имеется превосходная кавалерия.

— Били мы ляхов, где только ни попадало! В хвост и гриву дули! — хвастливо высказался Шилохвостов.

— Ну, положим, «мы» их не били! — оборвал его Хлопуша. — Катькины енаралы, те, двистительно, расчесывали им кудри.

Затем Хлопуша принялся излагать состояние военных сил, имеющихся в распоряжении «анпиратора», и по мере того, как он говорил, лица участников совещания светлели

— Так мы панов как воробьев, шапкой накроем! — облегченно вздохнув, заявил Ядреных. — Шутка сказать, кака сила у его величества?! Двести тыщ!

Хлопушу передернуло. Посмотрев исподлобья на начетчика, он буркнул:

— А ты бы помалкивал! Что ты понимаешь?

Затем он стал рисовать обратную сторону дела:

— В Перми сидит Михельсонов, в Оренбурге — Голицын, в Питере — господа сенаторы, которые могут когда-нибудь и сговориться. На Украине крутит и вертит проклятый Полуботок. По донесениям из Киева, у Полуботка большие замыслы: собирается сам в «анпираторы» пролезть. Но хуже всего то, что и сам народ ненадежен, всюду бунты, восстания. В Саратовской провинции опять объявился новый самозванец, беглый дворовой из кучеров,

Акимка Лядовский, который таскает с собой такого же самозванца «цесаревича», Тишку-поповича. В Моршанске крепко угнездился другой «цесаревич», Юрка, бывший чернец. Да перечтешь ли всех? Одного уберешь, другой выскакивает. Мутят черный народ сбивают с толку солдаты. Везде и всюду приходится держать сильные отряды.

— Да поляков-то много ли? — спросил Шилохвостов. — Сам говоришь, и двадцати тыщ не будет! Ну, пошлем против них тыщ... тыщ сорок. Как шарахнем!

— Не ты ли шарахнешь? — покривился Хлопуша. — Храбер что-то стал! Позабыл, как тебе под Васищевым Голицын чесу дал. А было у тебя шесть тыщ, а у него, у Голицына, двести егерей да эскадрон драгунов.

— Так что ж с того, что у меня шесть-семь тыщ было! — возразил запальчиво Шилохвостов, — Солдат настоящих много ль у меня было? Как кот наплакал! А прочее — сволота сплошная!

— А с кем супротив ляхов пойдешь? С той же сволотой! Сунься-ка! Попробуй!

— Ты енарал-фельдмаршал! Ты и должен вести армею! — вмешался Ядреных, у которого давно были свои счеты с Хлопушей.

— По-настоящему, сам его царское величество должен бы супротив врагов подняться, — слащавым голосом высказал свое мнение новый московский старообрядческий архиерей Никифор.

Пугачев тупо посмотрел на него, икнул, потом осведомился

— А Москву на кого оставить? Давно она, Москва, бунтовала? Я-то пойду, мне что! Наплевать! А только я за ворота, тут же какой-нибудь Елисеев опять воду замутит!

Он стал горячиться, почти кричал:

— Да и с кем идти-то? Игде солдаты настоящие? Игде офицерами брать? Борька Минеев правильно говорил: без офицеров, как без рук! А у нас кто в офицерах ходил? А почнешь отдавать сиволдаев под начальство казакам, они на дыбки становятся! Опять же у ляхов конница. Бывал я в Польше, видел ихних уланов! Ничего особенного, но, между прочим, супротив уланов нужно настоящих кавалеристов выставлять. Башкирята да киргизы не очень годятся. Наши гусары да драгуны — ну, так. А сколько их у нас?

— Может, откупимся как ни есть? — не то спросил, не то предложил Никифор.

— Надо откупаться, ничего не поделаешь! — прозвучали за ним голоса Прокопия и Юшки.

— Кабыть зазорно откупаться-то?! — нерешительно заявил «анпиратор» — От ляхов да вдруг...

— Деньгами откупаться? — осведомился канцлер.

— Известно... Ну, вот придет «золотой обоз» из Екатеринбурга, — заплатим, сколько там полагается

— Ничего не выйдет! — сухо заметил Мышкин. — Хоть и все то золото отдадим Вишневному, ничего не выйдет, потому что не хватит покрыть и половину контрибуции!

— А он остальное подождет!

— А он, ожидая остального, Смоленск займет! В его грамоте так и сказано: Смоленск должен

быть сдан в обеспечение уплаты, независимо от той части, которая не может быть внесена немедленно. Значит, одной тысячи не хватит — сдавай Смоленск!

Участники совещания стали смущенно переглядываться. Кто-то' буркнул насчет польской жадности. Пугачев тревожно завозился и засопел.

— А ежели мы им Смоленск отдадим? — робко спросил Ядреных.

— А ты знаешь, сколько верстов будет от Смоленска до Москвы? — ответил вопросом на вопрос Хлопуша.

— Ньюжи так близко? Ах ты, господи! Вот дела...

Сразу все загалдели, набросились на притихшего «анпиратора». Кричали возбужденно:

— Ты что же молчишь? Царство, можно сказать, пропадает, а тебе и горя нету? Кто царь? Ты, поди, и Москву ляхам сдать не откажешься? Что тебе Москва?! Тебе была бы Танька под боком, а на столе водка, так ты и пальцем не двинешь.

«Анпиратор» хмуро и вяло оглядывался вокруг, словно все это его не касалось, и облизывал потрескавшиеся губы.

— До тебя Россию все боялись! — с негодованием заявил Никифор. — Баба на троне сидела, а кто Россию хоть пальцем тронуть смел? Никто!

— Ну, — уставился на старообрядческого архиерея Пугачев.

— Зачем на престол садиться, ежели сидеть не умеешь?

— Ну? Еще что? — трясась мелкой дрожью, переспросил Пугачев.

— Что еще? А зачем править державою брался, когда...

Никифор не договорил. Вскочивший кошкой «анпиратор» одним ударом распушей, как подушка, но еще сильной руки, сбил его с ног и начал бешено топтать. Поднялось смятение. Спокойным оставался один князь Мышкин. Отойдя в сторону, к окну, он со злой улыбкой глядел на бестолково метавшуюся и галдевшую толпу новых царедворцев.

Юшке и Прокопию удалось оттащить Пугачева от лежавшего на полу и жалобно стонавшего архиерея. Но когда они попытались усадить «анпиратора» в кресло, Пугачев вырвался из их рук, отбросив их от себя.

— Сволота! — крикнул он хрипло на продолжавших галдеть сановников. — Псы смердящие! Арапником бы вас!

Он, повернувшись, быстрыми шагами вышел из зала.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

После ухода «анпиратора» члены Верховного тайного совета были так ошеломлены и так растеряны, что сперва решались переговариваться только шепотом. Потом кто-то обратился к канцлеру с вопросом: как же быть? Мышкин пожал плечами и посоветовал спросить «генерал-фельдмаршала», то есть Хлопушу. Хлопуша решил:



— Совещание продолжать, а «самого» пока что оставить в покое. Его Танька успокоит... Ну, а потом надоть будет доложить.

Совещание, очень затянувшееся, постановило: не давать покуда ответа на требования поляков, немедленно отправить на защиту Смоленска и близлежащих земель как можно больше солдат и казаков и в первую очередь беспокойные полки московского гарнизона. Гарнизон заменить народным ополчением, отдав это ополчение под начальство офицеров из новой гвардии, то есть из людей, указанных «графом Паниным». Объявить новый набор по два человека с сотни, а для привода их отрядить городских казаков. Потихоньку от волнующегося населения подвести к Москве башкирскую и киргизскую конницу. Для закупки продовольствия и оружия с припасами: во-первых, обложить усиленным налогом всех торговцев, а, во-вторых, отобрать в провинции у монастырей и богатых храмов золотые и серебряные вещи, не трогая Москвы. Обратиться к населению с грамотой, в которой указать на опасное положение государства и на необходимость отдать все для его защиты. Немедленно забрать в армию всех мало-мальски способных носить оружие уцелевших дворян, купеческих сыновей и поповичей в возрасте от семнадцати лет. Пригрозить смертной казнью за неявку в семидневный срок по начальству бывших солдат регулярной армии. Составлять из обывателей воинские отряды и разослать их искать и задерживать беглых солдат. Поставить под ружье всех бывших гайдуков, кучеров и конюхов, записать в конницу. Отобрать у населения все огнестрельное и холодное оружие. Созывать дружины добровольцев, принимая в них и женщин. Собрать рабочих и заставить их лить пушки и снаряды. Отобрать у мужиков полушубки и валенки, а также лишних лошадей. За покупки для казны расплачиваться впредь не наличными деньгами, а «квитками» или расписками. Забирать бродяг и сдавать их военной коллегии.

Предложения сыпались, как из рога изобилия, и принимались, не встречая возражения. Канцлер молча записывал постановления. Когда эта работа была закончена, Хлопуша понес лист в спальню «анпирато-ра» и через минуту вернулся: Пугачев, который так и не удосужился выучиться подписываться, приложил свою именную печать.

Забирая этот исторический документ, Мышкин спросил:

— А что «сам» сказал, прикладывая печать?

Хлопуша насмешливо прогундосил:

— Теперя на все... наплевать!

Когда зал заседаний опустел, канцлер подозвал к столу угрюмо шатавшегося из угла в угол Хлопушу и глухим голосом спросил:

— Ну, а новости-то ты знаешь ли?

— Слышал! Гришку Орлова сенаторы в какие-то дехтатуры выбрали в Питере. Ну, это ни к чему!

— Знаешь, да не все! Во-первых, вовсе не сенаторы его выбрали, а он сам себя выбрал! Прижал сенаторов и... Словом, теперя в Питере с болтовней покончено. Я Орлова знаю. Да не в нем одном сила! А суть-то в том, что за ним пошла вся уцелевшая императорская гвардия. Присягу приняла гвардия.

— А пущай их! Много-ль набезит?

— Не знаю! Во всяком случае, столько, что ежели Орлов поведет своих солдат на Москву, нам будет плохо.

Хлопуша что-то невнятно проворчал.

— Это еще не все, — продолжал ровным голосом канцлер. — Из Уфы что тебе пишут?

— Из Уфы? Из Уфы вчера от Мельникова доклад был: Михельсонов, мол, из Перми ушел на Вятку! Туды ему и дорога! Струсил, немец!

— Не очень струсил! — сухо улыбнулся Мышкин. — Ну, из Перми-то он, правда, вышел. Только не на Вятку...

— А куда же? — затревожился Хлопуша. — Ньюжли...

— Покуда вы тут галдели, мне из канцелярии принесли цидулку: гонцы пришли из Уфы. Наш «золотой обоз» — ау!

— Что? Что такое? — вскочил Хлопуша, сидевший, развалясь, в анпираторском кресле.

— Весь обоз попал в руки михельсоновскому полковнику Обернибесову. В Уфе боятся: очень похоже, что Михельсон и Уфу заберет. Наши уже оттуда улепетьвают. Связи с Сибирью прерваны. Пятый день почта наша не приходит, а слух идет, что Голицин из Оренбурга выскочил...

— Да что же это такое? — заметался испуганно Хлопуша. — Нам без открытой дороги на Сибирь — как!

— Подожди! Это не все! Самое главное я на закуску припас!

Мышкин подошел к Хлопуше, в первый раз в жизни положил ему белую холеную руку на плечо и четко выговорил:

— А Екатерина-то и взаправду воскресла! Слышишь? Воскресла! И находится среди верных людей. У нее есть уже целая армия. Да какая армия! Не из пьяной сволоты и не из башкирят да киргизов. Императорская армия! Слышишь? И ведут эту армию не «ахвицеры» из голытьбы, из рвани кабацкой и не генералы из колодников осторожных да каторжников сибирских, а генералы настоящие. Понял?

Голос Мышкина был так серьезен, что несмотря на почти полную невозможность принять на веру сообщаемое, Хлопуша ни на минуту, ни на миг не усомнился. Он не понял, а скорее почуял, что это правда, страшная правда.

— Та-ак! — растерянно прошептал он, гундося. — Ну, как же теперя? Мы-то как? Что, говорю, нам теперя делать?

Складывая бумаги в свою кожаную сумку, Мышкин после некоторого молчания ответил насмешливо:

— Музыкантам пора складывать свои дудки, забирать шапки и... наостривать лыжи.

— Ньюжли... уходить?

— Уходить? Не-ет! Не уходить, а убегать, сиятельный граф!

— Ай надумал бежать куда? Поймают!

Мышкин показал Хлопуше массивный перстень с отливавшим в красное плоским камнем.

— Видишь? Ну вот... Когда понадобится, я скovyрну этот камень да и загляну внутрь...

— Ну? — любопытствовал Хлопуша, пугливо поглядывая на таинственный перстень.

— А лежит под камешком лепешечка. А имя ей смерть!

— Яд, значит? — догадался Хлопуша. — Та-ак! Ну, а мне себя убивать неохота! Что такое? С какой стати?

— Правильно! — насмешливо одобрил Мышкин. — В самом деле, с какой стати тебе травиться или вешаться, когда и так о твоей смерти Ванька-кат позаботится в свое время!

Он взял сумку подмышку и спокойным, размеренным шагом направился к своим апартаментам.

— Стой, стой, князь! — задержал его встревоженный Хлопуша. — Ты пока что не разглашай всего!

— Чего это? — спросил Мышкин.

— Ну, и насчет обоза, и насчет Сибири, и насчет того... того самого... Ну, что, значит, царица-то вынырнула где-то.

Мышкин пожал плечами.

— Я разглашать не стану, — сказал он. — Не мое дело болтать. Я вот и тут ничего никому не сказал, кроме тебя. Думал «самому» только доложить, да...

— Он, пес, все одно ничего сейчас не поймет! — злобно прогундосил Хлопуша. — Едва отсюда выскочил, сейчас же два стакана водки заглотнул да к Таньке. Кобель проклятый!

— Выражайся почтительнее о твоём законном императоре и помазаннике!

Хлопуша вскипел:

— Анпиратор? Сукин сын он, сволочь, а не анпиратор! Помазанник? Только его, пса шелудивого, и мазали, что благословенным кулаком по окаянному рылу за пьянство да воровство! С роду был в Емельках да на старости лет в Петры выскочил! Много теперь таких-то гуляет! Их всех, как собак, и не перевешаешь! По нынешним временам я и сам мог бы в Петры Федорычи выскочить, кабы у меня нос был правильный! Еще каким бы анпиратором оказался! Ого!

— Поздно! Бал кончен, — как бы про себя вымолвил Мышкин. — А шила в мешке не утаишь. Из Уфы люди бегут во все стороны, разносят весть. Я и то дивлюсь, как Москва еще не трезвонит. Да и то, другое... про императрицу не я один знаю. Завтра или послезавтра все заговорят...

— Н-ну, быть завирухе! — раздраженно пробормотал Хлопуша. Он принялся чесать пятерней затылок с таким ожесточением, что, казалось, собирался содрать с него всю кожу.

Однако в одном отношении Мышкин-Мышецкий ошибся. Ни на следующий день, ни в течение ближайших Москва не трезвонила о событиях на востоке и о появлении словно и впрямь из гроба вставшей императрицы Екатерины. Ползли только какие-то темные слухи насчет армии Румянцева, будто бы уже подошедшей к Киеву, но на эти слухи никто не обращал большого внимания. Москве было не до того: ее ошеломил целый град вестей, куда ближе касавшихся ее населения, но крайней мере теперь. Утром по городу был расклеен новый царский указ, в нарочито сбивчивых выражениях извещавший народ о грозящих опасностях, о небывалом наборе по два человека со ста, о необходимости «жертвовать всем достоянием», что было понято в буквальном смысле, и о том, что «заложим жен и детей», — это тоже было понято в

прямом смысле, хотя и не было указано, кому и на каких именно условиях сдавать закладываемых жен и детей. Разнесся слух о том, что в Троице-Сергиевой лавре уже отбираются даже ризы с чтимых икон. И змеєю пошла молва, что все принимавшие участие в рождественском восстании солдаты и горожане посылаются на защиту Смоленска, и делается это вовсе не по необходимости, а чтобы очистить столицу от русских и сдать ее «злым татаровьям да сыроядцам башкирам, да персюкам», которым, будто бы, «анпиратор» тайно продал Белокаменную. Москва загудела. Первыми зашевелились многочисленные старообрядцы, почувствовавшие себя Кровно оскорбленными обидой, которую «анпиратор» учинил чтимому староверами старцу, архиерею Никифору, избив его и сломав ему два ребра.

Однако Москва долго раскачивается. Она любит сначала пришипиться, притаиться, оглядеться по сторонам, сообразить, как и что, и ждет. Чего — и сама не знает. Крика выскочившего из кабака без шапки с разбитой харей пропойцы, топота копыт закусившей удила лошади, звона кем-то разбитого стекла или удара в колокол в соседнем храме К тому же на Москву в эти дни удручающе действовало следующее обстоятельство: с наступлением не по времени теплой погодой чрезвычайно усилилась смертность от чумы.

В день умирали до трехсот человек. Разъезжавшие с огромными розвальнями по городу «мортусы» крючьями вытаскивали из зачумленных домов трупы, а иногда и еще живых людей. Появились шайки наряжавшихся «городовыми казаками» и теми же «мортусами» грабителей, покойников зарщать не успевали, на кладбищах образовывались завалы из страшных покойников, а одичавшие голодные собаки набрасывались на эти брошенные трупы. Между прочим, чума убила недавнюю любовницу «анпиратора», плаксивую Маринку. Весть о ее смерти облетела весь город, но дала повод москвичам заявить, что «тут Дело нечисто! Жила; да жила девка, а как только «сам» обзавелся новой полюбовницей, чернявой Танькой, да кабыть еще и из цыганок, а может, и колдовкой, тут Маринке и конец пришел! Известно, постылой изделалась! Ну, и сплывили на тот свет!»

Как на грех в день похорон злополучной Маринки пьяному «анпиратору» пришла в голову мысль потешить полюбившуюся ему Таньку Чугунову катанием на тройках, и для прогулки были выбраны самые людные места Белокаменной.

Два или три десятка саней из конюшен придворного ведомства с лихими конями выехали поездом из Кремля. Сбруя была с бубенцами и колокольцами, на дугах, оглоблях и гривах лошадей были цветные пучки веявших по ветру шелковых лент... Сама смуглая Танька, сидевшая рядом с пьяным «анпиратором», была в дорогой парчовой шубке, отороченной соболями. Шубка эта была раздобыта в кладовой кремлевского дворца и раньше принадлежала большой щеголихе, императрице Елизавете Петровне. Но у москвичей сейчас нашлось иное объяснение. «Приказал «сам»-то пьяной своей шлюхе, цыганке неверной, шубейку сшить из риз покойного патриарха Андреяна, что при Петре жил! Ловко! Из ризы да шубейку! До чего дожили?! Народушка с голоду пухнет, от чумы мрет, а его анпиратор вон как штучки выкидывает! Радуетесь! Вот так царь! Ну-ну!»

Саннный поезд покатался по притихшей и сердито насупившейся Москве часа три, потом вернулся в Кремль. По дороге Танька, заливаясь смехом, бросала прохожим пригоршни медной и серебряной монеты.

В сумерки Кремль был иллюминирован площадками и с Красной площади пускались ракеты. Немного позже, не предупредив Хлопушу, пьяный Пугачев отдал приказ: сделать двадцать один выстрел из пушек. Выстрелы, понятно, были холостые, но пушечная пальба в неурочное время взбудоражила весь город. Понесся порожденный догадкой слух: из пушек палят в честь того, что «анпиратор» только что заставил попов Успенского собора повенчать его с Танькой, то-то они и раскатывали седни по городу на тройках, свадебный поезд, значит, был, н-ну, дела!

... А на рассвете взбунтовался Бутырский полк, получивший вечером приказ выступить к Смоленску. Бунт быстро перекинулся на другие полки, и к полудню снова началась пушечная стрельба, но уже не холостыми а настоящими зарядами: оставшаяся верной «анпиратору» артиллерия, подойдя к казармам Бутырского полка в Хамовниках, принялась обстреливать их. На выручку бутырцев пришла состоявшая при них конная батарея и стала отвечать выстрелами. Казармы загорелись. Зловещее зарево огромного пожара озарило весь город Москва загудела, как потревоженный улей.

На первых порах «анпиратор» проявил дикую рьяность и большую отвагу. Но как только разнеслась весть о начавшемся военном бунте, он отрезвел и словно помолодел. Покинув перепуганную Таньку на попечение ее родственника Питирима Чугунова, он сам стал во главе верных ему частей и, тряхнув стариной, показал, что в бою, во всяком случае, он кое-чего стоил. На этот раз он не обращался к буйным москвичам с увещеваниями и обещаниями и не называл их «дорогими детушками», а расправлялся беспощадно и круто. «Это все ехидного старикашки, поганого Елисеева да Панфилки Томилина штуки! Ну, хорошо же, друга мои милые! Я вам покажу кузькину мать!»

Отправив артиллерию под начальством Творогова громить бутырцев в Хамовниках и поручив Юшке охранять Кремль, Пугачев с сильным отрядом пехоты и кавалерии принялся сам расправляться с поднявшимся людом. Сторонники «анпиратора», получившие от него перед выступлением водки и по три рубля на человека, не давали пощады москвичам. Железной рукой «анпиратор» удерживал своих от грабежа, боясь, что принявшись грабить, они могут рассыпаться и тогда будут задавлены восставшими.

— Поработайте, ребята! — говорил он им. — Весь город потом отдам вам на шарап на целую неделю. Добра тут еще много. Только теперь поудержитесь!

Бои шли с переменным успехом два дня. К концу второго дня перевес явно был на стороне залившего Москву кровью и завалившего все улицы и площади трупами «анпиратора». Бутырский полк был вырезан почти поголовно. Многие из прежних «переговорщиков» и «епутатов» попали в руки «анпиратора» и были тут же повешены на воротах. Однако «ехидному старичишке» Елисееву и Панфилу Томилину повезло: им удалось где-то спрятаться и спастись от неминуемой гибели. Вынырнули они позже и опять в роли «епутатов» от московского населения, когда это население торжественно встречало за Дорогомилловской заставой хлебом и солью подходившего к Белокаменной со своим авангардом графа Григория Орлова.

Но мы забегаем далеко вперед.

Итак к концу второго дня победа стала склоняться на сторону «анпиратора». Испуганное население разгромленной Москвы принялось разбегаться по всем дорогам.

Утром следующего дня обыватели, оставшиеся еще в столице, к своему несказанному удивлению услышали ошеломившую их весть: вскоре после полуночи в Кремле поднялись суматоха, и незадолго до рассвета сам «анпиратор» в сопровождении Хлопуши, Творогова, Шилохвостова, Ядреных, Юшки и Прокопия Голобородек и многих других своих приближенных выбрался тайком из Кремля и покинул столицу. С ним ушли все казаки, «хлопушинская гвардия» и значительная часть артиллерии. Убегая, «анпиратор» взял с собой обоз, почти весь груз которого сплошь состоял из награбленных в Москве драгоценностей. В Кремле остался небольшой гарнизон, главным образом из местных московских уроженцев, под командованием расстриженного дьякона Николая Флерова. По-видимому, воинственный расстрига намеревался защищать Кремль. Однако около полудня он был застрелен одним из солдат своей команды. Гарнизон выслал своих представителей для мирных переговоров с восставшими москвичами.

Что же заставило Пугачева так внезапно бежать из столицы?

Ответ на это мы находим в показаниях, данных впоследствии доктором Шафонским Особой Комиссии на допросе. Шафонский заявил: «Случаи смерти от чумы, столь многочисленные среди населения Москвы, происходили и в пределах Кремля, но тщательно скрывались от самозванца. Трупы умерших в Кремле или предавались погребению, или до времени складывались в разных подвалах. Из лиц, приближенных к самозванцу, от чумы умерло в разное время несколько человек, но оберегавшие его Хлопуша, Творогов, Юшка и Прокопий Голобородьки не доводили сие до сведения, а обманывали его ложным утверждением, будто люди куда-либо уехали. Делать сие не представляло труда, поскольку самозванец пил почти без просыпу и никуда не показывался, проводя большую часть времени в своей спальне с одной или двумя наложницами. Ко времени февральского восстания в Кремле за ночь умирало человек до двадцати, и здесь уже начиналось жестокое смущение. Скрывать и дальше происходящее от самозванца было уже невозможно. По моему настоянию бывший при самозванце как бы канцлером Мышкин-Мышецкий, человек образованный и острого ума, собирався предупредить мятежника о происходящем, но откладывал со дня на день. В ночь на 26 февраля Творогов, видимо, весьма испуганный, вломился в отведенную мне при дворце квартиру и, едва дав мне одеться, потащил меня в апартаменты, где проживал величайший злодей всех времен и народов, дерзновенно объявивший себя Императором Всероссийским. Когда я пришел туда с упомянутым Твороговым, Пугачев, который от испуга еле держался на ногах и казался почти обезумевшим, спросил меня, что такое с лежавшей в двухспальной постели полунагой женщиной, бывшей без сознания. Осторожно осмотрев женщину и обнаружив на ее теле распухшие железы и красные пятна, я ответил, что по всей вероятности женщина больна чумой. Тогда он, испугавшись еще больше, спросил, не передастся ли ужасная и неизлечимая болезнь и ему, принимая во внимание, что он с шести часов вечера и до моего прихода спал с больной на одной постели и даже имел с ней плотские сношения, не обратив внимания на ее жалобы, что она уже третий день чувствует боли в паху и подмышками. Я счел необходимым ответить, что считаю и его зараженным чумой, и добавил, что чума давно забралась в Кремль. Тогда он упал на пол, выл, ползал по полу, клал со слезами поклоны перед иконами, бил себя в грудь, потом вскочил и закричал: «Лошадей! Бежим! Часу здесь не останусь!» Тут же, при мне, мятежник, называвший себя Мышкиным-Мышецким, уговаривал самозванного императора, указывая ему на опасные последствия его бегства из столицы: «Москву потеряешь — все потеряешь! — говорил он. — И все одно не спасешься!.. Однако злодей затыкал себе уши и ничего не хотел слушать. Он выбежал из опочивальни, где лежала женщина, и около часа простоял на крыльце, ожидая, когда подадут сани. Весть о его отъезде разнеслась по дворцу, и там водворилось общее смятение. Мятежники наскоро грабили помещение, унося все ценное. Моя квартира, также как и квартира лже-канцлера, подверглась ограблению. Однако самозванец запретил своим приближенным брать тяжелую поклажу, и многие вещи были тут же на дворе выброшены из саней. Около четырех часов утра сам злодей со всеми своими приближенными выехал из Кремля. Тогда началось бегство и других кремлевских обитателей. Оставленная на произвол судьбы злодеями женщина, придя в сознание, утром выползла из спальни. Я хотел оказать ей по долгу христианина помощь, но один из бродивших по дворцу пьяных солдат добил ее выстрелом в нижнюю часть живота и ударами штыком в грудь, а потом снял с зараженного трупа алмазное ожерелье. Утром общее смятение еще усилилось, и многие были убиты. После полудня стража растворила ворота и пустила в Кремль москвичей. Бывшие в Кремле и пришедшие из города люди братались и, целуя друг друга, возглашали: «Наконец-то мы избавились от злодейского господства! Теперь все будет хорошо!»

Однако надежды их не оправдались. По воле господней ужасное поветрие продолжало губить население еще несколько недель, а шайки разбойников творили всякие злодеяния. Настоящий порядок был восстановлен только с приходом в Москву великого государственного мужа Его Сиятельства графа Григория Орлова. Общее число жертв от поветрия и от жестокой гражданской распри определить трудно, ибо никто не заботился об

этом. По моему мнению, вымерло свыше двадцати тысяч, а убитых было не меньше десяти тысяч. Кроме того, многие покинули добровольно злосчастный город. Целые улицы обезлюдели. Я много размышлял по этому поводу, и исходя из Священного Писания, полагаю, что наказание сие справедливое, посланное господом всему нашему народу за его жестокость и буйное возмущение против законной власти».

\* \* \*

Нам надлежало бы следовать за «анпиратором» в его скитаниях, затянувшихся, как отмечено Историей, до 14 сентября того же года, то есть свыше семи месяцев, и закончившихся в Яицком городке. Но раньше, чем говорить об этом, не мешает рассказать о событиях, разыгравшихся еще в самом начале того страшного года в маленьком городке Ракшаны, в пределах Молдаво-Валашского господарства.

Зима того года, необычайно суровая и многоснежная в Великороссии и северной части Малороссии, была отменно теплой за Днестром и за Прутом. В области Бухареста за всю зиму снег выпал только три или четыре раза, но не удержался из-за тотчас наступившей оттепели и дождей. Тучная почва этого края превратилась в подобие губки, напитанной до отказа водой. Местность же близ городка Ракшаны, по дороге от Бухареста на Яссы еще с осени уподобилась огромному болоту. В этой местности, получившей позже от русских прозвище Гнилое поле, была расквартирована некогда великая и грозная, прославившая себя блестящими подвигами в Турции Российская армия или, вернее сказать, то, что от этой армии уцелело.

Мы знаем, что вслед за гибелью императорской яхты «Славянка» в Финском заливе и известием о воцарении в Москве Пугачева армия Румянцева была вынуждена покинуть занимаемые ею после победоносной войны болгарские пределы из опасения подвергнуться полному уничтожению. Левашов в своей книге «Жизнеописание фельдмаршала Румянцева» говорит, что «вялость и нерешительность, проявленные Румянцевым в горестный период жизни российской армии, дают большие основания к суровой критике». Суждение это едва ли справедливо, и вот почему, едва до армии донеслись слухи о смерти Екатерины и совершившемся перевороте, вся армия зашаталась. Ее кавалерия, почти сплошь состоявшая из казаков, разложилась с поразительной быстротой. Затем разложение перекинулось и на полки, составленные из уроженцев Малороссии. Началось дезертирство, с которым справиться не было никакой возможности. Так, например, в одну ночь ушли в полном составе из Джумайи два казачьих полка — Уразовский и Мерефинский, а с ними и первый батальон Старобельского пехотного полка, причем уразовцы и мерефинцы ушли со всеми почти офицерами, кроме старших командиров, а старобельцы сместили офицеров, обезоружили их и оставили под караулом из нанятых болгар. Попытки Румянцева справиться с начавшимся разложением армии суровыми мерами натолкнулись на упорное нежелание солдат драться со своими же. Только Фанагорийский полк, на диво вымуштрованный Суворовым и слепо ему повиновавшийся, на первых порах исполнял приказания главного командования и выдержал несколько кровопролитных схваток с поддавшимися разложению и стремившимися уйти на родину частями. Но и этот полк после подавления открытого восстания в Лебединском егерском полку перестал быть надежным. Армия таяла с ужасающей быстротой. В это время зашевелились приободрившиеся турки. Положение сделалось отчаянным. Тогда Румянцева, согласно с постановлением военного совета, ради спасения хотя бы части рассыпавшейся армии решил увести ее с турецкой территории. Мы знаем, что план его, Потемкина и Суворова был таков; покинув Турцию и Молдаво-Валахию, двинуть армию через Малороссию на Москву, а если понадобится, то и на Петербург. Трудно сказать, что вышло бы из этого смелого плана, но в дело вмешалась опозорившая себя подлейшим коварством Австрия:

едва русская армия, перейдя Дунай, втянулась на территорию нынешней Румынии, австрийцы оккупировали Молдаво-Валахию своими войсками, мобилизованными еще весной. Главнокомандующий австро-венгерской армии эрцгерцог Иоганн-Альбрехт позволил себе обратиться к Румянцеву с требованием полного разоружения русской армии и отправления ее «до выяснения обстоятельств» на положении военнопленных в Венгрию, на что последовал резкий ответ: «Что касается оружия, то придите и попробуйте его у нас взять. Что касается размещения в Венгрии, то надеемся, что в скором времени мы там побываем, но с оружием!»

Несмотря на то, что в распоряжении эрцгерцога была свежая и отлично вооруженная армия, превышавшая русскую в пять раз, Иоганн-Альбрехт на применение силы не решился. Однако наша армия все-таки застряла в Молдаво-Валахии. Застряла вследствие того, что и оставшиеся под знаменами солдаты отказались идти в Россию, как только стало известно, что Украина отделилась, что там имеется «Великий гетман» в лице Павла Полуботка и что украинцы состоят в союзе с «Петром Федорычем», а «катериновцев» вырезают. Тем временем наступила гнилая зима и передвижение сделалось почти невозможным, потому что земля превратилась в подобие киселя. С трудом добравшаяся до Ракшан армия загрузла. В довершение беды фельдмаршал Румянцев сильно заболел, по-видимому, брюшным тифом в тяжелой форме, а по-тогдашнему «гнилой горячкой», и на время превратился в инвалида. Потемкин, раненый в бок и в ногу при солдатском бунте, тоже выбыл из строя. Командование перешло к Суворову, хотя при армии были генералы выше его по чину. На назначении главнокомандующим Суворова настояли сами солдаты.

Положение армии было отчаянным во всех отношениях. Гнилая зима принесла с собой разные заболевания. Продовольствие добывалось с трудом. Австрийцы и прибывшие с Украины посланцы Полуботка мучили и подбивали солдат и даже офицеров перейти на службу к «Великому гетману». Возле Ясс стояли в полной боевой готовности два австро-венгерских корпуса, загораживая дорогу на север. В Бухаресте находились главные силы Иоганна-Альбрехта. На берегу близкого Прута вытянулись цепью их пехотные и кавалерийские дивизии. Сравнительно свободными оставались только пути через Карпаты на Трансильванию. Но о прорыве туда нечего было, конечно, и думать. Настроение среди солдат было убийственное. Офицерство тосковало, и многие, не выдержав, прибегали к самоубийству. Суворов, оказавшийся в невыносимом для него положении начальника армии, которая повинуетя только условно, в чужом краю, без надежды на возможность скоро выбраться, и как раз в то время, когда в России совершалось нечто невообразимое, когда в Москве заседал «анпиратор» из беглых казаков и орудовали «енаралы» и «менистры» из колодников и кабацкой рвани, — Суворов сходил с ума от тоски и вынужденного бездействия. Одно время он задумал подбить преданных ему фанагорийцев, сумских драгун, Лебединских егерей, несколько батарей гвардейской конной артиллерии и с этими ничтожными силами попытаться прорваться за Прут. А там будет видно. Но этот его план не нашел сочувствия именно среди фанагорийцев, откровенно заявивших: «Будь жива государыня али наследник Пал Петрович, али кто еще из старого царского дому, мы бы все пошли. А то за кого же идти-то?»

Любимый ординарец Суворова и его родственник С. Петрушевский, оставивший ценные записки «Черты из жизни генералиссимуса А. Суворова» (Москва, Университетская типография, 1802 год), отмечает: «И до нашего пребывания на Гнилом поле Александр Васильевич отличался некоторыми странностями, заставлявшими многих говорить, что он любит показывать себя большим оригиналом или попросту чудаком. Но после горестного события, когда великий воитель чуть не пал жертвой гнусного покушения на его жизнь со стороны предателя Ивана Димитраша, пытавшегося отравить нашего славного вождя, странности стали проявляться резче. Мне приходилось беседовать по этому поводу с лечившим Александра Васильевича французским медиком, господином Анри Курселлем, человеком знающим и достойным, и он неоднократно говаривал, что поднесенный Иудой



Димитрашем яд произвел глубокое сотрясение во всем теле будущего генералиссимуса и не мог не отразиться и на его душевном состоянии. Сие мнение разделяется и многими близкими покойного героя и благожелательно к нему относившимися лицами».

По-видимому, на проект Суворова прорваться за Прут даже его близкие смотрели, как на причуду не вполне здорового человека.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

В конце зимы в Молдаво-Валахию с севера пришла новая волна холода. Лед сковал крепкой броней реки, озера и болота. Выпал и толстым слоем залег снег. Установился отличный санный путь. В Ракшаны каждый день стали приходить бог весть и какими путями пробиравшиеся из Малороссии беглецы, согнанные с насиженных мест разгулявшейся и в южной России пугачевщиной, гайдаматчиной, атаманщиной, полуботковщиной, общим развалом и общими страданиями. Сюда, в этот богатый край, живущий сонной жизнью, измученных людей тянула и надежда найти спасение от бешеного разгула всяческой «сволоты», почуявшей, что ее праздник, и еще больше — слух о том, что здесь уцелела пусть и попавшая в тиски, пусть и прилипшая к чужой земле, но все же русская, вернее сказать, российская армия. Среди прибывавших в Ракшаны, против всяких ожиданий, оказывались, и притом в весьма значительном количестве, люди, которые всего несколько месяцев тому назад участвовали здесь же в солдатских бунтах, дезертировали и стремились стать под знамена «мужицкого царя, настоящего анпиратора». Едва попав туда, где этот «анпиратор» и его соратники расправлялись с несчастной страной, едва испытав сладость жизни под начальством пугачевских воевод и судей из бывших колодников, они теряли всякий вкус к новым порядкам и при первой возможности бежали к молдаванам. Особенно много таких беженцев набралось на территории между Прутом и Днестром.

Занимавшие Молдаво-Валахию австрийцы в общем не мешали приходу из России и только вяло пытались препятствовать общению беженцев с армией Суворова. Отдельные группы осевших в Бессарабии беженцев неоднократно присылали в Ракшаны своих выборных заявить Суворову, что если только он, Суворов, решился бы пойти «бить Полуботка» или «бить бунтарей да варнаков», то с ним пойдут поголовно все способные носить оружие. Вовсю работала еврейская «пантофельная почта», которая всегда отличалась своим изумительным свойством приносить вести не только о том, что уже было, но и о том, что только собирается быть. Так, например, о бунте в Москве с участием Бутырского полка эта «пантофельная почта» сообщила за два или три дня до самого бунта. Теперь она упорно предвещала близость ухода «анпиратора» из Москвы и твердила, что больше полугода ему не удержаться.

Та же «пантофельная почта» самым настойчивым образом твердила; «Народ устал от разрухи. Пугачевская армия расплзается, как ком гнилой слизи. Если бы только Суворов пришел в Россию, дело было бы скоро кончено».

Вот об этом и думал, в бездействии и тоске, сам Суворов, сидя в Ракшанах.

До прихода русской армии Ракшаны были ничтожной городишкой с тремя тысячами обитателей. Разместить всю сорокатысячную армию в убогих молдавских хатах не было возможности. Рядом с городишкой вырос огромный военный лагерь из палаток, шалашей и землянок. Суворов сначала обитал в своей походной палатке, но когда вследствие болезни Румянцева и Потемкина ему пришлось принять на себя командование, обстоятельства вынудили его бросить тесную палатку и занять довольно обширный дом какого-то местного богача. В этом доме разместился и главный штаб армии. Суворов довольствовался

просторной, но убранной с обычной для него простотой горницей, окна которой выходили в сад. С ним неотлучно находился Прошка, исполнявший обязанности денщика, повара, камердинера, эконома и министра финансов.

С тех пор, как Суворов стал главнокомандующим, а в лагере при Ракшанах оказалось много беженцев, в скромный кабинет генерала в утренние часы часто шли просители, среди которых было немало женщин. Поэтому Суворов ничуть не удивился, когда как-то утром толкшийся в сенцах Прошка вошел в кабинет и ворчливо заявил:

— Там какая-то мадама пришла. Должно из прогоревших барынь. И с сыном. Поди, на бедность клянчить станут. Так вы уж того... У самих, почитай, ничего нету!

— Не учи, не учи! Сам знаю! Ну, зови! Да только предупреди, что, мол, генерал очень занят!  
— отозвался, поморщившись, Суворов, который вообще побаивался женщин, а барынь-просительниц не мог выносить за их обычную бестолковость и склонность пустословить.

Ворча под нос, что «и меня учить тоже нечего! Я свое дело справляю!», Прошка вышел в сенцы и буркнул:

— Входите, что ли!

Вошли двое: женщина средних лет и небольшого роста, казавшаяся толстой вследствие обилия теплой одежды, и молодой человек, на голову выше своей спутницы. Желая избавиться от предполагаемых просителей как можно скорее, Суворов не предложил им сесть, и стоя у письменного стола, заваленного бумагами, лишь искоса взглянул на пришедших и довольно сухо осведомился, что им угодно.

Женщина, словно не слыша его вопроса, принялась разматывать покрасневшими от холода руками теплый пуховый платок, скрывавший ее лицо почти целиком. Под платком оказалась сильно потертая круглая котиковая шапочка. Женщина сняла и ее. У нее было полное лицо, еще сохранившее многое от былой красоты, высокий лоб, прямой нос с горбинкой, тонко очерченные губы, красивые брови, полная, чуть рыхлая шея и высокая грудь. Сопровождавший ее молодой человек не был схож с ней лицом, но вместе с тем что-то роднило их. Когда они стояли рядом, было ясно, что это мать и сын.

Суворова привела в досаду эта нелепая бабья возня с раздеванием. Зачем все это? Что они, в гости, что ли? По делу! Ну, сказывали бы, в чем это дело и вся недолга! Он нетерпеливо повернулся к окну...

— Что же это, Александр Васильич? Или уж я так постарела и подурнела, что меня и узнать нельзя? — раздался звучный женский голос, в котором чуть сквозила насмешка и слышался легкий немецкий акцент.

При первых же звуках этого голоса, Суворов выпрямился. У него перехватило дыхание. Он впился взором в лицо пришедшей и некоторое время, широко раскрыв глаза, смотрел, не отрываясь. Женщина улыбалась.

— Прошка! — завопил неисктовым голосом Суворов. — Прошка! Воды! Ледяной воды! Лей, подлец, мне на голову! Сейчас лей!

— А, может, обойдемся и без ледяной воды, Александр Васильич? — улыбаясь, спросила посетительница, приближаясь к столу. — Неужто же я, в самом деле похожа на призрак?

— Матушка! Государыня! — пробормотал Суворов, схватывая протянутую ему. — Великая императрица!

Вбежавший в кабинет Прошка метнулся, было, в прихожую, должно быть с намерением заорать там, что «императрица пожаловала», но спутник Екатерины — наследник цесаревич Павел Петрович — загородил ему дорогу.

— Прошка! Стул! Кресло! Диван! Три дивана! — заметался Суворов по комнате, хватаясь за голову. — Обед тащи! Водки тащи!

Императрица, смеясь, остановила его:

— Это не меня ли, генерал, собираетесь водочкой потчевать?

— Себя! Себя, матушка! — отвечал Суворов.

Он опять заметался по комнате, не в силах справиться с волнением.

— Спаслась! Жива, здорова, матушка! Да как же так? Да где же государыня изволила скрываться все это время?

По усталому лицу императрицы прошла тень.

— Не я скрывалась, Александр Васильич! — вымолвила она. — Не моя воля была! Проще сказать, сама я и вместе со мной Павел — мы попали то ли в плен, то ли в рабство. Были во власти одного человека, в котором я склонна видеть просто безумца. Он подобрал нас в море, на обломке от «Славянки», спас от смерти. За это многое простится ему. Но он завез нас в чужие края. Может быть у него были какие-то особенные планы или это была большая фантазия вечно пьяного и грубого моряка — Бог его знает! Но его уже нет на этом свете, а мы... Мы и живы, и свободны! Нам пришлось бесконечно много вытерпеть, потому что мы, опасаясь попасть в руки врагов России, не смели сказать, кто мы, и были вынуждены скрываться. Только добравшись до Дубровника, мы нашли помощь со стороны одного тамошнего обывателя и смогли продолжать путь. Трудно было, но бог помог...

А теперь, Александр Васильевич, не думая о прошлом, надо подумать о будущем! Надо рассудить, что мы должны предпринять для спасения России... Да и самих себя!

\* \* \*

В упомянутом в предшествующей главе сочинении Петрушевского, очевидца и непосредственного участника Ракшанского события, содержится интересный рассказ, наиболее важные части которого мы здесь приводим.

«Мы знали, — пишет Петрушевский в XIII главе своей книги, — что утром к генералу прибыли какие-то гости, для помещения которых Суворов приказал очистить две удобные комнаты рядом со своим кабинетом, но мало кто проявил по сему поводу любопытство. Явившись к Александру Васильевичу с докладом по делу о вызове на поединок князем Василием Куракиным, поручиком 2-го егерского полка, его непосредственного начальника, капитана Черемухина, я заметил только, что генерал находился в крайней агитации, но приписал себе его болезненному состоянию. Выслушивать мой доклад генерал отказался, заявив, что теперь не до таких пустяков, и сейчас же засадил меня за работу в канцелярии, где этим делом уже были заняты многие другие мои товарищи. Это был приказ по войскам; немедленно опросить и переписать всех офицеров, сержантов и капралов, а также и рядовых, кои когда-либо имели случай лицезреть близко Ее Императорское Величество и наследника цесаревича, и посему, увидев снова, могли бы безошибочно признать их. К каждому из офицеров, сержантов, капралов и рядовых приставить ассистентов по два

человека, отобрав их преимущественно из верных старослуживых. Всем им явиться завтра утром, в десятом часу, на площадь к жилищу главнокомандующего и там ждать дальнейших распоряжений. Вторым приказом предписывалось оцепить весь лагерь часовыми, проверяя посты каждые два часа. Впредь до нового распоряжения никого и ни под каким предлогом за пределы лагеря и города Ракшаны не выпускать, а при попытке тайного ухода — стрелять. В случае приезда австрийских офицеров или комиссаров, отсылать их, объявив, что в лагере обнаружилось заболевание, подобное чуме, и потому временно установлен карантин. Простых граждан опрашивать и в случае необходимости пропускать в Ракшаны, предупреждая, что раньше десяти или двенадцати дней обратно их не выпустят. Выпускать из лагеря только имеющих пропуска. Пароль «Россия», ответ «спасение».

«Работа по выяснению и сбору лиц, могущих признать государыню и наследника цесаревича, оказалась нелегкой, и мы затратили на нее весь этот день. Всех отобранных вместе с приставленными к ним ассистентами оказалось до четырех сот шестидесяти человек. На следующий день генерал Суворов произвел им смотр на базарной площади перед помещением главного командования, потом они были впущены в дом по двенадцать-пятнадцать человек. Я лично вместе с князем Василием Куракиным, находившимся под следствием за вызов на дуэль начальника, вошли в состав третьей очереди. Когда нас впустили в зал, где прежде помещалась генеральная канцелярия, мы словно окаменели. На выросшем за ночь помосте, обитом сукном, под балдахином сидела в кресле Ее Величество государыня императрица Екатерина Алексеевна, а по правую руку рядом с ней стоял наследник цесаревич Павел Петрович. Слева от государыни стояли привезенный ночью из больницы генералиссимус Румянцев и Григорий Александрович Потемкин, почти оправившийся от ран, но вынужденный опираться на костыль.

— Узнаете ли меня, дети? — спрашивала нас государыня. — Как видите, я жива, я пришла к вам. Я зову вас спасать и освобождать Россию!

Ни в ком из нас не родилось даже тени сомнения в том, что это была наша законная государыня. Тут же три полковых священника привели нас к новой присяге на верность государыне и законам Российской империи. Принявшие присягу выводились на площадь и выстраивались в ряды. На другом конце площади тем временем собирались войска с оружием и знаменами. Все недоумевали по этому поводу. Особые патрули из офицеров наблюдали, чтобы уже принявшие присягу не входили в общение с остальными. Общее любопытство достигало высшего напряжения. Люди волновались и спрашивали у своих офицеров, что сие означает. В одиннадцать часов с четвертью со двора выехала на белом коне государыня, а рядом с ней ехал цесаревич. За ними следовали верхами генерал Суворов и другие генералы. Румянцева и Потемкина несли на креслах. На государыне был генеральский мундир Преображенского полка, а на наследнике — генеральский мундир Семеновского полка. Государыня, подъехав к нам, салютовала саблей, мы ответили громовым «Виват!» К нам подошли вызванные знаменщики всех входивших в нашу армию частей и по команде Суворова склонили перед государыней знамена. После этого государыня направилась вдоль линии выстроенных на площади полков. Возле каждого полка генерал Суворов громким голосом говорил:

— Воины российские! Вот ваша законная государыня императрица Екатерина, дивно спасаемая от гибели божьей волей. В том свидетельствую моей совестью и честью воинской, по долгу святой присяги! Ваши однополчане, выдавшие государыню ранее, подтвердят вам, что это истина. Ее императорскому величеству виват!

Ежели мне придется прожить и до ста лет, то никогда не изгладится из моей памяти сия счастливая картина. Перо мое бессильно описать волнение и радость, охватившие всех. Офицерам стоило немало труда удержать людей в рядах, ибо все хотели лично приветствовать словно из гроба вставшую государыню. Почти все плакали, но то были радостные слезы. Чувствовалось, что с этого незабываемого мгновения начнется дело

спасения погибающей родины и дело восстановления чести российской. По настоянию самих солдат тут же армия приняла новую присягу, а после состоялся парад в присутствии императрицы и цесаревича и угощение рядовых и унтер-офицеров. Штаб и обер-офицеры были приглашены на обед в дом главнокомандующего в несколько очередей, ибо в скромном помещении не могло вместиться одновременно более ста человек. Крайняя скудость яств с избытком возмещалась великой радостью, царившей среди собравшихся. До поздней ночи гремела музыка.

С утра следующего дня закипели приготовления к походу на Россию. Предприятие казалось отчаянно дерзким, но с нами была государыня, а вел нас генерал Суворов, и мы свято верили в успех...

Военные историки, рассказывая об «отчаянно дерзком предприятии», иногда высказывают убеждение, что Венское правительство было решительно обо всем осведомлено и просто отдало приказ эрцгерцогу Иоганну-Альбрехту не мешать переходу нашей армии на русскую территорию. Майор Векслер утверждает, что эрцгерцог даже оказал Суворову, правда, негласно, полное содействие, и в доказательство приводит неопровержимый факт снабжения русской армии значительным количеством съестных припасов и медикаментов. Упоминается и о том, что с появлением государыни в Ракшанах совпал ряд перемещений австрийской оккупационной армии, главные части которой заметно отодвинулись от Ракшан.

Однако все эти обстоятельства находят себе и другое, куда более заслуживающее уважения объяснение: австрийцы испугались чумной эпидемии, будто бы вспыхнувшей в русской армии, и вместе устремились возможности осуществления угрозы Суворова приступить к реквизиции продовольствия и медикаментов вне ракшанского района, не останавливаясь перед применением силы. Вполне вероятно, что опасаясь распространения эпидемии реквизиционными отрядами, они предпочли снабдить Суворова медикаментами и продовольствием и одновременно отодвинуться подальше от опасного соседства обреченной, как им казалось, на гибель армии.

Тот же Векслер усматривает «политику» в том обстоятельстве, что береговая линия Прута охранялась весьма слабо, да к тому же исключительно такими войсковыми частями, которые состояли из славян, главным образом, сербов и хорватов.

Однако и в такую хитроумную «политику» верится плохо. Скорее всего, Иоганн-Альбрехт не верил в возможность для русских перейти через Прут, оставшийся свободным ото льда почти всю зиму, и в распоряжении Суворова не было вовсе средств для переправы. Как показала действительность, расчет эрцгерцога оказался ошибочным. Прут замерз, а австрийские славянские части, охранявшие берег Прута, в полном составе присоединились к русским, как только к ним придвинулись внезапно суворовские богатыри и как только появилась императрица Екатерина. Когда же Суворов оказался за Прутом и в Бессарабии у него стала присоединяться масса беженцев, Иоганн-Альбрехт не рискнул преследовать русскую армию. К тому же внимание Вены отвлек острый спор с неугомонным Фридрихом Великим из-за пограничных счетов. Так или иначе, армия Суворова совершенно беспрепятственно прошла Бессарабию, переправилась через Днестр и от Днестра пошла сформированным маршем на север, быстро разрастаясь на пути. Всполошившиеся сторонники Полуботки попытались загородить москалям дорогу на Киев, направив против Суворова десятитысячный корпус «сердюков», «синежупанных гайдамаков» и «сечевиков» под командованием кошевого Кармелюка. «Сердюки» и «гайдамаки» рассыпались при первых выстрелах артиллерии, которой руководил один из великих артиллеристов мира, фельдмаршал Румянцев. Запорожцы, пытавшиеся сопротивляться и засевшие в наскоро поставленном таборе за валами с двумя десятками «гармат», были разгромлены в какой-нибудь час и оказались вынужденными просить у сердитого москаля пощады. Уцелевшие были отпущены в их коренное убежище на Хортице, с предупреждением, что Хортица должна впредь сидеть смирно.

Положение гетмана Полуботка, и раньше далеко не легкое, теперь стало очень тяжелым. Он еще раз попытался выбить из Киева тамошний русский гарнизон и снова был отбит. А с юга шел страшный Суворов.

Именно в эти дни, когда звезда «Великого гетмана» явно закатывалась, до Москвы дошла весть о выходе русской армии из Молдаво-Валахии и о ее движении на Киев. Одновременно Москва узнала и о том, что в Петербурге появился, наконец, «дехтатор», то есть диктатор в лице Григория Орлова.

Чтобы покончить с этим периодом, следует сказать несколько слов и о «петербургском действе», снова выдвинувшем, правда, на короткое время, на арену государственной деятельности Орлова.

Больше полугода Петербург находился в состоянии временного паралича. Ответственность за этот паралич, если не всецело, то в весьма значительной степени ложится на петербургскую и укрывшуюся в Петербурге родовую и чиновную аристократию.

Надо заметить, что мысль о необходимости отдать власть в руки одного лица, снабдив это лицо диктаторскими полномочиями, родилась тут же вслед за катастрофой со «Славянкой» и исчезновением императрицы и наследника. Особенно эта мысль распространилась среди офицеров и части солдат, где выдвинули такое решение: «Ежели нет хозяина, то пока что нужен хоть управляющий. Пускай такой управляющий действует по своему разумению, с тем, чтобы после дать отчет хозяину. А ежели правителей будет много, то толку не быть: каждый в свою сторону тянуть будет».

Однако против этой вполне разумной мысли восстали «господа сенаторы» и по каким-то непонятным соображениям — высшее духовенство. Митрополиты петербургский Михаил и московский Савва, вскоре, впрочем, умерший, упорно твердили, что выбирать надо сразу царя, а не его заместителя, а то может статься, что заместитель, войдя во вкус правления, после помешает выборам настоящего царя. Родовитая аристократия разбилась на несколько партий, выдвигавших собственных соискателей на освободившийся престол. Особенно сильны были сторонники князя Владимира Долгорукого. Но в противовес этому имени менее родовитыми дворянами были выдвинуты иные имена: Юрия Белосельского-Белозерского, молодого Ивана Нарышкина, престарелого Андрея Звенигородского и другие. Сенаторы, ссылаясь на законы, изданные еще первым Российским императором, стремились поставить нового императора из своей среды и сделать зависимым от Сената. В свою очередь и титулованное дворянство добивалось ограничения прав монарха в пользу Совета Десяти, членами которого должны быть пожизненно с правом наследования представители от нескольких знатнейших семей: Долгоруких, Трубецких, Гагариных, Волконских, Голицыных и так далее.

Граф Орлов, сыгравший в свое время большую роль при возведении на престол Екатерины, в то лето, когда произошла катастрофа со «Славянкой», находился за границей, где лечился на водах, изумляя немцев роскошным окружением и царской щедростью. Когда он, встревоженный появившимися в разных германских «курантах» вестями о гибели императрицы и о взятии Москвы ордами самозванца, покинул целебные воды и добрался морем, через Данциг, до Петербурга, его встретили неприязненно и сенаторы, и представители древних родов: для первых он был опасен как влиятельное в армии, особенно в гвардии, лицо, а вторые смотрели на него, как на выскочку, лишь волей капризного случая попавшего в первые ряды сановников империи. Если Григорий Орлов и мог рассчитывать еще на кого-то, кроме офицерства, то почти исключительно на новую титулованную аристократию, для которой он был своим человеком. Однако эта аристократия, застигнутая бурными событиями, а, главное, потерявшая точку опоры в лице носителя короны, оказалась куда слабее своих противников. На протяжении многих месяцев Петербург с его ближайшими провинциями, то есть единственная часть русской земли, еще сохранившая и некоторые силы

и, главное, самую мысль государственности, истощал свои силы в борьбе партий, кружков и отдельных лиц. Эта разруха жестоко отзывалась и на армии, даже на ее наиболее дисциплинированных и стойких частях — на гвардии. Армия не знала, кому же и во имя чего повиноваться. «Императрица погибла, наследник цесаревич погиб. Царский род пресекся. Сенат и Синод? Но кто такие эти господа сенаторы, — говорили в армии, — и почему надо повиноваться им, а не кому другому? Синод — это архиереи да митрополиты, их дело церковное. Командовать армией им не к лицу. Уж ежели на то пошло, у армии есть свои командиры».

Но эти «свои», близкие и понятные командиры, оставшись без царицы, размякли, как моток пряжи, снятый с веретена. Слово человек, у которого вынули спинной хребет.

Офицерство и теперь понимало, что засевший в Москве «анпиратор» — наглый самозванец, способный только погубить Россию. К тому же оно, это офицерство, почти сплошь вышедшее из дворянства, не могло доверять «анпиратору», который на протяжении многих месяцев занимался истреблением дворянства да и вообще всех сколько-нибудь грамотных людей. Впрочем, после взятия Москвы Пугачев стал, следуя совету Минеева, сманивать к себе офицеров, главным образом зеленую молодежь. Соблазн, конечно, существовал. У многих рождалась мысль: «анпиратор», разумеется, самозванец, вовсе не Петр Федорович, а Емельян Иваныч. Но ведь на деле-то он сейчас обладает царской властью. Лучше плохой царь, чем никакого. Дорвавшись до власти, каков бы ни был, он поневоле будет вынужден заняться вместо разрушения созиданием, государственным строительством. Не лучше ли, скрепя сердце, подчиниться ему и стать к нему на службу? Не ему служить, а России. Россия без армии осуждена на позорную гибель. Сам «анпиратор» со своими «енаралами» и «адмиралами» из кабацкой голи, из бурлаков да бродяг, из бывших колодников да беглых холопей, может создать только орду, пригодную для гражданской распри, но не армию, способную защищать государство от внешних врагов и оберегать от внутренних потрясений. А пойдя к «анпиратору» на службу, офицерство, настоящее офицерство, уже одним этим ослабит значение окружающих «Петра Федорыча» душегубов и грабителей. А дальше будет видно, как и что...

Приблизительно так, только еще более упрощенно, и рассуждали солдаты. «Говорят, быдто, значит, он из беглых казаков. Облыжно, дескать, зовет себя «Петром», когда на сам-деле ен Емельян. А нам не все ли одно? Что ни нон, то и батька! Без царя все равно нельзя. Царство без царя, что дом без хозяина».

Еще перед рождеством Временное правительство попыталось направить часть армии для военных операций против «анпиратора», но солдаты заворчали; «Чего еще?! Полезут они сюды, ну, тогда наложим. А покеда нас не трогают, пуцай их».

Только вести о бунте в Москве и о том, что застигнутый врасплох «анпиратор» не осмелился расправиться круто с москвичами и даже дал обещание созвать Земский собор, круто изменили настроение среди солдат петербургского гарнизона, особенно же среди гвардейцев. Они зашушукались: «И впрямь — самозванный! Будь настоящий да разе ен стал бы бобы разводиться? А то там какой-то купчишка Елисеев ему в глаза наплевал, а ен «детушки» да «голуби милые»! Хорош анпиратор, неча сказать! Эх, шарахнуть бы да так, чтобы пух и перья полетели!»

В казармах все чаще стали поминать Григория Орлова. Поговаривали, что он, в свое время устроивший свержение с престола настоящего «голштинца», должен бы заняться теперь и свержением мнимого голштинца. «Сбросил настоящего Петра Федоровича, так пуцай сковыривает и самозванца! А ежели мешают господа сенаторы, то им можно по шеям надавать. Очень просто! Чего языки чешут, а дела не делают?»

В конце января или начале февраля князь Дмитрий Иванович Шаховской, один из виднейших

членов Временного правительства, поднял тревогу, заявив, что Григорий Орлов, на вербовав себе сторонников среди офицеров, теперь смущает и рядовых, подбивая их учинить переворот. Временное правительство принялось совещаться по вопросу: не надлежит ли арестовать и предать Григория Орлова суду за государственную измену. Шаховской в тайном заседании заявил, что всего проще схватить Орлова и расстрелять. Если же его предавать суду, то на его защиту может подняться гвардия. Но на такую решительную меру Временное правительство не посягнуло. Однако Орлов был оповещен о случившемся и предупрежден, что ему грозит большая опасность. Это и побудило его решиться. Десятого февраля он созвал множество гостей под предлогом празднования дня своего рождения. В его роскошный дворец на Итальянской набережной собрались все заговорщики. В их числе были почти все офицеры кавалергарды, лейб-гусары и лейб-драгуны. Пиршество началось рано — в два часа дня — роскошным обедом. После обеда сам Григорий Орлов под случайным предлогом вышел из столовой залы. За ним последовали и прочие заговорщики. Они собрались в оранжерею. Орлов заявил о грозящей всем им смертельной опасности и предложил немедленно произвести государственный переворот, свергнув Временное правительство и избрав диктатора.

— Богом клянусь, — сказал Орлов, — что личных целей не преследую и выступаю единственно ради спасения погибающей державы. Ежели вы почтете достойным диктаторского звания меня, то все силы положу ради пользы государственной и всего народа, стонущего под злодейской пятой. Титула царского не домогаюсь и клятвенно обязуюсь незамедлительно сложить диктаторскую власть в тот же час, как скоро разрешен будет вопрос, кому надлежит занять престол, осиротевший после гибели моей незабвенной благодетельницы и наследника цесаревича!

Собравшиеся провозгласили его диктатором и тут же приняли присягу. Через час сильные отряды кавалергардов, лейб-драгун и лейб-гусар арестовали всех членов Временного правительства и многих сенаторов. Арестованные были заключены в Петропавловской крепости. Переворот был в полном смысле слова бескровным. Только один Дмитрий Шаховской, пытавшийся при аресте оказать сопротивление и схватившийся за шпагу, был избит бравшими его кавалергардами. Весь петербургский гарнизон примкнул к Орлову. Утром следующего дня диктатор с блестящей свитой появился в Сенате, и так долго занимавшиеся болтовней сенаторы, струсив, без всякого возражения подчинились ему.

С того же дня начались приготовления для похода на Москву. Однако, как мы знаем, брать Москву силой Орлову не пришлось, ибо гораздо раньше, чем диктатор мог двинуть свои войска на первопрестольную, Пугачев, испуганный смертью Таньки Чугуновой от чумы и восстанием москвичей, бежал из Москвы.

Пугачевский бунт этим не кончился. Еще более полугодом измученная и залитая кровью страна подвергалась жестоким судорогам. Поднятая «анпиратором» буря продолжала разгуливать по русским просторам, как разгуливает в степи вихрь или в дебрях лесной пожар. Но с уходом «анпиратора» из Москвы само пугачевское движение обрело себя на гибель, ибо тысячерукому чудищу с огромным брюхом пришлось переваливаться с места на место именно по тем краям, где оно побывало раньше и где оно уже произвело страшные опустошения, иначе говоря, где оно могло добывать для питания лишь жалкие крохи.

Это время, столь обильное драматическими событиями, представляет собой богатейший и интереснейший материал для историка и романиста. Может быть, мы еще вернемся к рассказу о нем, но этот рассказ создаст отдельную книгу, в которой будет прослежена история по крайней мере главнейших героев нашего повествования. Теперь же ограничимся упоминанием о событиях, непосредственно последовавших за уходом Пугачева из Москвы.

В то время, когда армия Суворова, быстро разрастаясь по пути, шла на Киев, поляки попытались овладеть Смоленском, но встретили упорное сопротивление со стороны самого



населения. Вслед за тем, в восточной Галиции внезапно вспыхнуло бурное восстание холопов против панов, принявшее такие размеры, что в Кракове и Варшаве началась паника. Находившаяся в окрестностях Смоленска армия, в тылу которой шли крупные беспорядки, сочла себя вынужденной отойти на запад, тем более, что с приближением Суворова ее правое крыло повисло в воздухе. Шестнадцатого апреля в Смоленск вошел лихой драгунский имени князя Репнина полк, следом за которым въехала и императрица Екатерина. Пробыв в Смоленске, ради отдыха, всего три дня, государыня отбыла в Санкт-Петербург, куда и прибыла благополучно в первых числах мая. Диктатор, то есть граф Григорий Орлов, встретил императрицу в Старой Руссе и сложил с себя диктаторские полномочия. Екатерина тогда же назначила своего старого соратника главнокомандующим всей северной армии с присвоением ему прав наместника средней России и поручила ему дело ведения борьбы с пугачевским восстанием в ближайших к Москве провинциях.

Двенадцатого мая Орлов, собиравшийся отправиться в Москву, имел длительную аудиенцию у государыни. Снабдив графа указаниями, Екатерина дрогнувшим голосом сказала:

— Нам с тобой, друг мой, придется еще много поработать, не щадя сил. Не ведаю, хватит ли нашей жизни, чтобы исправить хоть отчасти зло, причиненное сим безумным, бессмысленным и беспощадным бунтом! В столь краткое время этим диким людям удалось разорить почти всю империю, уничтожить богатства, накопленные многими поколениями, покрыть страну развалинами и усеять ее трупами. Погибли труды целого ряда правителей. Мурман захвачен шведами. В Курляндии засел лукавый «кузен» Емельки Фридрих. Половина Донской области в руках турок. Петровск и Баку заняты персами. Крымчаки гуляют по степи, как во времена правительницы Софии и Василия Голицына. Малороссия еще в огне гайдаматчины. Лучшие люди погибли. Просвещению нанесен сильнейший удар. Казна опустошена. Промышленность почти убита, торговля полумертва...

— Даст бог — со всем справимся! — отозвался Орлов.

— Во всяком случае, придется надолго отложить осуществление тех великих планов, о коих мы с тобой мечтали еще несколько лет назад, для коих накапливали силы, собирали средства и готовили людей... И придется нести тяжкие жертвы...

Наступило молчание. Потом императрица выпрямилась, непривычно резким движением подняла красивую голову и нахмурила брови. Глаза ее блеснули, как сталь шпаги.

— И все-таки, — сказала она резко, — Россия будет! Великая, единая, неделимая! Будет — грозная всем врагам!

— Россия будет! — откликнулся Орлов.

## СТАТЬЯ РУССКИМ ЖЮЛЬ ВЕРНОМ

«В русской литературе XIX — XX вв. не оказалось писателя, посвятившего свое творчество захватывающим приключениям или мысленным экспериментам по реализации фантастических идей и проектов», — подобное суждение обязательно присутствовало в редких статьях по истории отечественной фантастики. Нет, я бы сказал осторожнее — в нашей литературе не было автора хотя бы близкого тому же Жюль Верну по обширности творческого наследия, многогранности интересов, энциклопедичности познаний. Потому что все-таки существовала большая группа писателей, творивших на рубеже веков (М. Первухин, С. Соломин, А. Числов и другие), которые писали именно в этом, всегда популярном у юношества жанре. Между тем, бурные исторические события начала XX века в России не

дали им в полной мере реализовать свой потенциал, а порой просто оторвали их от основной читательской массы, как это произошло например, с тем же М. К. Первухиным.

Михаил Константинович Первухин родился 5 сентября 1870 года в Харькове. В 1890 году он окончил Харьковское реальное училище и вплоть до 1899 г служил в Управлении Курско-Севастопольской железной дороги. Вскоре тяжелая болезнь — начавшаяся чахотка, заставила молодого человека оставить службу и искать прибежища в краях с более благоприятным для него климатом — в Крыму. Здесь М. К. Первухин занялся журналистикой — став редактором (и единственным сотрудником!) Газеты «Крымский курьер». Газета выходила с 1900 по 1906 год, пока ухудшающееся здоровье не заставило Первухина вновь отправиться в путь...

В Крыму Первухин стал активно писать рассказы хотя литературной деятельностью занялся еще в годы жизни в Харькове, когда им были написаны «Восточные легенды», в которых чувствовалось сильное влияние писателя и путешественника Н. Н. Каразина. Уже живя в Ялте, М. Первухин издал книгу рассказов «У самого берега Синего моря» (1900), затем последовала еще одна книга рассказов «Догорающие лампы» (1909) и другие.

Писал М. К. Первухин легко и много, нередко пользовался псевдонимами, «породив» таким образом целую плеяду авторов — К. Алазанцева, М. Волохова, М. Де-Мара, М. Замятина и других. Писали «они» преимущественно полные самых невероятных приключений фантастические рассказы. Начиная с 1906 года М. К. Первухин активно сотрудничает в журналах «Вокруг света», «Природа и люди», «Мир приключений», «На суше и на море». Особенно плодотворны были 1910 — 11 годы. Герои М. Первухина изобретают чудесные воздухоплавательные машины, спускаются в глубины океанов, добираются до Северного полюса, проникают в труднодоступные таинственные уголки земного шара.

Между тем сам М. К. Первухин в 1906 г. уезжает в поисках лечения за рубеж и с 1907 г. живет в солнечной Италии. Из-за границы он сначала шлет корреспонденции в «Утро» и «Новости дня», а с 1909 года становится постоянным корреспондентом «Русского слова». После революции все эти газеты были закрыты и литературные связи М. Первухина с родиной оборвались.

В России после 1917 года его больше не печатали и постепенно стали забывать.

Между тем М. К. Первухин продолжал работать в избранном жанре, и книги его все более отходили от стереотипов, делались оригинальными и даже новаторскими. В 1924 г. он завершил большой научно-фантастический роман «Изобретатели» (Бухарест, 1924), а также историко-фантастический роман «Пугачев-победитель» (Берлин, 1924). Тема «альтернативной истории» занимала М. К. Первухина и ранее, еще в 1917 году, он написал свою повесть «Вторая жизнь Наполеона». Революционные бури 1917 года побудили его поставить «мысленный эксперимент», что, если бы... Пугачев одержал верх? Вывод М. Первухина однозначен — ни свободы народу, ни иных благ для страны его победа не принесла бы...

Умер М. К. Первухин в 1928 году.

И. Г. ХАЛЫМБАДЖА.

Библиография сочинений М. К. Первухина

АЛАЯ КРОВЬ: рассказ // «Огонек». Спб., 1916. № 211

АЭРОСТАТ «ВЕЧЕ»: рассказ // «Вокруг света». Спб., 1910. № 10 — 13.

В СТРАНЕ ПОЛУНОЧИ: повесть // «Природа и люди». Спб., 1910. № 1 — 8. &lt;  
под псевдонимом М.Волохов &gt;

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ НАПОЛЕОНА: повесть // «Журнал приключений». М., 1917. Кн. 6 — 7.

ЗВЕРЬ ИЗ БЕЗДНЫ: рассказ // «На суше и на море». Спб.( 1911. Кн. L

ЗЕЛЕНАЯ СМЕРТЬ: рассказ // «На суше и на море». Спб., 1911. Кн. 5 &lt;  
М. Де-Мар &gt;

ИКС-СИЛА: рассказ // «Вокруг света». Спб., 1910. № 1,2.

ИЗОБРЕТАТЕЛИ: фантастический роман // Бухарест, 1924.

КОЛЫБЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА: роман в 2-х кн. // «На суше и на море». Спб., 1911. Кн. 2,3. &lt;  
М. Волохов &gt;

КОНЕЦ «РАСПЛАТЫ»: рассказ // «На суше и на море». Спб., 1910. Кн. 3.

МАШИНА БОССА: рассказ // «Мир приключений». Спб., 1911. № 5. &lt;  
К. Алазанцев &gt;

ПУГАЧЕВ-ПОБЕДИТЕЛЬ: историко-фантастический роман // Берлин, 1924.

РОКОВОЕ ПРОРОЧЕСТВО: рассказ // «Природа и люди». Спб., 1909.

СЕРДЦЕ МЕРТВЕЦА: рассказ // «Мир приключений». Спб., 1914.

ТАЙНА: рассказ // «На суше и на море». Спб., 1912. &lt;  
М. Де-Мар &gt;

УПРАВЛЯЕМЫЙ АЭРОСТАТ «ПОБЕДА»: рассказ // «Вокруг света»? Спб., 1910. № 42 — 47.

ЦАРИЦА ЗМЕЙ: рассказ // «На суше и на море». Спб., 1914 Кн. 4.

Предлагаемый библиографический список, конечно, весьма схематичен, учитывая, что все эти годы автор жил за рубежом и нередко печатался в недоступных российскому читателю изданиях.